This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Viazemskii, P. A.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО

ТОМЪ II.

1827 г.—1851 г.

ИЗДАНІЕ

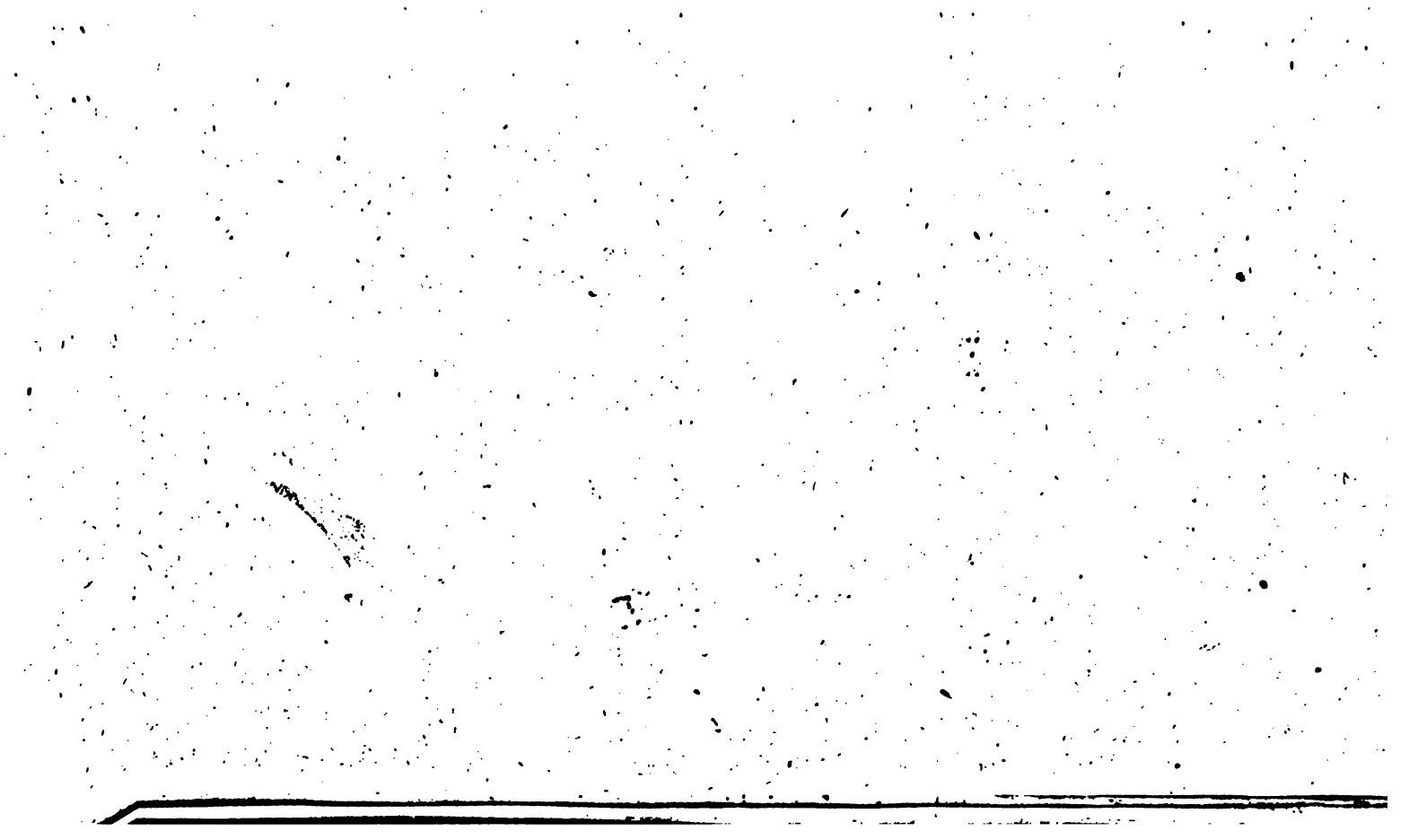
Графа С. Д. Шереметева.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. О., 2 л., 7.

1879

PG-3447
V5
1878
v. 2



ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

1854 СОЧИНЕНІЙ

КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО

ТОМЪ II.

1827 г.—1851 г.

Библиотека

ИЗДАНІЕ

Графа С. Д. Шереметева.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. О., 2 л., 7.

391.78
V623
1878

2

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИТИЧЕСКІЕ и БІОГРАФИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

ТОМЪ II.

1827 г. — 1851 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича. В. О., 2-я л., 7.

105-303683

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Автобіографическое введеніе	VII—XVIII
XXXV. (1827) Отрывокъ изъ біографіи Каннинга	1— 9
XXXVI. (1827) Объ Альманахахъ 1827 года.	10— 39
XXXVII. (1827) Писатели между собою.	40— 46
XXXVIII. (1827) Новыя книги.	47— 58
XXXIX. (1827) Объ Альбомѣ г-жи Шишковской	59— 66
XL. (1828) Поживки Французскихъ журналовъ въ 1827 году	67— 81
XLI. (1828) По поводу критическихъ замѣчаній Арцыбашева (Письмо къ М. П. Погодину)	82— 84
XLII. (1829) Моя исповѣдь	85—111
XLIII. (1829) Новая тяжба о буквѣ Ъ.	112—120
XLIV. (1830) О Московскихъ журналахъ	121—132
XLV. (1830) О Ламартинѣ и современной французской поэзіи	133—138
XLVI. (1830) Отрывокъ изъ письма къ А. И. Готовцевой . .	139—144
XLVII. (1830) Исторія Русскаго народа	145—149
XLVIII. (1830) Величка (Отрывокъ изъ путевыхъ записокъ). .	150—151
XLIX. (1830) Оедора, историч. повѣсть. Соч. Павла Сумарокова	152—155
L. (1830) О духѣ партій; о литературной аристократіи. .	156—165
LI. (1830) О Сумароковѣ	166—174
LII. (1831) Взглядъ на Московскую выставку	175—182
LIII. (1831) О московскихъ праздникахъ	183—185
LIV. (1834) Тарифъ 1822 года.	186—210
LV. (1836) Проектъ письма къ графу С. С. Уварову, съ замѣтками А. С. Пушкина	211—226
LVI. (1836) Наполеонъ и Юлій Цезарь	227—241
LVII. (1836) Наполеонъ. Поэма Э. Кине	242—256
LVIII. (1836) Ревизоръ, Гоголя	257—275
LIX. (1840) Крушеніе Царскосельскаго поѣзда	276—281
LX. (1840) Князь Андрей Ивановичъ Вяземскій	282—284

		стр.
LXI.	(1840) Князь Петръ Борисовичъ Козловскій	285—294
LXII.	(1842) О новомъ французскомъ поэтѣ	295—299
LXIII.	(1846—1847) Н. М. Карамзинъ	300—303
LXIV.	(1847) Языковъ и Гоголь	304—334
LXV.	(1847) С. Н. Глинка	335—347
LXVI.	(1847) Взглядъ на литературу нашу послѣ смерти Пушкина	348—379
LXVII.	(1848) Ю. А. Нелединскій-Мелецкій	380—394
LXVIII.	(1849) 15 Іюля, 1849 года въ Буюкдере	395—399
LXIX.	(1849) Письмо къ С. Н. Карамзиной изъ Буюкдере	400—409
LXX.	(1850) Рѣчь на обѣдѣ въ Москвѣ	410—412
LXXI.	(1851) К. Н. Батюшковъ	413—417
LXXII.	(1851) Путешествіе князя А. Д. Салтыкова по Персіи и Индіи	418—426

АВТОБІОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНІЕ.

(Конецъ главы VIII) [1].

Пока будутъ Польскія женщины на свѣтѣ, онѣ могутъ пѣть: „Ecze Polska nie zginela".

Въ Польской женственности необычайная прелесть и прирожденная ловкость; въ нихъ много и простосердечности. Не говоря о молодомъ поколѣніи, которое нашелъ я въ Варшавѣ, но и женщины уже не первой молодости, умомъ своимъ и умѣніемъ имъ владѣть и пользоваться, образованностію, особенною женскою сноровкою—были привлекательны. Помянемъ мимоходомъ нѣкоторыя имена: графиня Розалія Ржевусска, графиня Александра Потоцка, впослѣдствіи г-жа Вонсовичъ, жена того, который провожалъ Наполеона въ санной Березинской прогулкѣ его, княгиня Сульковска, графиня Жанъ-Потоцка, графиня Замойска и еще многія другія. Нельзя не упомянуть имена и историческихъ представительницъ въ новомъ обществѣ минувшаго вѣка, украшавшихъ дворъ короля Станислава: княгиня Чарторыйска, княгиня Радзивиллъ, которая до конца жизни вплетала всегда розу въ свои сѣдые волоса и говорила: „c'est une rose qui fleurit dans la neige", графиня Станиславъ-Потоцка и Гутаковска, и въ заключеніе этого списка намѣстница царства, княгиня Заіончекъ, которой загадочныя лѣта

[1]) При разборѣ бумагъ, оставшихся послѣ князя П. А. Вяземскаго, отыскался отрывокъ его Автобіографіи, не вошедшій въ I-й томъ. Этотъ отрывокъ писанъ собственноручно покойнымъ княземъ и по содержанію своему составляетъ продолженіе и конецъ VIII главы *Автобіографическаго Введенія* (стр. XXXVII—XLI), въ которой говорится о „Варшавскомъ періодѣ" жизни князя Петра Андреевича.
Изд.

терялись въ сумракѣ до-историческихъ годовъ, но умъ былъ свѣжъ, игривъ, и всѣ женскія свойства, наклонности и уклончивости нисколько не поддавались давленію времени и ограниченіямъ, которыя влечетъ оно за собою. Не могу однако, безъ нарушенія совѣсти и сердечной памяти, пропустить въ поминкахъ моихъ нѣкоторыя молодыя имена, которыя такъ и просятся подъ перо: княгиня Терезія Яблоновска, дѣвица графиня Мостовска (въ послѣдствіи бывшая за-мужемъ за барономъ Моренгеймомъ, а потомъ за Павломъ Мухановымъ), и дѣвицу Жанету Грудзинску, извѣстную послѣ подъ именемъ княгини Ловичъ. Ею достойно увѣнчается мой поименный женскій Варшавскій списокъ. Она не была красавица, но была красивѣе всякой красавицы. Бѣлокурыя, струистыя и густыя кудри ея, голубые, выразительные глаза, улыбка умная и привѣтливая, голосъ мягкій и звучный, станъ, гибкость и какая-то облекающая ее нравственная свѣжесть и чистота. Она была Ундина; все соединялось въ ней и придавало ей совершенно отдѣльную и привлекающую вниманіе физіономію въ кругу подругъ и сверстницъ ея. Глядя тогда на нее, кто могъ предвидѣть блестящую участь ея и скорый, роковой и драматическій конецъ этой молодой, но многоиспытанной счастіемъ и скорбью жизни ея.

Хорошія отношенія мои къ Варшавскому обществу остались неизмѣнными до конца. Политика, то-есть международная, или, если хотите, междоусобная оставалась совершенно въ сторонѣ. Могутъ быть при разномысліи такіе жгучіе вопросы, до которыхъ дотрогиваться не должно, даже между пріятелями и братьями, равно благовоспитанными и вѣжливыми. Въ общей и хорошо сознаваемой образованности есть такъ много точекъ сближенія и сочувствій, что не зачѣмъ отыскивать и выводить наружу точекъ пререканій и претковеній. А между тѣмъ есть люди, вооруженные до-нельзя преувеличенными микроскопами, которые только и дѣлаютъ, что изыскиваютъ мельчайшія несходства и противорѣчія личныя, общественныя и международныя, чтобы ставить между ними грани, столбы и предѣлъ, его же не прейдеши. Это обозначаетъ необычайную узкость и неподвижность ума.

Въ Варшавѣ былъ я въ пріязненныхъ отношеніяхъ и съ либералами и съ консерваторами, съ старыми Поляками, не покидавшими кунтуша, и молодежью, подчинившеюся модѣ и лозунгу изъ Парижа; былъ я близокъ и съ сановниками и съ средними общественными слоями ученыхъ, художниковъ и актеровъ. Богъ свидѣтель, что я популярности не заискивалъ и никакими уступками ей не мирволилъ. Но популярность сама вышла ко мнѣ на встрѣчу и осталась мнѣ вѣрна, даже по выѣздѣ моемъ изъ Варшавы. Нечего говорить, что сношенія мои съ Польскими литтераторами скоро завязались. Патріархомъ ихъ былъ тогда Нѣмцевичъ; ничего озлобленнаго, непримиримаго революціоннаго въ немъ не было. Напротивъ, много было добродушія, кротости и признательности за привѣтливое и ласковое съ нимъ обращеніе. Императрицы Екатерины онъ не любилъ, но очень любилъ Императора Павла. Это довольно натурально, даже и помимо всякихъ политическихъ соображеній. Екатерина посадила его въ крѣпость, а Павелъ изъ нея выпустилъ. Впрочемъ, какъ съ другими, такъ и съ нимъ, бесѣды наши вращались на почвѣ нейтральной, и преимущественно литтературной. Позднѣе имѣлъ я случай примирить два вѣка, двѣ школы, двѣ противоположныя знаменитости въ лицѣ стараго Нѣмцевича и молодаго Мицкѣвича, съ которымъ познакомился я въ Москвѣ. Мнѣ удалось ввести ихъ въ переписку другъ съ другомъ. Въ доказательство, что въ самыхъ рьяныхъ и ярыхъ политическихъ раскольникахъ могутъ сохраниться прежніе отголоски мирнаго и человѣческаго настроенія, приведемъ слѣдующій примѣръ: много лѣтъ спустя послѣ пребыванія моего въ Варшавѣ и даже Польскаго возстанія 1830 года, въ которомъ игралъ онъ значительную роль, встрѣтился я въ Парижѣ на улицѣ съ Нѣмцевичемъ. Подошелъ я къ нему; сначала не узналъ онъ меня, но въ слѣдъ за обмѣномъ первыхъ привѣтливыхъ словъ, спросилъ онъ меня съ видимымъ участіемъ: а что дѣлаетъ Машенька? это имя дочери моей, которую зналъ онъ ребенкомъ въ Варшавѣ и всегда особенно ласкалъ. Воспоминаніе о ней и о домѣ нашемъ не затерялось въ немъ и пережило всѣ волненія, всѣ крутые перевороты, ко-

торые разгромились надъ родиною его и надъ нимъ самимъ уже въ преклонной старости. Былъ я въ пріятельскихъ сношеніяхъ и съ другимъ поэтомъ съ Моравскимъ, котораго талантъ имѣлъ, по мнѣ, что-то общее съ талантомъ Жуковскаго. Онъ очень удачно перевелъ извѣстную подпись мою къ портрету Императора Александра, которую гораздо позднѣе отыскалъ я вырѣзанную подъ бюстомъ Александра, въ художественной дворцовой Флорентинской галлереѣ. Переводъ моихъ исторически-монархическихъ стиховъ не помѣшалъ, однако, Моравскому стать подъ знаменемъ возмущенія и вооруженною рукою дѣйствовать противъ законной и монархической власти.

Въ пятидесятыхъ годахъ встрѣтился я съ нимъ въ Карлсбадѣ. Онъ откровенно и со скорбью сознавалъ, что въ 30-мъ году Поляки сдѣлали большую глупость и не умѣли оцѣнить всѣ благодѣянія, оказанныя имъ Русскимъ правительствомъ, и что въ особенности оказались они неблагодарными къ Великому Князю Константину Павловичу, который, не смотря на вспышки и взрывы, много сдѣлалъ имъ добра и былъ къ нимъ особенно благожелателенъ. Директоромъ Варшавскаго театра былъ тогда Осинскій, поэтъ и преимущественно извѣстный классическимъ и, по отзыву Поляковъ, великолѣпнымъ переводомъ трагедіи Корнеля: *Le Cid*. Варшавская сцена была богата отличными художниками. Театръ былъ тогда для Поляковъ не только развлеченіемъ и забавою, но и священнымъ историческимъ преданіемъ и народнымъ служеніемъ. Для меня былъ онъ особенно школою для изученія Польскаго языка. Театръ и чтеніе Польскихъ газетъ были мнѣ въ этомъ отношеніи большими пособіями. Литературныя мои наклонности встрѣчали въ Русскомъ обществѣ менѣе дѣятельныхъ сочувствій и соприкосновеній, нежели въ Польскомъ. Наши земляки, за весьма рѣдкими исключеніями, были вовсе не литературнаго и грамотнаго настроенія. Между тѣмъ, въ то время, писалъ я довольно много стихами и прозою, особенно первыми. Помню нѣкоторыя произведенія той эпохи: *Уныніе*, *Первый снѣгъ*, два стихотворенія, любимыя Пушкинымъ, особенно первое, *Посланіе къ И. И. Дмитріеву*, *Посланіе къ Жуковскому*, заимствованное изъ сатиры Буало, *Посланіе къ Тур-*

ченову, *съ пирогомъ*, нѣсколько неприличное и заносчивое *Посланіе къ Каченовскому*, стихотвореніе *Петербургъ* (одно начало его было напечатано), *Посланіе къ Сибирякову*, *Негодованіе;* три послѣднія были написаны не въ мятежномъ и не въ ниспровергающемъ, а въ либеральномъ и конституціонномъ духѣ, или *законно свободномъ*, по выраженію Императора Александра. Кто-то въ Петербургѣ отыскалъ поэта-самоучку, кажется Ѳ. Н. Глинка, крѣпостнаго слугу провинціальнаго помѣщика. Пошли переговоры объ отпущеніи на волю слуги Аполлона. Но помѣщикъ не признавалъ баснословнаго начала, говорилъ, что этотъ слуга ему нуженъ, тѣмъ болѣе, что онъ издержалъ на него довольно денегъ для обученія его кандитерскому мастерству, что стихотворству обучать его онъ и не помышлялъ, и наконецъ требовалъ за него довольно круглую сумму, если непремѣнно хотятъ даровать свободу ему. Сумма была скоро собрана; я былъ въ нее вкладчикомъ, да еще захотѣлось почтить неизвѣстнаго мнѣ поэта посланіемъ. Помню только первые стихи изъ него:

Рожденный лавры жать и спящій на соломѣ,
Въ отечествѣ поэтъ, кандитеръ въ барскомъ домѣ,
Другой вельможамъ льститъ, а я пишу тебѣ:
Какъ смѣлъ, Сибиряковъ, ты вопреки судьбѣ,
Опутавшей тебя вериги насилья,
Отважно распустить воображенью крылья,
И, званьемъ рабъ, душой къ свободѣ вознестись?
Ты вздумалъ мыслить, ты, дружокъ, перекрестись!
Музъ и читателей незванный собесѣдникъ,
Оставь перо свое, поди надѣнь передникъ
И къ барскому столу конфекты испеки, и пр.

Помнится мнѣ, въ этомъ посланіи было нѣсколько удачныхъ и сильныхъ стиховъ. Списка съ нихъ у меня не осталось, какъ и многихъ стихотвореній моихъ. Отыщутся они развѣ въ богатомъ архивѣ покойнаго А. И. Тургенева. Этотъ освобожденный Сибиряковъ сдѣлался послѣ актеромъ. О литературной дѣятельности его ничего не знаю. Вообще, сердце у меня не очень лежитъ къ поэтамъ-самоучкамъ. Ломоносовыхъ изъ нихъ не выходитъ, а отчуждаются они отъ среды, имъ свойственной и въ которой могли бы они быть полезными себѣ и своимъ, и насильственно ввергаются въ коловоротъ, который, рано или позд-

но, разбиваетъ ихъ. По мнѣ, и бѣдный Кольцовъ въ этомъ отношеніи не исключеніе. Онъ безъ сомнѣнія имѣлъ зародышъ таланта; но этотъ зародышъ принесъ болѣе вреда ему, нежели пользы Русской словесности. Русская литературная публика моя въ Варшавѣ заключалась въ двухъ лицахъ: въ молодомъ гвардейскомъ офицерѣ Литовскаго полка Гаабе, который тоже пописывалъ, и въ Фовицкомъ, состоявшемъ наставникомъ при Павлѣ Константиновичѣ Александровѣ. Онъ былъ очень образованный, хорошо зналъ Русскій языкъ и Русскую литературу; принадлежалъ онъ литературному кружку братьевъ Княжевичей, Александра Измайлова и другихъ. Съ нимъ мы очень сблизились; ему повѣрялъ я тотчасъ сметанныя на живую нитку произведенія свои, и часто пользовался умными и дѣльными замѣчаніями его. Онъ отбиралъ у меня мою стихотворную мелюзгу и отсылалъ ее къ пріятелю своему Измайлову въ журналъ *Благонамѣренный*, гдѣ она и печаталась, помнится мнѣ, безыменно. А что именно печаталось,—право, не помню. Другія мои произведенія, нѣсколько покрупнѣе, печатались въ *Сынѣ Отечества*.

Кстати о немъ: я узналъ въ Варшавѣ, что и журналъ, и издатель его Гречъ были, что называется, на дурномъ замѣчаніи у Государя, и вотъ по какому поводу я это узналъ: извѣстно, что виды и предположенія Государя въ отношеніи къ Польшѣ были многимъ не сочувственны въ Россіи. Пріѣздъ его въ Варшаву и пребываніе въ ней порождали обыкновенно толки и слухи, болѣе или менѣе неблагопріятные и болѣе или менѣе невѣрные. Это волновало умы. Для предотвращенія этихъ послѣдствій, составилъ я докладную записку, въ которой излагалъ я вредъ этихъ невѣрныхъ слуховъ и пользу, которую могли бы принести печатаемыя свѣдѣнія о царскомъ пребываніи въ Варшавѣ и вообще о томъ, что дѣлается въ царствѣ, и предлагалъ печатать эти болѣе *оффиціозныя*, нежели *оффиціальныя* замѣтки въ *Сынѣ Отечества*, журналѣ, имѣвшемъ наибольшее число читателей. Новосильцовъ совершенно одобрилъ записку мою и представилъ ее Государю. Императоръ, прочитавъ записку, изволилъ отозваться, что Гречъ и журналъ его очень неблагонадежны и неблагонамѣренны. Тѣмъ попытка моя и кончилась.

Изъ Русскаго Варшавскаго общества былъ со мною особенно друженъ и сочувствовалъ мнѣ, какъ Русскому литтератору, человѣкъ, вовсе не принадлежащій письменному цеху и даже не Русскій, именно графъ Нессельроде, близкій родственникъ покойнаго канцлера нашего. Онъ вступилъ въ Русскую военную службу, кажется въ 1813 году, въ эпоху отрезвленія и освобожденія Германіи нашими войсками. Въ Варшавѣ засталъ я его адъютантомъ Великаго Князя. Съ перваго взгляда нельзя было не обратить на него особеннаго вниманія. Во всей внѣшности и осанкѣ его было что-то средневѣковое рыцарское: высокаго роста, держался онъ прямо, мало подвижно и нѣсколько сурово. Онъ напоминалъ эти каменныя рыцарскія изваянія, которыя красуются на старыхъ гробницахъ въ готическихъ соборахъ. Внутренно были въ немъ также рыцарскія свойства: благородство, правдивость (хотя Великій Князь шуткою и прозвалъ его іезуитомъ, потому что принадлежалъ онъ Римскому исповѣданію), впрочемъ также если не совсѣмъ суровость, то строгость и серьезность, но смягчаемыя изящною вѣжливостью, сердечностью и высокимъ сочувствіемъ ко всему прекрасному, образованному и художественному. Въ нѣсколько лѣтъ совершенно научился онъ Русскому языку; въ произношеніи его было что-то чужеязычное; но свыкся онъ съ Русскою рѣчью, говорилъ правильно и читалъ все Русское съ понятливостью и толкомъ. Именно все Русское, отъ Карамзина, Жуковскаго и Пушкина до Булгарина; получалъ всѣ Русскія періодическія изданія, сборники, альманахи, словари, грамматики. Не могло быть Нѣмца и иностранца болѣе и полнѣе обрусѣвшаго, чѣмъ онъ, и замѣтить должно, обрусѣлъ онъ не въ чистой и казенной Россіи, а въ Варшавѣ. Впрочемъ, также скоро обучился онъ и Польскому языку и ознакомился съ Польскою литтературою. Любилъ и уважалъ онъ Русскихъ, но любилъ и Поляковъ. Полюбилъ Варшавскую жизнь и такъ сросся съ нею, что и послѣ отставки своей провелъ еще многіе года въ Варшавѣ и умеръ въ ней въ преклонныхъ лѣтахъ. Обрусѣлъ и Нѣмецкій желудокъ его. У насъ въ домѣ упивался онъ кислыми щами и находилъ въ нихъ одинъ недостатокъ, что онѣ вовсе не хмѣльны: будь въ

ихъ маленькая спиртная примѣсь и онѣ были бы первый напитокъ въ мірѣ. Онъ былъ большой любитель музыки, которую зналъ хорошо. Акомпанируя себя на клавикордахъ, онъ необыкновенно звучно и стройно насвистывалъ цѣлыя оперныя аріи. По странной случайности, имѣлъ я большое и рѣшительное вліяніе на жизнь его. Нѣсколько мѣсяцевъ, по отъѣздѣ жены моей въ Москву, оставался я, такъ-сказать, холостымъ въ Варшавѣ. Время было довольно глухое и большихъ собраній въ городѣ не было. Хорошо мнѣ знакомый Польскій артиллерійскій полковникъ, потерявшій ногу на войнѣ, Ледуховскій былъ помолвленъ на дѣвицѣ N. Онъ былъ очень добръ и простосердеченъ. Однажды предлагаетъ онъ мнѣ познакомиться съ невѣстою и старшею сестрою ея, также дѣвицею и довольно взрослою. „Чувствую, прибавилъ онъ, что имъ должно быть скучно въ постоянной бесѣдѣ со мною: вы присутствіемъ своимъ оживите наши однообразные вечера". Согласился я на предложеніе его, и съ перваго посѣщенія водворился у нихъ. Разумѣется, на долю разговора со мною особенно выпала старшая сестра: чета влюбленныхъ перешептывалась между собою. Не скажу, что сказалъ Пушкинъ обо мнѣ и Татьянѣ въ *Онѣгинѣ*:

Къ ней какъ-то Вяземскій подсѣлъ
И душу ей занять успѣлъ.

Нѣтъ, ни я не занялъ души ея, ни она моей не заняла. Но мы съ нею совершенно не то что платонически, а очень просто прозаически и цѣломудренно сблизились. Это была пріязнь двухъ лицъ, которыя другъ другу пришлись по нраву и угодили другъ другу. Подобная пріязнь отличается отъ другихъ пріязней тѣмъ, что одно изъ двухъ лицъ должно быть непремѣнно женскаго рода. Подобныя перекрестныя пріязни имѣютъ особенную увлекательность и прелесть. Наканунѣ отъѣзда моего въ Россію, шутя, спросилъ я ее: кого послѣ меня выберетъ она себѣ въ cavaliéro servente, и указалъ ей на молодого Англичанина, который только что пріѣхалъ въ Варшаву.—Ошибаетесь, отвѣчала она: а если кто-нибудь изъ здѣшнихъ могъ бы рѣшительно мнѣ понравиться, то это Нессельроде. На другой день на прощаніе завтракали мы съ нимъ. Я передалъ ему сдѣланное мнѣ признаніе и, также

шутя, пожелалъ ему счастія въ раскрывающемся предъ нимъ романѣ. Мой Нессельроде, который былъ уже далеко не первой молодости, покраснѣлъ до ушей, какъ пятнадцатилѣтній отрокъ, и съ волненіемъ сказалъ мнѣ: „Какъ это странно! и мнѣ она очень нравится“.—Тѣмъ лучше, отвѣчалъ я: по одной и той же дорогѣ не мудрено вамъ будетъ сойтись. На этомъ мы разстались. Спустя нѣкоторое довольно продолжительное время, получаю въ Москвѣ письмо отъ Нессельроде. Онъ напоминаетъ мнѣ нашъ прощальный завтракъ, слова, мною ему сказанныя, и увѣдомляетъ меня, что они рѣшили участь его и что онъ помолвленъ на дѣвицѣ N. Я предвидѣлъ, что изъ этого ничего хорошаго не будетъ; что Нессельроде вообще съ привычками и нравомъ своимъ вовсе не годится быть мужемъ, а дѣвица N въ особенности не годится въ жены Нессельроде. Но дѣлу, завязавшемуся по моему невольному почину, разумѣется, перечить не слѣдовало. Поздравилъ я счастливцевъ—и только. Годъ, или около года спустя, получаю опять отъ Нессельроде письмо, что par incompatibilité d'humeur, по несовмѣстности нравовъ, онъ и жена его дружелюбно разъѣхались. Но по крайней мѣрѣ временное ихъ бракосожительство не осталось праздным. У нихъ родилась дочь. Въ поэтическіе годы нашего человѣчества это рожденіе, вѣроятно, не обошлось бы безъ особеннаго небеснаго или другаго знаменія. Но въ нашъ прозаическій вѣкъ дѣла совершаются проще. Явленія поэтическія, историческія событія носятъ на себѣ отпечатокъ домашній. Гомеру между нами не пришлось бы создать *Иліаду*, а Овидію—поэму *Искусство любить*. Тотъ и другой, можетъ быть, писали бы фельетоны, или передовыя статьи въ повременныхъ листкахъ. Какъ бы то ни было, дочь Нессельроде, которую въ послѣдствіи времени знала вся образованная Европа, была существо одаренное богатыми, разнообразными и необычными способностями и силами. Во-первыхъ природа создала ее красивою женщиною: уже это одно есть избраніе и освященіе. Польская и Нѣмецкая стихіи сливались въ ней, но другъ друга не изглаживали и не поглощали. Каждая изъ нихъ выдавалась въ стройной яркости своей. Въ ней была и вкрадчивая прелесть Сарматской женственности и тихое поэтическое

cinie Германской Туспельды. Придайте къ этому блескъ Французской образованности, живую игривость ума и разговорчивости, и можно легко понять, что она должна была занять исключительное и почетное мѣсто вездѣ, гдѣ бы она ни показывалась: въ Петербургѣ, въ Вѣнѣ, въ Берлинѣ, въ Парижѣ, въ Италіи. Такъ оно и было. Искали знакомства ея и отличали ее и владѣтельныя особы, замѣчательнѣйшіе общественные люди, глубоко-умозрительные ученые, художники, и бѣдные, которымъ она помогала, и блестящая молодежь, которая поклонялась ей и вздыхала по ней. Музыкальная стихія въ ней также преобладала. Она была піанистка перваго разряда: въ игрѣ ея была сила, бойкость, блескъ и много чувства. При всемъ обольщеніи и, можно сказать, упоеніи исключительнаго положенія своего и разнородныхъ успѣховъ, которые вездѣ она пожинала, умѣла она сохранить свѣжесть и простосердечность чувства, оставшагося не растравленнымъ и не задѣтымъ чарами, которыя окружали ея. Изъ блестящей среды, въ которой царствовала, переносилась она въ тихій и скромный кругъ, гдѣ ожидали ее радушіе и дружескій привѣтъ. И тутъ была она также разговорчива и увлекательна. Какъ сказочная царица замѣняетъ свой золотой и яхонтовый вѣнецъ вѣнкомъ изъ свѣжихъ полевыхъ цвѣтовъ, такъ великая актриса, господствующая надъ покорною толпою зрителей и поклонниковъ, запросто, дома и посреди близкихъ ей отдыхаетъ отъ упоенія побѣдъ своихъ и обольстительныхъ головокруженій сцены. Она обожала отца своего и отецъ ее нѣжно любилъ. Можетъ быть, не совсѣмъ соразмѣрно съ рамками статьи моей удѣлилъ я мѣсто очерку, мною здѣсь нарисованному; но изображеніе отца было бы какъ-то отрывочно, если не пополнить его присутствіемъ дочери: такъ нераздѣльна была эта двойственность, а воспоминанія о пребываніи моемъ въ Варшавѣ никакъ не могли миновать Нессельроде: они невольно и помимутно на него и наталкиваются.

Дочь графа Нессельроде была за-мужемъ въ первый разъ за г. Коллерджи, во второй—за Мухановымъ. Недавно скончалась она въ Варшавѣ. Смерть ея и похороны были торжественнымъ и печальнымъ городскимъ событіемъ.

Между тѣмъ, для довершенія варшавскаго эпизода жизни

моей, долженъ я еще высказать нѣсколько словъ о Нессельроде, тѣмъ болѣе, что если я имѣлъ нѣкоторое вліяніе на частную и семейную жизнь его, то и онъ, по стеченію обстоятельствъ, имѣлъ вліяніе на мою политическую, или по крайней мѣрѣ служебную участь. Знакомство мое съ нимъ относится къ періоду первыхъ годовъ возстановленія королевской династіи во Франціи. Послѣ душной атмосферы, господствовавшей въ Европѣ подъ давленіемъ Наполеона, вездѣ, а во Франціи особенно вѣялъ и разливался свѣжій, живительный, крѣпительный воздухъ. Политическая и литтературная дѣятельность была въ самомъ горячемъ и цвѣтущемъ развитіи. Варшава, мѣсто открытое, способное воспринимать всѣ внѣшнія навѣванія, и отзываться на всѣ отголоски, долетающіе до нея издали.

Политическая трибуна представителей Французскаго народа была въ то время богата великими и краснорѣчивыми ораторами. Вся Европа вслушивалась въ ихъ голоса, а Варшава и подавно. Я, грѣшный человѣкъ, особенно любовался и увлекался краснорѣчіемъ ораторовъ лѣвой стороны: Бенжамена Констана, генерала Фуа, Казимира Перье и другихъ передовыхъ сподвижниковъ конституціоннаго порядка. Нессельроде былъ, напротивъ, и тутъ средневѣковой рыцарь, вѣрный историческимъ преданіямъ и легитимистъ, какихъ, вѣроятно, было немного и у Людовика XVIII-го. Споры наши, совершенно платоническіе, по вопросамъ, для насъ равно посторонпимъ, были самые горячіе и безкопечные. Во время Неаполитанскаго возстанія, разумѣется, былъ я за Неаполитанцевъ и вѣровалъ въ побѣду ихъ; онъ былъ за Австрійцевъ и не сомнѣвался, что они одолѣютъ противниковъ. Однажды, рано утромъ, приходитъ онъ ко мнѣ. Я еще спалъ. Онъ будитъ меня. Удивленный и нѣсколько встревоженный неожиданнымъ и раннимъ посѣщеніемъ его, спрашиваю: что такое случилось? Какъ же, отвѣчаетъ онъ, смѣясь: не догадываешься ты? Я пришелъ увѣдомить тебя, что Австрійцы вступили въ сдавшійся имъ Неаполь. Тутъ и я не могъ не разсмѣяться при выходкѣ его. Такъ миролюбиво возобновлялись и длились при каждой встрѣчѣ наши словесные и политическіе поединки. Разумѣется, они имѣли огласку въ городѣ, и въ умахъ бдительнаго начальства получали важность, которой, въ суще-

ствѣ, не имѣли они. Я, ни душою, ни тѣломъ не виноватый, а развѣ одною гимнастикою языка, прослылъ за революціонера и за карбонара. Въ проѣздъ Государя чрезъ Варшаву изъ-за границы, Великій Князь жаловался Его Величеству на меня. Я тогда былъ въ Россіи. По приказанію Государя, Новосильцовъ написалъ мнѣ, что Его Величество, увѣдомившись, что я держусь принциповъ, несогласныхъ съ видами правительства, и разглашаю ихъ, находитъ нужнымъ воспретить мнѣ возвращеніе къ мѣсту служенія моего въ Варшавѣ. Вотъ какъ Нессельроде, не гадавъ, не думавъ, какъ и я въ женитьбѣ его, былъ виновникомъ переворота въ оффиціальной жизни моей. Должно еще, для полноты разсказа моего, прибавить, что въ этомъ случаѣ не одинъ языкъ мой, но и перо мое было врагъ мой. Въ перепискѣ моей, а я всегда былъ большой охотникъ писать письма, и по мнѣнію одного пріятеля моего—изъ всего написаннаго мною переживутъ меня одни письма мои, въ перепискѣ моей, особенно съ Александромъ Тургеневымъ, позволялъ я себѣ, и часто употреблялъ во зло это позволеніе, откровенно, рѣзко и нерѣдко заносчиво говорить о томъ, что дѣлалось въ оффиціальномъ Польскомъ, а особенно Варшавскомъ мірѣ. Тогда еженедѣльно отправлялся изъ канцеляріи Великаго Князя курьеръ въ Петербургъ, и между прочимъ отвозилъ письма наши. Мои, вѣроятно, были читаны и до достиженія адреса, на которой были они надписаны. Упоминаю обо всемъ этомъ безъ малѣйшаго злопамятства. Напротивъ, готовъ сознаться, что высшее правительство имѣло поводъ быть недовольно мною. Человѣкъ служащій, слѣдовательно болѣе или менѣе облеченный правительственною довѣренностью, отвѣтствуетъ предъ нею не только за поступки и помышленія свои, какъ бы ни были они чисты и добросовѣстны, но и за невоздержность и заносчивость рѣчей своихъ, которыя тоже, въ данное время, могутъ быть дѣйствіями. Между тѣмъ, спустя нѣсколько лѣтъ, по собственному побужденію и почину Великаго Князя Константина Павловича, вступилъ я снова въ службу въ царствованіе Императора Николая, которому Великій Князь писалъ обо мнѣ. Слѣдовательно, всѣ счеты покончены честно и миролюбиво.

XXXV.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ БІОГРАФІИ КАННИНГА.

1827.

Если есть отрада въ потеряхъ чувствительныхъ для человѣчества, то единственно заключается она въ чувствѣ возвышающемъ душу, съ которымъ мы цѣнимъ великую утрату. Есть что-то умилительное и торжественное въ сей скорби, такъ сказать, отвлеченной, съ которою мы, въ отдаленіи, отчужденные отъ сферы дѣятельности великаго человѣка, оплакиваемъ его смерть, какъ будто мы жили подъ непосредственнымъ вліяніемъ его жизни, мыслили и чувствовали его мыслями и чувствами.

Такъ! сродство высокихъ побужденій, коими движется нравственное бытіе человѣка, есть всемогущее надъ тѣмъ, кто достоинъ званія человѣка. Поэтъ, сказавшій: я человѣкъ и ничто человѣческое мнѣ не чуждо, передалъ намъ полное выраженіе образованности. Кто, читая въ газетахъ неожиданное извѣстіе о скоропостижной болѣзни Англійскаго министра, не былъ на ту пору Англичаниномъ? Кто не сочувствовалъ опасеніямъ, тоскующему безпокойствію народа, съ боязливымъ любопытствомъ допрашивающимъ свѣдѣній о состояніи недужнаго, о падеждахъ своихъ и страхѣ? Чье сердце, озаренное и согрѣтое любовью къ благамъ человѣческимъ, не отозвалось унынiемъ и недовѣрчивымъ недоумѣніемъ на предопредѣленіе земнаго промысла, когда роковое извѣстіе, что Каннинга не стало, разнеслось съ береговъ Темзы по дальнимъ краямъ внимательнаго міра.

Смерть Каннинга есть одно изъ важныхъ и бѣдственныхъ событій нашего времени. Она поражаетъ не только Англію, но и Европу и, можно сказать, почти весь міръ, ибо нынѣ географическія границы, частныя и общія, нравственно раздвинулись и Европа не въ одной Европѣ; поражаетъ не однихъ его согражданъ, но и всѣхъ благомыслящихъ людей, для коихъ дѣло человѣчества нигдѣ и никогда не чуждо. Они съ упованіемъ смотрѣли на новое направленіе, данное Каннингомъ Англійской политикѣ, и слѣдовательно политикѣ Европейской; ибо также замѣтить можно, что въ наши дни нѣтъ политики личной, мѣстной и исключительно приспособленной къ выгодамъ такого-то государства. Нѣтъ сомнѣнія, что правило сіе не обнемлетъ всѣхъ частностей цѣлаго; но какъ въ хорошо устроенномъ обществѣ гражданскомъ каждое званіе имѣетъ свой кругъ дѣйствія и свои выгоды, отъ него зависящія, то и въ общемъ объемѣ выгоды сіи не должны прекословить другъ другу, а, напротивъ, взаимно содѣйствовать для достиженія великой цѣли: благоденствія общаго, основаннаго на согласіи благоденствій частныхъ; такъ и въ обществѣ народовъ просвѣщенныхъ не должно быть господствующихъ противорѣчій въ исповѣданіи высшей политики. Можетъ и должно быть соперничество, но не должна существовать вражда. Политика естественная, то-есть политика человѣчества, должна всегда имѣть верхъ надъ политикою кабинета, въ случаѣ ошибки одной съ другою. Здѣсь правило нравственности основывается на правилѣ математическомъ: часть менѣе своего цѣлаго. Вотъ нравоучительность великой драмы, долго разыгрываемой и которой развязка заключается въ договорѣ Парижскомъ, подписанномъ союзными монархами. Въ старые годы, смерть государственнаго человѣка, господствующаго силою ума и покоренныхъ имъ обстоятельствъ, могла быть празднована въ другихъ странахъ, какъ побѣда надъ могучимъ соперникомъ; нынѣ смерть великаго государственнаго человѣка, исповѣдующаго правила политики великодушной и просвѣщенной, есть общая потеря: такова смерть Каннинга. И когда постигла она его? Въ самое то время, когда, побѣдивъ силою здраваго мнѣнія насильственное владычество предразсудковъ, онъ

схватилъ могущественною рукою кормило Англійской политики и стремилъ ее по стезямъ болѣе открытымъ и широкимъ. Мелкіе умы стараются тѣснѣе сосредоточивать выгоды (intérêts) вокругъ себя, боясь выпустить ихъ изъ рукъ и изъ вида, если очертить ими объемъ обширный; умъ открытый, не прикованный къ настоящему, обтекая дальновидностью своею грядущее, расправляетъ свободнѣе силы свои и летитъ въ отдаленнѣйшую цѣль. Сколь одобрительны должны быть для него надежды на успѣхъ, сколь неистощимы бываютъ для него средства, почерпаемыя имъ собственно въ себѣ и въ обстоятельствахъ современныхъ, если не одно холодное и сжатое личными видами честолюбіе подвизаетъ его на смѣлый и благородный подвигъ, если онъ подкрѣпленъ въ усиліяхъ своихъ могучимъ убѣжденіемъ совѣсти, непреложными правилами высшей государственной мудрости. Есть совѣсть политики, сей науки государственной нравственности, какъ есть совѣсть нравственности частной. Не признавая святости ея непреложныхъ вдохновеній, можно помчаться блестящею стезею успѣховъ, но успѣховъ часто пагубныхъ, славы, но славы превратной, такъ сказать, софистической, а не славы истинной, основанной на общей пользѣ. Огромные и яркіе обломки державы Наполеона, подрытой и опрокинутой съ высоты, казалось, уже не доступной потрясеніямъ и непріязненности чуждыхъ стихій, знаменуютъ одни слѣды его исполинскаго хода на краю бездны и величія, на которое онъ такъ быстро вознесся и съ котораго такъ внезапно низринулся. Каннингъ хорошо постигъ то, что нужно для державы могучей, какова Англія: независимое бытіе ея основано и поддерживаемо не столько на могуществѣ физическомъ, сколько на превосходствѣ нравственномъ, ограждено оно просвѣщеніемъ, безпрепятственно раскидывающимъ свои охранительныя вѣтви, и законнымъ устройствомъ отъ всѣхъ переворотовъ и превратностей; ему было ясно, что для такой державы нѣтъ другой политики, какъ та, которая предписывается безкорыстнымъ просвѣщеніемъ, человѣколюбіемъ и возвышенною добросовѣстностью.

Признаніемъ сихъ истинъ были ознаменованы всѣ мѣры, которыя озарили, къ сожалѣнію, слишкомъ краткое пребываніе

Каннинга на высотѣ министерства Англійскаго, на высотѣ, которая служитъ возвышеннѣйшею мѣтою для честолюбія смертнаго, не рожденнаго на ступеняхъ престола. Всѣ важныя событія, возбуждающія нынѣ вниманіе и благородное участіе образованнаго міра, имѣли въ Каннингѣ, облеченномъ властію, надежное поручительство.

Внутри Англіи,—горестная для человѣчества тяжба католиковъ Ирландскихъ съ мнимымъ и худо понимаемымъ закономъ государственной необходимости; еще полнѣйшее развитіе свободы промышленности, торговой и гражданской, сихъ источниковъ Англійскаго благоденствія; внѣ Англіи,—Португалія, угрожаемая ужасами раздоровъ междоусобныхъ и чуждымъ посредничествомъ, можетъ быть не менѣе пагубнымъ; утвержденіе самобытности и независимости новаго міра, который въ бодромъ юношествѣ уже поражаетъ насъ признаками зрѣлости и совершеннолѣтнаго мужества; Греція, которой одно имя возбуждаетъ всѣ возвышенныя чувства, доступныя душѣ: всѣ сіи политическіе запросы имѣли въ Каннингѣ дѣятельнаго и мощнаго ходатая передъ судилищемъ царей и правительствъ.

Многострадальная Греція во второй разъ должна была оплакивать смерть Британскаго союзника: безъ сомнѣнія, союзъ Каннинга былъ для нея существеннѣе союза Байропа, но, въ благоговѣйной признательности своей, Греки почтутъ народной данью память сихъ двухъ мужей, которые, каждый въ чертѣ своихъ дѣйствій, озарили благороднымъ участіемъ темный жребій героическихъ мучениковъ.

Должно надѣяться, что благія сѣмена, посѣянныя Каннингомъ, созрѣютъ и разовьются подъ сѣнью его преждевременнаго гроба; что великодушныя начинанія его не ископрепятся и что Англія, подвинутая однажды на чреду, достойную ея просвѣщенія и силы, не совратится со стези, на которой Каннингъ совершилъ ея примиреніе съ началами политики, болѣе достойной Англійскаго просвѣщенія.

Каннингъ (Георгій), Ирландскаго происхожденія; родился въ 1770 году (а въ біографіи, напечатанной въ С.-Петербургѣ, 1771), въ Лондонѣ, по другимъ біографіямъ—въ Ирландіи. Онъ

рано лишился отца, человѣка незнатнаго и незажиточнаго, но умѣвшаго снискать уваженіе нѣкоторыми политическими сочиненіями, писанными въ духѣ независимомъ. Его мать, послѣ смерти мужа, вступила, кажется, на поприще театральное, а сына помѣстила въ училище Этонское; образованіе же свое окончилъ онъ въ Оксфордскомъ университетѣ. Уже съ молодыхъ лѣтъ явилъ онъ въ себѣ дарованія необыкновенныя: въ Этонѣ уже участвовалъ онъ съ другими писателями въ изданіи журнала: *Микрокосма*, который обращалъ на себя общее вниманіе. Тогда же сталъ онъ извѣстенъ и какъ поэтъ, если не первостепенный, то по крайней мѣрѣ пріятный и остроумный. Между прочими стихотвореніями его, замѣчательна элегія на порабощеніе Греціи. Предчувствовалъ ли тогда юноша, что Промыслъ доставитъ ему нѣкогда случай быть предъ лицомъ Европы краснорѣчивымъ заступникомъ бѣдствій, которыя онъ тогда могъ только оплакивать? Въ пребываніе свое въ училищѣ и университетѣ, успѣлъ онъ заключить нѣсколько пріятельскихъ связей съ наслѣдниками первѣйшихъ Англійскихъ фамилій; связи сіи имѣли, вѣроятно, вліяніе на раннее его политическое поприще.

По пріѣздѣ въ Лондонъ, онъ продолжалъ учиться правовѣдѣнію и готовиться къ адвокатскому званію, коему хотѣлъ посвятить себя. Литтературная извѣстность, которую онъ успѣлъ уже заслужить, и пріятели, товарищи его юношества, отвратили его отъ стези, смиренно имъ избранной, и ввели его въ кругъ болѣе блестящій. Въ Англіи юноша съ дарованіемъ есть спорный предметъ, который каждая изъ противныхъ партій желаетъ завоевать въ свою пользу. Питтъ, Фоксъ, Шериданъ отличали его: по однимъ извѣстіямъ покровительство Питта, по другимъ Шеридана, споспѣшествовало назначенію его членомъ парламента отъ города Нью-Портъ (New-Port) въ 1793 году; слѣдовательно, онъ былъ тогда 23 лѣтъ. Связь его съ Шериданомъ и похвальные отзывы, которыми сей знаменитый мужъ грозный противникъ министровъ превозносилъ новаго бойца на поприщѣ парламентальныхъ битвъ, обѣщали въ немъ сильнаго сподвижника оппозиціи. Цѣлый годъ не удовлетворялъ онъ ихъ

бопытнымъ ожиданіямъ тѣхъ, которые нетерпѣливо ожидали возможности судить о дарованіи ораторскомъ и политическомъ исповѣданіи человѣка, уже замѣченнаго общимъ мнѣніемъ. Наконецъ, послѣ годоваго молчанія, подалъ онъ, 31 января 1794 года, въ первый разъ голосъ въ пользу договора, заключаемаго Англійскимъ кабинетомъ съ Сардиніею. Сія рѣчь, обманувшая надежды членовъ оппозиціи, обратила на него еще болѣе внимательность министерства и рѣшила политическій союзъ его съ Питтомъ, неизмѣнившимся до конца жизни министра, игравшаго столь значительную роль въ дѣлахъ Англіи и Европы.

Французская революція была тогда главнымъ предметомъ общаго вниманія, предметомъ ненависти, страха для однихъ и ложныхъ упованій для другихъ. Англійскій парламентъ былъ также раздѣленъ на ея приверженцевъ и непавистниковъ. Имена: Питта, Фокса, Шеридана, Бурка сіяютъ съ равнымъ блескомъ, хотя и въ противоположныхъ рядахъ, въ семъ ратоборствѣ мнѣній и страстей. Эта эпоха была, можетъ быть, въ Англійскомъ парламентѣ блистательнѣйшей эпохою ораторскаго краснорѣчія. Люди, запросы, событія, все было въ возвышенномъ равновѣсіи. Каннингъ былъ одинъ изъ самыхъ горячихъ противниковъ Франціи, и не только не уступалъ Питту, но можетъ быть и превосходилъ его въ озлобленныхъ филиппикахъ своихъ противъ Французовъ. Тогда партія анти-французская боялась прилипчивости революціонной язвы для Англіи; но едва-ли страхъ этотъ былъ справедливъ. Франція могла завидовать Англіи и желать усвоить себѣ ея благоденствіе. Англія уже пользовалась всѣмъ тѣмъ, чего только могла искать и добиваться Франція.

Не довольствуясь воевать съ ораторской трибуны, воевать противъ Французовъ и правилъ, коихъ торжество хотѣли утвердить они, Каннингъ велъ еще дѣятельную войну съ ними и въ ежедневномъ журналѣ: *Анти-Якобинецъ*, который издавалъ онъ вмѣстѣ съ другими участниками. Вооруженный противъ правилъ революціи, разилъ онъ и Англійскую оппозицію, которая не раздѣляла мнѣній министерства. Противорѣчіе сіе въ образѣ мыслей тогдашнихъ, сличенныхъ съ тѣми, которыя онъ явилъ послѣ, будетъ объяснено въ своемъ мѣстѣ. Впрочемъ,

біографъ—не академическій панегиристъ, обязанный настроить рѣчь свою на однозвучный ладъ торжественной похвалы. Радуясь яркими чертами въ жизни описываемаго имъ лица, онъ долженъ сохранить и тѣни, которыя спорятъ съ лучами свѣта. Между тѣмъ, замѣтимъ, предварительно, что образъ мыслей въ человѣкѣ долженъ болѣе или менѣе зависѣть отъ событій и положенія, которое онъ занимаетъ: одинъ образъ чувствъ долженъ быть неизмѣненъ и независимъ. Чувства истины положительны и непреложны; мнѣнія истины прикладны.

Званіе помощника государственнаго секретаря по департаменту иностранныхъ дѣлъ, коимъ завѣдывалъ тогда лордъ Гренвиль, было возмездіемъ за дѣятельное участіе, которымъ Каннингъ содѣйствовалъ успѣху мѣръ правительства, умѣвшаго оцѣнить вліяніе, дарованіемъ его пріобрѣтенное въ нижнемъ парламентѣ. Въ 1801 году, по заключеніи Аміенскаго мира, Питтъ предвидѣлъ возможность сближенія Англіи съ Французскимъ правительствомъ и, слѣдовательно, ниспроверженіе системы имъ основанной. Онъ отошелъ отъ кормила государственнаго, ибо въ Англіи министръ и система его составляютъ одно цѣлое, нераздѣльное, и онъ не переживаетъ созданія своего.

Каннингъ послѣдовалъ его примѣру. Въ 1802 году былъ онъ снова избранъ членомъ парламента отъ города Трале въ Ирландіи и сталъ въ ряды оппозиціи: тогда главою министерства былъ Аддингтонъ (лордъ Сидмутъ), и преемникъ Питта имѣлъ въ его бывшемъ сподвижникѣ упорнаго и опаснаго противника. Новый министръ рѣшилъ объявленіе войны Англіи противъ Франціи и Каннингъ силою рѣчей своихъ много способствовалъ сей мѣрѣ; сіе обстоятельство доказываетъ, что, считаясь въ рядахъ оппозиціи, онъ не заключилъ безусловнаго союза съ Фоксомъ, Гренвилемъ и другими значительными начальниками, которые хотѣли ниспровергнуть перваго министра. Въ разрывѣ Аміенскаго мира, Питтъ съ новымъ торжествомъ и съ новымъ могуществомъ принялъ бразды управленія. Изъ рядовъ оппозиціи Каннингъ перешелъ снова въ союзники министерства, коего онъ былъ единомышленникомъ.

Въ эту эпоху получилъ онъ мѣсто въ казначействѣ адми-

рапейства. Смерть Питта, послѣдовавшая въ августѣ 1806 г., ниспровергла его министерство, которое лишилось въ немъ души и силы: образовалось новое, и Каннингъ оставилъ свое мѣсто. Постоянный и значительнѣйшій соперникъ Питта, Фоксъ, наслѣдовалъ по немъ его власть. Каннингъ, избранный въ парламентъ, остался вѣренъ памяти своего знаменитаго предводителя. Сторона оппозиціи обрѣла въ немъ значительную подпору. Недолго Фоксъ управлялъ судьбами Англіи: силы его истощенныя не могли болѣе продлить жизнь, изнуренную двойною расточительностью въ трудахъ и страстяхъ государственныхъ и въ излишествѣ пылкихъ страстей болѣе житейскихъ. Семь мѣсяцевъ послѣ смерти Питта умеръ и Фоксъ. Новыя перемѣны послѣдовали въ Сенъ-Джемскомъ кабинетѣ. Персеваль назначенъ былъ начальникомъ министерства, а Каннингъ принялъ тогда подъ свое вѣдомство департаментъ иностранныхъ дѣлъ. Въ это правленіе Англійскій флотъ сжегъ Копенгагенъ: Европа изумлена была симъ нарушеніемъ народнаго права, и вслѣдствіе сего Императоръ Александръ торжественнымъ актомъ, послѣдовавшимъ 26-го октября 1807, прервалъ всѣ сношенія политическія и торговыя съ Англіею. Общее негодованіе вынудило Каннинга оправдываться въ сей мѣрѣ рѣчью, произнесенною имъ въ нижней палатѣ 21 января 1808 года. По поводу неудачной экспедиціи Англичанъ въ августѣ мѣсяцѣ 1809 года, возникли въ засѣданіи нижней палаты между Каннингомъ и лордомъ Кастельре, тогда управлявшимъ министерствомъ военнымъ и колоніальнымъ, непріязненныя препія; поединокъ былъ послѣдствіемъ сей размолвки, и Каннингъ былъ раненъ въ ногу. Наканунѣ ихъ битвы, оба министра подали прошенія въ отставку. Кастельре непосредственно послѣ вступилъ снова въ министерство и занялъ мѣсто соперника своего, котораго удалось ему побѣдить и на мѣстѣ сраженія, и на поприщѣ власти. Съ того времени, до назначенія своего посланникомъ въ Лиссабонъ, въ 1814 г., не имѣлъ Каннингъ участія въ дѣлахъ правленія, но не сходилъ со сцены политической и подавалъ нерѣдко краснорѣчивый и значительный голосъ въ запросахъ, подлежащихъ преніямъ парламентальнымъ. Права

католиковъ Ирландскихъ имѣли въ немъ тогда смѣлаго заступника; но торжество мнѣній не всегда зависитъ отъ правоты своей и искусства своихъ поборниковъ. Укоренившееся временемъ однимъ временемъ искорениться можетъ. Усилія Каннинга не были увѣнчаны успѣхомъ; но когда торжество мнѣній его совершится въ свою чреду, тогда имя его произнесется съ памятью признательною въ день побѣды справедливости. Назначеніе Каннинга министромъ въ Лиссабонъ, которое совершенно было ничтожно для пользъ Англіи, почиталось какимъ-то милостивымъ разжалованьемъ, навлекло на него много насмѣшекъ, карикатуръ и оскорбленій отъ юмористической своевольности Англійскихъ журналистовъ. Въ 1816 году былъ онъ отозванъ изъ Лиссабона. Въ томъ же году избраніе его въ парламентъ отъ Ливерпуля не обошлось безъ шума и безпорядковъ, которые, впрочемъ, въ Англійскомъ быту не могутъ быть почитаемы за признаки важнаго или необыкновеннаго потрясенія.

XXXVI.

ОБЪ АЛЬМАНАХАХЪ 1827 ГОДА.

1827.

I.

Вотъ три запоздалые альманаха и разборъ нашъ еще болѣе запоздалый! Впрочемъ, книги наши не имѣютъ срочной поры, послѣ которой не удовлетворяютъ онѣ минутнымъ требованіямъ, временному любопытству. Русская книга всегда въ пору, можетъ быть именно отъ того, что она никогда не во время. Самое слово l' à propos не имѣетъ значенія ни въ языкѣ, ни въ быту нашемъ. Нѣтъ недостатка, который не граничилъ бы съ выгодою: не расточая силъ своихъ въ гоньбѣ за минутными успѣхами, мы, можетъ быть, сберегаемъ ихъ для трудовъ вѣковѣчныхъ; не волочась за молвою, мы, можетъ быть, сочетаемся законнымъ бракомъ со славою, то есть съ пользою, ибо истинная слава бываетъ возмездіемъ только истинной пользы. До сей поры всѣ книги наши, за такимъ малымъ исключеніемъ, что совѣстно и сказать, и за твореніями первоклассныхъ поэтовъ нашихъ, только одни упражненія въ письменной гимнастикѣ, по коимъ мы судимъ о степени способностей каждаго упражняющагося и о успѣхахъ общихъ въ самомъ искусствѣ. Этотъ приговоръ строгъ, но справедливъ. Докажемъ истину его слѣдующимъ вопросомъ: можетъ ли человѣкъ не запоздалый, а понятіями и умственными требованіями современникъ настоящей эпохи, можетъ ли онъ ограничиться однимъ продовольствіемъ Русскихъ сочиненій? Гдѣ могъ бы онъ не только найти источникъ для пріобрѣтенія новыхъ понятій, но даже побудительную силу для приведенія стараго запаса въ движе-

ніе? Грустно признаться, но большая часть литераторовъ нашихъ отстала не только отъ Европейскихъ собратій своихъ, но даже и отъ многихъ соотечественныхъ читателей. Мы удивляемся, что насъ мало читаютъ. Но кому же насъ читать? Наши необразованные люди не любятъ чтенія, а иначе они были бы образованными: образованнымъ у насъ читать почти нечего. Мы для однихъ не пишемъ, и пишемъ не для другихъ. Вотъ рѣшеніе задачи непріятной, но это такъ. Между тѣмъ, мы и не замѣчаемъ, что желаніе оправдаться въ замедленіи разбора книгъ, за нѣсколько мѣсяцевъ вышедшихъ, завело насъ слишкомъ далеко. Оправдываясь передъ читателями, ссоримся съ своею братіею, которая не посмотритъ на то, что и мы приносимъ повинную голову. Это и не по братски и не разсчетливо. Читатели—люди посторонніе, а къ тому же не злопамятные; писатели—свои люди, а между своими уже нѣтъ прощенія. Отвлеченныя же наши сѣтованія тѣмъ болѣе здѣсь неумѣстны, что мы собираемся дать отчетъ въ чтеніи трехъ книгъ, изъ коихъ каждая, по своему размѣру, имѣетъ внутреннее достоинство. Начнемъ съ гостьи небывалой и издалека.

Астраханская Флора. Карманная книжка на 1827 годъ. Заглавіе два раза вводитъ читателя въ обманъ. По первому прозванію подумаешь, что это сочиненіе ботаническое; по другому можно подумать, что, на подобіе другихъ карманныхъ книжекъ на такой-то годъ, и эта представляетъ собраніе сочиненій и переводовъ разныхъ писателей, однимъ словомъ, литературный альманахъ, хотя впрочемъ и это названіе принято у насъ злоупотребительно. Календарь, альманахъ—слова, изъ коихъ первое производится изъ Греческаго и Латинскаго языковъ, а другое, по мнѣнію иныхъ изъ Арабскаго, другихъ изъ Арабскаго и Греческаго, третьихъ изъ древняго Саксонскаго, означаютъ по смыслу своему раздѣленіе годоваго времени: во Французскихъ и Нѣмецкихъ альманахахъ, посвященныхъ литературѣ, все есть одно отдѣленіе, содержащее въ себѣ то, что именно до альманаха относится. Мы въ своихъ книжкахъ, отбросивъ существительное, удержали одно прилагательное. Это не бѣда: замѣчаемъ не въ укоризну, а такъ, глядя на другихъ,

пришлось къ рѣчи попедантствовать съ лексикономъ передъ глазами. Такимъ образомъ *Астраханская Флора* не флора, *Карманная книжка*—не альманахъ, и книжка едвали карманная, по крайней мѣрѣ, по нынѣшнему покрою нашихъ платьевъ. Но и это не бѣда. Г-нъ Розенмейеръ, издатель *Астраханской Флоры* и повидимому единственный участникъ въ стихахъ и въ прозѣ, въ ней помѣщенныхъ, можетъ быть, обманулъ нѣкоторыхъ читателей двусмысленнымъ заглавіемъ, но во многомъ трудами своими оправдалъ требованія тѣхъ, которые ожидаютъ отъ книги имъ предлагаемой чтенія пріятнаго. Это главное. Весело думать, что изъ Астрахани, которая донынѣ подчивала столицы одними хваленными арбузами, получаются стихи и проза, которые не были бы лишними въ любомъ столичномъ журналѣ. Весело узнать, что тамъ, гдѣ по предубѣжденію нашему, пускаются въ оборотъ одни ограниченныя понятія полудикой торговли, тамъ между тѣмъ мысли и чувства Клейста, Гердера, Шиллера, Маттисона, Тидге находятъ отзывъ и передаются намъ на языкѣ отечественномъ, вмѣстѣ съ мыслями и чувствами оригинальными. Для полнаго патріотическаго удовольствія, можно желать, чтобы книга, составленная въ Астрахани, была тамъ и напечатана; но видно легче имѣть авторовъ, чѣмъ типографщиковъ. У насъ есть Державинъ, но нѣтъ еще Дидота. Впрочемъ, на этомъ можно помириться: пускай пока печатаютъ въ столицахъ, а мыслятъ вездѣ. Однако же мы можемъ похвастаться старинною библіографическою рѣдкостью въ этомъ родѣ. Въ Тобольскѣ, въ типографіи В. Корнильева, въ 1791-мъ году, издавалось отъ Тобольскаго главнаго народнаго училища и съ дозволенія управы благочинія, ежемѣсячное сочиненіе, подъ названіемъ *Иртыша, превращающійся въ Ипокрену*. Панкратій Сумароковъ былъ главнымъ редакторомъ его и нѣкоторыя изъ его стихотвореній, тутъ помѣщенныхъ, перепечатаны послѣ въ *Аонидахъ*.

Въ людяхъ и въ книгахъ должно добираться всегда красокъ и оттѣнковъ характеристическихъ и мѣстныхъ: первые наши выборы въ *Астраханской Флорѣ* пали на слѣдующія статьи: поѣздка на ватагу, странствованіе по протокамъ Волжскимъ,

о концертѣ въ Астрахани, вечеръ въ Татарскомъ аулѣ, разговоръ между Астраханскимъ помѣщикомъ и тамошнимъ Армяниномъ. Изъ статей, здѣсь упомянутыхъ, узнаемъ о красотахъ живописной природы Астраханской, о нѣкоторыхъ любопытныхъ подробностяхъ, свойственныхъ тому краю, объ удовольствіяхъ общества въ городѣ; мы рады, что доходятъ до насъ слухи о концертахъ, которые пріучаютъ уши Персидскія, Индійскія, Армянскія къ согласнымъ строямъ Моцарта, Роде, Фильда, Чимарозы. Изъ послѣдней статьи узнаемъ о нравственности Армянина Хачатура Аракеловича, чего кажется, ни намъ, ни другимъ читателямъ нужды знать не было. Изъ переведенныхъ пьесъ въ прозѣ, лучшею по языку и отдѣлкѣ показалась намъ, отрывокъ изъ Маттисоновыхъ воспоминаній: *Гора Св. Бернарда*. Въ переводѣ нѣкоторыхъ парафразъ Гердеровыхъ, языкъ, кажется, слишкомъ тяжелъ: въ изложеніи подобныхъ аллегорій нужно болѣе игривости и свободы. Есть въ рукописи полный Русскій переводъ сего замысловатаго творенія Гердера; желательно, чтобы переводчикъ, извѣстный у насъ по своей ясной и твердой прозѣ, хотя и рѣдко онъ является у насъ на авторской сценѣ, напечаталъ свой переводъ, который, безъ сомнѣнія, будетъ подаркомъ нашей литтературѣ [1]). Въ числѣ другихъ переводовъ, помѣщенныхъ въ *Астраханской Флорѣ*, находимъ Нѣмецкую повѣсть: *Семейственный романъ* и *Волшебный колпакъ*, комедію Коцебу, переложенную на древніе Русскіе нравы. Въ нихъ нѣтъ прямо литтературнаго достоинства и напрасно занимаютъ онѣ около трети книжки, которая отъ нихъ толще, но не лучше. Нѣмецъ, передѣланный на Славянскій ладъ, смѣшеніе Коцебу, Добрыни и Бояна, все это слишкомъ сбивается на бенефисную литтературу нашихъ драматическихъ приспѣшниковъ. Можетъ быть, эта комедія на сценѣ и позабавила бы зрителей. — Переводчикъ ея, не хуже водевильныхъ переводчиковъ, былъ бы, какъ водится, послѣ представленія вызванъ кликушами-пріятелями на показъ передъ публику, но читатели хладнокровнѣе и разсудительнѣе зрителей; къ тому же, г-нъ Розенмейеръ, по выбору другихъ переводовъ своихъ, являетъ въ себѣ свѣду-

[1]) Рѣчь идетъ о Дмитріи Васильевичѣ Дашковѣ, бывшемъ Министрѣ Юстиціи.

щаго литтератора и, слѣдовательно, долженъ быть строже самъ къ себѣ. Намъ сдается, что издатель *Астраханской Флоры* еще молодой человѣкъ, недавно поступившій въ ряды писателей. По крайней мѣрѣ, желаемъ достовѣрности нашему предположенію; тогда, при дальнѣйшемъ упражненіи и прилежнѣйшемъ изученіи свойствъ нашего языка и образцовъ нашей литтературы, онъ, безъ сомнѣнія, успѣетъ исправить слогъ свой въ прозѣ и набить руку на стихи, которые у него иногда отзываются ученическою неопытностью. Если же онъ уже въ лѣтахъ и можетъ начесть нѣсколько шевроновъ на службѣ Музамъ, то, отбирая надежды свои на будущее, останемся съ благодарностью при томъ, что̀ есть, надѣясь только, что на будущій годъ Астрахань удержитъ свое мѣсто въ статистико-литтературной картѣ Россіи. Пускай только болѣе знакомитъ она Россію съ собою, съ природою своею, съ жителями, обычаями ихъ, съ преданіями историческими, и мы обѣщаемъ литтературному представителю ея уваженіе и признательность читающихъ соотечественниковъ. Къ сожалѣнію, многіе изъ нашихъ провинціальныхъ писателей просятся въ столичные и тѣмъ теряютъ цѣну свою и свой туземный вкусъ и запахъ. Для гостепріимнаго и радушнаго пріѣзда имъ въ столицахъ, нужно, напротивъ, оставаться имъ провинціалами; но, разумѣется, провинціалами умѣющими хорошо и дѣльно говорить о провинціи своей.

Литтературный Музеумъ. Въ Литтературномъ Музеумѣ явился вновь, какъ издатель, авторъ (*) и писатель заслуженный, которому наша литтература обязана хорошими журналами, хорошими переводами и сочиненіями. Радуемся новому обращенію его къ авторской дѣятельности. Начальная статья въ *Литтературномъ Музеумѣ*: Краткое обозрѣніе 1826 года, писанное издателемъ. Первая половина въ ней политическаго или, лучше сказать, газетнаго содержанія и кажется неумѣстна. У насъ еще нѣтъ и быть не можетъ языка политическаго; ибо ни языкъ оффиціальный, ни языкъ дипломатическій не есть еще истинный языкъ публициста. Краткое обозрѣніе современныхъ событій не политическая исторія, а просто цвѣтистая амплификація современ-

(*) Владиміръ Измайловъ.

ныхъ газетъ. Зачѣмъ же автору приниматься не за свое дѣло? События, которыя онъ описываетъ, еще свѣжи въ памяти читателей современныхъ; потомкамъ же описаніе его будетъ излишне и недостаточно, ибо оно ничего имъ не разгадаетъ и ни въ чемъ не различествуетъ съ тѣмъ, что̀ газеты передали подробнѣе и полнѣе. Есть время для лѣтописей, которыя нынѣ называются газетами, придетъ время и для исторіи. Современники могутъ быть только рукописными лѣтописцами или печатными газетчиками. Въ переходѣ отъ политики къ литературѣ, авторъ изложилъ весьма хорошо нѣсколько нравственныхъ мнѣній о самомъ достоинствѣ литературы нашей, и заключенія его—не благосклоннѣе тѣхъ, которыя мы обнаружили выше. „Давно сказано, говоритъ онъ, что нѣтъ у насъ главнаго достоинства: мыслить и заставлять мыслить другихъ“.

Только явленія этой *безмысленности* приписываемъ мы съ авторомъ причинамъ различнымъ. Онъ полагаетъ, что писатели наши претворяются и сжимаются, что они, стоящіе выше народа своего, не простираютъ полета своего за предѣлы нѣкоторой посредственности. Мы, съ своей стороны, не подозрѣваемъ ихъ въ лукавствѣ и признаемъ въ нихъ болѣе откровенности. Писатели наши, за исключеніемъ весьма, весьма немногихъ, не выше народа своего, ибо нельзя опредѣлить высоту ихъ тѣмъ, что они лучше бо́льшей части читателей своихъ знаютъ, гдѣ поставить ѣ или *е* и какъ удовлетворить прихотливымъ требованіямъ нашего письменнаго языка. У насъ есть государственные правители, полководцы, негоціанты, художники, а нѣтъ ни по одной изъ частей ихъ сочиненія полнаго, руководства надежнаго: слѣдовательно, не народъ въ долгу у писателей, но писатели у народа.

Въ литературной половинѣ обозрѣнія находимъ отчетъ о книгахъ, ознаменовавшихъ, преимущественно, письменное бытіе 1826 года; въ сужденіяхъ автора отзывается вкусъ вѣрный и опытный, за исключеніемъ нѣкоторыхъ приговоровъ, подлежащихъ сомнѣнію. Напримѣръ, мы согласны съ авторомъ, что въ твореніяхъ Глинки (младшаго) виденъ прекрасный отпечатокъ его души, ума и дарованія, но находимъ неумѣстными

слѣдующія слова: „въ подражаніяхъ Корану Пушкинъ является счастливымъ соперникомъ Глинки". О мастерѣ своего дѣла, о поэтѣ, который, по словамъ самого г-на Измайлова, готовъ, кажется, захватить одинъ высоты Парнаса, нельзя сказать, что онъ счастливый соперникъ человѣка съ дарованіемъ, это правда, и съ дарованіемъ отличнымъ, но все не первенствующимъ. Вообще находимъ, что опредѣленія автора во всей этой статьѣ слишкомъ безусловно похвальны. У насъ обыкновенно нѣтъ средины между панегирикомъ и сатирою, похвалою и бранью. Боясь раздражить самолюбіе ближняго, мы настраиваемъ рѣчь свою на торжественный ладъ и похожи на жрецовъ, колѣнопреклоненныхъ передъ кумирами. Авторъ обозрѣнія позволяетъ себѣ общія укоризны, но въ частномъ примѣненіи онъ держится неотступно похвалы неограниченной. Кажется, должно слѣдовать совершенно противному правилу.

Въ общемъ объемѣ есть всегда нѣчто хорошее и удовлетворительное; въ частности должны немипуемо быть недостатки. Указывайте на нихъ смѣло и безъ лицепріятія, а не то въ вашихъ поголовныхъ мадригалахъ ничего не будетъ поучительнаго. Въ доказательство, что раннему историку трудно быть зрѣлымъ въ сужденіяхъ своихъ, замѣтимъ противорѣчіе, въ которое впалъ авторъ какъ политикъ и литераторъ. Въ первой половинѣ обозрѣнія своего, на стр. 7, говоритъ онъ о Наполеонѣ «и раздавшаяся по землѣ слава едва не умолкла на его гробѣ подъ стопомъ вселенныя и укоризнами вѣка». Въ другой половинѣ, упоминая о сочиненіи Пушкина, говоритъ онъ: «въ стихотвореніи: *Наполеонъ*, хотя и не столь обильномъ великими красотами (какъ стихотвореніе: *къ Овидію*), чего не искупятъ сіи мысли и стихи:»

Великолѣпная могила!...
Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ,
Народовъ ненависть почила
И лучъ безсмертія горитъ.

Если мы, по убѣжденію своему, не могли безусловно похвалить эту статью, которая, впрочемъ, отличается многими хорошими мыслями и благородными чувствами и вообще писана

пріятнымъ слогомъ, то спѣшимъ съ удовольствіемъ похвалить безпрекословно и по всѣмъ частямъ другую статью издателя: *Русскій наблюдатель въ XIX-мъ вѣкѣ*. Тутъ мысли, мнѣнія и самое изложеніе оныхъ—все примѣчательно, все убѣдительно. Не связанный посторонними уваженіями, авторъ говоритъ независимо и откровенно все, что внушено ему умомъ просвѣщеннымъ, сердцемъ благороднымъ и патріотическою благонамѣренностью, и говоритъ языкомъ образованнаго литтератора. Однимъ словомъ, *Русскій наблюдатель въ XIX-мъ вѣкѣ* есть и Европейскій писатель XIX-го вѣка.

Рѣчь въ память Исторіографу Россійской Имперіи, произнесенная въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ членомъ онаго Н. Иванчинымъ-Писаревымъ, и напечатанная въ *Литтературномъ Музеумѣ*, содержитъ въ себѣ много хорошаго. Должно сперва похвалить автора за его намѣреніе, которое въ этомъ случаѣ уже похвальное дѣйствіе. Онъ убѣдился въ неприличіи молчанія нашихъ литтераторовъ о писателѣ, который болѣе или менѣе образовалъ все пишущее поколѣніе наше и воздвигнулъ на голой равнинѣ отечественной литтературы зданіе великолѣпное и вѣковѣчное, памятникъ предкамъ отъ современниковъ потомству. И въ признательномъ благоговѣніи къ знаменитому согражданину, заплатилъ онъ ему по силамъ дань уваженія и преданности. Чѣмъ заслуги, оказанныя народу писателемъ истинно-народнымъ важнѣе, тѣмъ свойственнѣе почувствовать имъ цѣну человѣку благомыслящему и образованному, по тѣмъ труднѣе показать ихъ въ удовлетворительномъ свѣтѣ и оцѣнить ихъ достойнымъ образомъ. Не боясь оскорбить автора рѣчи, скажемъ откровенно, что и послѣ его творенія, заслуживающаго уваженія, Карамзинъ еще ожидаетъ панегириста себѣ равнаго. Но, повторяемъ, все не менѣе и побужденіе и самое исполненіе во многихъ частяхъ приноситъ честь чувствамъ автора. Жаль, что панегиристъ въ рѣчи своей руководствовался нѣкоторыми ошибками журнальныхъ некрологовъ Карамзина. Онъ скончался не на 61-мъ году своей жизни, а 59-ти лѣтъ. Нѣтъ сомнѣнія, что смерть Императора Александра поразила глубокою скорбью сердце его, любви и признательности испол-

Библіотека

ненное, но нельзя сказать, чтобы она была причиною и его смерти. И слова панегириста: „онъ не могъ пережить Александра", не имѣютъ исторической достовѣрности. Твердый, хотя и чувствительный, проникнутый неограниченною довѣренностію къ Провидѣнію, онъ оплакивалъ Государя, котораго онъ любилъ не подъ однимъ величіемъ царскимъ, а и въ простотѣ частныхъ сношеній; но между тѣмъ, какъ семьянину, гражданину и писателю, Карамзину предстояли еще на пути жизни и высокія обязанности и свѣтлыя надежды. Предположенія автора о сѣтованіи Карамзина, что сограждане и собратія его не отдавали ему должной справедливости, что завистливые, жалкіе пигмеи, искушая душу великаго писателя, нерѣдко и его заставляли имѣть нужду въ стоической твердости, убѣдительно и прекрасно опровергаются словами Карамзина изъ письма его, напечатаннаго въ *Литературномъ Музеумѣ*. Языкъ панегириста довольно хорошъ: видно, что онъ изучалъ творенія писателя, котораго хвалитъ. Въ иныхъ мѣстахъ встрѣчаемъ черты истиннаго краснорѣчія сердечнаго; въ другихъ можно-бы требовать болѣе спокойствія и менѣе восклицаній. Обращеніе автора въ послѣднемъ періодѣ рѣчи, кажется, совершенно неумѣстно и отзывается семинаристскимъ витійствомъ. — *Приказъ съ того свѣта*, повѣсть г-на Сомова, — шутка, свободно и весело разсказанная. Въ числѣ поэтовъ, участвовавшихъ стихотвореніями въ составленіи *Литературнаго Музеума*, находимъ имена: Пушкина, А. С., Пушкина, В. Л., Гнѣдича, Ѳ. Глинки, Баратынскаго, князя Вяземскаго, Рапча и другихъ. Читатели могутъ судить о пріятномъ разнообразіи стихотворнаго отдѣленія *Музеума*, по одному списку напменованныхъ поэтовъ. Нельзя безъ сердечнаго умиленія прочесть прекрасные стихи, написанные къ издателю поэтомъ, коего имя угадается безъ подписи каждымъ читателемъ, свѣдущимъ въ Русской поэзіи. Отвѣтъ издателя откликнулся также поэтически на поэтическій голосъ знаменитаго пѣснопѣвца.

Сѣверные Цвѣты, это годичное собраніе стиховъ и прозы, поддерживаетъ свою славу. Иной журналистъ сказалъ бы, что баронъ Дельвигъ любимый садовникъ въ цвѣтникахъ Музъ и

Граций и что цвѣты, которые приноситъ онъ на ихъ алтарь, свѣжи, душисты и махровы.

Не желая отбивать хлѣбъ у ближняго и его передразнивать, мы скажемъ простою и низкою прозою, что *Сѣверные Цвѣты* — лучшій изъ альманаховъ, выходящихъ нынѣ въ Россіи, и что можетъ онъ смѣло выдержать соперничество съ лучшими литературными альманахами Европейскими. Въ прежніе годы баронъ Дельвигъ занимался однимъ составленіемъ Альманаха, который издаваемъ былъ книгопродавцемъ Слепушкинымъ. Въ книжкѣ нынѣшняго года не видать посторонняго участія, и тѣмъ болѣе литературное предпріятіе поэта, извѣстнаго читателямъ съ столь выгодной стороны, заслуживаетъ ихъ поощрительное одобреніе. Книжка раздѣляется на прозу и стихи. Въ первомъ отдѣленіи есть любопытное письмо объ Обществѣ Поощренія Художниковъ, учрежденномъ въ Петербургѣ, и служащее продолженіемъ четырехъ писемъ: О состояніи художествъ въ Россіи (въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ* 1826 года). Подобныя свѣдѣнія о предметахъ изящной статистики государственной занимательны и полезны вездѣ, а тѣмъ болѣе у насъ, гдѣ все дѣлается какъ будто подъ спудомъ и тихомолкомъ. Должно признаться, что изящныя искусства у насъ еще не въ большой чести. Этому дивиться не для чего: вспомнимъ, что просвѣщеніе не разливается у насъ постепенно, ровною и широкою рѣкою, а выбивается тамъ и здѣсь сильными и быстрыми ключами. У насъ должны быть промежутки въ объемѣ успѣховъ общей образованности; въ немъ, какъ въ Москвѣ, дворцы возлѣ хижинъ, болота, примыкающія къ садамъ, Азія, тѣсняя Европою, и Европа, смятая Азіею. Напрасно авторъ письма повторяетъ сказанное и пересказанное до пресыщенія, что Русская публика не любитъ Русскаго и проч. Невниманіе ея, или недовольно попечительное вниманіе, къ Русскимъ художникамъ объясняется не тѣмъ, что они Русскіе, но скорѣе тѣмъ, что изящныя художества и вкусъ къ симъ роскошнымъ плодамъ уже зрѣлой образованности у насъ до сей поры еще только счастливыя случайности, а не общій обычай; что они частныя и раннія прививки, а не природное прозябеніе и народная

потребность. Отъ чего нѣтъ у насъ театра, въ истинномъ народномъ смыслѣ? Отъ чего нѣтъ у насъ ни одного великаго музыканта, ни по сочиненіямъ, ни по исполненію, ни одного совершеннаго пѣвца, ни одного знаменитаго танцовщика? Неужели и здѣсь невниманіе публики, какъ пагубное колдовство, умерщвляетъ дарованіе въ самомъ зародышѣ, не даетъ ни рукамъ, ни ногамъ расправиться, ни голосу получить звучность, гибкость и мягкость, ни музыкальнымъ идеямъ развиться и проч.? Дѣло въ томъ, что вкусъ къ произведеніямъ изящныхъ художествъ есть у насъ пока одна, если можно сказать, аристократическая принадлежность, и частью также прививная; что этотъ вкусъ, по бо́льшей части, только одна изъ отраслей роскоши богатыхъ вельможъ, и потому, если кто изъ нихъ и собираетъ картины или изваянія, то хочетъ уже именно предметовъ роскоши Европейской и покупаетъ единственно произведенія мастеровъ знаменитѣйшихъ. Тутъ до патріотизма дѣла нѣтъ. Любителю и знатоку живописи все же пріятнѣе имѣть въ своей галлереѣ Рафаэля, чѣмъ Ефрема, хотя онъ и коренной *Россійскихъ странъ маляръ*. Замѣтимъ еще, что нынѣшніе успѣхи наши въ художествахъ возрастаютъ въ одно время съ пониженіемъ частныхъ финансовъ нашихъ, и что хлѣбные неурожаи помѣщиковъ должны препятствовать обильной жатвѣ и художниковъ. Не всѣ же князья Юсуповы, Голицыны, чтобы поддерживать искусства и художниковъ большими денежными тратами. Однакожъ, нѣтъ сомнѣнія, что учрежденія художественныхъ обществъ, выставокъ произведеній искусства, что всѣ сіи средства соревнованія и поощренія, при стараніи писателей и журналистовъ — обращать вниманіе согражданъ на успѣхи наши по сей части народнаго богатства, послужатъ къ обширнѣйшему и повсемѣстному распространенію изящнаго вкуса и просвѣщеннаго мотовства. Желательно, чтобы языкъ и слогъ упомянутыхъ писемъ былъ болѣе въ ладу съ содержаніемъ и тщательнѣе обработанъ. Въ нихъ часто встрѣчаешь обороты рѣчей вовсе не авторскіе, а приказные, какъ напримѣръ: *изданіе скоро имѣющее выдти въ свѣтъ*. — За этою статьею слѣдуетъ письмо Батюшкова, писанное въ 1814 году; оно, на-

противъ, отличается красивостью и примѣрнымъ искусствомъ въ письменномъ слогѣ. Должно радоваться, что съ нѣкотораго времени начали показывать писателей нашихъ запросто и печатать ихъ, такъ-сказать, въ домашнемъ ихъ быту. Эти нескромности приносятъ не одно удовольствіе любопытнымъ читателямъ, но и пользу языку, доставляя матеріалы для образованія средняго парѣчія, чуждаго чопорной строгости книжнаго и своевольности разговорнаго. Отрывки писемъ изъ Италіи, здѣсь же напечатанные, занимательны и пріятны; легкою свободою слога непринужденнаго и болѣе умно-свѣтскаго, чѣмъ учено-авторскаго, облекаются въ нихъ не только бѣглыя черты веселаго остроумія, но часто и свѣтлыя замѣчанія ума наблюдательнаго. *)

Въ двухъ повѣстяхъ: *Русая коса* и *Юродивый* нѣтъ ничего весьма замѣчательнаго, но ихъ прочтешь съ удовольствіемъ. Въ послѣдней болѣе дѣйствія и, слѣдовательно, болѣе сущности, чѣмъ въ первой; но смерть Юродиваго, пуля артилерійскаго офицера, видно не мастера своего дѣла, которая попадаетъ не въ противника, а въ посторонняго свидѣтеля, не смотря на то, что другіе свидѣтели взялись держать его, все это довольно сбивчиво и неестественно. Вообще, кажется, наши кандидаты въ Вальтеры-Скотты не попали еще на истинный путь. Они пишутъ не съ природы, а съ куколъ и болвановъ, которые одѣли они по своему; портреты и картины ихъ, не изображая лицъ и явленій, знакомые намъ по слуху и наблюденіямъ, не отражаются и въ насъ вѣрно и глубоко. Вся эта фантасмагорія скользитъ какъ въ туманѣ. Если романисту не быть вѣрнымъ живописцомъ нравовъ и лицъ, то долженъ онъ въ вымыслахъ своихъ и отвлеченныхъ изображеніяхъ стремиться къ нравоучительной цѣли. Средства его въ такомъ случаѣ будутъ медлительнѣе и дѣйствіе холоднѣе, но по крайней мѣрѣ все достигнетъ онъ до чего-нибудь. Г-нъ Булгаринъ, кажется, постигнулъ истину этого правила въ разсказѣ, напечатанномъ въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ*: онъ въ лунную ночь, по развали-

*) *Позднѣйшее примѣчаніе*: Вѣроятно говорится здѣсь о письмахъ Василія Александровича Перовскаго.

намъ Альмодаварскимъ, сквозь военные ужасы и мимо какой-то сумасшедшей, ведетъ читателей къ слѣдующему нравоученію, которое хотя и не очень ново, но не менѣе того очень нравоучительно: „О люди! зачѣмъ вы терзаете другъ друга, когда, дѣлая добро, можете быть счастливыми".

Именно такъ! что̀ дѣло, то дѣло. Что̀ можно сказать противъ этого? Рецензентъ *Сѣверной Пчелы* объявляетъ, что статья содержитъ въ себѣ *истинную*, трогательную повѣсть объ одной Испанкѣ, лишившейся ума въ ту минуту какъ извергимародёры убили ея жениха. Нечего сказать и противъ этого! Кому же и знать объ истинѣ и трогательности повѣствованія г. Булгарина, какъ не *Сѣверной Пчелѣ*?

Въ *Чудесной спутницѣ* и въ *Осенних днях* узнаемъ кисть Ѳ. Глинки. Живопись и краски его нѣсколько однообразны; но свѣтлый сумракъ, которымъ онъ одѣваетъ вымыслы воображенія, недовольно разноцвѣтнаго, имѣетъ какую-то прелесть. Только пора, кажется, автору, одаренному истиннымъ умомъ и чувствомъ, настроить талантъ свой на новый ладъ, а то по неволѣ назовешь однообразныя аллегоріи его знакомыми незнакомками. Статья: *О примѣчательномъ слѣпомъ*—не безъ занимательности. Любопытно бы знать, познакомился-ли съ Чесноковымъ слѣпой Англійскій путешественникъ Гольманъ. Такая встрѣча была бы довольно странная и достопамятная.

Сущность *Выдержекъ изъ Записной Книжки* извѣстна читателямъ *Телеграфа* и читателямъ другихъ журналовъ по критическимъ замѣчаніямъ на многія изъ выдержекъ, и потому не почитаемъ за нужное говорить о тѣхъ, которыя напечатаны въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ*.

Отъ прозы, у насъ какъ-то все еще худо цвѣтущей и напоминающей пѣсню: Ахъ! какъ бы на цвѣты да не морозы, перейдемъ къ поэтическому цвѣтнику: онъ разнообразнѣе и богаче.

Александръ Пушкинъ и здѣсь, какъ и въ самой поэзіи нашей, господствуетъ.

Письмо Татьяны, изъ 3-й *пѣсни Евгенія Онѣгина*, и ночной разговоръ Татьяны съ ея нянею, изъ 3-й *главы Евгенія Онѣгина*

(вотъ точка претыновенія для будущихъ нашихъ Кеппеновъ; можетъ возникнуть споръ о существованіи двухъ Евгеніевъ Онѣгиныхъ: поэмы и романа),—двѣ прелести и двѣ блистательныя побѣды, одержанныя всемогуществомъ дарованія надъ неподатливымъ и мало поворотливымъ языкомъ нашимъ. Письмо и разговоръ Татьяны не отзываются авторствомъ: въ нихъ слышится женскій голосъ, гибкій и свѣжій. Авторъ сказывалъ, что онъ долго не могъ рѣшиться, какъ заставить писать Татьяну, безъ нарушенія женской личности и правдоподобія въ слогѣ: отъ страха сбиться на академическую оду, думалъ онъ написать письмо прозою, думалъ даже написать его по Французски, но, наконецъ, счастливое вдохновеніе пришло кстати и сердце женское запросто и свободно заговорило Русскимъ языкомъ: оно оставило въ сторонѣ Словарь Татищева и Грамматику Меморскаго.

Баратынскій, въ сказкѣ: *Телема и Макарѣ*, счастливо перевелъ Вольтера; но въ посланіи къ Богдановичу едва ли не еще удачнѣе поддѣлался онъ подъ него. Отличительныя свойства посланій поэта, образцоваго въ семъ родѣ, непринужденный языкъ, веселое остроуміе, переходы свободные, мысли свѣтлыя и свѣтло выраженныя, отличаютъ и Русское посланіе. Можно только пенять поэту, что онъ предалъ свою братію на оскорбленіе мнимо-классическихъ книжниковъ нашихъ, которые готовы затянуть пѣсню побѣды, видя или думая видѣть въ рядахъ своихъ могучаго союзника. Они, пожалуй, по простотѣ, или по лукавству, станутъ теперь рѣшительно ссылаться на слова Баратынскаго:

. . . . Новѣйшіе поэты
Всего усерднѣе поютъ свою тоску.
На свѣтѣ тошно жить, такъ бросьтеся въ рѣку!
Иной бы молвилъ имъ: Увы, не въ этомъ дѣло!
Ни жить имъ, ни писать еще не надоѣло.
И правду безъ затѣй сказать тебѣ пора:
Пристала къ Музамъ ихъ Нѣмецкихъ Музъ хандра.
Жуковскій виноватъ: онъ первый между нами
Вошелъ въ содружество съ Германскими пѣвцами.

Стихи хороши, очень хороши, насмѣшливы и остроумны; но должно помнить, что поэтъ шутитъ, хотя мимоходомъ и намекалъ на истину. Фонтенель говорилъ, что будь у него всѣ истины

въ горсти, онъ не раскрылъ бы руки. Не каждый умѣетъ понимать истину: иной подумаетъ, что поэтъ и въ самомъ дѣлѣ признаетъ хандру отличительнымъ свойствомъ музы Виланда, Шиллера и Гёте, что онъ не шутя обвиняетъ Жуковскаго въ сближеніи Русской поэзіи съ Германскою.

Отрывокъ изъ поэмы: *Наталья Долорукая* даетъ желаніе увидѣть скорѣе въ цѣломъ новое произведеніе пѣснопѣвца Чернеца и переводчика *Абидосской Невѣсты*. Можемъ порадовать любителей отечественной поэзіи обѣщаніемъ, что эта поэма выйдетъ въ свѣтъ къ зимѣ, и что авторъ ея хочетъ, сверхъ того, заняться новымъ изданіемъ перевода: *Абидосской Невѣсты*, въ которомъ исправитъ онъ нѣкоторыя отступленія отъ подлинника.

Талантъ барона Дельвига имѣетъ отличительныя свойства, не сливающіяся съ господствующими признаками нашего времени. Поэзія его, какъ воды Аретузы, сохраняющія свѣжую сладость свою и при впаденіи въ море, протекаетъ между нами, не заимствуя ни красокъ, ни вкуса разлившагося потока. Первобытная простота, запахъ древности, что-то чистое, независимое, цѣлое въ соображеніяхъ и въ исполненіи, служатъ знаменіемъ и украшеніемъ лучшихъ его произведеній. Его Русскія пѣсни и стихотворенія во вкусѣ древнихъ, какъ, напримѣръ, *Друзья и Геній-хранитель*, напечатанныя въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ* нынѣшняго года, поражаютъ какою-то прелестью древнею, но никогда не старѣющею: такъ, отыскиваемые драгоцѣнные памятники искусства вѣковъ первобытныхъ занимаютъ почетное мѣсто и посреди блестящихъ и гордыхъ свидѣтельствъ новаго просвѣщенія. Если поэтъ и здѣсь подражатель, то, по крайней мѣрѣ, онъ не ученическій переписчикъ: перерождаясь въ древнихъ, онъ даетъ старинѣ своеобразіе новизны.

Рыбаки, идиллія г-на Гнѣдича, уже извѣстная любителямъ поэзіи нашей, перепечатана здѣсь съ нѣкоторыми перемѣнами и прибавленіями, но не такими, о коихъ говоритъ рецензентъ *Сѣверной Пчелы*. Напрасно указываетъ онъ на нѣсколько новыхъ стиховъ, въ началѣ второй части идилліи: въ этомъ мѣстѣ находятся только легкія поправки, а значительное дополненіе встрѣчается въ первой части, въ описаніи слѣпца. Хорошо хвалить

поэта, достойнаго уваженія, по всѣмъ отношеніямъ; но еще лучше напередъ прочесть его, чтобы знать по крайней мѣрѣ, что и какъ сказать о немъ [1]). Эта Русская идиллія также есть попытка, заслуживающая вниманіе цѣнителей отечественной поэзіи. Не входя въ подробное изслѣдованіе, скажемъ, что если есть мѣсто идилліямъ и эклогамъ въ понятіяхъ нашихъ современныхъ, то быть имъ въ окладкахъ, присвоенныхъ барономъ Дельвигомъ и г-мъ Гнѣдичемъ. Пастушество Фонтенеля, Сумарокова и послѣдователей ихъ, также смѣшно, какъ парики, которыми были павьючены Греческіе и Римскіе герои стараго Французскаго театра. Исправленія, сдѣланныя поэтомъ во второмъ изданіи своей идиллія, служатъ всѣ ей въ пользу: только жаль, что онъ оставилъ еще нѣсколько неисправностей и несообразностей; напримѣръ:

Въ тѣ тайныя чувства минуты, когда вдохновенье
Отъ неба нисходитъ.

Въ первомъ полустишіи смыслъ совершенно сбитъ отъ неправильной разноски словъ. У насъ много свободы въ сочетаніи существительныхъ съ прилагательными и другихъ частей рѣчи, но все же должны быть границы и этой свободѣ. А здѣсь выходитъ: *не тайныя минуты чувства, а тайныя чувства минуты.* Въ началѣ оба рыбака разнаго возраста:

Одинъ престарѣлый, другой лишь бородой опушался.

Въ продолженіи рыбакъ младшій напоминаетъ старшему, какъ будто о младости, проведенной вмѣстѣ, говоря:

---

[1]) Иной подумаетъ, что *Телеграфу* вмѣняется въ непреложную обязанность противорѣчить литературнымъ сужденіямъ *Сѣверной Пчелы;* но что же дѣлать, когда она какъ будто вмѣняетъ себѣ въ обязанность противорѣчить иногда истинѣ? Непреложная обязанность критики есть служеніе истинѣ и пользѣ положительными и отрицательными средствами, то-есть: преподаваніемъ здравыхъ мнѣній и изобличеніемъ несправедливыхъ. Ас. *).

*) *Позднѣйшее примѣчаніе:* Многія статьи мои, напечатанныя въ *Телеграфѣ*, означены подписью *Ас.*, то-есть сокращеніемъ слова *Асмодей.* А это прозвище приписано было мнѣ Арзамасскимъ обществомъ, въ числѣ другихъ прозвищъ, взятыхъ изъ балладъ Жуковскаго и розданныхъ прочимъ членамъ. Помнится мнѣ, что послѣ другіе Лже-Асмодеи присвоивали себѣ мое имя, равно какъ и званіе *Журнальнаго смѣшника*, которымъ я иногда подписывалъ свои журнальныя замѣтки. Все это дѣло старое, и здѣсь упоминается только для присяжныхъ библіофиловъ и *журналофиловъ*.

Про рѣки знакомыя, гдѣ мы учились ловлѣ,
Про долы зеленые, гдѣ мы играли младые,

Въ словахъ младшаго рыбака боярину на вопросъ его:

Но въ промыслѣ ты не лѣнишься-ли, рыбарь, для пѣсней?

—нѣтъ отвѣта на сказанное.

Предлагая здѣсь наши придирки маловажныя и, можетъ быть, сомнительныя, мы, по крайней мѣрѣ, доказываемъ, что прочитали произведеніе поэта со вниманіемъ, которое онъ заслуживаетъ.

Читатели найдутъ въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ*, сверхъ всего упомянутаго нами, стихи Веневитинова, котораго смерть похитила у музъ и отечества, въ полномъ цвѣтѣ прекраснѣйшихъ надеждъ; стихи Плетнева, исполненные тихаго чувства и примѣрнаго сладкозвучія, Ѳ. Глинки, князя Вяземскаго, Ѳ. Тумапскаго, Илличевскаго, Ободовскаго, Озпобишина, Глѣбовыхъ (Александра и Дмитрія), Ротчева, Востокова (продолженіе полезнаго и вниманія достойнаго перевода Сербскихъ пѣсней), В. Григорьева, И. Балле, П. Шкляревскаго, В. Шеміота, И. Великопольскаго, М. Яковлева и одного поэта безъименнаго, но подъ № 1....8... Между сего множества именъ, читатели замѣтятъ отсутствіе Языкова и производство нѣкоторыхъ рядовыхъ стихотворцевъ изъ линейныхъ альманаховъ въ списокъ гвардейскаго легіона. Посмотримъ, не выпишутъ-ли ихъ со временемъ въ Парпасскій гарнизонъ за стихи, неприличные званію истиннаго поэта.

II.

И все то благо, все добро!
Державинъ.

Сколько альманаховъ на 1827-й годъ и рядъ ихъ еще не сомкнутъ: запоздалые явятся послѣ. Сколько открывшихся поприщъ для суетности поэтовъ и прозаистовъ, пожпвокъ для читателей, требующихъ разнообразной, но не обременительной пищи, для критиковъ, нуждающихся въ работѣ полегче и приспособленной къ ихъ трудолюбію. Нельзя не порадоваться этой письменной промышленности, нѣсколько оживившей застой

нашей литтературной торговли. Да могутъ-ли, спросятъ, при маломъ числѣ нашихъ зажиточныхъ промышленниковъ въ литтературѣ, поддержаться достойнымъ образомъ предпріятія слишкомъ частыя и частныя? Нѣтъ, безъ сомнѣнія: нѣкоторые альманашные домы, пораженные банкрутствомъ, оказываются несостоятельными передъ читателями своими. Паденія эти прискорбны, но все предпочитаю ихъ совершенной безжизненности на Парнасской биржѣ; къ тому же, въ числѣ сомнительныхъ бумагъ, пущенныхъ въ оборотъ, встрѣчаются иногда бумаги вѣрныя, залоги надежные, которые выручить можно послѣ. Одни журнальные монополисты гнѣваются; но, какъ мы уже сказали, до журналистовъ читателямъ дѣла нѣтъ. А какъ ни говори, писатели созданы для читателей, а не для журналистовъ, хотя если спросишь у сихъ послѣднихъ чистосердечнаго признанія, то они готовы сказать, что и читатели и писатели созданы для нихъ, какъ золотыхъ дѣлъ мастеръ, въ баснѣ Красицкаго, говоритъ, что посы созданы для табакерокъ. Но таковымъ мастерамъ золотыхъ и журнальныхъ дѣлъ можно сказать съ Мольеромъ: Vous êtes orfèvre M. Josse. Нѣтъ сомнѣнія, что появленіе книгъ, занимательнѣйшихъ по пріятности и пользѣ, было бы утѣшительное, но, простирая наши требованія и надежды далѣе и выше, не станемъ съ излишнею спѣсью и неумѣстнымъ презрѣніемъ отвергать и скромное вспомоществованіе. Бѣдный сердится не на полтинникъ, который у него въ карманѣ, а на то, что у него нѣтъ десяти рублей. Возьмемъ примѣръ съ него въ нашей литтературной бѣдности, и пока не разбогатѣемъ, не станемъ прятать пустыхъ рукъ въ карманъ, когда добрые люди предлагаютъ намъ посильныя подаянія.

Приступимъ къ бѣглому обозрѣнію шести альманаховъ, лежащихъ передъ глазами, и начнемъ съ совѣта покупателямъ и читателямъ книгъ: не вѣрить намъ на слово и, не смотря на приговоры наши, повѣрять ихъ собственнымъ испытаніемъ; убѣдительно имъ совѣтуемъ купить и прочесть всѣ шесть альманаховъ, о коихъ идетъ здѣсь рѣчь, и всѣ предыдущіе и въ свое время всѣ послѣдующіе. Русскія книги, по сравненію, довольно дороги отдѣльно; но за то дешевы въ общемъ годовомъ итогѣ.

За нѣсколько сотъ рублей въ годъ поквитаетесь вы по совѣсти съ Русскою литературою.

Сѣверная Лира можетъ, кажется, быть признана за представительницу Московскихъ музъ. Имена писателей, въ ней участвующихъ, принадлежатъ по бо́льшей части Московскому Парнассу: не знаю, можно ли сказать: Московской школѣ, хотя точно найдутся признаки отличительные въ новомъ здѣшнемъ поколѣніи литературномъ. Вообще вся наша литература мало имѣетъ въ себѣ положительнаго, яснаго, есть что-то неосязательное, облачное въ ея атмосферѣ. Въ климатѣ Московскомъ есть что-то и туманное. Пары зыбкаго идеологизма носятся въ океанѣ безпредѣльности. Впрочемъ, изъ этихъ тумановъ можетъ еще проглянуть ясное утро и отъ нихъ останутся однѣ яркія блестки на свѣжей зелени цвѣтовъ. Одинъ изъ издателей *Сѣверной Лиры*, г-нъ Рапчъ, уже знакомъ съ выгодной стороны читателямъ; опыты другаго носятъ признаки дарованія. Судя по нѣкоторымъ отрывкамъ, кажется, онъ занимается литературою восточныхъ народовъ: такое изученіе можетъ принести много пользы нашей, если оно доведено будетъ съ успѣхомъ до конца. Полуисполненія, какъ въ другихъ сферахъ, такъ и въ литературѣ, ни къ чему, или, по крайней мѣрѣ, къ немногому служатъ. Мало пользы, да и радости мало, видѣть подъ маловажными статьями въ прозѣ или въ стихахъ отмѣтку, что это подражаніе Персидскому, Арабскому, Монгольскому и проч. и проч. Такая пестрота даже и не ослѣпительна. Изъ сочиненій г-на Рапча, здѣсь помѣщенныхъ, важнѣйшія — въ прозѣ: *Сравненіе Петрарки и Ломоносова* (по крайней мѣрѣ думаемъ, что оно писано самимъ издателемъ, хотя подъ статьею означена одна заглавная буква: Р).; въ стихахъ: *Отрывокъ изъ Освобожденнаго Іерусалима:* смерть Свенона. Вообще въ характеристическихъ сравненіяхъ двухъ авторовъ бываетъ болѣе полуистинъ, чѣмъ истины; болѣе изысканности, насильственности, чѣмъ естественныхъ прикосновеній. Кто-то читалъ Ривароли сравненіе Расина и Корнеля. Выслушавъ чтеніе, Риваролі сказалъ: „По моему мнѣнію, можно сравненіе вашихъ трагиковъ сократить такимъ образомъ: общее въ нихъ, что тотъ и другой писали

трагедіи; разность, что одного звали Ѳома Корнель, другаго Иванъ Расинъ". Въ сравненіи Петрарки и Ломоносова, нѣкоторыя главныя черты ихъ, а особливо же перваго, означены вѣрно и живо, но, признаюсь, усматриваю рѣдко точки, гдѣ эти черты сливались бы вмѣстѣ. За исключеніемъ вліянія того и другаго на современную каждому поэзію, учености того и другаго поэта и замѣчанія, что Петрарка остался представителемъ Италіанской литтературы XIV вѣка, Ломоносовъ считается представителемъ литтературы Русской вѣка Елисаветы, не понимаю: въ чемъ и какъ хотѣлъ сочинитель сводить ихъ? Не слишкомъ-ли также увлекается онъ любовью къ Итальянской словесности и Петраркѣ, когда радуется, какъ хорошей находкѣ, что Ломоносовъ, „умѣлъ счастливо перенесть въ свои творенія много, очень много Итальянскаго и даже нѣкоторые, такъ называемые concetti". Едва ли и подлинные concetti не безобразная прикраска Итальянскихъ стиховъ, а заимствованные concetti на Русскій ладъ и того хуже. Впрочемъ, вѣроятно въ Ломоносовѣ этотъ мишурный блескъ не подражаніе, а просто погрѣшность, свойственная худому вкусу, не озареннаму свѣтомъ здравой критики, и пасльственной игрѣ воображенія. Въ сей статьѣ встрѣчается забавная обмолвка. Авторъ говоритъ, что изъ Понтремоли въ Неаполь пришелъ старецъ, и къ тому же слѣпой, чтобы видѣть Петрарку. Впрочемъ, за исключеніемъ основной мысли сего сравненія, которая по существу своему, какъ мы сказали выше, всегда сомнительна, и здѣсь, въ примѣненіи къ Петраркѣ и Ломоносову, кажется еще менѣе удовлетворительною, статья сія имѣетъ неоспоримое достоинство литтературное: въ ней замѣтны свѣдѣнія въ Итальянской словесности, хорошій слогъ, благородныя чувства и направленіе ума благонамѣренное. Опыты г. Рапча въ переводѣ *Освобожденнаго Іерусалима* уже извѣстны читателямъ, также какъ и критическія замѣчанія, къ коимъ они подали поводъ. Находятъ, что куплетъ, изъ 12-ти стиховъ г-на Рапча, не отвѣчаетъ Итальянской октавѣ; что онъ не приличенъ поэмѣ, потому что присвоенъ Жуковскимъ балладѣ. Но какую же форму принять? Итальянская октава, по бѣдности нашей въ риемахъ, неприступна для большого

творенія. Александрійскій стихъ слишкомъ важенъ и утомителенъ со временемъ. Баллада принадлежитъ повѣствовательно-лирическому роду; поэма, раздѣленная на станцы, можетъ также отнестись къ роду лирико-эпическому. Сообразя все это вмѣстѣ, мы готовы почти оправдать г-на Рапча. Отлагая въ сторону форму, должно признаться, что стихи переводчика часто живы и сочны, почти всегда звучны и вообще хороши. Въ отрывкѣ: *Смерть Свенона*, языкъ вѣрнѣе, строже и зрѣлѣе, чѣмъ въ прежнихъ опытахъ: въ немъ гораздо менѣе и почти вовсе не находится прежде встрѣчавшихся запмообразныхъ оборотовъ Жуковскаго, которые могутъ быть хороши у него, потому, что они его коренные, но становятся погрѣшными, когда они пересажены на чужую почву. По любви г-на Рапча къ Итальянской литературѣ и по свѣдѣніямъ его, должно желать, чтобы онъ короче познакомилъ насъ съ нею, предлагая намъ въ прозаическихъ переводахъ и критическомъ разсмотрѣніи лучшихъ писателей Итальянскихъ, стихотворцевъ и прозаиковъ. Переводы въ стихахъ пріятны и льстятъ болѣе суетности переводчиковъ, по могущество стихотворства такъ сильно, что, забывая о подлинникѣ, мы судимъ переводъ, какъ оригинальное твореніе; переводы въ прозѣ полезнѣе, болѣе дѣйствуютъ на языкъ, на который переводятъ, болѣе пускаютъ идей, образовъ въ обращеніе и всегда совершеннѣе знакомятъ и сближаютъ литературы и языки. На переводчикѣ въ стихахъ лежатъ двѣ неволи, а и съ одною справиться тяжело.

Въ числѣ хорошихъ стихотвореній, помѣщенныхъ въ *Сѣверной Лирѣ* и носящихъ подписи уже извѣстныя, отличаются начальные опыты поэта, въ первый разъ являющагося на сценѣ. Стихотворенія Андрея Муравьева: *Ермакъ*, *Воззваніе къ Днѣпру*, *Русалки*, Отрывокъ изъ описательной поэмы: *Таврида*, исполнены надеждъ, изъ коихъ нѣкоторыя уже сбылись. Выпишемъ нѣсколько стиховъ изъ *Русалокъ*:

Волнуется Днѣпръ, боевая рѣка,
Во мракѣ глухой полуночи;
Ужъ облако мѣсяцъ прорѣзалъ слегка
И неба зардѣлися очи.

Широкія идутъ волна за волной
И съ шумомъ о берегъ бьются,
Но въ хладномъ руслѣ, подъ ревущей водой,
И хохотъ и смѣхъ раздаются...
Какъ подъ вечеръ звѣзды ясныя
Загорѣются въ небесахъ,
Другъ за другомъ, дѣвы красныя
Выплываютъ на волнахъ...
Русы косы разсыпаяся,
Съ обнаженныхъ плечъ бѣгутъ,
По валамъ перегибаяся,
Золотымъ руномъ плывутъ;
Грудь высокая волнуется
Сладострастно между водъ,
Валъ ревнивый полюбуется
И задумчиво пройдетъ;
Руки дѣвъ, какъ мраморъ бѣлыя,
Поднимаются, падутъ;
То въ восторгѣ юной радости
Будятъ пѣснями брега,
Пль съ безпечнымъ смѣхомъ младости
Ловятъ мѣсяца рога
Надъ водою....

Картина прелестная и во всѣхъ частяхъ съ искусствомъ выдержанная: послѣдняя черта удивительно игрива. Можно только замѣтить лишнее слово въ стихѣ:

И хохотъ и смѣхъ раздаются—

смѣхъ послѣ хохота—вставка, и неправильное удареніе въ словѣ: *русло*. *Ермакъ* написанъ другою кистью: краски здѣсь мрачныя и болѣе силы въ чертахъ; но въ немъ также есть живая поэзія въ вымыслѣ и выраженіи. Посреди именъ извѣстныхъ и анонимовъ, въ подписяхъ *Сѣверной Лиры* встрѣчается загадочное имя: Делибюрадеръ. Вотъ одно изъ его стихотвореній, съ Арабскаго:

НАМА.

Уаль пагру мискумъ.
Устъ ея дыханье—
Мускусъ благовонный;
А ланиты — розы;
Зубы — млечны перлы;
Станъ — лозы стройнѣе;
Бедра округлены —
Холмики песочны;

Локоны густые —
Мракъ осенней ночи;
А лицо сіяетъ —
Словно полный мѣсяцъ.

Скажите по совѣсти: не правы ли мы, когда сказали, что мало радости и пользы отъ похищеній такого рода, хотя и добыты они издалека? Пускай это и тому подобное съ Арабскаго на Арабскомъ языкѣ и остается. Довольно намъ и одного Греческаго Анакреона, которому намъ велятъ кадить, потому что онъ древній и Грекъ, хотя въ новѣйшія времена нерѣдко за пріятельскими пирушками встрѣчаются свои Анакреоны; но для Европейской гордости нашей слишкомъ уже будетъ оскорбительно, когда захотятъ колоть намъ глаза Арабскимъ анакреонтичествомъ. Отрывокъ изъ сочиненія объ искусствахъ носитъ ту же загадочную подпись. Въ сей статьѣ, которая по бо́льшей части одна компиляція, но довольно искусно и живо составленная, полушуточно, полуучено, полумиѳологически, полуисторически, излагаютъ мнѣнія о могуществѣ музыки и степеняхъ состоянія ея у разныхъ народовъ. Письмо о Русскихъ романахъ, или, правильнѣе, о возможности писать Русскіе романы, произведеніе г-на Погодина, умное и занимательное. Признаемся однакожъ, что, соглашаясь съ нимъ во мнѣніи, что у насъ въ исторіи встрѣчаются предметы для поэтическихъ романовъ, сомнѣваемся въ богатствѣ нашихъ матеріаловъ для романовъ въ родѣ Вальтера Скотта. Въ нашей исторіи, по крайней мѣрѣ до Петра Великаго, встрѣчаются, разумѣется, лица, событія и страсти, но нѣтъ нравовъ, общежитія, гражданственнаго и домашняго быта: источниковъ необходимыхъ для наблюдателя-романиста. Жаль, что авторъ, въ письмѣ своемъ о Русскихъ романахъ, задѣваетъ, какъ многіе изъ нашихъ комиковъ, погрѣшности условныя, мнимыя, а не существенныя. Описывая, напримѣръ, общество, въ коемъ онъ находился, продолжаетъ онъ: „Сперва похвалены были, какъ водится, всѣ присутствовавшіе взаимно другъ другомъ“. — Характеристическая-ли это черта нашихъ нравовъ? Мало ли въ нашихъ блистательныхъ собраніяхъ встрѣтится истинно смѣшнаго? За чѣмъ прибѣгать къ общимъ, такъ сказать, давно заданнымъ уликамъ?

„Сколько есть у насъ Тарасовъ Скотининыхъ", говоритъ авторъ: и тутъ не мѣтитъ онъ въ цѣль. Тарасъ Скотининъ и въ комедіи Фонъ-Визина карикатура, а не портретъ. Предъ порокомъ и глупостью не должно выставлять увеличительное зеркало: имъ это по рукѣ. Они скажутъ: „мы себя здѣсь не узнаемъ"—и ваши исправительныя мѣры останутся безъ успѣха. Лучше дотрогивайтесь слегка, но задирайте всегда за живое, то есть, за истинное. Читатели найдутъ еще въ *Сѣверной Лирѣ* произведенія Гг. Шевырева, Титова, Веневитинова, Тютчева, кн. Одоевскаго и нѣкоторыхъ другихъ; всѣ они болѣе или менѣе отличаются или игривостью мыслей, или теплотою чувства, или живостью выраженія. Однимъ словомъ, *Сѣверная Лира*, посвященная издателями любительницамъ и любителямъ отечественной словесности, можетъ во многихъ отношеніяхъ заслужить ихъ признательность.

Если главный признакъ альманаха *Сѣверная Лира* есть какое-то поэтическое стремленіе въ темную даль или надоблачный и отчасти облачный эмпирей, то главный признакъ *Календаря Музъ* есть, напротивъ, прозаическое уклоненіе къ дольнему міру. Тутъ, какъ въ силу какого-то закона литературнаго тяготѣнія, все, болѣе или менѣе, земное, житейское; но, впрочемъ, съ движеніемъ къ нѣкоторому усовершенствованію, потому что *Календарь Музъ* на 1827-й годъ лучше того, который мы видѣли въ 1826-мъ. Отдѣленіе прозы, содержащее 8 повѣстей, или, по крайней мѣрѣ, восемь статей въ повѣствовательномъ родѣ, довольно разнообразно. Не знаемъ кого благодарить за нихъ: писатели ихъ остались или въ совершенной безъизвѣстности, или нѣкоторыми заглавными буквами захотѣли только подстрекнуть любопытство наше, а не удовлетворить ему. Впрочемъ, до именъ дѣла нѣтъ. Отдѣленіе стихотворное—не поэтическая часть *Календаря Музъ*. За исключеніемъ малаго числа стихотвореній, заключающихъ въ себѣ нѣкоторое достоинство, прочее могло бы остаться въ рукописи для домашняго обихода. Переписка съ кумами, крестниками, о зубной боли, о журналѣ *Благонамѣренномъ* и проч., и проч., эпиграммы въ родѣ слѣдующей:

Какъ у тебя, братъ, красенъ носъ!
— А вотъ - съ:
Пью бѣлое вино - съ....

и тому подобное, теряетъ много отъ печати. Такіе стихи, какъ нѣкоторыя домашнія шутки, должно хранить про себя. Читатели *Календаря Музъ* замѣтятъ здѣсь съ удовольствіемъ нѣкоторыя изъ эпиграммъ А. Илличевскаго и остроумные стихи А. Измайлова, которые носятъ отпечатокъ Французской замысловатости. Выписываемъ ихъ:

ЛЮБИТЕЛЬНИЦѢ КОШЕКЪ

(съ граниpованнымъ изображеніемъ кота).

Вотъ самый смирный котъ!
Прошу принять его; отъ васъ онъ не уйдетъ
И вамъ нисколько не наскучитъ;
Онъ не царапаетъ и даже не мяучитъ;
Кормить не надобно: не ѣстъ да и не пьетъ,
На стулъ или подъ стулъ его вы положите,
И будетъ онъ лежать, не тронетъ ничего;
Лишь дальше отъ мышей держите,
А то онѣ съѣдятъ его.

Дѣтскій Цвѣтникъ и *Незабудочка* не должны быть разсматриваемы въ литтературномъ отношеніи. Посвященныя дѣтямъ, такія книги уже достигаютъ своей цѣли, если удовлетворяютъ потребностямъ родителей и наставниковъ, нуждающихся у насъ въ чтеніи для дѣтскаго возраста. Скажутъ, что эти альманахи могли имѣть болѣе внутренняго достоинства, съ лучшимъ согласіемъ сочетать полезное съ пріятнымъ,—не споримъ; но, желая усовершенствованія въ книгахъ, посвященныхъ дѣтскому чтенію, въ сей немаловажной, хотя и не блестящей отрасли словесности народной, мы не менѣе того должны благодарить издателей *Дѣтскаго Цвѣтника* и *Незабудочки*, хотя они, въ особенности же послѣдній, упражняются съ успѣхомъ въ наукѣ: о легчайшемъ способѣ составлять книги. Если ни о томъ, ни о другомъ не скажешь по истинѣ:

„Матъ дочери велитъ труды его читать",

то по крайней мѣрѣ скажешь: *позволить*, чего по совѣсти не выговоришь о многихъ дѣтскихъ книгахъ, у насъ издаваемыхъ;

онѣ большею частью, по содержанію своему, и по языку и по слогу, кажется, составлены не съ тѣмъ, чтобы пріучать къ чтенію, а отъ него отучать. Подумаешь, что онѣ издаются не только безграмотными по печатности, но и по системѣ, Омарами новаго рода.

Отрадное упованіе, что въ мірѣ все стремится къ возможному усовершенствованію, оправдывается *Невскимъ Альманахомъ* на 1827 годъ. Онъ, противъ прошлогодняго, испыталъ счастливое превращеніе какъ въ наружномъ, такъ и во внутреннемъ достоинствѣ. Остается ему еще много шаговъ впереди по сей стезѣ улучшеній, тѣмъ болѣе, что и *Невскій Альманахъ*, какъ всѣ альманахи и все человѣческое, не могутъ достигнуть завѣтнаго совершенства; но все же есть движеніе впередъ, которое нельзя оставить безъ вниманія литературному оптимисту. *Замокъ Эйзенъ*, Эстляндская повѣсть, занимаетъ въ сей книгѣ почетное мѣсто въ прозаическомъ отдѣленіи. Она разсказана съ большою живостью и увлекательностью и точно болѣе разсказана, чѣмъ написана: нѣкоторымъ изъ ученыхъ письменниковъ, вѣроятно, покажется, что въ ней слишкомъ много извѣстной своевольности и слишкомъ мало письменнаго благочинія. Нѣсколько словъ изъ *Гайдамаковъ*, Малороссійской были (составляющихъ, вѣроятно, отрывокъ изъ цѣлаго, потому что конца тутъ не видно), хотя и не имѣютъ быстроты и оригинальности въ слогѣ предыдущей повѣсти, но не менѣе того заманчивы и пріятны. Картина Малороссійской ярмарки блеститъ живыми и мѣстными красками: лица хорошо означены, въ событіяхъ есть движеніе и занимательность. Не станемъ по частямъ разбирать сіи два опыта повѣствовательные, посовѣтуемъ читателямъ познакомиться съ ними. Въ добрый часъ промолвить, а въ дурной промолчать—съ легкой руки Вальтера Скотта и у насъ зашевелилось что-то въ области романической. Донынѣ покушенія были маловажныя, одностороннія, подражанія болѣе нѣкоторымъ замашкамъ Вальтера Скотта, чѣмъ духу его; но, придерживаясь литературному оптимизму, станемъ ждать лучшаго, да лучшаго, и наконецъ хорошаго. Чтобы достигнуть до степени Вальтера Скотта, или даже идти далеко

за нимъ, но по одной дорогѣ, нужно не одно дарованіе, воображеніе, потребны къ тому и многое, къ чему у насъ еще нѣтъ доступа и нѣкоторое всевѣдѣніе, всеобъемлемость, коихъ у насъ нѣтъ еще въ обращеніи.

За достоинство части стихотворной *Невскаго Альманаха* ручаются имена Языкова, Козлова, Туманскаго и нѣкоторыхъ другихъ, участвовавшихъ въ ней своими произведеніями. Языкова *Посланіе къ друзьямъ* кипитъ живостью и отвагою необыкновенными, особливо же въ первой и послѣдней трети. О стихахъ Языкова можно сказать то, что онъ въ началѣ *Посланія* говоритъ о дняхъ своей молодости:

Тѣ дни летѣли, какъ стрѣла,
Могучимъ вынутая луком;
Они звучали яркимъ звукомъ
Разгульныхъ пѣсенъ и стекла;
Какъ искры, брызжущія съ стали
На поединкѣ роковомъ,
Какъ очи, свѣтлые виномъ,
Они плѣнительно блистали.

Въ послѣднихъ восьми стихахъ лучшая характеристика стиховъ Языкова.

Зубная боль и здѣсь была вдохновеніемъ поэтическимъ, какъ и въ *Календарѣ Музъ*. Изъ стиховъ г-на Панаева узнаемъ, что онъ страдалъ отъ жестокой зубной болѣзни, и вылѣченъ былъ по милости красавицы, намъ неизвѣстной. Грѣшно ему, что онъ утаилъ ея имя. Объявивъ о немъ, оказалъ бы онъ важную услугу многимъ страдальцамъ, подвергнутымъ сей неспосной боли: они знали бы къ кому прибѣгать въ крайности. И тогда можно было бы сказать о стихахъ по Французскому выраженію: le remède est à côté du mal. Кстати о зубахъ и объ эпиграммѣ г-на Панаева, здѣсь же помѣщенной, вспомнили мы, что Д*** называетъ нѣкоторыя эпиграммы беззубыми. Мы замѣтили съ своей стороны, что въ этой эпиграммѣ отзывается большой навыкъ къ роду идиллій.

Памятникъ Отечественныхъ Музъ драгоцѣненъ по многимъ отношеніямъ. Издатель его собралъ на жатвѣ литтературной забытые колосья и цвѣты, оставшіеся по слѣдамъ многихъ зна-

менитыхъ писателей нашихъ, умершихъ и живыхъ, и заслуживаетъ благодарность соотечественниковъ, не равнодушныхъ къ именамъ, озаряющимъ литтературную нашу славу. Имѣя въ рукахъ своихъ богатый запасъ прошедшаго, освященный смертію, или хотя еще живою, но по крайней мѣрѣ уже испытанною въ горнилѣ времени, славою, тѣмъ менѣе долженъ онъ былъ сочетать съ свѣтлыми именами Державина, Карамзина, Фонъ-Визина, Суворова и нѣкоторыхъ другихъ, имѣющихъ постоянное право на вниманіе наше, имена темныя и мало значительныя. Издатель говоритъ въ предисловіи своемъ, что тѣни нужны и неизбѣжны въ самой лучшей картинѣ; но *Памятникъ Отечественныхъ Музъ*—не картина, а храмина и долженъ быть пантеономъ памятныхъ мужей, а не всемірною сходкою, гдѣ Бавій возлѣ Горація, великанъ вмѣстѣ съ карлами, поэты съ риѳмачами. Напрасно издатель извиняется передъ читателями въ помѣщеніи своихъ собственныхъ стиховъ: критики не на нихъ укажутъ, если пришлось бы имъ требовать исключенія изъ его собранія, хотя неоспоримо, что оно болѣе отвѣчало бы своему заглавію и назначенію, если издатель ограничился-бы однимъ побором съ вершинъ нашего Парнасса. Не должно полагать, что произведенія знаменитыхъ писателей, здѣсь помѣщенныя, могутъ всѣ служить новыми залогами въ правахъ ихъ на славу, уже опирающуюся на твердомъ основаніи, но каждое изъ нихъ возбуждаетъ въ насъ или умилительныя воспоминанія, или чувства признательности и уваженія, или новое участіе любопытства, которое дорожитъ всякою приманкою для его ненасытной жадности. Разумѣется, слава пѣвца *Фелицы* не озарится новымъ блескомъ отъ стиховъ его, помѣщенныхъ въ *Памятникъ*; но кто не порадуется находкѣ слѣдующихъ стиховъ его:

НА ПТИЧКУ.

Поймали птичку голосисту,
И ну сжимать ее рукой:
Пищитъ бѣдняжка, вмѣсто свисту,
А ей твердятъ: „пой, птичка, пой!“

ЧЕРТА КЪ БІОГРАФІИ ДЕРЖАВИНА.

Кто велъ его на Геликонъ
И управлялъ его шаги?
Не школь витійственныхъ Содомъ:
Природа, нужда и враги.

Кто безъ умиленія прочтетъ выписки изъ писемъ Карамзина, кто не услышитъ въ нихъ отголоска языка души, который еще недавно столь краснорѣчиво вѣщалъ намъ о всемъ высокомъ и прекрасномъ? Кто не узнаетъ гражданина и патріота въ слѣдующей мысли и не сознается, что чувство, въ ней отзывающееся, должно было ободрять и согрѣвать историка въ трудѣ его, намъ оставленномъ?

„Для насъ, Русскихъ, съ душою, одна Россія самобытна, одна Россія истинно существуетъ: все иное есть только отношеніе къ ней, мысль, привидѣніе. Мыслить, мечтать можемъ въ Германіи, Франціи, Италіи, а дѣло дѣлать единственно въ Россіи, или нѣтъ гражданина, нѣтъ человѣка. Съ сими понятіями, вѣроятно и заброю глаза для здѣшняго свѣта, pour voir plus clair".

Русская оригинальность автора *Недоросля* отсвѣчивается въ письмѣ надворнаго совѣтника Вяткина и въ отвѣтѣ на оное. Письма А. А. Петрова служатъ для насъ драгоцѣннымъ и горестнымъ свидѣтельствомъ, что смерть отъяла у насъ преждевременно будущаго писателя.

Стихотворенія Львова (Ѳедора Петровича) имѣютъ какой-то свой характеръ и мы благодаримъ издателя *Памятника*, спасшаго ихъ отъ забвенія.

Въ сатирическихъ отрывкахъ князя Горчакова есть рѣзкость и сила, не всегда искусно оправленная въ хорошіе стихи, но сохраненіе оныхъ пріятная услуга поэзіи нашей, бѣдной сатирами, хотя и есть чѣмъ поживиться сатирѣ.

Басня: *Гербы и школьный учитель*, напротивъ, рѣзка, сильна и оправлена въ прекраснѣйшіе стихи. Читая ее, замигаетъ и защурится не одинъ—

„Сбиратель крохъ чужихъ, кавлунъ въ литературѣ".

Въ шуточныхъ посланіяхъ Жуковскаго, здѣсь напечатанныхъ, отзывается веселая замысловатость и необыкновенная увертливость и сила въ языкѣ стихотворномъ. Поэзія въ видѣ *Лалла-Рукъ* достойна Англійской поэмы и ея автора.

За письма Батюшкова изъ Италіи и Франціи и нѣкоторыя первопачальныя произведенія автора *Опыта* должны мы также благодарить издателя, который, вмѣстѣ съ другими драгоцѣнностями, похитилъ ихъ изъ рукописныхъ сокровищницъ собирателей и пустилъ въ обращеніе сей мертвый капиталъ нашей литтературы. По справедливости должно указать бы теперь на то, что́ и останется мертвымъ капиталомъ, не смотря на живительныя средства печати, употребленныя издателемъ; но мы находимся въ какомъ-то миролюбномъ расположеніи духа, мы привѣтствовали умильно и ласково альманахи и не хотимъ по прощаньѣ ссориться съ ними. Худой миръ лучше доброй брани.

XXXVII.

ПИСАТЕЛИ МЕЖДУ СОБОЙ.

Комедія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Соч. Вас. Головина. М. 1827 года.

1827.

На зло критикамъ нашимъ, разглашающимъ, что у насъ нѣтъ комедіи, что театръ нашъ въ горестномъ упадкѣ, хотя впрочемъ не бывалъ никогда на блестящей высотѣ, не смотря на всѣ эти .сѣтованія и укоризны, комедіи Русскія родятся, представляются и преставляются, печатаются, хотя мало читаются; нѣтъ почти недѣли, по крайней мѣрѣ во время зимней стужи, чтобы имя новаго драматическаго писателя, чтобы новое твореніе не помѣщались на длинной бенефисной афишѣ; не проходитъ недѣли, чтобы любопытные зрители, просидѣвшіе до полуночи въ креслахъ своихъ, не кричали, какъ съ просонья: автора! автора! Правда, можно къ сему прибавить, что и пораженные невольнымъ безплодіемъ Мельпомена и Талія, въ грустномъ одиночествѣ своемъ, выкликаютъ также въ свою очередь: автора! автора! Но, къ сожалѣнію, изъ многихъ приглашенныхъ нѣтъ ни одного избраннаго. Вызывающая, вопіющая публика счастливѣе. Она все-таки выкличетъ, выкрикнетъ автора, который въ гостепріимной директорской ложѣ выкажетъ лице свое и отвѣситъ публикѣ свои три, часто неловкіе, но благодарные поклона.

Недавно напечатана въ Москвѣ комедія: *Писатели между собой*, въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, представленная въ первый разъ *въ послѣдній день прошедшаго года*. Есть что-то таинственно-торжественно-роковое въ этомъ представленіи. При-

тязаніе, попытка на безсмертіе, въ самый тотъ день, когда издыхающій годъ напоминаетъ намъ о скоротечности времени, о всепоглощающей безднѣ вѣчности! Признаюсь въ своемъ малодушіи: суевѣрный страхъ удержалъ бы меня въ этотъ день отъ почина, требующаго смѣлости. Но смѣлымъ Богъ владѣетъ, а у стихотворцевъ много боговъ и богинь. Въ этой комедіи 180 страницъ,

Судите жъ, сколько тутъ хорошихъ есть стиховъ!

Кто знаетъ, съ какимъ трудомъ добывается Русскій стихъ, тотъ признаетъ важность подобнаго предпріятія, приведеннаго въ исполненіе. Нашихъ современныхъ поэтовъ упрекаютъ, что они пускаются въ храмъ славы налегкѣ. Взыскательные оцѣнщики могутъ быть довольны настоящимъ отправленіемъ: оно порядочно нагружено. Усердіе и трудолюбіе видны; посмотримъ, каковъ успѣхъ.

Піонина—пятидесятилѣтняя барышня, помѣщица Украинская, у ней за душою много стиховъ ея сочиненія *да восемь тысячъ душъ* (полустишіе изъ комедіи). Вотъ куда хватила щедрая рука автора, истинное царское пожалованіе. Піонина должна вѣчно Бога молить за благодѣтеля своего. Она пріѣзжаетъ въ Москву къ молодой племянницѣ, вдовѣ, княгинѣ Тирской, которая если сама не пишетъ, то любитъ писателей, а въ особенности же Пламенова; она собираетъ у себя литтераторовъ и открыла въ своемъ домѣ литтературное общество; ей хочется выдти замужъ за Пламенова, который, впрочемъ, по видимому, вопреки имени своему, также какъ и она, любитъ не очень пламенно: вообще о ихъ взаимной любви и брачныхъ расположеніяхъ зрители могутъ догадываться болѣе по наслышкѣ, а на яву все дѣло обходится съ приличнымъ хладнокровіемъ съ обѣихъ сторонъ. Княгиня Тирская плѣнила не одного Пламенова: на бѣду ея, вздыхаетъ по ней и Тонскій, также авторъ. Пріѣзжая тетка, которую съ первой встрѣчи задобрилъ онъ, выхваляя достоинства ея, когда Пламеновъ, напротивъ, раздражилъ ее неловкимъ чистосердечіемъ, готова противиться тайной склонности племянницы и любви Пламенова. Наконецъ ею рѣшено, что княгиня Тирская и все наслѣдство, которое она отъ нея получитъ, бу-

дугъ наградою тому изъ двухъ соперниковъ, который побѣдитъ другого въ состязаніи стиховъ, имѣющемъ быть въ засѣданіи домашняго литературнаго общества. Этотъ стихотворческій турниръ—главная комическая ось, вокругъ коей вертится все дѣйствіе. Оставляемъ самимъ читателямъ заключить, до какой степени вымыселъ правдоподобенъ и согласенъ съ нравами нашими. Украинская помѣщица корчитъ les femmes savantes Мольера; пожалуй такъ, но если и допустить, что сумасбродство ея можетъ быть сбыточнымъ, то какъ согласиться, что княгиня Тирская, вдова, и слѣдовательно уже въ совершенно-лѣтнемъ возрастѣ и которую авторъ не хотѣлъ выказать сумасбродною, подобною теткѣ, что Пламеновъ, котораго хотѣлъ представить авторъ умнымъ человѣкомъ, чтобы этотъ идеалъ и герой комедіи, чтобъ Любимовъ, другъ его, другъ дома княгини, также разсудительный человѣкъ, могли пойти на подобную несообразную, можно сказать, нелѣпую сдѣлку. Сбыточно-ли въ Россіи, сбыточно ли гдѣ нибудь такое дѣйствіе? Въ этомъ отношеніи авторъ не только догналъ, но и перегналъ большую часть нашихъ писателей комическихъ, которые обыкновенно живописцы нравовъ небывалыхъ и лицъ несуществующихъ. Воображеніе многихъ писателей нашихъ, а преимущественно драматическихъ, особенно плодородно въ этой производительности. Впрочемъ, если главная мысль автора и была бы исполнена съ лучшимъ успѣхомъ, чѣмъ здѣсь, то на притязанія ли женщинъ нашихъ на литературную славу должны падать поученія и насмѣшки нашей комедіи? Гдѣ наши Филаминты и Белизы Мольеровы? Гдѣ наши Англійскіе синіе чулки?

Показавъ, что въ этой комедіи нѣтъ истины, нѣтъ нравовъ, также легко показать, что въ ней нѣтъ характеровъ. Мы ознакомились съ лицами, которыя авторъ хотѣлъ выставить въ выгодномъ свѣтѣ и, такъ сказать, избранными изъ представленнаго имъ общества, и видѣли, что княгиня Тирская, Пламеновъ, Любимовъ, очень жалкіе люди, потому что соглашаются быть игрушками безразсудной Піонинои. Другія лица: Лезвинскій—журналистъ, авторъ Трутневъ и Параша, горничная княгини, не имѣютъ также родовыхъ примѣтъ въ своихъ физіогноміяхъ. Лезвинскій

сердится на Пламенова, который написалъ на него рецензію; вотъ на это слова нѣтъ: это дѣло сбыточное и совершенно Русское, въ литературныхъ обычаяхъ; въ досадѣ старается онъ отомстить ему, оттирая его отъ княгини Тирской и покровительствуя Тонскому; это все еще въ порядкѣ; согласиться можно, въ порядкѣ и то, что онъ хочетъ достигнуть своей цѣли критическимъ разборомъ оды, которую Пламеновъ долженъ прочесть въ рѣшительномъ засѣданіи; но къ чему таиться ему, что онъ писалъ этотъ разборъ?—Если разборъ долженъ повредить успѣху, котораго Пламеновъ ожидаетъ отъ своей оды, то не все-ли равно, кто писалъ его? Дѣло въ послѣдствіи: между тѣмъ, Піонина, наученная друзьями Пламенова и примиренная съ нимъ, благодаря стихамъ въ похвалу ея, будто имъ писаннымъ, выманиваетъ этотъ разборъ у обманутаго Лезвинскаго. Къ чему всѣ эти хитрости? Въ чемъ состоитъ тайна затѣйливаго умысла для пораженія Лезвинскаго и Тонскаго и для побѣды Пламенова? Все это загадки, и онѣ остаются неразгаданными. Къ чему Лезвинскій, выдаваемый за умнаго человѣка, приводитъ съ собою, въ качествѣ союзника, Трутнева, глупца, который вредитъ ему и съ которымъ онъ даже не условился, какъ дѣйствовать согласно съ его намѣреніями? Отъ чего Піонина не выходитъ замужъ за Трутнева, какъ онъ и она того желаютъ? И это требуетъ пояснепія. Параша, по предположенію автора, сокровенная пружина всего производства махины, какъ то обыкновенно водится въ комедіяхъ, писанныхъ не съ натуры, а по выкройкѣ указной, выходитъ на повѣрку лицо совершенно излишнее. Она даже сама себѣ противорѣчитъ—и въ какія же минуты? Когда дѣло идетъ о главномъ побужденіи всего дѣйствія. Она помогаетъ Пламенову и Любимову, его соучастнику; на вопросъ послѣдняго: когда придти имъ, чтобы представиться теткѣ, она отвѣчаетъ:

Въ семь часовъ
Начнется чтеніе у насъ...

и между тѣмъ уговариваетъ его скорѣе выѣхать изъ дома княгини, сказывая:

Покуда съ вами здѣсь еще насъ не застали;

а послѣ, когда Пламенова упреждаетъ Тонскій и едва-ли не одерживаетъ рѣшительной побѣды надъ согласіемъ тетки, бранитъ Пламенова, за чѣмъ онъ не пришелъ ранѣе. Едва-ли не при каждомъ явленіи, не при каждомъ стихѣ, можно поставить здѣсь вопросительный знакъ; въ комедіи нѣтъ нигдѣ разрѣшенія недоумѣнію и недогадкамъ читателя. Самое заглавіе комедіи: *Писатели между собой* ошибочно и не выдержано послѣдствіемъ. Тутъ главный предметъ ссоръ не авторскіе успѣхи, не литтературная слава; они только постороннія средства; а побудительная причина соперничества есть молодая вдова и восемь тысячъ душъ et puisque души il y a. О такой добычѣ, вѣроятно, готовы поспорить между собою и не одни писатели. Вообще же писатели наши скромнѣе: они не мѣтятъ такъ высоко. Гдѣ имъ гнаться за 8000 душами? Развѣ Лезвинскій одинъ кое-какъ отстаиваетъ эпиграфъ комедіи:

...La haine et la fureur
Ont changé le Parnasse en théâtre d' horreur.

Но, впрочемъ, и этотъ злобный духъ поэмы не очень грѣшенъ, помогая Тонскому, который, если по виду позволено судить о человѣкѣ, малый добрый; сердится-ли Лезвинскій на Пламенова за критику или нѣтъ, это дѣло постороннее, но въ его доброхотствѣ другому нѣтъ большого преступленія, а, помогая одному, долженъ онъ неминуемо вредить другому, потому что княгинѣ Тирской нельзя же выдти замужъ за двухъ. Разбирать критически слогъ этой комедіи, кажется, не нужно. Кромѣ общихъ погрѣшностей, такъ сказать коренныхъ свойствъ разговорнаго языка нашихъ комедій—рѣчей растянутыхъ, многословныхъ, не скрѣпленныхъ логическою связью мыслей, истекающихъ одна изъ другой, кромѣ совершеннаго отсутствія веселости и прочаго и прочаго, въ сей комедіи, по бѣдности рѣчемъ, по трудному принужденію въ оборотахъ и по другимъ недостаткамъ въ свободномъ обладаніи стихотворческимъ языкомъ, оказывается, по крайней мѣрѣ, большая неопытность въ письменномъ упражненіи. Отъ насильственнаго разрыва между прилагательными и существительными, высѣкаются иногда забавные стихи, какъ напримѣръ слѣдующій:

.... Примѣрный
Покойникъ въ свѣтѣ былъ, конечно, человѣкъ.

Кажется, не подлежитъ сомнѣнію, что *покойникъ* долженъ былъ быть *человѣкъ*.

При комедіи, вмѣсто предисловія, есть разговоръ, возлѣ театра, въ кандитерской лавкѣ, между Н. и Л.

Напрасно было переговаривать чужія рѣчи: мало-ли что въ кандитерской говорится? Напримѣръ, тутъ сказано, что въ новой комедіи нѣтъ ничего общаго съ Мольеромъ и съ Пиронomъ [1]): комедія сама за себя скажетъ эту истину. Говорено еще о прелести *Аристофана*, этого безсмертнаго творенія нашего Мольера (князя Шаховскаго), о звучныхъ стихахъ Фина, объ оригинальности Загоскина, о стихахъ Лукавина, и о куплетахъ всѣхъ водевилей Писарева. Можетъ быть, въ хвалебномъ поминовеніи этомъ отзывается нѣсколько сомнительный вкусъ одного изъ собесѣдниковъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, должно признаться, оно приноситъ честь характеру автора комедіи и служитъ ей краснорѣчивымъ возраженіемъ; слѣдовательно, писатели между собой не всѣ враги и завистники; слѣдовательно между ними встрѣчаются соперники, весьма снисходительные, и даже великодушные. Есть и другое обстоятельство, которое приноситъ еще болѣе чести автору. Его можно поздравить съ тѣмъ, что онъ обманулъ ожиданія многихъ изъ читателей и зрителей своихъ, которые, по заглавію комедіи, надѣялись, безъ сомнѣнія, найти въ ней личности, непристойные намеки и оскорбленія нѣкоторымъ изъ живыхъ писателей. Злостное любопытство не получитъ позорнаго удовлетворенія въ твореніи, чистомъ отъ всякой неблагонамѣренности. Такое уваженіе къ званію автора, къ самому себѣ и публикѣ похвально и замѣчательно, тѣмъ болѣе, что оно не всегда соблюдается. Орудіе личныхъ оскорбленій можетъ иногда послужить къ минутному постыдному успѣху; но успѣхъ исчезаетъ вмѣстѣ съ шумомъ представленія, а стыдъ остается при оскорбителѣ. Нашъ авторъ по дарованію ниже Французскаго *Палиссо* (Palissot), но безпримѣрно выше его въ нравственномъ отношеніи. Тотъ въ ко-

[1]) То есть съ комедіями ихъ Les femmes savantes и La métromanie.

медіи своей *Философы* вывелъ негодяями такъ-называемыхъ въ то время *энциклопедистовъ*, то есть Вольтера, Дидеро и другихъ; вывелъ ихъ плутами, готовыми на всякое безчестное и преступное дѣло. — Нашъ вывелъ писателей нашихъ просто слабоумными и довольно ничтожными личностями. Имѣлъ ли онъ кого-нибудь въ виду, когда писалъ лица свои, неизвѣстно, а догадаться трудно. Во всякомъ случаѣ, скажемъ въ заключеніе статьи нашей: не каждый можетъ быть хорошимъ писателемъ, но каждый обязанъ быть честнымъ человѣкомъ, что вполнѣ доказано на дѣлѣ авторомъ комедіи: *Писатели между собой*.

Приписка. Американецъ Толстой, прочитавъ рецензію мою, говорилъ, что изъ всѣхъ замѣчаній и отзывовъ о комедіи, вѣроятно, досаднѣе и оскорбительнѣе будутъ автору приведенныя въ концѣ статьи моей похвалы ему и аттестатъ въ добронравіи и отсутствіи всякаго поползновенія на злоязычіе.

1875.

XXXVIII.

НОВЫЯ КНИГИ.

1827.

1) Элегіи и другія стихотворенія Дмитрія Глѣбова, М. 1827. Съ эпиграфомъ:

L'art, des transports de l'âme est un faible interprète;
L'art, ne fait que des vers; le cœur seul est poëte.

Сіе собраніе раздѣляется на нѣсколько отдѣленій: двѣ книги элегій, баллады, посланія, романсы и пѣсни, поэмы и смѣсь. Главная часть стихотвореній, здѣсь помѣщенныхъ, состоитъ въ переводахъ изъ уважаемыхъ Французскихъ поэтовъ: Бертена, Легуве, Мильвуа и другихъ. Переводы вообще не безъ достоинства и являютъ признаки искусства въ стихотворствѣ; но въ мѣстахъ, требующихъ бо́льшей силы и движенія, они отстаютъ отъ подлинниковъ. Французская школа у насъ теперь не въ чести: мы, какъ своевольныя дѣти, вырвавшись изъ подъ надзора учительскаго, вымещаемъ на учителяхъ ученическіе годы. Вѣкъ оставаться учениками не должно, но за чѣмъ предавать проклятію, бранить своихъ прежнихъ учителей, хотя въ возрастѣ размышленія и видимъ, что не во всемъ примѣръ ихъ для насъ быть долженъ непреложенъ и не все то, чему учились мы у нихъ, свято и ненарушимо. Къ чему опять исключительность? А къ тому-же, если сказать правду, отставъ отъ одного подражанія, не пристаемъ ли мы къ другому? Я вовсе не Сеидъ классическаго абсолютизма и корана, не слѣпо вѣрую въ непогрѣшимость Французскихъ поэтовъ; но, между тѣмъ, не понимаю, почему утверждать, что Мильвуа не поэтъ, потому что поэты никто иной какъ Шиллеръ, Байронъ, Гёте. Признаю

возвышенность ихъ генія, но признаю несомнительность и дарованія Мильвуа. Многіе изъ стиховъ его присвоиваются памятью и сердцемъ; въ нихъ отзывается чувство, принадлежащее всѣмъ школамъ и равно живое подъ перомъ классическимъ и романтическимъ. Скажу болѣе: Мильвуа не рабски слѣдовалъ по стезѣ, пробитой его предшественниками; если преждевременная смерть не похитила бы его у Французскихъ музъ, онъ, безъ сомнѣнія, пошелъ бы еще далѣе по влеченію собственнаго дарованія, и занималъ бы нынѣ едва-ли не первое мѣсто въ числѣ современныхъ поэтовъ Франціи. Можно сказать, что Ламартинъ перехитрилъ и, слѣдовательно, испортилъ то, что началъ Андре Шенье и продолжалъ Мильвуа. У сего послѣдняго было не менѣе той мечтательности, которою Ламартинъ навелъ свою поэзію; но у него болѣе строгости въ слогѣ, разнообразія въ пріемахъ и болѣе истиннаго чувства. Къ чести Мильвуа замѣтимъ и напомнимъ, что поэтъ Батюшковъ сочувствовалъ ему и прекрасно состязался съ нимъ въ нѣкоторыхъ переводахъ. Критикъ безпристрастный не подосадуетъ на г-на Глѣбова, что онъ передаетъ намъ произведенія Французскихъ стихотворцевъ, а, напротивъ, поощритъ его изучать прилежнѣе своихъ подлинниковъ, если дарованіе его влечетъ избрать ихъ себѣ образцами. Пускай онъ, подобно имъ, болѣе сжимаетъ и ярче разцвѣчиваетъ свой стихъ, который у него иногда блѣденъ и растянутъ. Жуковскій и Батюшковъ показали, что можно и какъ должно переводить Мильвуа. Не станемъ входить въ подробный разборъ стихотвореній и вообще стихотворства г-на Глѣбова. Скажемъ только: читатель въ книгѣ его не почерпнетъ впечатлѣній глубокихъ, ощущеній сильныхъ; но найдетъ во многихъ мѣстахъ чувства, пріятно и вѣрно выраженныя, судія искусства оцѣнитъ въ ней языкъ вообще чистый и правильный, стихосложеніе довольно свободное, вкусъ по большей части непогрѣшительный, и однимъ словомъ: довольно успѣшное соблюденіе нѣкоторыхъ изъ тѣхъ неминуемыхъ условій, по коимъ стихотворство признано тайною, для многихъ недоступною, а для многихъ столь опасною. Ободряя занятія въ переводѣ Французскихъ поэтовъ, должно совѣтовать г-ну Глѣбову не браться за

Байрона. Его переводъ превосходнаго произведенія Англійскаго поэта можно назвать непростительнымъ. Сонъ Байрона — одно изъ твореній сего поэта самыхъ оригинальныхъ и замѣчательныхъ: въ немъ, какъ въ зеркалѣ фантастическомъ, отражается вся сокровенная жизнь поэта. Одно начало перевода есть уже противорѣчіе съ подлинникомъ:

Друзья! внимайте чудный сонъ!
Готовьте долгое терпѣнье!

Думалъ-ли Байронъ шутить, когда онъ готовился, такъ сказать, вылить всю свою душу, выразить исповѣдь сокровенныхъ впечатлѣній, надеждъ и страданій жизни своей столь превратной и бурной. Байронъ мало думалъ о терпѣніи читателей и вообще мало о читателяхъ. Онъ глаголалъ и пѣлъ отъ избытка чувствъ, а не подносилъ пѣсенъ своихъ на судъ почтеннѣйшей публики. Искажать смыслъ и духъ подобныхъ, такъ сказать, задушевныхъ твореній великаго поэта есть родъ поэтическаго святотатства.

Изданіе стихотвореній г-на Глѣбова очень красиво и приноситъ честь какъ вкусу и расположеніямъ автора, такъ и изящному исполненію типографіи г-на Семена. У насъ многіе изъ авторовъ и издателей не знаютъ, или не хотятъ знать, что есть въ литературномъ, или просто книжномъ мірѣ законы вѣжливости, предписанные образованностью и общежительностью: книга худо печатанная есть поступокъ неучтивый въ отношеніи къ читателямъ.

2) ГРЕЧАНКА Спб. 1827. Съ эпиграфомъ:

И если я не создана пѣшкой,
Валяться не рождена въ пыли,
Прошу тебя мнимъ быть другомъ!
Песчинка можетъ быть жемчугомъ;
Погладь меня и потрепли.
Державинъ.

Въ началѣ этой поэмы, повѣсти или апонимки въ спискѣ стихотворческихъ созданій, есть вступленіе, предисловіе, или нѣчто предварительное, въ стихахъ: должно похвалить поэта за выраженное въ нихъ чувство состраданія, съ коимъ онъ взи-

раетъ на жребій злополучныхъ Грековъ: но можно и пожалѣть, что исполненіе не отвѣчало доброму намѣренію. Современныя событія на Востокѣ давно уже служатъ въ Европѣ обильнымъ источникомъ вдохновеній молодыхъ поэтовъ. Извѣстный Французскій стихотворецъ Вьене (Viennet) писалъ въ Парижѣ Аврааму Сергѣевичу Норову: Quand vous serez, Norov, aux conseils d'Alexandre, dites lui que les Grecs sont lassés de l'attendre! Мы какъ-то оставались въ сторонѣ и не подавали поэтическаго голоса въ пользу героевъ, оживившихъ передъ нами чудеса древняго патріотизма. Вотъ починъ! Въ торговлѣ продать для почина, значитъ продать дешево, чтобы съ легкой руки продавать послѣ много и съ выгодою. Если на эти стихи смотрѣть и намъ въ такомъ отношеніи, то мы должны быть благодарны поэту, желая, чтобы рука его была легче для чужихъ стиховъ, чѣмъ для своихъ. Между тѣмъ выпишемъ что нибудь для повѣрки: со временемъ любопытно будетъ знать, какіе были у насъ первые филелленическіе стихи.

О, скоро-ль литься христіанъ
Кровь на поляхъ родныхъ престанетъ,
И удалится бранный станъ
Враговъ креста, и миръ настанетъ
Для славной Греціи дѣтей?
Когда въ странѣ несчастной сей
Престанутъ плѣнницы младыя,
Питомки церкви пресвятыя,
Томить печалію себя
Въ гаремахъ варваровъ природы,
Лишась родныхъ, друзей, свободы,
И въ сердцѣ милыми горя?
Великій Богъ! дожусь ли я
Той древней Греціи спасенья,
Взошла откуда просвѣщенья
Для насъ прекрасная заря? —
Уже-ли братья христіане
Потерпятъ долѣе позоръ,
Единовѣрцамъ намъ въ укоръ,
Гнетутъ которыхъ мусульмане
Невинныхъ Греціи дѣтей,
Средь ихъ отеческихъ полей?

Почти тоже говорили Байронъ и Казиміръ Делавинь, только иначе. Что-же дѣлать? Но вотъ и *Гречанка*, о которой здѣсь идетъ рѣчь: Зара любила соплеменника своего Ольдастана; уже

согласіе родныхъ готово было освятить ихъ союзъ. Настала война Грековъ съ притѣснителями, женихъ пошелъ на брань, но неудачно: отрядъ, въ которомъ онъ дѣйствовалъ, не устоялъ и онъ побѣжалъ за нимъ, или съ нимъ, а можетъ и передъ нимъ. Зара досталась въ плѣнъ турку Омару, и не теряя времени, отъ безделья, скуки, или, какъ намекаетъ она въ разсказѣ своемъ, съ досады, что любила труса, отвѣчаетъ любви своего властелина и приживаетъ съ нимъ дочь. Жребій войны непостояненъ, а особливо же, по счастію, для разсчетовъ Турецкихъ; вдругъ Ольдастанъ является побѣдителемъ въ гаремѣ, гдѣ содержится Зара; она сначала принимаетъ его очень худо; онъ, чтобы подслужиться ей, объявляетъ, что убилъ Омара; она пуще сердится; не видя успѣха въ убійствѣ соперника, убиваетъ онъ дочь Зары и Омара, и она снова отдается Ольдастану. Повѣсть эта, какъ вы видите, писана не совсѣмъ въ филеллинческомъ духѣ и не въ весьма благопріятномъ свѣтѣ показываетъ намъ характеръ Гречанокъ. Предисловіе не то обѣщало. Новое доказательство, что предисловіямъ вѣрить не можно. За то стихи въ повѣсти лучше предыдущихъ: они очень забавны. Тутъ найдете вы, что

Чалмы на стогнахъ закипѣли,

или:

Чалмы катаются въ пыли.

Эти два стиха живо напомнили мнѣ знаменитый горшокъ, кажется съ картофелемъ, который во время Петербургскаго наводненія попалъ изъ печи въ воду, а изъ воды въ Русскіе журналы; они долго переливали имъ споры свои изъ пустаго въ порожнее. Еще разъ является чалма также необыкновеннымъ образомъ: Зара, исчисляя передъ Ольдастаномъ права Омара на ея любовь, говоритъ, что когда она попалась въ руки непріятелямъ:

Ужъ пенстовый взоръ
Кровожадныхъ звѣрей
Ждалъ обиды моей;
Ужъ я слышала смѣхъ
Гнусныхъ извергов тѣхъ.
Смертный ужасъ стыда

Обезсилилъ меня,
И, ругаясь, злодѣй,
На позоръ всѣхъ людей,
Кровы съ груди сорвалъ;
И, смѣясь, показалъ
Трепетъ персей моихъ.

Но является Омаръ рыцаремъ несчастной жертвы, онъ ее отбиваетъ и Зара продолжаетъ разсказъ:

Я въ восторгъ перешла,
Я его обняла,
Чувствъ въ волненьи моихъ
Средь злодѣевъ своихъ.
Спѣшно юноша сей,
Снявъ, чалмою своею
Робко грудь мнѣ покрылъ, и проч.

Признаюсь, это новое положеніе чалмы, кажется мнѣ, еще удивительнѣе *чалмы кипящей, чалмы катающейся*. Не иначе, какъ собственными глазами могъ бы я увѣриться въ истинѣ сказаннаго Гречанкою, а на слово ей не повѣрю; хотя и понимаю, что пріятно было ей, хоть чѣмъ-нибудь и какъ-нибудь, прикрыть выведенный на *показъ трепетъ ея персей*. Около двухъ третей повѣсти писаны четырехъ стопными ямбами, но съ испуга и съ печали, когда Зара узнаетъ, что Омаръ ея убитъ, сбивается она на трехъ-стопные. Отчаяніе выражается скороговорками. Если эпиграфъ относится къ лицу критики, то можно сказать откровенно, что поэму, подобную *Гречанкѣ*, погладить не за что, а потрепать совѣстно.

3) Аннибалъ на развалинахъ Карѳагена. Драматическая поэма. Сочиненіе Д. Струйскаго. Съ эпиграфомъ: „Отъ великаго до смѣшнаго только одинъ шагъ". Спб. 1827.

Имя Струйскаго уже извѣстно въ лѣтописяхъ нашего стихотворства, то есть, извѣстно малому числу литтературныхъ антикваріевъ нашихъ. По большей части, не говорю уже для читателей, но и для нашихъ писателей, каталогъ старинныхъ Русскихъ стихотворцевъ заключается въ нѣсколькихъ именахъ почетныхъ. Любопытство нашихъ литтераторовъ не взыскательно: они знаютъ исторію своей литтературы, какъ многіе знаютъ исторію человѣческаго рода, по именамъ нѣкоторыхъ счастлив-

цовъ. Безъ сомнѣнія, многіе услышатъ отъ меня въ первый разъ, что есть книга сочиненій Николая Струйскаго, посвященная Екатеринѣ Великой, напечатанная въ 4°, въ 1790 году, и, по тогдашнему, съ отмѣнною роскошью типографическою: прекраснымъ шрифтомъ, на хорошей бумагѣ, съ затѣйливыми виньетками, медалями.

Въ этой книгѣ множество стиховъ *печатью мелкою убитыхъ*: элегій, пѣсенъ, надписей, послапій, эпиграммъ, билетцовъ, одъ и проч. Тогда разнообразный или, по крайней мѣрѣ, разнопредпріимчивый Сумароковъ гнался за всѣми родами поэзіи, и современники его разсыпались въ слѣдъ за нимъ по всѣмъ тропинкамъ Парнасса. Тогда Парнассъ еще существовалъ. Любопытные найдутъ въ собраніи Николая Струйскаго, между прочимъ, эпиграмму на Карла XII и стихи: *На смерть вѣрнаго моего Зяблова, послѣдующую въ Рузаевкѣ, 1784 года, узнанную мною въ Москвѣ.* Эти стихи доказываютъ, по крайней мѣрѣ, что авторъ былъ попечительный и признательный помѣщикъ, а это также чего нибудь да стоитъ. Этотъ Зябловъ, служитель нашего поэта, былъ обученъ имъ живописи, подъ руководствомъ Рокотова, знаменитаго живописца того времени и друга поэта, былъ пѣсколько смышленъ и въ архитектурѣ:

Хотя искусству былъ сему и не ученъ,
Но былъ его (или ево, сходно съ текстомъ) списокать усердьемъ
привлеченъ.

Прошу позволенія выписать біографическія черты служителя, тѣмъ болѣе, что въ нихъ будутъ и поэтическія черты господина, съ примѣсью пѣсколькихъ его домашнихъ порядковъ; все это, надѣюсь, не наскучитъ читателямъ. Мы такъ мало знаемъ свою старину, мы такъ спѣсиво съ нею обращаемся (и право не знаю, изъ какихъ доходовъ спѣсивиться бы намъ), что я всегда радъ изъявить ей свидѣтельство моего внимательнаго почтенія и вмѣстѣ показать, что я не слишкомъ чванюсь тѣмъ, что́ многіе съ такою важностью и съ такимъ самодовольствомъ называютъ *нынѣ*. Какъ будто вслѣдъ за этимъ *нынѣ* не будетъ *завтра*, которое также въ свою очередь разжалуетъ наше на-

стоящее въ давнопрошедшее. Вотъ что говоритъ поэтъ о своемъ артистѣ дохорошенномъ:

Лишь шибкую черту Бушера онъ узрѣлъ,
Къ плафонну мастерству не тщетно возгорѣлъ.
Мнѣ въ родѣ спхъ трудовъ оставилъ онъ приметы:
Въ двухъ комнатахъ верхи *его* рукой одѣты.
Овальную-ль кто зритъ; или мой квадратный залъ:
Всякъ скажетъ: Зиблонъ здѣсь всю пышность показалъ!
Рачитель строгихъ думъ, достойный слезъ теченья!
Списатель моего ты былъ изобрѣтенья...
Премерзостнѣйшій видъ... то лихоимства страдъ,
Съ которымъ въ міръ свою! къ намъ дщерь изрыгнулъ адъ?
Ко омерзенью въ свѣтъ что первымъ мной явленну:
Чрезъ кисть твою тамъ зрятъ въ плафонѣ оживленну.
Къ которому свой взоръ сколь кратъ не возведутъ,
Проклятіе и честь столь кратно-жъ воздадутъ!..
Но есть-ли въ Божій храмъ Царя Царей кто всходитъ,
Тотъ Бога въ существѣ присутственна находитъ!
Вездѣ съ политры тамъ разсыпанъ онміамъ.

(Довольно смѣлый, но живой и выразительный стихъ).

Надзоромъ подъ ево и сей созижденъ храмъ,
Подобно весь мой домъ, въ которомъ обитаю;
Я дѣло рукъ ево повсюду обрѣтаю.
Внутри, съ наружи-ль, что плѣнить коль можетъ взоръ,
Иль стройно обнесенъ какъ кажется мой дворъ!

(Здѣсь авторъ, какъ будто нѣсколько сомнѣвается въ законной принадлежности ему двора. Но здѣсь не поэтическая вольность, а, напротивъ, стихотворное порабощеніе, съ которымъ иногда трудно бороться).

Иль Іонической архитектуры виды;
Раченью въ томъ ево не сдѣлаютъ обиды.

Чѣмъ стихи эти не стихи? Можно даже безъ большаго затрудненія доказать, что тутъ есть очевидныя приметы романтизма; оспаривать народность этихъ стиховъ невозможно: они крѣпостные Русскіе, мѣстныхъ красотъ, кажется, также довольно, оригинальность ихъ неподложная. Признаюсь, они для меня и трогательны; я охотно желалъ бы узнать, гдѣ лежитъ помѣстье Рузаевка и поклониться памяти и памятникамъ поэта и живописца. *Страдъ лихоимства* и все, что до него относится, нѣсколько темно; но вѣроятно идетъ тутъ рѣчь объ аллегори-

ческой картинѣ, изобрѣтенной барономъ, а исполненной слугою. Въ стихотвореніяхъ г-на Струйскаго много достается приказнымъ лихоимцамъ: это также дѣйствіе направленія, даннаго Сумароковымъ, который, съ патріотическою смѣлостью, напиралъ на пороки и злоупотребленія своего времени. Сумароковъ имѣлъ въ г-нѣ Струйскомъ горячаго поклонника и усерднаго заступника. Въ его книгѣ есть апологія къ потомству отъ Николая Струйскаго, или начертаніе о свойствѣ нрава Александра Петровича Сумарокова и о нравственныхъ ево поученіяхъ. Апологія писана въ опроверженіе статьи, напечатанной въ *Петербургскомъ Вѣстникѣ*, 1778 года, въ которой заключается нѣсколько предосудительныхъ, хотя впрочемъ и умѣренныхъ отзывовъ о характерѣ Сумарокова. При апологіи находится и письмо къ митрополиту Платону, котораго сравниваетъ авторъ съ Сократомъ; митрополитъ, благодаря его за присылку сочиненія и за вниманіе, говоритъ ему между прочимъ: „Что надлежитъ до выхваленій, мнѣ вами приписываемыхъ, не признаю, чтобы я то заслужилъ. Трудился я въ проповѣданіи истины евангельской, которая столько превосходитъ Сократову, сколько небо землю“. Все это любопытно въ отношеніи къ духу того времени; однимъ словомъ, въ старыхъ книгахъ нашихъ болѣе историческихъ интересовъ и красокъ, чѣмъ въ новѣйшихъ; въ сихъ послѣднихъ болѣе отвлеченности и метафизики. Проза г-на Струйскаго гораздо витіеватѣе его поэзіи: она часто такъ кудрява, что я не взялся бы давать истолкованіе каждой фразѣ; но между тѣмъ все можно понять изъ многаго, что онъ дорожилъ славою Сумарокова; какъ патріотъ и современникъ, съ жаромъ, если не всегда съ искусствомъ, вступался за него и наконецъ заслуживаетъ уваженіе наше, если оно не воздается единственно дарованію и успѣху. Много еще хотѣлось бы мнѣ поговорить о моемъ неизвѣстномъ поэтѣ, и право есть что сказать, хотя объ *Эпистолѣ къ нехранящимъ уставы*, объ *Еротоидахъ*, о *Кащеѣ*, о *Наставленіи хотящимъ быть пятиметрами* и о разныхъ другихъ произведеніяхъ; но надобно же знать честь: *Аннибалъ* насъ и такъ давно уже ждетъ. Дайте сказать еще слово и кончу. Мнѣ въ этой книгѣ очень понравилась недо-

молвка, недописка въ одномъ заглавіи. Авторъ назвалъ одно изъ своихъ мелкихъ стихотвореній, не вполнѣ эпиграммою, а сокращенно *Enm.* Это застѣнчивое усѣченіе мило до крайности: совѣтую многимъ изъ нашихъ эпиграмматистовъ перенять его при случаѣ. И у нихъ эпиграммы часто безъ конца, какъ переломленныя стрѣлы.

Отъ г-на Струйскаго, столѣтія прошедшаго, перейдемъ къ его сопременнику нашего столѣтія. Только не бойтесь, любезные читатели; зная, что нашъ вѣкъ гораздо быстрѣе на ходу, чѣмъ старый, пробѣгу съ вами наскоро новое произведеніе и самъ не засну съ Аннибаломъ на развалинахъ Карѳагена. Каково кажется вамъ это заглавіе? Въ школѣ учили насъ, что Марій скитался по развалинамъ Карѳагенскимъ, но о пребываніи на нихъ Аннибала я что-то не помню; по моимъ школьнымъ преданіямъ этотъ городъ подвергнулся роковому обреченію настойчиваго Катона уже въ третью Пуническую войну, и едва ли Аннибалъ не погибъ до нее; слѣдовательно, онъ не умеръ на развалинахъ Карѳагена, какъ умираетъ онъ во второй разъ прямо насильственною смертью въ поэмѣ г-на Струйскаго; все это такъ, по исторіи, но, во первыхъ, уже сказано: не всякому слуху вѣрь; во вторыхъ, въ этомъ заглавіи есть вымыслъ поэтическій, а нашихъ поэтовъ именно и упрекаютъ въ бѣдности вымысла.

Драматическая поэма раздѣлена на три отдѣленія: въ первомъ: Аннибалъ говоритъ самъ съ собою и потомъ съ супругою своею Берниссою; во второмъ: разговоръ Сципіона съ Аннибаломъ похожъ въ нѣкоторомъ отношеніи на разговоръ Триссотина съ Вадіусомъ, начатый мадригалами и кончающійся эпиграммами. Въ третьемъ: Аннибалъ увѣщаваетъ своихъ воиновъ идти на освобожденіе Карѳагена, но воины отнѣкиваются и тѣмъ кончается, что Аннибалъ вынимаетъ ядъ изъ кармана и поспѣшно выпиваетъ его. Въ числѣ многихъ риѳмъ, употребленныхъ поэтомъ произвольно, замѣчательна одна, также по вымыслу, риѳма на анаграмму *Рима* и *мира.* На нашемъ языкѣ, бѣдномъ риѳмами, можетъ быть и эта попытка не лишняя.

Легко статься, что для многихъ читателей такой разборъ, какъ тотъ, который здѣсь предлагается, покажется совершенно

неумѣстнымъ, не кстати поверхностнымъ, и, однимъ словомъ, не довольно дѣльнымъ. И такъ, въ угодность имъ вотъ степенное сужденіе о драматической поэмѣ г-на Д. Струйскаго. Содержаніе ея, какъ мы видѣли, что-то странно и произвольно. Вообще поэзію съ исторіею трудно согласовать: обыкновенно выходитъ, что или исторія пострадаетъ или поэзія. Въ рѣчахъ Аннибала и Сципіона мы не слышимъ знакомыхъ намъ героевъ древности, какъ не узнаемъ Аннибала на развалинахъ Карагена. Со всѣмъ тѣмъ, въ семъ произведеніи встрѣчается нѣсколько хорошихъ и сильныхъ отдѣльныхъ стиховъ, отзывается нѣкоторый жаръ въ выраженіи, нѣкоторая твердость и движеніе въ стихосложеніи. Однимъ словомъ, сдается что-то поэтическое. Сбудется-ли въ другомъ твореніи это, слегка означенное предчувствіе или нѣтъ, неизвѣстно, но на всякій случай можно посовѣтовать поэту поступать впредь съ исторіею осторожнѣе и почтительнѣе, не заставляя героевъ насильственно совершать шагъ, выраженный въ эпиграфѣ его *отъ великаго до смѣшнаго*: осмѣяніе (le ridicule) есть горькій плодъ повѣйшей образованности. Въ паденіи Аннибала съ вершины славы нѣтъ ничего смѣшнаго, а много грознаго и поучительнаго.

Приписка. Этотъ второй Струйскій Африканскій, въ отличіе отъ перваго Струйскаго Рузаевскаго, можетъ быть тотъ-же Струйскій, который послѣ, подъ псевдонимомъ *Трилунный*, печаталъ очень порядочные, а иногда и хорошіе стихи въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ. Если такъ, то винюсь передъ нимъ, или передъ тѣнью его, если онъ уже въ поляхъ елисейскихъ, что въ былое, молодое время отозвался я о немъ не совсѣмъ благопріятно и нѣсколько насмѣшливо. Дѣло журнальное. Кажется, напрасно выпущенъ онъ вовсе изъ гостепріимной христоматіи для всѣхъ, изданной г. Гербелемъ въ 1873 году. Въ Русской христоматіи *для всѣхъ*, пишущихъ и читающихъ, Трилунный имѣетъ свое законное мѣсто, и не въ числѣ самыхъ послѣднихъ. Сужу, по крайней мѣрѣ, такъ по тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя сохранились во мнѣ отъ давняго прочтенія нѣкоторыхъ изъ стихотвореній его. Но вотъ воспоминаніе о самомъ Трилунномъ, которое крѣпко врѣзалось въ меня. Въ 1834

году гулялъ я во Флоренціи по саду, который прозывается *Boboli*. Садъ былъ совершенно пустынный. Вдругъ въ одной аллеѣ, кажется мнѣ, что идетъ на встрѣчу кто-то въ форменномъ русскомъ служебномъ фракѣ. Это перенесло меня въ Петербургскій Лѣтній садъ: не могъ я дать себѣ прямаго отчета въ видѣніи, рисовавшемся передо мною. Это былъ молодой Трилунный, то есть Струйскій. Чѣмъ-же все это поясиилось? Струйскій былъ не богатый чиновникъ: поэтическое влеченіе уносило его въ далекіе края, туда wo die Citronen blühen. Онъ кое-какъ, бережливостью своею сколотилъ изъ скуднаго жалованья небольшую сумму и отправился путешествовать по Европѣ: *путешествовать* въ буквальномъ смыслѣ этого глагола — и едва-ли не обходилъ онъ пѣшкомъ всю Европу. Вездѣ, гдѣ онъ ни былъ, осмотрѣлъ онъ все, что достойно вниманія: по возможности со всѣмъ и со многими ознакомился. Въ Римѣ, гдѣ я послѣ опять съ нимъ видѣлся, былъ онъ дружелюбно встрѣченъ Русскими художниками, пребывающими въ Римѣ. Однимъ словомъ, если не оставилъ онъ по себѣ поэмы, которая передастъ имя его уваженію грядущихъ поколѣній, то онъ изъ жизни своей извлекъ для себя, по возможности, много поэзіи. Около двухъ лѣтъ продолжалась мирная Одиссея Русскаго странника и поэта. Много потребно было силы воли и пламени въ душѣ, чтобы совершить такой подвигъ. Это не въ Русскихъ правахъ, не въ Русскихъ обычаяхъ, не въ Русской натурѣ. А вотъ исторія мундирнаго фрака. Не желая тратить деньги на щегольское одѣяніе, присвоенное туристу, онъ донашивалъ свою форменную одежду. Въ ней не хуже, нежели въ модномъ костюмѣ, могъ онъ любоваться картинами великолѣпной природы, изучать памятники искусства, воспитывать умъ и чувства свои въ созерцаніи явленій изящныхъ и поучительныхъ. Онъ такъ и сдѣлалъ. И прекрасно. Прошло уже сорокъ лѣтъ, а я и нынѣ мысленно смотрю съ уваженіемъ и особеннымъ сочувствіемъ на этотъ мундирный фракъ, встрѣченный мною въ саду Боболи. Въ этой, хотя и казенной, вывѣскѣ есть много поэзіи: гораздо болѣе, нежели во многихъ стихахъ многихъ поэтовъ.

1875.

XXXIX.

ОБЪ АЛЬБОМѢ Г-ЖИ ШИМАНОВСКОЙ.

1827.

Европейская извѣстность, пріобрѣтенная г-жею Шимановской въ артистическомъ путешествіи, совершенномъ ею, лестно засвидѣтельствованная многими отзывами журналовъ Нѣмецкихъ, Французскихъ и Англійскихъ, не должна намъ быть чужда какъ потому, что г-жа Шимановская изъ Варшавы, такъ и по титулу первой піанистки Ихъ Императорскихъ Величествъ, дарованному ей указомъ покойнаго Государя, послѣдовавшимъ въ Вѣнѣ, 1822 года. Россіею началось ея музыкальное путешествіе, предпринятое въ то время, когда неблагопріятныя обстоятельства заставили ее обратить на пользу свою и на воспитаніе малолѣтнихъ дѣтей своихъ талантъ, который дотолѣ служилъ ей однимъ изящнымъ удовольствіемъ. Въ Москвѣ и Петербургѣ умѣли оцѣнить сіе похвальное пожертвованіе и вмѣстѣ съ тѣмъ признать, что вниманіе къ нему есть не только одобреніе прекраснаго поступка, но и поощреніе прекрасному таланту. Желая изъ любви къ искусству окончательно образовать свое дарованіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ оправдать милость Двора нашего, она, въ четырехлѣтнемъ путешествіи своемъ по Германіи, Франціи, Англіи и Италіи, не только пожинала успѣхи, но и старалась постояннымъ изученіемъ и знакомствомъ съ первѣйшими современными намъ музыкальными артистами и композиторами пріобрѣсть свѣдѣнія, вкусъ и тѣ вспомогательныя пособія искус-

ства, которыми природное дарованіе усовершенствуется въ школѣ упражненія и опыта. Нынѣ, возвратившись въ Россію, намѣревается она пробыть нѣсколько времени въ Москвѣ, чтобы явить передъ любителями и знатоками музыки плоды своихъ трудовъ и занятій; въ январѣ собирается она быть въ Кіевѣ и немедленно потомъ ѣхать въ Петербургъ, гдѣ и думаетъ основать свое пребываніе. Изъ музыкальнаго странствованія своего возвратилась она не съ одними звуками: пребываніемъ въ чужихъ краяхъ обогатила она память свою свидѣтельствами, не столько переходчивыми, о вниманіи къ ней многихъ изъ почетнѣйшихъ и замѣчательныхъ современниковъ нашихъ. Альбомъ ея, хранилище собственноручныхъ приписаній первыхъ поэтовъ и литтераторовъ нашего времени, есть точно драгоцѣнность въ своемъ родѣ. Счастливое начало было положено ему въ Россіи именами Карамзина, Дмитріева, Жуковскаго, Крылова и нѣкоторыхъ другихъ писателей Русскихъ. Далѣе довольно назвать представителя Германской поэзіи, Гёте, который, удостоивъ г-жу Шимановскую нѣжнымъ и добродушнымъ участіемъ, выразилъ его въ прекрасныхъ стихахъ. Въ Парижѣ знакомство ея съ Александромъ Гумбольдтомъ, Шатобріаномъ, Казиміромъ Делавинемъ, Бенжаменъ-Констаномъ, Этьенемъ, Арно, Жуи, Казиміромъ-Вонжуромъ и другими литтераторами, которыхъ имена издавна затверженны намъ, не стоустною, а развѣ тысячеустною Французскою молвою, обогатило хранилище ея любопытными и замѣчательными воспоминаніями. Томасъ Муръ и Кемпбель были въ немъ представителями отъ лица Англійской музы. Стихи, вписанные Муромъ, тѣмъ замѣчательнѣе, что они сочинены были для него Байрономъ и еще никогда, кажется, напечатаны не были. Изъ Польскихъ поэтовъ встрѣчаемъ тутъ имена Нѣмцевича, Осипскаго, Козмьяна. Между прочими любопытностями альбома сего, находимъ въ немъ весьма замысловатую бездѣлку графа Ростопчина, писанную на Французскомъ языкѣ. Онъ съѣхался на водахъ съ г-жею Шимановскою и сестрою ея и, услышавъ отъ сей послѣдней шуточное опасеніе, что, вопреки лѣтамъ своимъ и здоровью, она приближается къ смерти, написалъ отъ лица ея духовное завѣщаніе, которое свѣтится искрами Французскаго

остроумія и любезности. Одинъ изъ Парижскихъ литераторовъ, увидя шутку эту въ альбомѣ г-жи Шимановской, написалъ въ какомъ-то изъ листковъ періодическихъ объ удивленіи своемъ, что тотъ-же графъ Ростопчинъ, который въ 1812 году не терпѣлъ ничего Французскаго, могъ съ такою свободою и успѣхомъ играть веселою шуткою, орудіемъ Французской любезности. Завѣщаніе сіе подало поводъ и Гёте написать къ г-жѣ Казимірѣ Воловской, сестрѣ г-жи Шимановской, стихи, которые нынѣ напечатаны въ послѣднемъ изданіи его сочиненій, также какъ и стихи г-жѣ Шимановской, упомянутые выше. При альбомѣ г-жи Шимановской есть еще богатое собраніе собственноручныхъ памятниковъ почти всѣхъ извѣстныхъ композиторовъ и артистовъ музыкальныхъ отъ Баха, Генделя, Моцарта до Пера, Керубини, Вебера, Россини и Цингарелли. Письма отъ многихъ великихъ артистовъ на поприщѣ разныхъ искусствъ: отъ славной Англійской актрисы миссъ Сиддонсъ, Дюшенуа, Пасты, отъ Роде, Бальо, Велути, Каталани, Клементи, Бетховена. Историческія имена Георга Каннинга и многихъ лицъ, занимавшихъ или занимающихъ почетныя мѣста на политической сценѣ Англіи, довершаютъ достоинство сей живой энциклопедіи дарованій мертвыхъ и живыхъ извѣстностей. Собственноручныя свидѣтельства людей замѣчательныхъ имѣютъ въ себѣ удивительное притяженіе для любопытствующаго вниманія нашего, даже болѣе самихъ портретовъ, которые могутъ быть невѣрны. Въ портретахъ есть между нами и лицами, въ нихъ изображенными, третье лицо, посредникъ часто своевольный: здѣсь дѣйствіе непосредственнѣе и безошибочнѣе. Глядя на рукописный памятникъ, мы какъ будто присутствуемъ при работѣ мысли, при движеніи руки, ее начертавшей: тутъ выраженіе ума, такъ сказать, умственный звукъ, дѣйствіе человѣка, осуществленнѣе и установленнѣе. Вотъ отъ чего въ нашъ испытательный вѣкъ fac-simile въ такомъ употребленіи и отъ чего альбомъ г-жи Шимановской, и нынѣ уже сокровищница драгоцѣнная, со временемъ будетъ еще драгоцѣннѣе.

Г-жа Шимановская позволила намъ списать нѣсколько воспоминаній изъ ея альбома. На листочкѣ, приложенномъ къ сей

книжкѣ *Телеграфа*, читатели найдутъ снимки (fac-simile) одного куплета стиховъ Байрона, вписанныхъ въ альбомъ, какъ мы выше упомянули, Томасомъ Муромъ, и подписи его; снимокъ подписи барона А. Гумбольдта и подписи Казиміра Делавиня. Выписываемъ здѣсь вполнѣ стихи Гёте, Байрона, строки, начертанныя въ альбомѣ Шатобріаномъ, Гумбольдтомъ, завѣщаніе и эпитафію, писанныя графомъ Ростопчинымъ, стихи Делавиня, Карамзина, Давыдова, Дмитріева и Гнѣдича.

(Lines addressed to me by Lord Byron).

My boat is on the shore,
And my bark is on the sea,
But before I go, Tom Moore,
Here's a double health to thee.
Here's a sigh to those who love me,
And a smile to those who hate,
And whatever sky's above me,
Here's a heart for every fate.
Tho'the ocean roar around me,
Yet is still shall bear me on:
Tho'a desert should surround me,
It hath springs that may be won.
Wer't the last drop in the well,
As I gasp'd upon the brink,
Ere my fainting spirit fell,
Tis to thee that I would drink.
In that water as this wine,
The libation I would pour,
'T would be peace to thine and mine,
And a health to thee, Tom Moore.

Written at the request of Madame Szymanowska by Thomas Moore.

Iюня 2, 1826.

(Стихи написанные мнѣ лордомъ Байрономъ).

Моя лодка ждетъ меня у берега, мой корабль готовъ, но не уѣзжая еще, Томъ Муръ, пью двойное здоровье твое!

Вздохъ тѣмъ, кто любитъ меня; улыбка тѣмъ, кто меня ненавидитъ, и подъ какими бы небесами я ни находился, вотъ сердце на всѣ перемѣны судьбы со мною.

Пусть шумитъ вокругъ меня океанъ; онъ всегда будетъ лелѣять меня на волнахъ своихъ; пусть окружаютъ меня пустыни: я всегда найду въ нихъ ключъ воды.

И если въ немъ оставаться будетъ еще капля, простертый

на берегахъ источника передъ послѣднимъ дыханіемъ, за твое здоровье я пью ее.

И той водою, какъ симъ виномъ, я сотворю воззваніе за твоихъ и за моихъ, и за твое здоровье, Томъ Муръ!

(Написаны на память г-жи Шимановской Томасомъ Муромъ іюня 1826).

Je ne dirai plus les amours et les songes séduisans des hommes; il faut quitter la lyre avec la jeunesse.

Châteaubriand.

Auf den Bergen ist Freiheit! Der Hauch der Grüfte
Steigt nicht hinauf in die reinen Lüfte.
Die Welt ist vollkommen überall,
Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual.

Zum Andenken der liebenswürdigen talentvollen Besitzerinn dieses Buches.

Alexander Humboldt.

Paris. Den 16 Junius 1826.

AN MADAME MARIE SZYMANOWSKA.

Die Leidenschaft bringt Leiden—wer beschwichtigt
Beklommnes Herz, das allzuviel verlohren!
Wo sind die Stunden allzuschnell verflüchtigt?
Vergebens war das schönste dir erkoren!
Trüb ist der Geist, verworren das Beginnen,
Die höhre Welt wie schwindet sie den Sinnen!
Da schwellt hervor Musik mit Engelschwingen
Verflicht zu Millionen Tön'um Töne,
Des Menschen Wesen durch und durch zu dringen
Zu überfüllen ihn mit ewiger Schöne;
Das Auge netzt sich, fühlt in höherm Sehnen
Den Götterwerth der Töne wie der Thränen,
Und so das Herz erleichtert merkt behende
Dass es noch lebt und schlägt und möchte schlagen
Zum reinsten Dank der überreichen Spende,
Sich selbst erwiedernd willig darzutragen.
Da fühlte sich—o! dass es ewig bliebe!—
Das Doppelglück der Töne wie der Liebe.

Marienbad, d. 18 Aug. 1823. Göthe.

Malheureusement, Madame, étant condamné à partir demain, il ne me reste que de soigner mes lèvres informes que je déteste de tout mon coeur. Je me vois à grand regret privé de l'aimable société qui me préparoit une si belle soirée, et je serois tout à fait inconsolable, si je ne me répétois toujours en prose ce que j'ai osé dire en vers, y joignant l'espérance de me réjouir bientôt à Weimar du plus beau talent et de la plus intéressante société qu'on puisse imaginer. Adieu donc, Madame, gardez-moi votre précieux souvenir. Goethe.

M. B. le 19 Aout. 1823.

TESTAMENT

ou

les premières et les dernières volontés d'une jeune personne à qui on a persuadé qu'elle allait mourir.

1.

Etant réduite à l'extrémité par trop de santé, et sentant approcher Madame la mort, de mon lit, où je dors tranquillement, je dicte mes volontés en nommant pour l'exécuteur dans ce monde M-r Rossini et dans l'autre M-r Hendel.

2.

Je lègue mon esprit à la première jeune personne qui le perdra.

3.

Mon âme aux égoïstes.

4.

Mon coeur aux riches.

5.

Mon amitié pour ma soeur à ses enfants.

6.

Mes yeux aux jeunes personnes que l'on ne remarque pas.

7.

Mes dents aux femmes laides à faire peur.

8.

Mon teint aux Albinos.

9.

Ma tournure aux orphelines.

10.

Mon regard aux mères malheureuses, qui sollicitent des grâces pour leurs enfants.

11.

La cruche dans laquelle je prenais les eaux à Carlsbad au premier Roi qui y viendra.

Je signe mon nom pour la dernière fois.

Casimir Wolowsky.

Je certifie pour conforme, Théodore C-te Rostopchine.

le 14 Juillet. 1823.
du Cap de Bonne Espérance.

ЕПИТАФІЯ.

De l'idéal ci-gît l'unique image,
Ornement et délices de nos jours,
De la beauté Vénus brisa l'ouvrage
Pour faire revenir les amours.

C'en est fait! et ces jours que sont-ils devenus,
Où le cygne argenté, tout fier de sa parure,
Des vierges dans tes jeux caressant les pieds nus,
Où tes roseaux divins rendaient un doux murmure,
Où réchauffant Léda pâle de volupté,
Froide et tremblante encore au sortir de tes ondes,
Dans le sein qu'il couvrait de ses ailes fécondes,
Un dieu versait la vie et l'immortalité.

8-me Messénienne. Casimir Delavigne.

ТѢНЬ И ПРЕДМЕТЪ.

Мы видимъ счастья тѣнь въ *мечтахъ земного сына;*
Есть счастье гдѣ нибудь: нѣтъ тѣни безъ предмета.

Царское Село. Окт. 9, 1823. Карамзинъ.

ГУСАРЪ.

Амуръ не все-же пастушкомъ
Въ свирѣль безъ умолку играетъ:
Онъ часто, скучивъ съ посошкомъ,
Съ гусарской саблею гуляетъ;
Онъ часто храбрости огонь
Любовнымъ пламенемъ питаетъ,
И тѣмъ милѣй бываетъ онъ;
Онъ часто съ грознымъ барабаномъ
Мѣшаетъ звукъ любовныхъ словъ;
Онъ такъ и намъ подъ доломаномъ
Вселяетъ звѣрство и любовь.
Въ насъ сердце не всегда желаетъ
Лишь ужасъ, стонъ, кровавый бой;
Ахъ! часто и гусаръ бываетъ
Съ любовной пламенной душой...
Въ гусарскомъ кивернѣ весной
Голубка гнѣздышко свиваетъ!

1822 года. Денисъ Давыдовъ.

Таланты всѣ въ родствѣ, источникъ ихъ одинъ;
Для нихъ повсюду миръ; нѣтъ ни войны, ни грани;
Отъ Вислы до Невы, чрезъ гордый Аппенинъ,
Они взаимно шлютъ пріязни братской дани.

Москва. 1823. И. Дмитріевъ.
Декабря 9-го дня.

Какъ въ громѣ звонкихъ арфъ цѣвницы тихій стонъ
И одинокій и уныдой,
Какъ между гробовыхъ блистательныхъ колонъ
Простая урна надъ могилой
Склоняютъ въ тихую задумчивость сердца:
Такъ неизвѣстнаго тебѣ пѣвца,
Здѣсь, между пѣснями Камены вдохновенной,
Быть можетъ взоръ твой привлечетъ
И хоть задумчивость на сердце наведетъ
Сей стихъ уединенной.

П. Гнѣдичъ.

XL.

ПОЖИВКИ ФРАНЦУЗСКИХЪ ЖУРНАЛОВЪ ВЪ 1827 ГОДУ.

Жирафъ, или Жирафа. — Осажи. — Вальтеръ-Скоттъ. — Парижскіе журналы. — Пушкинъ. — Исторія Наполеона, писанная В. Скоттомъ. — Драматическія Англійскія представленія въ Парижѣ. — Русскій театръ.

1828.

Бѣда, когда постятся Парижскіе журналы. За ними постится Парижская публика, Франція и едва ли не вся Европа, ибо въ наше время Парижскіе листы суть насущный хлѣбъ большей части читателей нашего поколѣнія. Охота же искать пищи въ in folio, въ in quarto и даже въ in 12°, когда можно, за утреннею чашкою чая или кофе, легко запастись изъ газетнаго листка тѣмъ, что̀ послужитъ достаточнымъ ежедневнымъ продовольствіемъ для каждаго порядочнаго и благовоспитаннаго человѣка. Питательную силу яйца равняютъ питательной силѣ цѣлой курицы и утверждаютъ — по крайней мѣрѣ, кажется, Байронъ былъ того мнѣнія — что довольно одного яйца въ смятку, чтобъ сытымъ быть весь день. Такимъ образомъ, есть сбереженіе издержекъ, времени, хлопотъ, трудовъ, есть удобство всякаго рода. Благодаря нашего остроумнаго Баснописца, при такомъ пропитаніи не нужно ни кухни, ни повара [1]): каждый быть можетъ своимъ поваромъ и имѣть подвижную кухню на столѣ, въ своемъ подсвѣчникѣ; была бы только курица, которая каждый день носила по яичку. Въ родѣ умствен-

[1]) См. Басню Крылова.

ной пищи, для читателей не слишкомъ обжорливыхъ, ежедневникъ есть также яйцо въ смятку. Проглотивъ журнальный листокъ поутру, читатель сытъ на весь день; тутъ не нужно библіотеки, головоломныхъ занятій: пища скороспѣлка приспособлена къ желудку каждаго состоянія, званія, возраста. Того и смотри, что нетерпѣливый читатель спроситъ съ досадою: къ чему я хочу вести свое разсужденіе, начавъ, какъ поэтъ, отъ Ледныхъ яицъ? Пора приступить къ дѣлу.

Парижскіе журналы имѣютъ свое провидѣніе. Когда голодная смерть угрожала имъ во всемъ ужасѣ своемъ, предстали имъ поживки неожиданныя, которыя, при другихъ пособіяхъ, менѣе значительныхъ, поддерживали ихъ существованіе, спасая отъ истощенія. Отрѣзаннымъ отъ продовольствій твердой земли, приплыли къ нимъ заморскія: Жирафъ, Осажи, Исторія Наполеона, Англійскіе актеры. Займемся слегка обозрѣніемъ этихъ счастливыхъ нечаянностей: оно можетъ быть наведетъ на нѣкоторыя черты мѣстности и времени, и къ тому же развяжетъ языкъ на нѣсколько минутъ, а вѣдь надобно же, отъ нечего дѣлать, поговорить о чемъ-нибудь. Жирафъ (а почему не Жирафа, какъ говорятъ во Франціи), первый изъ послапниковъ журнальнаго провидѣнія, въ началѣ недѣли мясопустной, наставшей для періодическихъ изданій, былъ принятъ со всѣми восторгами неожиданной радости и признательности, за благодѣяніе въ пору. Науки, искусства, промышленность, праздность, любопытство, корыстолюбіе бросились къ нему и улажпвали его въ свою пользу. Журналы, академіи, рестораціи, театры, модныя лавки праздновали его благодетственное прибытіе, всѣ по своему и по обрядамъ, приличнымъ каждому отдѣленію. Литографія спѣшила повторить изображеніе дорогаго гостя, хотя и не отвѣчающаго понятіямъ о природѣ изящной. Его вшествіе въ Парижъ предано потомству, между прочимъ, въ рисункѣ, съ означеніемъ благословеннаго числа, въ которое оно совершилось и съ пародическимъ повтореніемъ словъ, нѣкогда сказанныхъ въ Парижѣ въ достопочтенную эпоху. Красавицы, на щегольскихъ парядахъ своихъ, носили подобіе безобразнаго жирафа; музыка повторяла печальныя прощанія жирафа съ ро-

диною. О публикѣ праздношатающейся и говорить нечего. Всѣ званія: роялисты и либералы, классики и романтики, всѣ возрасты, изъ всѣхъ этажей высокихъ Парижскихъ хоромъ, толпами сходились къ нему на поклоненіе. Журналы подстрекали любопытство и тщеславіе Парижанъ, сообщая въ ученыхъ изысканіяхъ историческія и біографическія черты поколѣнія жирафа вообще и пріѣзжаго жирафа въ особенности. Они говорили, что Моисей, вѣроятно видѣвшій жирафовъ въ Египтѣ, упоминаетъ, первый изъ писателей извѣстныхъ, о семъ творепіи страннообразномъ; что жирафъ, въ первый разъ посѣтившій Европу, былъ выписанъ Юліемъ Цезаремъ изъ Александріи и показанъ Римлянамъ на играхъ цирка; что съ 1486 года не было жирафа въ Европѣ и что нынѣ тысячи Парижанъ могли бы поспорить въ учености съ Плиніемъ, Аристотелемъ и Бюффономъ, которые описывали жирафа за глаза и невѣрно передали намъ его примѣты. Парижане слушали, дивились, гордились счастливою долею своею и — глазѣя въ ботаническомъ саду на знаменитую иноплеменницу — забывали, смѣшавшись въ общей радости, что они раздѣлены на лѣвую и правую сторону; что Парижская національная гвардія распущена по домамъ; что журналы политическіе являются съ бѣлыми пропусками: потирая руки, говорили они съ восторгомъ, что прекрасная Франція — цѣлый міръ, а единственный Парижъ — столица вселенной!

Когда жирафъ или жирафа началъ или начала уже ветшать въ общемъ мнѣніи и рѣдѣла толпа поклонниковъ вокругъ кумира вчерашняго, другіе выходцы съ того свѣта явились ему на смѣну: Американскіе осажи заступили почетное мѣсто на сценѣ Парижскаго міра. Таже дѣятельность, тоже волненіе возникли повсюду. Снова Французская изобрѣтательность, снова божество Французовъ le Dieu l'à propos [1]), котораго нѣтъ въ Русской миѳологіи, что между прочимъ доказывается и поговоркою народною о крѣпости ума Русскаго, вцѣпились въ счастливое вспомоществованіе, извлекая изъ него тысячу даней на всѣхъ поприщахъ и со всѣхъ рукъ. Многіе смѣются надъ Французами и

[1]) Сказка Вольтера.

даже важно осуждаютъ ихъ за подобную легкомысленность и, такъ сказать, излишнюю впечатлительность. Не могу согласиться съ такимъ мнѣніемъ. Многія изъ блестящихъ качествъ ума и характера Французовъ тѣсно сопряжены съ сею раздражительною способностью живо и горячо принимать всѣ впечатлѣнія и отвѣчать быстрымъ сотрясеніемъ на каждое внѣшнее соприкосновеніе. Можетъ быть, самая утонченность образованности и общежитія дѣлаетъ ихъ, такъ сказать, щекотливѣе. Толстокожаго Лапландца не такъ скоро проймешь. Аоинане, изъ древнихъ народовъ, достигнувшіе до высшей степени образованности, не были ли также умными дѣтьми въ этомъ отношеніи? Алкивіадъ не между ними ли пускалъ свою безхвостую собаку, чтобы отвлечь на минуту общее вниманіе? Въ другомъ городѣ пусти хоть цѣлую свору безхвостыхъ собакъ, такъ никто не встанетъ съ мѣста и не подойдетъ къ окну, чтобы полюбоваться диковинкою.

Теперь остается рѣшить: что лучше—быть раздражительнымъ Аоинянином, въ коемъ нервная система была соткана изъ тонкихъ струнокъ, отзывающихся подъ малѣйшимъ дуновеніемъ, или неподъемнымъ Беотомъ, въ коемъ нервы, какъ корабельныя верви, развѣ одною бурею могутъ быть приведены въ движеніе? Рѣшеніе этого вопроса завело бы насъ слишкомъ далеко; такъ оставимъ же до удобнѣйшаго времени. Впрочемъ, это, такъ называемое, малодушіе или ребячество Французское должно поражать болѣе насъ, чѣмъ другихъ: возня Парижскихъ журналовъ, а за ними и публики Парижской, при всякой новости, такъ далека отъ нашихъ обычаевъ и нравовъ, что мы смотримъ на нее съ изумленіемъ, а многіе изъ насъ съ важною жалостью, какъ смотрѣлъ-бы созерцательный Азіатецъ, коптящійся на солнцѣ и погруженный въ дремоту мыслей и чувствъ, на поворотливость и perpetuum mobile Гаскопца. Журналы наши также, спасибо, не тревожатъ нашей бездѣйственности, а, напротивъ, лелѣютъ ее съ родительскою нѣжностью. Когда и подаютъ они голосъ, то на подобіе имама, который однозвучнымъ возгласомъ своимъ призываетъ правовѣрныхъ готовиться на сонъ грядущій. Со всѣмъ тѣмъ, наша публика, можетъ быть, и легка

была-бы на подъемъ, если-бы литтературные и нравственные журналы наши умѣли искуснѣе поворачивать рычагомъ мнѣній и входить съ нею въ непосредственныя сношенія. Парижскіе не только сообщаютъ своимъ собесѣдникамъ вѣсти сегодняшнія, но бесѣдуютъ съ ними и о томъ, что было вчера, и вообще обо всемъ, служащемъ предметомъ настоящихъ разговоровъ. У насъ журналы и публика рѣдко сходятся въ рѣчахъ своихъ: она мало занимается тѣмъ, что ихъ тяготитъ; они почти никогда не догадываются, или догадываются заднимъ числомъ о томъ, что у нея на сердцѣ и на языкѣ. Какому же тутъ быть живому разговору? Приведемъ примѣръ: во все пребываніе Итальянской оперы въ Москвѣ гостиныя наши были наполнены *дилетантами*; Россини былъ у всѣхъ въ помнѣ—и Неаполь не былъ музыкальнѣе Москвы, по крайней мѣрѣ, на словахъ. По цѣлому получасу гости на вечеринкахъ не садились за работу, то есть, къ зеленымъ столамъ, жарко споря о превосходствѣ Cenerentola надъ Barbiero di Siviglia и soprano надъ contralto. Междоусобіе Пиччинистовъ и Глюкистовъ возобновлено было у насъ, и несогласія доходили не до шутки. Между тѣмъ журналы Московскіе были вовсе не заражены этою меломаническою лихорадкою, которая овладѣла всѣми. Итальянскій языкъ, Итальянская музыка, Итальянская драматургія не имѣли отголоска въ періодическихъ изданіяхъ: хотя всѣ умы были обращены тогда къ югу, но стрѣлка журнальнаго компаса, вѣрная своей природѣ, не сворачивалась съ сѣвернаго полюса молчанія и безстрастнаго хладнокровія. Отъ Итальянской оперы можно перейти къ другимъ предметамъ важнѣйшимъ, хотя въ истинномъ смыслѣ журнальномъ все, что въ глазахъ публики кипитъ жизнію минуты, подлежитъ вѣдомству журнальному, и уже не должно быть для него безжизненнымъ; и тамъ найдемъ тоже разногласіе между пишущими и публикою, или наша журналистика можетъ сказать публикѣ, какъ въ пѣснѣ поэта:

Не узнавай, куда я путь склонила,
Въ какой предѣлъ изъ міра перешла [1]).

---

[1]) Пѣсня Жуковскаго: Голосъ съ того свѣта.

Многіе журналисты, какъ будто боясь тяжбы съ настоящимъ, посягаютъ только на тѣ предметы, которые уже ограждены нѣсколькими десятилѣтними давностями. Предосторожность благоразумная; но каково-же слушателямъ, которыхъ угощаютъ дѣлами, уже съ четверть вѣка покоящимися въ архивѣ! Если же, сверхъ обыкновенія, писатели и пятнутся мимоходомъ на живое, начнутъ говорить о немъ публикѣ, то не на живомъ языкѣ, а, такъ сказать, на мертвомъ. Не изъ охоты критиковать, а единственно для подкрѣпленія сказанныхъ словъ примѣромъ, и по искреннему подобострастію (принимаю сіе слово въ истинномъ смыслѣ, а не въ превратномъ, ибо, пародируя латинскаго комика:

Я журналистъ; мнѣ все журнальное не чуждо)

укажу на критику Веверлея, помѣщенную въ 20-й книжкѣ *Московскаго Вѣстника*. Что можетъ быть наличнѣе Вальтеръ Скотта въ наше время и что можетъ быть отвлеченнѣе вступленія къ разбору его романа? Что можетъ быть зыбучѣе и неосязательнѣе начертанной тутъ характеристики таланта и произведеній писателя, который, по справедливому и весьма остроумному замѣчанію самого рецензента, въ государствѣ собственно-практическомъ, избранъ судьбою быть практическимъ романистомъ?

Изложивъ задачу такимъ превосходнымъ и свѣтлымъ образомъ, какъ же не остаться рецензенту на твердой почвѣ рецензіи практической? Зачѣмъ съ нея удаляться и насильственно увлекать и Вальтеръ Скотта практическаго и Русскихъ читателей, также въ своемъ родѣ практическихъ самоучекъ, въ дремучій боръ Германской метафизики? Ривароль говорилъ о коментаріяхъ на легкія стихотворенія Вольтера, что они напоминаютъ свинцовое клеймо, налагаемое таможенниками на дымку. Вальтеръ Скоттъ яркій свѣтильникъ положительности; рецензентъ, указывая на свѣтъ его, сгущаетъ вокругъ свѣтильника чадные пары своей критической лампады. Такъ-ли должно говорить Русскимъ читателямъ, когда хочешь дѣйствовать на ихъ умы? Русскій умъ любитъ, чтобы ему было за что держаться, а не любитъ плавать въ туманахъ и влажной мглѣ, въ стихіи неопредѣленной, въ которой Нѣмцу раздолье, какъ рыбѣ въ прохладной рѣкѣ. У каж-

даго народа своя стихія: зачѣмъ сверхъ-естественнымъ переломомъ кидаться намъ въ чужую? Этотъ способъ разбирать твореніе, возбуждающее общее вниманіе и писанное про всѣхъ, хотя и былъ бы онъ употребленъ съ успѣхомъ, неприличенъ, тѣмъ болѣе, когда дѣло идетъ о Вальтеръ Скоттѣ, который дарованіемъ, творчествомъ и, такъ сказать, всею нравственною жизнію своей дѣйствуетъ на открытомъ полѣ и средь бѣлаго дня, а не подъ сумракомъ и засадами непроницаемаго капища. Тѣмъ болѣе способъ этотъ неприличенъ въ Русскомъ журналѣ, который долженъ быть въ числѣ ручныхъ книгъ читающей публики, и по собственному его достоинству, которое признаю охотно во многихъ отношеніяхъ, и по участію въ немъ, хотя и постороннему, но не менѣе гласному, поэта, который также, подобно Вальтеръ Скотту, есть преимущественно практическій поэтъ и болѣе всѣхъ изъ Русскихъ, старыхъ и новыхъ, совмѣстниковъ своихъ пишетъ прямо къ своему поколѣнію, въ собственныя руки.

Отъ романиста Вальтеръ Скотта перейдемъ къ историку баронету, который изданіемъ сочиненія своего о жизни Наполеона, именно въ то время, когда насущная политика не владѣла почти безраздѣльно столбцами Парижскихъ журналовъ, былъ для нихъ въ числѣ счастливѣйшихъ находокъ. Впрочемъ, сіе твореніе, каково ни есть его собственное достоинство, и во всякое время было бы любопытнѣйшимъ явленіемъ нашей эпохи. Наполеонъ, сей могущественный преобразователь, сіе въ теченіе многихъ лѣтъ первое дѣйствующее лицо на сценѣ всемірнаго театра, однимъ словомъ: сей Вальтеръ Скоттъ политическаго міра, и Вальтеръ Скоттъ, сей Наполеонъ міра литтературнаго, были равно, каждый на поприщѣ своемъ, счастливыми хищниками общаго вниманія, господствовали и господствуютъ имъ понынѣ по праву побѣды и соизволенію общественному. Схватка—грудь съ грудью и [illegible] съ рукою—сихъ гигантовъ нашей эпохи—зрѣлище увле[illegible] и назидательное! Хотя Вальтеръ Скоттъ, коего сочиненіе [illegible] извѣстное намъ по однѣмъ выпискамъ, а болѣе по рецен[illegible] Парижскихъ журналовъ, и не смогъ-бы выдержать со [illegible] борьбы съ соперникомъ своимъ, но и самое паденіе его, [illegible] достовѣрность паденія, можетъ быть еще почет-

[1]) П[illegible]

нѣе и величественнѣе побѣды другаго, даже не рядоваго бойца. Какъ Наполеонъ, такъ и его историкъ, они равно должны быть привлекательны для общаго любопытства, равно предметами изученія и глубокомысленныхъ наблюденій, и подъ солнцемъ Аустерлицкимъ и подъ затмѣніемъ этого солнца въ день битвы при Ватерлоо. Судя по рецензіямъ Французскимъ, главный порокъ новаго творенія есть поспѣшность, съ которою авторъ собиралъ матеріалы для исторіи своей, не провѣряя ихъ между собою, такъ что въ самомъ изложеніи послѣдующее часто не согласуется съ предъидущимъ, выходятъ изъ того анахронизмы, историческіе промахи, однимъ словомъ отсутствіе достовѣрности, безъ коей исторія не можетъ имѣть, такъ сказать, законной силы. Впрочемъ, сіи погрѣшности и недостатки, хотя и весьма важные, могутъ быть легко при другомъ изданіи исправлены въ два или три присѣста. Но исторія, и тѣмъ болѣе исторія Наполеона, писанная Вальтеръ Скоттомъ, не можетъ быть единственно таблицею хронологическою и памятникомъ событій: она должна быть умозрительнымъ зеркаломъ, въ коемъ отражается оптическимъ соображеніемъ эпоха, болѣе всѣхъ прочихъ для насъ занимательная: и потому, что мы ея современники, и, слѣдовательно, болѣе или менѣе соучастники; и потому, что, отлагая всякое лицепріятіе въ сторону, она—важнѣйшая глава изъ книги судебъ, скажемъ и мы, пользуясь выраженіемъ одного писателя. Расположеніе событій такимъ образомъ, чтобы при безпристрастной симметріи одно не затмѣвало другаго, а напротивъ освѣщались они взаимнымъ удареніемъ свѣта, и въ этомъ переломленіи лучей истины озарились-бы самыя сокровенныя причины событій, есть одна изъ главныхъ задачъ историка. За этимъ слѣдуетъ умѣніе сохранить главному лицу мѣсто, которое подобаетъ ему въ книгѣ, сходно съ мѣстомъ, которое занималъ онъ и въ жизни; изъясненіе тайнъ характера, политики и часто странныхъ уклоненій, тайнъ, еще невъясненныхъ, или, по крайней мѣрѣ, не соображенныхъ и не приведенныхъ въ общіе знаменатели, не смотря на труды многихъ толковниковъ, которые, болѣе или менѣе, наводили насъ на слѣды — все сіе зависитъ отъ духа, отъ мысли первопачальной, присутствовавшихъ при

совершенія труда подобной важности. Можно-ли, при всей довѣренности къ обильнымъ способамъ Вальтеръ Скотта, ожидать отъ него—Англичанина, и Англичанина преданнаго мнѣніямъ одной партіи — совершенно безсторонняго, такъ сказать внѣ человѣческой натуры, исполненія предпріятія, столь обширнаго? Въ романистѣ Шотландскомъ виденъ геній; въ бытописателѣ Наполеона нуженъ былъ судія. Можетъ быть, тамъ, гдѣ геній его въ сторонѣ, тамъ умъ съ предубѣжденіями своими сбиваетъ его съ прямой дороги. Превратный, односторонній умъ собьетъ и величайшій геній, какъ софизмы омрачаютъ ясный разсудокъ, какъ страсти совращаютъ душу до того непорочную; геній свободенъ, когда онъ одинъ въ дѣйствіи и можетъ дѣйствовать на чистоту; при содѣйствіи ума, который у него служитъ по особеннымъ порученіямъ, являются на помощь много хитрыхъ союзниковъ, лукавыхъ ласкателей; являются предубѣжденія, предразсудки политическіе и народные, предъ коими геній отступаетъ почтительно, полагая въ смиренной простотѣ своей, что онъ не понимаетъ ихъ важности. Умные люди—существа ученыя, свѣтскія; геній—созданіе первобытное, созрѣвшее въ одномъ вдохновеніи природы. Дюкло говаривалъ: глупъ какъ геній. Вальтеръ Скоттъ держался этой глупости въ романахъ своихъ; не поумнѣлъ-ли онъ въ исторіи? Если такъ, если онъ хотѣлъ написать книгу, не только достойную вниманія, но еще и благонамѣренную по мнѣнію своему и своихъ клевретовъ, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ долженъ былъ спуститься съ высоты своей, чтобы поровняться съ другими. Нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что, если новое твореніе его не превосходитъ многимъ всего, что онъ написалъ попыпѣ, то онъ также упалъ: ибо не былъ наравнѣ съ предметомъ своимъ, который выше другихъ, обработанныхъ имъ. Статьи *Журнала Прсній* объ исторіи Наполеона писаны съ умомъ и съ умѣренностью; послѣднее сіе достоинство, которымъ, впрочемъ, сколько можно судить почти за глаза, ознаменовано и самое твореніе Вальтеръ Скотта, есть явленіе замѣчательное и утѣшительное. Вспомнивъ вѣковую непріязнь двухъ сосѣдовъ, и политическіе сторожилы должны сознаться, что народы стали умнѣе. *Журналъ Прсній* судитъ объ исторіи Наполеона по Фран-

цузскому переводу и, какъ видно изъ другихъ журналовъ, былъ иногда вовлеченъ въ заблужденіе погрѣшностями переводчика. Напримѣръ, критикъ *Журнала Преній* нападаетъ на историка за слово притворился (feint), которое, въ разсказѣ о битвѣ Аркольской охлаждаетъ и прозаизируетъ пылъ и поэзію дѣйствій Бонапарте. Въ подлинникѣ нѣтъ этого прозаическаго притворства; тамъ сказано просто: Bonaparte commenced his march at first to the rear in the direction of Peschiera. Впрочемъ, повторяемъ: ошибки такого рода, и въ подлинникѣ и въ переводахъ, легко будутъ исправлены; но если твореніе Баронета грѣшитъ духомъ, расположеніемъ, предубѣжденіемъ, если рама, въ которую онъ хотѣлъ вставить своего героя, ему не въ пору, и если Баронетъ захочетъ извиниться тѣмъ, что у каждаго барона своя фантазія, то-есть свой образъ мыслей, то дѣло кончено. Второе изданіе будетъ исправнѣе перваго, третье втораго, и такъ далѣе, но все будетъ твореніе недостойное исторіи, историка и лица историческаго. Работая по другой мѣркѣ, можно легко подправить испорченное; здѣсь стянуть, тамъ выпустить; но платье, сшитое на Наполеона и ему не къ лицу, уже рѣшительно никуда не годится. Когда ошибка въ покроѣ и когда этотъ покрой назначается для живаго Геркулеса Фарнезскаго, тогда ошибка непростительна и невозвратима. Должно почать новый кусокъ, а старое платье отложить въ сторону. „Прадтъ справедливъ“ (пишетъ мнѣ одинъ изъ заграничныхъ читателей творенія Вальтеръ Скотта): „одна г-жа Сталь могла совершить изображеніе Наполеона. Вальтеръ Скоттъ, какъ мнѣ сдается, упустилъ много обстоятельствъ, проглядѣлъ много оттѣнокъ: подобно колоссу Родосскому, пропускающему безъ вниманія корабли между ногъ своихъ, и онъ многое пропустилъ; но вѣроятно не потому, что онъ слишкомъ высоко стоитъ, а болѣе по невѣдѣнію,—по причинѣ *иноплеменничества* своего, можетъ быть, по небрежности, по неумѣстной скорости, съ коей хотѣлъ онъ совершить подвигъ многотрудный“. Какъ бы то ни было, если Вальтеръ Скоттъ и не удовлетворилъ вполнѣ ожиданію читателей своихъ, то-есть грамотнаго поколѣнія нашей эпохи, то, можетъ быть, придется и здѣсь сказать: дремота Гомера лучше безсонницы многихъ.

Предлагаемыя критическія изслѣдованія, на обумъ, о твореніи неизвѣстномъ похожи немного на статьи Брюсовскаго календаря и могутъ показаться забавны; согласенъ, со всѣмъ тѣмъ, вотъ дополнительное заключеніе гаданія, которое остается впредь до разрѣшенія: во всякомъ случаѣ можно, хотя и гадательно, но рѣшительно, сказать за глаза, что новое твореніе Вальтеръ Скотта, каково ни было-бы его достоинство въ отношеніи къ дарованію его и понятію нашему о немъ, есть первая книга настоящей эпохи; можетъ быть, въ объемѣ цѣлаго и съ той точки, на которую авторъ сталъ для снятія картины или, лучше сказать, панорамы жизни Наполеона и включенной въ нее панорамы болѣе четверти вѣка изъ современной исторіи, можетъ быть слишкомъ выдается Баронетъ; не споримъ, но во многихъ яркихъ частяхъ долженъ прорываться тотъ Вальтеръ Скоттъ, который разительною кистью умѣлъ какими-то особенными примѣтами означить историческія лица своихъ романическихъ вымысловъ, и такимъ образомъ сближать съ нами обыкновенную даль исторіи. Съ другой стороны, здѣсь, можетъ быть, заключается отчасти причина недостатка въ послѣднемъ его твореніи, если признать его недостаточнымъ: живописецъ картинный, онъ можетъ быть и отличается въ изображеніи далей, въ томъ, что называется живописнымъ обманомъ. Въ новомъ трудѣ ему не нужно было прибѣгать къ этой способности, не нужно было воскрешать истину: истина живая, близкая трепетала у него подъ рукою. Должно было схватить ее на мѣстѣ и представить въ точномъ изображеніи на судъ очныхъ свидѣтелей подлинника. Одно изъ многихъ непосредственныхъ послѣдствій появленія исторіи Наполеона на Парижскую публику есть обвиненіе, которое падаетъ на генерала Гурго. Сіе обвиненіе и возраженіе обвиненнаго занимаютъ Французскіе и Англійскіе журналы. Біографическая тайна, которая становится историческою, ибо относится до лица одного изъ товарищей историческаго общества св. Елены, еще не рѣшена, по крайней мѣрѣ у насъ. Кажется, отвѣтъ генерала историку неудовлетворителенъ. Вотъ что говоритъ о немъ одинъ Французскій листокъ: „Сужденіе, произносимое о письмѣ г-на Гурго въ отвѣтъ на обвиненіе

сира Вальтеръ Скотта, почти единодушно. Въ письмѣ видна рѣшительность раздраженнаго человѣка, который именно обвиняетъ во лжи противника своего, но не видать критики писателя, слѣдующаго и разбирающаго хладнокровно историческій запросъ. Безъ сомнѣнія, получимъ нравственное убѣжденіе, что генералъ Гурго не хотѣлъ измѣнить своему прежнему властелину; но въ этомъ случаѣ будемъ ему вѣрить на слово, а не на ощутительныхъ доводахъ основется сіе убѣжденіе". Легко постороннему требовать отъ обвиненнаго въ безчестіи хладнокровнаго разсмотрѣнія страшной укоризны, поразившей его въ глазахъ современниковъ и потомства! Мы будемъ снисходительнѣе Французскаго журналиста, и понимаемъ, что Гурго могъ и долженъ былъ горячо отвѣчать своему обвинителю; но соглашаемся, что историческія доказательства въ невинности нужны для опроверженія обвиненія историческаго.

Смотря на исторію Наполеона, писанную въ Англіи не слогомъ Джона Буля и разсматриваемую во Франціи безъ немпируемыхъ галлицизмовъ площаднаго патріотизма, мы видѣли въ этомъ явленіи несомнѣнные признаки совершеннолѣтія и благоразумія эпохи нашей; другое событіе въ мірѣ Парижскомъ, другая поживка журнальная подкрѣпляетъ наше мнѣніе. Фельетоны газетъ наполнены извѣстіями о театральныхъ Англійскихъ представленіяхъ, которыя привлекаютъ лучшую Парижскую публику. Вотъ значительная побѣда, одержанная терпимостью надъ національными и классическими предразсудками. Можно поздравить съ нею Французовъ. Еще за нѣсколько лѣтъ предъ симъ подобная попытка не имѣла успѣха. Тогда, можетъ быть, драма, разыгранная при Ватерлоо, была еще слишкомъ свѣжа въ памяти, и Англійскіе актеры, разыгравшіе ее, только что оставили Францію, въ которой зажились для сбора театральной реквизиціи. Нынѣ времена не тѣ. Французы, сказываютъ, вѣтрены, слѣдовательно, и не злопамятны; къ тому же драмы Веллингтона — одно, а драмы Шекспира — другое. Какъ-бы то ни было, пьяный дикарь, по выраженію Вольтера, который въ свое время былъ еще укоряемъ въ англоманіи, господствуетъ на сценѣ, гдѣ царствуетъ и трезвый Расинъ. O tempora! o mores! восклица-

етъ, пожимая плечами и качая напудренною головою, внутренняя стража чистыхъ Французовъ, до коихъ не дотронулась, въ наглomъ порывѣ своемъ, буря мнѣній, событій, переворотовъ, лѣтъ, все ниспровергнувшая во Франціи, развѣявшая въ прахъ все старинное, все — кромѣ пудры съ нѣкоторыхъ классическихъ париковъ. Между тѣмъ непріятель уже на священной почвѣ отечества; онъ въ нѣдрахъ Капитолія классицизма, и спасительные крики охранительныхъ гусей не пробуждаютъ въ малодушныхъ потомкахъ гнѣва и мужества исключительныхъ предковъ. Нѣкоторые Французскіе ренегаты начинаютъ поговаривать о маркизѣ Оросманѣ и виконтессѣ Запрѣ; критики называютъ трагедіи Дюсиса блѣдными и обрѣзными сколками живыхъ гигантовъ; слезы, которыя были послушны голосу одного Расина, волосы, которые становились дыбомъ отъ одного ужаснаго Кребильона, уста, которыя улыбались не иначе, какъ по ниточкѣ Французской Таліи, признаютъ раздражительное вліяніе Шекспира, Шеридана, Гольдсмита.

Гостепріимство, оказанное Французскимъ театромъ актерамъ заморскимъ, должно имѣть со временемъ послѣдствія плодовитыя. Пугливые туземцы, которые будутъ примѣнять сіе гостепріимство къ змѣѣ, согретой въ пазухѣ поселянина, можетъ быть не ошибутся въ своемъ предсказаніи: змѣя Шекспирова, если не уморитъ, то крѣпко ужалитъ Французскую Мельпомену. Можно сказать: на здоровье! На первый случай Парижскіе журналы угощаютъ пріѣзжихъ съ умомъ и съ вѣжливостью; если не совершенно уступаютъ имъ почетныя мѣста, то, по крайней мѣрѣ, разбираютъ ихъ права, и дѣло подвергается тяжебному суду: хорошо и то, что спорятъ, а не осуждаютъ безъ суда. *Журналъ Преній* основательно говоритъ по сему случаю: „Англійскій театръ нуженъ-ли? полезенъ-ли онъ даже въ Парижѣ, который имѣетъ уже иностранный театръ? Вопросъ совершенно пустословный! Если въ нашей столицѣ находится довольное количество любителей, достаточно знакомыхъ съ языкомъ и литературою Англійскими, чтобы населить и поддерживать новый театръ, то какая бѣда доставлять этой части сограждапъ нашихъ и гостей средство забавляться, какъ они умѣютъ?“ Вотъ, сужденіе

благоразумное и просвѣщенное: противное мнѣніе было бы нелѣпо. Мы слышали, что иные литтераторы и—такъ называемые—драматическіе писатели у насъ почитаютъ существованіе иностраннаго театра ущербомъ и подрывомъ отечественнаго. Если вывести сіе мнѣніе изъ тѣснаго круга личныхъ выгодъ, не подлежащихъ общему и литтературному разсмотрѣнію, то оно не можетъ выдержать возраженія. Не хотѣть имѣть иностраннаго театра отъ страха, что онъ подорветъ отечественный, тоже, что противиться привозу иностранныхъ книгъ, чтобы насильно заставить читать свои. Могутъ желать этого писатели-эгоисты, но что скажутъ читатели, которые въ большинствѣ и должны въ этомъ дѣлѣ имѣть голосъ рѣшительный? Смѣшно почитать публику приписною къ своимъ книжнымъ лавкамъ и къ своему театру, и держать ее на барщинѣ, для умноженія доходовъ своихъ отъ типографическихъ и драматическихъ фабрикъ. Никакое правительство не согласится угодить такою статьею тарифа исключительному корыстолюбію откупщиковъ умственной промышленности. Въ отношеніи къ патріотизму рѣшеніе вопроса также не затруднительно. Что за патріотизмъ въ удовольствіяхъ, доставляемыхъ изящными искусствами? Пріятнѣе-ли было-бы ушамъ Русскимъ слышать голосъ Каталани, если она родилась-бы въ Ярославлѣ или Рязани? Почитаю себя патріотомъ не хуже многихъ, но, признаюсь, отдамъ охотно весь нашъ театръ за одну изъ хорошихъ комедій не только Мольера, но и Пикара. Что за патріотизмъ, когда дѣло идетъ о наслажденіи отвлеченномъ? Найдется-ли патріотъ, предпочитающій пятирублевую ассигнацію, потому, что она отечественная, полновѣсному червонцу голландскому? Такому позволю спорить о необходимости держаться во всемъ исключительно своего и съ уваженіемъ буду смотрѣть на его добродушный патріотизмъ. Въ нѣкоторыхъ городахъ Германіи запрещенъ привозъ Французскихъ винъ, а производятъ свои подъ особенными названіями; wie Champagner, wie Burgunder. Драматическіе патріоты хотѣли бы также ввести въ театръ это обыкновеніе и попть насъ A. B. wie Molière, F. F. wie Picard и такъ далѣе. Да какъ же пить, когда не пьется? Франція не боится чужихъ виноградниковъ, ибо увѣрена въ превосходствѣ

своихъ: берите съ нея примѣръ. Кто-то говорилъ о жаркомъ защитникѣ неприкосновенности отечественнаго театра, что онъ хочетъ принудить публику сдаться, какъ осажденный городъ, голодомъ. Это замѣчаніе остроумно и справедливо. Къ тому-же нѣтъ сомнѣнія, что иностранный театръ долженъ способствовать со временемъ успѣхамъ своего, образовывая таланты актеровъ отечественныхъ и вкусъ публики. Не знаю, много-ли подѣйствовала Итальянская опера въ Москвѣ на успѣхи Русской оперы, но на музыкальную образованность публики Московской имѣла она значительное и благодѣтельное вліяніе. Въ Петербургѣ, гдѣ часто бывали Французскіе актеры отличнаго достоинства, тамъ и Русская сцена блистала отечественными дарованіями первостепенными. Семенова, Колосова, конечно, главнымъ одолжены природѣ, но многимъ и поучительному примѣру. Искусство актера, болѣе другихъ искусствъ, требуетъ образцовъ и переимчивости, послѣ которой дарованіе возвышенное уже приступаетъ къ оригинальному пересозданію себя. Разсудительно-ли было бы требовать отъ живописцовъ не изучать иностранныхъ мастеровъ и первоначально не подражать картинамъ чужой школы, тѣмъ болѣе, когда своей еще нѣтъ? Французамъ можно бояться вторженія иностранцевъ въ предѣлы театра потому, что оно угрожаетъ цѣлости отечественнаго. Но у насъ, гдѣ театръ есть сокращенное, и на скорую руку построенное подражаніе Французскому, тутъ нашему честолюбію и патріотической независимости страшиться нечего. Если чему и пострадать, такъ одному тщеславію нашихъ драматическихъ писателей, коихъ заимствованная оригинальность немного распадется при видѣ настоящихъ подлинниковъ. Но безъ сомнѣнія и они, уважая болѣе общую пользу, чѣмъ свою, порадуются, что на первый случай въ Петербургѣ, благодаря просвѣщенной щедрости Правительства, будутъ имѣть при Русскомъ три вспомогательные театра: Французскій, Итальянскій и Нѣмецкій. Вспомня Итальянскую оперу, которую мы не умѣли сохранить, а нынѣ оплакиваемъ, нельзя намъ, Москвичамъ, не позавидовать со вздохомъ обилію Петербургскихъ счастливцевъ и не надѣяться въ утѣшеніе, что въ добрый часъ падетъ и на долю нашу нѣсколько иноплеменныхъ поживокъ заграничныхъ, чтобы чѣмъ было поразговѣться.

XLI.

ПО ПОВОДУ КРИТИЧЕСКИХЪ ЗАМѢЧАНІЙ АРЦЫБАШЕВА НА ИСТОРІЮ ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО, ПОМѢЩЕННЫХЪ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ВѢСТНИКѢ.

(Письмо къ М. П. Погодину).

1828.

Вы говорите въ письмѣ своемъ ко мнѣ, что не могли ожидать умозаключеній подобныхъ моимъ послѣ вашей *Откровенной Исповѣди*. Во первыхъ, скажу вамъ, что стихи мои были отданы въ Телеграфъ до появленія 21 и 22 книжки *Московскаго Вѣстника;* но признаюсь вамъ также откровенно, что ни въ какомъ случаѣ сія такъ называемая исповѣдь, въ которой не худо бы вамъ покаяться, не могла бы перемѣнить мой образъ мыслей. Сказавъ вамъ искренно мое сужденіе о критикѣ г. Арцыбашева и о помѣщеніи оной въ вашемъ журналѣ, позволю себѣ сказать мое мнѣніе и о вашей статьѣ. Въ ней нѣтъ конечно неблагопристойности, подобно той, но есть явное неприличіе. Начнемъ съ повода, который весьма неудачно прибранъ. Письмо г-на Z есть или неловкій журнальный вымыселъ, или письмо дурака, на которое не слѣдовало бы отвѣчать и которое тѣмъ болѣе не слѣдовало бы печатать. Ваше сужденіе о Карамзинѣ такое, что едва ли Карамзинъ позволилъ бы себѣ объявить оное объ васъ: въ вашихъ словахъ отзываются ободрительная доброжелательность, покровительство, всегда неумѣстныя, когда ихъ выказываютъ, но тѣмъ болѣе неприличныя, когда дѣло идетъ о

Карамзинѣ. Извлекая сущность изъ всего сказаннаго въ вашемъ отвѣтѣ, выводится къ чести Карамзина, что 'Исторія его *двенадцать лѣтъ не сходитъ съ вашего письменнаго стола*, а къ осужденію его — онъ не живописецъ потому, что Олеги его и Святославы взяты изъ Расиновыхъ трагедій, что онъ не критикъ, не философъ и проч. Что же, повторю, остается при Исторіи, кромѣ чести быть настольною книгою вашею? Соглашаюсь съ вами, что новое поколѣніе учится лучше прежняго, что въ Московскомъ университетѣ болѣе студентовъ противъ прежняго, но признаюсь также: если преподаваемое нынѣ ученіе ведетъ къ образу мыслей, изложенныхъ вами, если оно ведетъ къ тому, чтобы при весьма слабыхъ правахъ въ литературѣ говорить подобнымъ дидакторскимъ тономъ о представителѣ нашего просвѣщенія и образованности, то нельзя не пожалѣть о худомъ направленіи ученія и не сознаться, что разсудительность, смиреніе и уваженіе къ заслугамъ видно не приведены подъ итогъ преподаваемыхъ наукъ. Вашу статью назвалъ одинъ изъ безпристрастныхъ читателей опой: злоупотребленіемъ склоненія личнаго мѣстоимѣнія *я*,— и это очень мѣтко. Отдавая полную справедливость вашимъ дарованіямъ, нельзя не замѣтить, что приводимые на очную ставку съ Карамзинымъ *ваши письменный столъ*, *ваше полное сужденіе объ Исторіи Карамзина*, *ваша обязанность сказать о ней нѣсколько словъ*, все это очень неумѣстно и очень забавно, хотя и не весело забавно. Не стану входить въ подробное опроверженіе мнѣній вашихъ ни здѣсь, ни въ печати. Неосновательность, опрометчивость, высокомѣрная невоздержность оныхъ кидаются въ глаза. Вы предваряете меня, что будете отвѣчать на мои выходки: предваряю васъ, что не буду отвѣчать на вашъ отвѣтъ. Для печати я все сказалъ, что почиталъ себя въ правѣ и въ обязанности сказать; въ настоящемъ, частномъ объясненіи моемъ дополнилъ я для васъ сказанное мною прежде для печати. Я не могъ удержать себя отъ желанія подать по возможности свой голосъ въ тяжбѣ, которую почитаю дѣломъ національнымъ. Публика, сей верховный присяжный судъ, рѣшитъ, кто изъ насъ правъ: вы-ли и г. Арцыбашевъ, или я. Что же касается до того, что вы обо мнѣ

скажете, тутъ въ глазахъ моихъ національной и литературной важности не будетъ и, слѣдовательно, ничто за живое меня не задѣнетъ: мнѣніемъ же *Московскаго Вѣстника* въ литературномъ отношеніи позволено не дорожить, когда видимъ, что въ немъ даже и по части слога судія Арцыбашевъ, а подсудимый Карамзинъ, когда въ немъ эпоха Карамзина названа междуцарствіемъ литературнымъ, а эпоха г-на Арцыбашева и ему подобныхъ признается воцареніемъ законной власти. Этотъ примѣръ въ силахъ притупить и самое раздражительное самолюбіе авторское.

Въ отношеніяхъ частныхъ и личныхъ мнѣ самому очень жаль, что я почиталъ себя обязаннымъ рѣзко противорѣчить вамъ, но вы признаетесь, что въ эпиграммѣ и въ примѣчаніи къ эпиграммѣ нѣтъ мѣста потворству и ласковымъ увѣреніямъ. Впрочемъ, повторяю: я исполнилъ то, что̀ почиталъ себя въ правѣ и обязанности исполнить. Вы вѣроятно слѣдовали тому же правилу: и такъ, мы оба правы, каждый передъ собою. Не намъ судить, кто изъ насъ правъ передъ другимъ.

XLII.

МОЯ ИСПОВѢДЬ [1]).

1829.

Обращая вниманіе на мое положеніе въ обществѣ, вижу, что оно въ нѣкоторомъ отношеніи можетъ показаться непріязненнымъ въ виду правительства; допрашивая себя, испытывая свою совѣсть, свои дѣла, вижу, что настоящее мое положеніе не естественно, мало мнѣ сродно, что оно болѣе насильственно, что меня, такъ сказать, втѣснили въ него современныя событія, частныя обстоятельства, постороннія лица и, наконецъ, само правительство, которое, приписавъ мнѣ непріязненныя чувства къ себѣ, однимъ предположеніемъ уже облекло въ сущность и дѣло то, что́, можетъ быть, никогда не существовало. Какъ-бы то ни было, но нынѣшнее мое невыгодное положеніе есть болѣе слѣдствіе того, что́ нѣкогда было, нежели непосредственное слѣдствіе того, что́ есть и быть не переставало. Отдавъ отчетъ въ нѣкоторыхъ эпохахъ моей жизни, въ нѣкоторыхъ свойствахъ моего характера, исповѣдавъ откровенно образъ мыслей и чувствъ моихъ, я, можетъ быть, успѣю разувѣрить тѣхъ, которые судятъ меня болѣе по предубѣжденіямъ и даннымъ, недоброжелательствомъ обо мнѣ доставленнымъ, нежели по собственнымъ моимъ дѣламъ. Въ сей надеждѣ рѣшился я составить о себѣ записку, и передаю ее безпристрастію моихъ судей.

До 1817 года былъ я не замѣченъ правительствомъ. Темная служба, пребываніе въ Москвѣ хранили меня въ неизвѣстности.

---

[1]) Въ письмѣ отъ 10 января 1829 года, Князь П. А. Вяземскій писалъ Жуковскому: „Я дописываю *свою Исповѣдь* надѣюсь доставить ее тебѣ дней черезъ пять, или шесть. Скучно переписывать“. Изъ письма Князя Вяземскаго отъ 19 февраля изъ Тамбова, мы видимъ, что *Исповѣдь* эта была уже отправлена къ Жуковскому.

Въ то время не было еще хода на слово либералъ, и потому мои тогдашнія шутки, эпиграммы пропадали такъ же невинно, какъ и невинно были распускаемы. Пріѣздъ въ Москву Н. Н. Новосильцова перемѣнилъ судьбу мою. По нѣкоторымъ благороднымъ преданіямъ о прежней службѣ его, я уважалъ Новосильцова. Между тѣмъ мнѣ всегда казалось, что не могу служить съ удовольствіемъ иначе, какъ подъ начальствомъ человѣка просвѣщеннаго, образованнаго и лично мною уважаемаго; потому, остававшись въ долгомъ бездѣйствіи, я сталъ искать случая служить при Новосильцовѣ. Въ этой взыскательности, въ этомъ такъ сказать романическомъ своенравіи, заключается вѣроятно одна изъ причинъ главныхъ моихъ неудовольствій. Не видя на поприщѣ властей человѣка, которому могъ бы я предаться совѣстію и умомъ, послѣ ошибки своей и разрыва съ службой подъ начальствомъ Новосильцова, я пребывалъ всегда въ нерѣшимости и не вступалъ въ службу, хотя многія обстоятельства и благопріятствовали моему вступленію. Я былъ опредѣленъ къ Новосильцову и пріѣхалъ въ Варшаву, вскорѣ послѣ Государя Императора. Открылся сеймъ. На меня былъ возложенъ переводъ рѣчи, произнесенной Государемъ. Государь, увидѣвшись со мною на обѣдѣ у Н. Н. Новосильцова, благодарилъ меня за переводъ. Съ того времени Императоръ при многихъ случаяхъ изъявлялъ мнѣ лично признаки своего благоволенія. Вступленіе мое такъ сказать въ новую сферу, новыя надежды, которыя открывались для Россіи въ рѣчи Государевой, характеръ Новосильцова, льстивые успѣхи, ознаменовавшіе мои первые шаги, все вмѣстѣ дало еще живѣйшее направленіе моему образу мыслей, преданныхъ началамъ законной свободы, началамъ конституціоннаго монархическаго правленія, которое я всегда почиталъ надежнѣйшимъ залогомъ благоденствія общаго и частнаго, надежнѣйшимъ кормиломъ царей и народовъ. Въ слѣдъ за этимъ порученъ мнѣ былъ переводъ на Русскій языкъ Польской хартіи и дополнительныхъ къ ней уставовъ образовательныхъ. Спустя нѣсколько времени, поручено было Новосильцову Государемъ Императоромъ составить проектъ конституціи для Россіи. Подъ его руководствомъ занялся этимъ дѣ-

ломъ бывшій при немъ Французскій юристъ Deschamps; переложеніе Французской редакціи на Русскую было возложено на меня. Когда дѣло подходило къ концу, Новосильцовъ объявилъ мнѣ, что пошлетъ меня съ окончательною работою къ Государю Императору въ Петербургъ и представитъ меня какъ одного изъ участниковъ въ редакціи, дабы Государь могъ въ случаѣ нужды потребовать отъ меня объясненій на проектъ и вмѣстѣ съ тѣмъ передать мнѣ Высочайшія замѣчанія, для сообщенія ему, Новосильцову. Намѣреніе послать меня съ такимъ важнымъ порученіемъ огласилось въ нашей канцеляріи; въ ней имѣлъ я недоброжелателей: открылись происки; старались охолодить Новосильцова къ возложенному на него дѣлу, ко мнѣ, къ отправленію моему въ Петербургъ. Дѣло, которое сначала кипѣло, стало остывать. Немало смѣялись надъ Прадтомъ, сказавшимъ, что Наполеонъ однажды вскричалъ: Un homme de moins, et tout m'était soumis. Cet homme, c'est moi! прибавляетъ Прадтъ. Пускай посмѣются и надо мною, но едва ли не въ правѣ я сказать: Не будь я въ канцеляріи Новосильцова и Россія имѣла бы конституцію!

Не помню когда, но проектъ, у насъ составленный, былъ поднесенъ Государю. Въ пріѣздъ мой въ Петербургъ, въ лѣто 1819 года, имѣлъ я счастіе быть у Государя Императора въ кабинетѣ его на Каменномъ островѣ. Велѣно мнѣ было пріѣхать въ четыре часа послѣ обѣда, за письмомъ Н. Н. Новосильцову. Государь говорилъ со мною болѣе получаса. Сначала распрашивалъ онъ меня о Краковѣ, куда я незадолго предъ тѣмъ ѣздилъ, изъяснялъ и оправдывалъ свои виды въ разсужденіи Польши, паціональности, которую хотѣлъ сохранить въ ней, говоря, что мѣры, принятыя Императрицею Екатериною при завоеваніи Польскихъ областей, были бы теперь несогласны съ духомъ времени; отъ политическаго образованія, даннаго Польшѣ, перешелъ Государь къ преобразованію политическому, которое готовитъ Россіи; сказалъ, что знаетъ участіе мое въ редакціи проекта Русской конституціи, что доволенъ нашимъ трудомъ, что привезетъ съ собою доставленныя бумаги въ Варшаву и сообщитъ критическія свои замѣчанія Новосильцову, что на-

дѣется привести непремѣнно это дѣло къ желаемому окончанію, что на эту пору одинъ недостатокъ въ деньгахъ, потребныхъ для подобнаго государственнаго оборота, замедляетъ приведеніе въ дѣйствіе мысль для него священную; что онъ знаетъ, сколько преобразованіе сіе встрѣтитъ затрудненій, препятствій, противорѣчія въ людяхъ, коихъ предубѣжденія, легкомысліе приписываютъ симъ политическимъ правиламъ многія бѣдственныя событія современныя, когда, при безпристрастнѣйшемъ изслѣдованіи, люди сіи легко могли бы убѣдиться, что сіи безпорядки проистекаютъ отъ причинъ совершенно постороннихъ.

Предоставляю судить, какими сѣменами должны были подобныя слова оплодотворить сердце, уже раскрытое къ политическимъ надеждамъ, которыя съ того времени освятились для меня самою державною властію. Здѣсь должно прибавить еще, что въ самый тотъ пріѣздъ мой въ Петербургъ былъ я соучастникомъ и подписчикомъ въ запискѣ, поданной Государю (по предварительному на то его соизволенію) отъ имени графа Воронцова, князя Меншикова и другихъ, въ которой всеподданнѣйше просили мы Его о позволеніи приступить теоретически и практически къ разсмотрѣнію и рѣшенію важнаго государственнаго вопроса объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостнаго состоянія. Государь, говоря послѣ съ Карамзинымъ о томъ, что желаніе освобожденія крестьянъ раздѣлено многими благомыслящими помѣщиками, назвалъ ему въ числѣ другихъ и меня. Тутъ Карамзинъ и узналъ о поданной нами бумагѣ и о участіи моемъ въ ней, потому что мы обязались держать попытку нашу въ тайнѣ, пока не послѣдуетъ на нее рѣшительно Высочайшаго согласія. Генералъ-адъютантъ Васильчиковъ, сперва подписавшій эту бумагу и на другой день отказавшійся отъ своей подписи, вѣроятно былъ главнѣйшею причиною неудачи въ дѣлѣ, которое началось подъ счастливымъ знаменованіемъ.

Симъ кончается пора моихъ блестящихъ упованій. Вскорѣ послѣ того политическія событія, омрачившія горизонтъ Европы, набросили косвенно тѣнь и на мой ограниченный горизонтъ. Государь пріѣхалъ въ Варшаву; открылъ второй сеймъ. Онъ уже не былъ празднествомъ для Польши, ни торжествомъ для

Государя. Разными мѣрами, нерасчетливою государственною пользою внушенными, привели Польскіе умы въ нѣкоторое раздраженіе, поселили недовѣрчивость въ Государѣ. Поляками управлять легко, а особливо же Русскому царю. Они чувствуютъ свое безсиліе. Съ Поляками должно имѣть мягкость въ пріемахъ и твердость въ исполненіи. Они народъ первическій, щекотливый, раздражительный.

Наполеонъ доказалъ, что легко ихъ заговаривать. Въ благодарность за нѣсколько политическихъ мадригаловъ, коими онъ ласкалъ ея самохвальное кокетство, Польша кидалась для него въ огонь и въ воду.

Благомыслящіе изъ Польскихъ либераловъ говорили мнѣ, что Поляки должны имѣть всегда на виду, что царь конституціонный въ Польскихъ преддверіяхъ, дома, въ Россіи императоръ самодержавный. Эта истина была слишкомъ очевидна и служила достаточно урокомъ и обезпеченіемъ. Какъ бы то ни было, но видно посредники между Государемъ и Польшею поступали ошибочно: вѣрно, ни Государь не хотѣлъ размолвки съ нею, ни, еще того вѣрнѣе, она не хотѣла размолвки съ Государемъ,—но между тѣмъ въ рѣчи Государевой, при закрытіи втораго сейма, размолвка огласилась и разнеслась съ высоты Престола по Европѣ, которая всегда радуется домашнимъ ссорамъ въ Россіи, какъ завистливые мелкопомѣстные дворяне радуются разстройству въ хозяйствѣ богатаго и могучаго сосѣда.

Я былъ любимъ Поляками, въ числѣ немногихъ Русскихъ былъ принимаемъ въ ихъ дома на пріятельской ногѣ. Но ласки отличнѣйшихъ изъ нихъ покупалъ я не потворствомъ, не отрицовеніемъ національной гордости. Напротивъ, въ запросахъ, гдѣ отдѣлялась Русская польза отъ Польской, я всегда крѣпко стоялъ за первую и вынесъ не одинъ жаркій споръ по предмету возстановленія старой Польши и отсѣченія отъ Россіи областей, запечатлѣнныхъ за нами кровью нашихъ отцовъ. Дѣло въ томъ, что, живя въ Польшѣ, не ржавѣлъ я въ запоздалыхъ воспоминаніяхъ о Полякахъ въ Кремлѣ и Русскихъ въ Прагѣ, а былъ посреди соплеменныхъ современниковъ съ умомъ и душою,

открытыми къ впечатлѣніямъ настоящей эпохи. Должно еще признаться, что мои короткія сношенія съ Поляками были тѣмъ болѣе на виду, что я былъ изъ числа весьма немногихъ Русскихъ въ Варшавѣ, съ которымъ образованные изъ Поляковъ могли имѣть какое нибудь сближеніе. Я всегда удивлялся равнодушію нашего правительства въ выборѣ людей на показъ передъ чужими. Безъ сомнѣнія надежнѣйшая порука наша есть дубинка Петра Великаго, которая выглядываетъ изъ-за головъ представителей и посредниковъ нашихъ у Европейской политики: могущество можетъ обойтись безъ дальнѣйшаго мудрствованія, но нравственное достоинство народа оскорбляется симъ отрѣченіемъ отъ народной гордости. Самая палица Алкида была принадлежностью полу-бога. Русская колонія въ Варшавѣ не была представительницею пословицы, что товаръ лицемъ продается. Въ числѣ Русскихъ чиновниковъ мало было лицъ обольстительныхъ, и потому Польское общество не могло обрусѣть. Частныя лица не содѣйствовали мѣрамъ правительства и общежитіе не довершало дѣла, начатаго политикою. Эта разноголосица должна была имѣть пагубныя слѣдствія. Не знаю, отъ сей ли связи моей съ Поляками, или отъ другихъ причинъ, но судьба моя потускнѣла вмѣстѣ съ судьбою Польши. Государь въ это пребываніе въ Варшавѣ не удостоилъ меня ни разу своего личнаго вниманія, хотя и былъ я награжденъ чиномъ. На другой день отъѣзда Государя, призвалъ меня къ себѣ Новосильцовъ и сказалъ мнѣ слѣдующее: „Вчера Государь, прощаясь со мною, спросилъ меня: не знаешь ли, что Вяземскій имѣетъ противъ меня? Онъ во все время пребыванія моего здѣсь отъ меня бѣгалъ, такъ что не удалось мнѣ сказать ему ни слова". Не знаю, что отвѣчалъ Новосильцовъ, но я изъ Государева отзыва заключилъ, что я былъ обнесенъ Императору и что онъ, и не желая показать, что не дорожитъ мнѣніемъ, которое ему обо мнѣ внушили, ни вмѣстѣ съ тѣмъ оскорбить и меня, можетъ быть напрасно, искалъ благопріятной уловки для соглашенія двухъ противорѣчій. Государь поѣхалъ на Троппавскій конгрессъ. И тутъ, если бы не канцелярскіе прописки, то вѣроятно судьба моя впослѣдствіи не поворотилась бы такъ круто. Служба въ Вар-

шавѣ начинала быть очень не по мнѣ. Повѣривъ опытомъ преданіе, которому я прежде поработился суевѣрно, увидѣлъ я, что ни умъ, ни совѣсть мои не могутъ подчиниться начальнику, избранному мною. Графъ Каподистрія былъ ко мнѣ хорошо расположенъ. Я сталъ просить взять меня изъ канцеляріи Новосильцова, хотя на время конгресса. Понимая мое положеніе, онъ охотно согласился содѣйствовать моему желанію: говорилъ о томъ Новосильцову, но ходатайство его осталось безъ успѣха, вѣроятно по прежнимъ канцелярскимъ прописямъ. Съ Тропавскаго конгресса рѣшительно начинается новая эра въ умѣ Императора Александра и въ политикѣ Европы. Онъ отрекся отъ прежнихъ своихъ мыслей; разумѣется, примѣръ его обратилъ многихъ. Я (хотя это мѣстоименіе тутъ и очень неумѣстно, но должно же употребить его, когда идетъ дѣло обо мнѣ) остался такимъ образомъ приверженцемъ мнѣнія уже не торжествующаго, а опальнаго. Не вхожу въ изслѣдованіе, полезно ли было сіе обращеніе, или превращеніе господствующихъ мнѣній, но, кажется, нельзя обвинять меня, что я по совѣсти своей не пристalъ къ новому политическому изму. Нельзя не подчинить дѣлъ своихъ и поступковъ законной власти, но мнѣнія могутъ вопреки всѣмъ усиліямъ оставаться неприкосновенными. Русская пословица говоритъ: у каждаго свой царь въ головѣ. Эта пословица не либеральная, а просто человѣческая; какъ бы то ни было, но положеніе мое становилось со дня на день затруднительнѣе. Изъ рядовъ правительства очутился я, и не тронувшись съ мѣста, въ ряду противниковъ его: дѣло въ томъ, что правительство перешло на другую сторону. Въ такомъ положеніи всѣ слова мои (дѣйствій моихъ никакихъ не было), бывшія прежде въ общемъ согласіи съ господствующимъ голосомъ, начали уже отзываться дикимъ разногласіемъ: эта несообразность, несозвучность частная была большинствомъ голосовъ выдаваема за мятежничество. Съ одной стороны обнаруживались нетерпимость и гоненіе новаго обращенія; съ моей—признаюсь охотно—обнаруживался, можетъ быть, излишній фанатизмъ страдальчества за гонимое исповѣданіе. Письма мои, сіи вѣрныя, а часто и *предательскія* зерцала моей внутренней жизни, отражали сго-

рича впечатлѣнія, коими раздражала меня моя внѣшняя жизнь. Письма мои съ того времени находились подъ надзоромъ. Я узналъ послѣ, что нѣкоторыя мѣста изъ оныхъ были превратно, если не злоумышленно, перетолкованы. Часто многое въ нихъ оставалось и недоступно понятію тѣхъ, которымъ поручено было ихъ читать. Нѣтъ сомнѣнія, что Его Высочеству Великому Князю недосужно было читать всѣ мои письма, а изъ канцеляріи его, какъ военной, такъ и гражданской, рѣшительно не было ни одного довольно грамотнаго человѣка, который могъ бы понимать своеправный слогъ писемъ, накинутыхъ шутливо и бѣгло. Впрочемъ, о свойствѣ моихъ писемъ и вообще о степени отвѣтственности, которую можно опредѣлить частной перепискѣ, буду подробнѣе говорить послѣ. Письма въ жизни другихъ—эпизодъ; у меня онѣ — исторія моей жизни. Я поѣхалъ въ Москву и тогда же, какъ узналъ послѣ, былъ, по предписанію изъ Варшавы, переданъ особому надзору полиціи. Тутъ вскорѣ поѣхалъ я въ Петербургъ обратнымъ путемъ въ Варшаву, гдѣ хотѣлъ, устроивъ свои денежныя дѣла, подать просьбу въ отставку. Въ Петербургѣ, передъ самымъ отъѣздомъ, получилъ я письмо оффиціальное, или полу-оффиціальное на Французскомъ языкѣ и собственноручное отъ П. Н. Новосильцова, объявляющее мнѣ гнѣвъ Государя Императора. На меня подали два обвиненія: первое, что до свѣдѣнія Государя, въ проѣздъ его чрезъ Варшаву, доведено было, что въ разговорахъ моихъ я горячо защищалъ произносимыя въ Польшѣ мнѣнія Французскихъ депутатовъ, коимъ приписываются всѣ бѣдствія, постигшія Францію. Второе, что, выѣзжая изъ Варшавы, не явился я за приказаніями къ Его Высочеству Великому Князю. Въ заключеніе сказано было, что Государь Императоръ, желая, чтобы мнѣнія чиновниковъ, употребляемыхъ правительствомъ, не были въ противорѣчіи съ нимъ и чтобы, съ другой стороны, не подавали они примѣра неуваженія къ особѣ Его Августѣйшаго брата, запрещаетъ мнѣ возвращаться въ Варшаву. Въ этихъ двухъ обвиненіяхъ оправдываюсь тѣмъ, что Франція не была тогда раздираема бѣдствіями революціи, что обѣ партіи, раздѣлявшія и раздѣляющія нынѣ палату депутатовъ и самые

умы Франціи, входятъ неизбѣжно въ сущность стихій правленія, въ ней господствующаго; сіе тѣмъ доказывается, что часто король изъ среды пылкихъ противниковъ министерства, и слѣдовательно правительства, избираетъ своихъ завтрашнихъ министровъ. По этому безкорыстнымъ пристрастіемъ къ талантамъ той или другой стороны въ тяжбѣ Французскихъ мнѣній я никакъ не могъ видѣть Русское преступленіе. Впрочемъ, и самые разговоры мои о такихъ предметахъ не могли имѣть никакой политической важности: они возникали и умирали въ пріятельскихъ бесѣдахъ. Не знаю, какою таинственною силою воскресили мертвыхъ и поставили ихъ противъ меня обвинительными привидѣніями. Что же касается до другого обвиненія, то клянусь совѣстію, что никакъ не полагалъ обязанностію явиться къ Его Высочеству Великому Князю, не зная, что это въ числѣ установленныхъ обыкновеній; напротивъ, полагая, что всѣ сношенія мои съ Его Высочествомъ существуютъ только въ силу Его милостиваго благорасположенія ко мнѣ, то, уже лишенный онаго и чуждый ему по роду службы моей, я даже и не имѣлъ права такъ-сказать насильственно поддерживать сіи сношенія, для него тогда уже неугодныя. Письмо Новосильцова взволновало меня, хотя, отдамъ ему справедливость, и было оно умѣрено выраженіемъ сожалѣнія, что онъ лишается во мнѣ чиновника, котораго всегда уважалъ. Выше сказалъ я, что думалъ и прежде оставить Варшавскую службу, но мнѣ показалось, что могли поступить со мною иначе. Непріятный Великому Князю, конечно, я не могъ быть оставленъ въ Варшавѣ: Государь Императоръ не могъ колебаться въ чувствахъ и выборѣ; я долженъ былъ быть удаленъ, но не изгнанъ позорно, когда дѣти мои, и весь домъ и дѣла мои требовали моего присутствія въ Варшавѣ. Дождавшись возвращенія моего, Новосильцовъ объявилъ бы мнѣ о волѣ Государевой и дѣло обошлось бы безъ огласки. Сіе снисхожденіе ко мнѣ было бы тѣмъ естественнѣе, что по самому письму Новосильцова видно, что не имѣли достаточныхъ обвиненій противъ меня, или имѣли такія, въ которыхъ не хотѣли сознаться.

Въ первую минуту волненія написалъ я прошеніе на Вы-

сочайшее имя объ отставкѣ изъ званія камеръ-юнкера. Сей крутой и необыкновенный разрывъ со службою запечатлѣлъ въ глазахъ многихъ мое политическое своеволіе. Карамзинъ былъ тогда въ Царскомъ Селѣ, Императоръ также. Я увѣдомилъ Карамзина о случившемся со мною, когда уже было подано мое прошеніе, и заклиналъ его объ одномъ: не ходатайствовать за меня при Государѣ. Съ свойственнымъ ему благородствомъ и нѣжнымъ участіемъ въ судьбѣ ближнихъ его сердцу, онъ просилъ у Государя не помилованія мнѣ, а объясненія въ непріятности меня постигнувшей. Письмо Новосильцова не казалось ему достаточнымъ и онъ подозрѣвалъ меня въ утаеніи отъ него вины болѣе положительной. Государь подтвердилъ съ нѣкоторыми развитіями то, что сказано было въ письмѣ, и прибавилъ, что, не смотря на то, могу снова вступить въ службу и просить, за исключеніемъ Варшавы, любое мѣсто, соотвѣтственное моему чину. Я упорствовалъ въ моемъ рѣшеніи, вопреки совѣтамъ и убѣжденіямъ Карамзина. Симъ кончилось мое служебное поприще и началось мое опальное. Вотъ во всей истинѣ мое Варшавское приключеніе, которое и нынѣ еще упоминается мнѣ въ укоризну и придаетъ какую-то бѣдственную извѣстность моему имени, когда друзья мои говорятъ въ мою пользу сановникамъ, знающимъ меня по одному слуху. Говорю только о существенности и оффиціальности моего приключенія, а впрочемъ до сей поры не знаю достовѣрно его прикладныхъ подробностей, хотя въ подобныхъ дѣлахъ текстъ мало значителенъ и вся важность въ тайныхъ и обвинительныхъ комментаріяхъ. Могу по крайней мѣрѣ сказать рѣшительно, что въ поведеніи моемъ въ Варшавѣ не было ни одного поступка предосудительнаго чести моей, въ связяхъ моихъ ничего враждебнаго и возмутительнаго противъ правительства и начальства. Я поддержалъ тамъ съ честію имя Русскаго, и, прибавлю безъ самохвальства, общее уваженіе ко мнѣ и сожалѣніе, что меня удалили изъ Варшавы, показываютъ, что я не былъ достоинъ своей участи и что строгая мѣра, меня постигшая, была несправедливость частная и ошибка политическая. Могу сослаться на письмо ко мнѣ князя Заіончека, котораго, кажется, нельзя по-

дозрѣвать въ погрѣшности либерализма. Я писалъ ему однажды изъ Москвы по дѣлу постороннему; онъ, отвѣчая на письмо мое, отзывался о моемъ пребываніи въ Варшавѣ и о сожалѣніи, что меня уже тамъ нѣтъ, отъ имени своего и согражданъ, въ выраженіяхъ самыхъ лестныхъ. Съ того времени я болѣе проживалъ въ Москвѣ и предался занятіямъ литературнымъ. Эпиграммы мои, критическіе разборы Русскихъ авторовъ и книгъ навлекли на меня недовольныхъ и недоброжелателей. Имя мое, оглашенное у правительства, показалось выгодною поживою людямъ, кои служатъ правительству, увѣряя его, что у него много противниковъ. Въ новое доказательство тому, упомяну о слѣдующемъ. Вскорѣ послѣ отставки моей, Государь, прогуливаясь по обыкновенію своему съ Н. М. Карамзинымъ въ Царскосельскомъ саду, сказалъ ему однимъ утромъ: „Вотъ вы заступались за князя Вяземскаго и ручались, что въ немъ нѣтъ никакой злобы: онъ на дняхъ написалъ ругательные стихи на правительство“. Карамзинъ, пораженный симъ извѣстіемъ, сказалъ, что спорить не смѣетъ, но, зная меня и мой характеръ, не можетъ повѣрить, чтобы я именно въ минуту оскорбленія и огласки сталъ изливать свое неудовольствіе въ пасквиляхъ. Государь обѣщалъ принести на другой день письменное доказательство и въ самомъ дѣлѣ показалъ Карамзину тщательно и красиво переписанные стихи, въ коихъ было выведено неизвѣстное ему сатирическое сравненіе Москвы съ Петербургомъ. По счастію, между прочими стихами, Карамзинъ встрѣтилъ такіе, которые отдѣльно были ему давно памятны. Онъ сказалъ о томъ Государю,—что же оказалось? Государю представили за новость стихи, написанные мною лѣтъ за десять и, слѣдовательно, шалость моей первой молодости. Карамзинъ доложилъ Государю, что въ тотъ же день дѣло объяснится, что онъ меня ждетъ изъ Петербурга къ обѣду, чтобы отпраздновать вмѣстѣ день моего рожденія, и спроситъ меня о стихахъ. Государь, по рѣдкой чертѣ добродушія и тонкой внимательности, просилъ Карамзина оставить дальнѣйшее изслѣдованіе и не разстроивать радости семейнаго свиданія непріятными впечатлѣніями. Промышляющіе моими политическими мнѣніями начали промышлять

и моею частною жизнію. Я знаю, что Государь, когда посторонніе лица говорили ему обо мнѣ съ доброжелательствомъ, отзывался какъ о человѣкѣ не строгаго житія и петрезвомъ. Я никогда не любилъ ни ханжить, ни шарлатанить своими мнѣніями и нравами. Не почитаю себя въ правѣ оспаривать у кого бы то ни было награды цѣломудрія, но рѣшительно и гласно говорю, что и въ самыя молодыя лѣта мои не бывалъ я никогда распутнымъ и развратнымъ. Любя заниматься по утрамъ, любилъ я всегда поздно обѣдать; ранніе желудки нѣкоторыхъ Московскихъ бригадировъ, знавшихъ, что иногда встаю со стола часу въ седьмомъ вечера, люблю продолжать застольные разговоры за рюмкою вина, въ кругу пріятельскомъ, не могли переварить моихъ позднихъ обѣдовъ и они пошли за попойки. Впрочемъ, послѣ я также имѣлъ случай увѣриться, что Государь ко мнѣ былъ расположенъ благосклоннѣе. Убѣжденный людьми мнѣ близкими, просилъ я наконецъ у Государя черезъ Карамзина, въ случаѣ вакансіи, вице-губернаторское мѣсто въ Ревелѣ, который мнѣ полюбился въ лѣтнее мое пребываніе для морскихъ купаній. Государь обѣщалъ мнѣ это мѣсто, когда оно упразднится. Если же Государь продолжалъ и до конца быть обо мнѣ не совсѣмъ выгоднаго мнѣнія, то и это понимается. Послѣдніе годы его царствованія были годами недовѣрчивости и опасеній. Глухой ропотъ предвѣщалъ, что волненіе зрѣло; подозрѣнія его не были опредѣлительны и могли падать на меня наравнѣ со многими другими, особенно же послѣ моей Варшавской огласки. Но и въ такомъ случаѣ долженъ я признаться съ благороднымъ уваженіемъ къ его памяти, что и подозрѣніе его было незлобное; съ ходатайства Карамзина далъ онъ немедленно Высочайшее соизволеніе свое на покупку имѣнія моего въ казенное вѣдомство, когда я просилъ о томъ для устройства дѣлъ своихъ, пришедшихъ въ упадокъ. Какъ бы то ни было и на какомъ замѣчаніи я у правительства ни находился, но я нисколько не былъ тревожимъ въ послѣдніе годы царствованія покойнаго Императора.

19-е ноября 1825 года отозвалось грозно въ смутахъ 14-го декабря. Сей день бѣдственный для Россіи и эпоха, кроваво

имъ ознаменованная, были страшнымъ судомъ для дѣлъ, мнѣній и помышленій настоящихъ и давнопрошедшихъ. Мое имя не вписалось въ его роковыя скрижали. Сколь ни прискорбно мнѣ было, какъ Русскому и человѣку, торжество невинности моей, купленное цѣною бѣдствія многихъ сограждан и въ числѣ ихъ нѣкоторыхъ моихъ пріятелей, павшихъ жертвами сей эпохи, но, по крайней мѣрѣ, я могъ, когда отвращалъ вниманіе отъ участи ближнихъ, поздравить себя съ личнымъ очищеніемъ своимъ, совершеннымъ самыми событіями. Мнѣ казалось, что я, въ глазахъ правительства отъявленный крамольникъ, бывшій въ пріятельской связи съ нѣкоторыми изъ обвиненныхъ и оказавшійся совершенно чуждый соумышленія съ ними, выигралъ рѣшительно мою тяжбу. Скажу безъ упичиженія и безъ гордости: имя мое, характеръ мой, способности мои могли придать нѣкоторую цѣну моему завербованію въ ряды недовольныхъ, и отсутствіе мое между ними не могло быть дѣломъ случайнымъ, или отъ меня независимымъ. Но, по странному противорѣчію, предубѣжденіе противъ меня не ослабло и при очевидности истины; мнѣ извѣстно слѣдующее заключеніе обо мнѣ: отсутствіе имени его въ этомъ дѣлѣ доказываетъ только, что онъ былъ умнѣе и осторожнѣе другихъ. Благодарю за высокое мнѣніе о моемъ умѣ, но не хочу на него промѣнять сердце и честь. Въ такихъ словахъ отзывается или неумышленность невѣдѣнія, или эхо замысловатой клеветы. Нѣтъ, знающіе меня скажутъ, что ни умъ мой, ни сердце мое не свойства разсчетливаго и промышленаго; если я былъ бы хотя и сокрытымъ дѣйствующимъ лицемъ въ бѣдственномъ предпріятіи, то вѣрно былъ бы на лицо въ сотовариществѣ несчастія. Ни въ какомъ случаѣ меня не могли щадить: ни подсудимые, потому что они никого не пощадили, ни судіи, потому что не имѣлъ я въ нихъ ни одного доброжелателя! Кстати о характеристическихъ отзывахъ, обо мнѣ распускаемыхъ, припомню еще одинъ. Мнѣ извѣстно, что въ послѣдній пріѣздъ мой въ Петербургъ было донесено правительству слово, будто сказанное обо мнѣ Александромъ Пушкинымъ: вотъ пріѣхалъ мой демонъ! Это не сказано Пушкинымъ, или сказано да не такъ. Онъ не могъ придавать этимъ

словамъ ни политическій, ни нравственный смыслъ, а развѣ просто шуточный, если только и произнесъ ихъ. Онъ ни въ духѣ Пушкина, ни въ моемъ; по сердцу своему, онъ ни въ какомъ случаѣ не скажетъ предательскаго слова. По свойству ума, если и могъ бы онъ быть подъ чьимъ нибудь вліяніемъ, то не хотѣлъ бы въ томъ сознаться. Я же ничьимъ, а еще менѣе Пушкинскимъ соблазнителемъ быть не могу. Въ мнѣніяхъ своихъ бывалъ я неумѣренъ и заносчивъ за себя, но вездѣ, гдѣ только имѣлъ случай, старался всегда умѣрять невоздержность другихъ. Ссылаюсь на письма мои, которыя такъ часто бывали въ рукахъ правительства. Сюда идетъ также опроверженіе донесенія, или просто лживаго доноса, представленнаго нынѣшнему правительству о какомъ-то моемъ тайномъ, злопамѣрномъ участіи, или болѣе направленіи въ изданіи *Телеграфа*. Не стану входить въ изслѣдованіе: можетъ ли быть что нибудь тайное, злоумышленное въ литтературномъ дѣйствіи, когда существуетъ цензура строгая, мнительная и щекотливая, какова наша; скажу просто: я печаталъ свои сочиненія стихами и прозою въ *Телеграфѣ*, потому что по условію, заключенному на одинъ годъ съ его издателемъ, я хотѣлъ получить нѣсколько тысячъ рублей и такимъ оборотомъ замѣнить недоимки въ оброкѣ съ крестьянъ, наложеніемъ добровольной подати на публику. Въ этомъ отношеніи замѣчу, что правительство, стѣсняя мои литтературныя занятія, лишаетъ меня такимъ образомъ общаго права пользоваться моею собственностью на законномъ основаніи. Такое нарушеніе справедливости безъ сомнѣнія не входитъ въ намѣренія правительства, но не менѣе того истекаетъ изъ мѣръ, имъ предпринимаемыхъ. Въ этихъ несправедливыхъ притязаніяхъ, какъ и въ послѣднемъ доносѣ на меня, также по поводу газеты мнѣ неизвѣстной, которую будто я готовился издавать подъ чужимъ именемъ, вижу одно гнусное безпокойство нѣкоторыхъ журналистовъ, коихъ позорная дѣятельность безчеститъ Русскую литтературу и Русское общество. Они помнятъ мои прежнія эпиграммы, боятся новыхъ, боятся независимости моего прямодушія, когда предстоитъ мнѣ случай вывесть на свѣжую воду ихъ глупость или безчест-

ность, боятся нѣкоторыхъ правъ моихъ на вниманіе читающей публики, совмѣстничества моего для нихъ опаснаго, и въ безсиліи своемъ состязаться со мною при свѣтѣ дня, на литературномъ поприщѣ, они подкапываются подъ меня во мракѣ, свойственномъ ихъ природнымъ дарованіямъ и нажитому ремеслу. Вотъ однако же тайныя пружины, которыя, такъ сказать безъ вѣдома правительства, настроиваютъ его гнѣвъ противъ гражданина, который, не смотря на неограниченную преданность сихъ мнимыхъ прислужниковъ, болѣе ихъ достоинъ снисходительнаго вниманія правительства. Не знаю—ихъ ли злоба, или злоба другихъ, но направленіе ея въ ударѣ, нанесенномъ мнѣ въ послѣднее время, вышло изъ мѣры. Въ сообщеніи по Высочайшему повелѣнію, доставленномъ отъ графа Толстого къ князю Голицыну въ Москву, по поводу газеты, о которой я не имѣлъ понятія, нанесены чести моей жившѣйшія оскорбленія. *Никто безъ суда да не накажется*, а развѣ обезчещеніе не есть наказаніе, и тѣмъ тягостнѣе, когда оно не гласно. Гласная несправедливость носитъ въ себѣ предохранительное и удовлетворительное возмездіе, которымъ прикрываетъ жертву ей подпавшую; но полу-гласность, какъ ударъ незримаго врага, неизбѣжима и неотразима. Поносительное для меня отношеніе графа Толстого извѣстно во многихъ канцеляріяхъ. Злоупотребленіемъ имени моего наказали также издателя предполагаемой газеты, которому запретили ее издавать, думая, что онъ находится со мною въ какихъ-то сношеніяхъ, когда я ни лица, ни имени его не знаю. Развѣ такая оскорбительная полугласность не есть лютѣйшее наказаніе для человѣка, дорожащаго своимъ именемъ? Судебнымъ порядкомъ я не могъ подлежать наказанію: слѣдовательно, я былъ наказанъ безъ суда и безъ справедливости. И все это послѣдствіе отступленій отъ правосудія изъ какого источника истекаетъ? Изъ корыстолюбія какихъ нибудь подлыхъ газетчиковъ, которые боятся, что новая газета отобьетъ у нихъ подписчиковъ. Правительство въ такомъ случаѣ поступаетъ и вопреки своимъ благонамѣреннымъ видамъ, нарушая общую справедливость лицепріятными исключеніями, и вопреки пользѣ просвѣщенія, стѣсняя дѣятельность и совмѣстни-

чество умовъ. Что же касается до приговора, мнѣ изреченнаго, признаюсь—не знаю, до какой степени имѣютъ право позорить имя человѣка за поступки, не входящіе въ число ни гражданскихъ, ни политическихъ преступленій. Заблужденія, въ которыхъ можно каяться духовному отцу, не подлежатъ расправѣ свѣтскихъ властей; но какъ бы то ни было, могу сказать рѣшительно, что ни въ какомъ отношеніи не заслуживаю выраженій, употребленныхъ графомъ Толстымъ. Развратная жизнь, недостойная образованнаго человѣка, предосудительность поведенія, которое можетъ служить къ соблазну другихъ молодыхъ людей и вовлечь ихъ въ пороки, суть обвиненія такого рода, что примѣненныя ко мнѣ они, безъ сомнѣнія, возбудятъ негодованіе каждаго частнаго человѣка, меня знающаго, и сожалѣніе, что правительство слишкомъ легко довѣряетъ выдумкамъ клеветы и основываетъ мнѣнія свои на подобныхъ показаніяхъ. Удивляюсь, какъ графъ Толстой, хотя и былъ бы въ этомъ случаѣ однимъ безусловнымъ исполнителемъ, могъ безъ всякой оговорки, безъ малѣйшей попытки облегченія подписать свое имя подъ такимъ поносительнымъ приговоромъ. Или нѣтъ въ немъ памяти, или долженъ онъ знать меня такимъ, какимъ зналъ въ долгое свое пребываніе въ Москвѣ. Онъ зналъ мои связи; смѣю сказать уваженіемъ, коимъ пользуюсь въ обществѣ, я обязанъ своему характеру, именно поведенію своему, нынѣ его же рукою опятненному, а не блеску почестей или богатства, часто замѣняющихъ въ глазахъ свѣта недостатокъ въ качествахъ не столь случайныхъ.—Правительство лучше моего знаетъ кто мои недоброжелатели и тайные враги; пускай велитъ оно изслѣдовать, кого могу назвать въ числѣ людей ко мнѣ благорасположенныхъ и друзей моихъ? И сею повѣркою оно, надѣюсь, убѣдится, что имѣю полное право равно гордиться и непріязнью и дружбою, которыя я умѣлъ заслужить. Повторяю сказанное мною въ письмѣ къ князю Голицыну, въ отвѣтъ на сообщенную мнѣ бумагу графа Толстого, я долженъ просить строжайшаго изслѣдованія поведенію своему. Повергаю жизнь мою на благоразсмотрѣніе Государя Императора, готовъ отвѣт-

ствовать въ каждомъ часѣ послѣдняго пребыванія моего въ Петербургѣ, столь неожиданно оклеветаннаго.

Нынѣ слышу уже, что обвиненіе меня въ развратной жизни устранено; говорятъ о какомъ-то письмѣ моемъ или сочиненіяхъ моихъ, попавшихся въ руки правительства и коихъ содержаніе должно мнѣ повредить. Обвиненіе съ обвиненіемъ различно. На обвиненіе въ порочности нравовъ моихъ и поведенія моего въ Петербургѣ прошу и суда и огражденія меня впредь отъ подобной клеветы наказаніемъ клеветниковъ. Если обвиненіе падаетъ на какое нибудь мое сочиненіе, прошу обвиненія и потребованія меня къ отвѣту; если на мои частныя письма—прошу выслушать мое сознаніе и оправданіе. Возмутительныхъ сочиненій у меня на совѣсти нѣтъ. Въ двухъ такъ называемыхъ либеральныхъ стихотвореніяхъ моихъ: *Петербургъ* и *Негодованіе* отзывается вездѣ желаніе законной свободы монархической и нигдѣ нѣтъ оскорбленія державной власти. Первое кончилось воззваніемъ къ Императору Александру; писано оно было вскорѣ послѣ перваго Польскаго сейма и тогда гласнымъ образомъ ходило по Петербургу. Второе также писано было въ Варшавѣ; оно менѣе извѣстно. Я узналъ послѣ, что правительству донесено было о немъ; но не знаю, было ли оно доставлено. Если же ничего не прибавили къ нему отъ себя издатели-предатели, не editori, a traditori, то не опасаюсь заключеній, къ которымъ оно дастъ поводъ. Я написалъ его въ самую эпоху борьбы или перелома мнѣній, и, разумѣется, должно носить оно живой отпечатокъ мнѣній, которымъ я оставался преданъ и послѣ ихъ паденія. Въ разныя времена писалъ я эпиграммы, сатирическіе куплеты и на лица удостоенныя довѣренности правительства, но и въ нихъ не было ничего мятежнаго, а просто—свѣтскія насмѣшки. Такія произведенія не могутъ быть почитаемы за выраженіе цѣлой жизни и служить вывѣскою человѣка; они бѣглыя выраженія минуты, внезапнаго впечатлѣнія, и отпечатлѣніе ихъ на умы также есть минутное. Соглашаюсь, что въ глазахъ правительства они должны казаться предосудительными и нѣкоторымъ образомъ нарушаютъ согласіе, которое для общаго благоденствія должно господствовать

между правительствомъ и управляемыми; но въ этомъ отношеніи прямодушное изслѣдованіе обязано разборчиво отдѣлить проступокъ отъ преступленія, шалость игриваго ума отъ злоумышленія сердца, и не столько держаться буквы, сколько духа. Теперь приступаю къ письмамъ моимъ, единственному обвинительному факту въ тяжбѣ моей, который не могу опровергнуть и въ которомъ долженъ прямодушно оправдываться. Письма мои должны раздѣлиться на два разряда, согласно съ двумя эпохами жизни моей: службы и отставки. Невоздержность письменныхъ мнѣній моихъ во время службы непростительна. Такого свойства оппозиція у насъ, гдѣ нѣтъ законной оппозиціи, есть и несообразность и даже родъ предательства. Это походитъ на дѣйствіе сатира, который въ одно время дуетъ холодомъ и тепломъ: гласно служишь правительству, и слѣдовательно даешься орудіемъ въ его руки, а подъ рукою, хотя и безъ злоумышленія, дѣйствуешь противъ него. Въ случаяхъ противорѣчія кровныхъ мнѣній своихъ и задушевныхъ чувствъ съ званіемъ и обязанностями, на себя принятыми, должно по возможности принести правительству покорное сознаніе, или оставить службу. Слѣдовательно, я въ этомъ отношеніи былъ виноватъ: правительство, какими способами-бы ни было, поймало меня en flagrant délit и я долженъ нести наказаніе вины моей. Это не сомнительно въ глазахъ холоднаго, строгаго суда; но есть справедливость, которая выше правосудія. Теперь для нравственнаго, добросовѣстнаго изслѣдованія предосудительности моихъ писемъ должно бы подвергнуть ихъ сполна не одностороннему разсмотрѣнію, взвѣсить на вѣсахъ безпристрастія тѣ мнѣнія и выраженія, которыя могутъ быть признаны за обвинительныя, и тѣ, которыя могутъ быть ходатаями за меня, судить о всей перепискѣ моей, какъ будутъ судить на страшномъ судѣ о всей жизни человѣка, а не такъ, какъ могла бы судить инквизиція по отдѣльнымъ поступкамъ и словамъ, по отрывкамъ жизни, составляющимъ въ наслѣдственной совокупности уголовное дѣло, тогда какъ въ цѣломъ порочность сихъ отрывковъ умѣряется предыдущими и послѣдующими. Должно бы еще обратить вниманіе на время, въ которое пи-

саны были сіи письма, и можетъ быть волненіе въ нихъ, отзывающееся отголоскомъ тогдашней эпохи, отпечатокъ тогдашняго перелома и раздраженія нѣсколько оправдывается самою сущностью современныхъ событій. Въ другомъ отдѣленіи моей переписки кажется предстоитъ мнѣ болѣе способовъ къ оправданію. Со времени моей отставки, не принадлежащій уже къ числу исполнителей мѣръ правительства, я полагалъ, что могу свободнѣе и безотвѣтственнѣе судить о нихъ. Къ тому же, что есть частное письмо? Бесѣда съ глаза на глазъ, родъ тайной исповѣди, сокровенное изліяніе того, что тяготитъ умъ или сердце. Когда исповѣдь становится дѣломъ? Тогда, когда открываетъ умыслы, готовые къ исполненію. Но если исповѣдь ограничивается однѣми мыслями, одними впечатлѣніями, преходящими какъ и самыя событія, то можно ли искать поводовъ къ отвѣтственности въ сей исповѣди, такъ сказать не облеченной въ существенность? Должно еще смотрѣть на лица, къ кому письма надписаны. Если въ нихъ выказывается намѣреніе дѣйствовать на эти лица, или черезъ нихъ на другіи и на общее мнѣніе, если они въ нѣкоторомъ отношеніи родъ поученій, разглашеній, то предосудительность оныхъ размѣряется цѣлью, на которую они мѣтятъ. Но если письма, хотя и содержанія неумѣреннаго, надписаны къ людямъ, коихъ лѣта, мнѣнія, положеніе въ обществѣ уже ограждаютъ отъ постороннаго вліянія, если они писаны къ близкимъ родственникамъ, къ женѣ, то всякое предположеніе въ злонамѣренности оныхъ не устраняется ли самою очевидностью? Одно нарушеніе тайны писемъ, писанныхъ не для гласности, составляетъ ихъ вину и опредѣляетъ мѣру ихъ отвѣтственности; но нарушеніе оныхъ совершается противъ воли писавшаго: какъ же можетъ онъ за нихъ отвѣтствовать? Въ такомъ случаѣ если допустить нарушеніе тайны, то должно добросовѣстно судить о перехваченныхъ письмахъ. Мои должны служить признаками прямодушной, хотя и неумѣстной откровенности, обнаруживать иногда игру ума, склоннаго къ насмѣшкѣ, иногда игру желчи или раздраженныхъ нервовъ, невинный свербежъ руки. Не заключить ли о нихъ о добросовѣстности моей, о довѣренности, которую заслуживаетъ

мой характеръ? Я знаю, что частныя письма бываютъ въ рукахъ у правительства, что мои чаще другихъ попадаютъ ему, что отъ переписки своей уже пострадалъ, а между тѣмъ продолжаю подавать орудіе на себя. Что жъ это доказываетъ? Совѣстное мое убѣжденіе, что въ письмахъ, каковы мои, нѣтъ преступленія, что, чистый въ побужденіяхъ своихъ, я не заботусь о истолкованіяхъ и превратныхъ заключеніяхъ, къ коимъ письма сіи могутъ подать поводъ. Это неосторожно, необдуманно, но не преступно. Главная предосудительность подобнаго поведенія заключается, во-первыхъ, въ томъ, что кажусь своевольнымъ и будто съ намѣреніемъ вызывающимъ на себя неудовольствіе правительства; во-вторыхъ, что не щажу произвольно лицъ, къ которымъ пишу и вообще своихъ пріятелей, на коихъ можетъ падать нѣкоторая отвѣтственность за связи ихъ со мною. Такія соображенія должны внушить невыгодное мнѣніе о неосновательности моей, о легкомысліи и вообще повредить достоинству характера, которое каждый благомыслящій человѣкъ обязанъ сохранять ненарушимо и свято. Сознаніе въ семъ отступленіи отъ обязанностей своихъ можетъ послужить залогомъ, что впередъ не буду ихъ преступать. Затворю въ себѣ окно, изъ котораго выглядывала невоздержность словъ моихъ въ наготѣ на соблазнъ прохожимъ. Что нѣтъ собственно порочной невоздержности въ дѣлахъ и побужденіяхъ моихъ, кажется, достаточно доказано всею исповѣдью моею, приносимою нынѣ въ видѣ показанія и оправданія. Въ свою защиту прибавлю еще одно замѣчаніе: въ изустной рѣчи болѣе непосредственнаго дѣйствія на вниманіе и кругъ дѣйствія обширнѣе. Нѣтъ сомнѣнія, что нашлось бы противъ меня столько же, если не болѣе, обличительныхъ ушей, сколько нашлось обличительныхъ глазъ; но, какъ мнѣ извѣстно, рѣчи мои не бывали обращаемы въ орудія на меня. Слѣдовательно, я не искалъ никогда славы быть проповѣдникомъ, разглашателемъ своихъ мнѣній, хотя и знаю, что каждое слово изустное имѣетъ тысячу эховъ, и между тѣмъ неуловимо, тогда какъ письменное слово дѣйствуетъ одновременно на одно лицо и воплощается только тогда, когда предательскою силою можетъ погубить васъ. Признаюсь однакоже: иногда

позволялъ я себѣ въ письмахъ моихъ и умышленную неосторожность. Въ припадкахъ патріотической желчи, при мѣрахъ правительства не согласныхъ, по моему мнѣнію, ни съ государственною пользою, ни съ достоинствомъ Русскаго народа; при назначеніи на важныя мѣста людей, которые не могли поддерживать возвышеннаго бремени, на нихъ возложеннаго, я часто съ намѣреніемъ передавалъ сгоряча письмамъ моимъ животрепещущее соболѣзнованіе моего сердца; я писалъ часто въ надеждѣ, что правительство наше, лишенное независимыхъ органовъ общественнаго мнѣнія, узнаетъ, чрезъ перехваченныя письма, что есть однакоже мнѣніе въ Россіи, что посреди глубокаго молчанія, господствующаго на равнинѣ нашего общежитія, есть голосъ безкорыстный, укорительный представитель мнѣнія общаго; признаюсь, мнѣ казалось, что сей голосъ не долженъ пропадать, а, напротивъ, можетъ возбуждать чуткое вниманіе правительства. Пускай смѣются надъ симъ самоотверженіемъ, безплоднымъ для общей пользы, надъ симъ добровольнымъ мученичествомъ донкихотскаго патріотизма, но пускай также согласятся, что если оно не признакъ разсчетливаго ума, то по крайней мѣрѣ оно несомнѣнное выраженіе чистой совѣсти и откровеннаго прямодушія. Могу сказать утвердительно, что всѣ мнѣнія, самыя рѣзкія, были болѣе или менѣе отголосками общаго мнѣнія, или имѣли невыраженный, но не менѣе того въ существѣ своемъ гласный отголосокъ въ общемъ мнѣніи. Никогда, никакое чувство злобное, никакая мысль предательская, не омрачала моихъ поступковъ, хотя въ минуты досады, грустнаго разувѣренія въ своихъ надеждахъ, я могъ, по *авторской раздражительности*, выходить изъ границъ хладнокровія и должнаго благоразумія. Легко судить меня по письмамъ; но чѣмъ я виноватъ, что Богъ назначилъ меня быть грамотнымъ, что потребность сообщать, выдавать себя посредствомъ дара слова, или, правильнѣе, дара письменнаго, пала мнѣ на удѣлъ въ числѣ немногихъ изъ Русскихъ? Не мудрено, что тѣ, къ которымъ присталъ стихъ Пушкина (а у насъ ихъ много): нигдѣ *ни пятнышка чернила*, не замарали совѣсти своей чернильными пятнами и что мои тѣмъ болѣе на виду. Вѣрю, что отблески мыслей должны казаться

кометами въ общемъ затмѣніи Русской переписки, въ общемъ оцѣпенѣніи умственной дѣятельности; но не ужели равнодушіе есть добродѣтель, не ужели гробовое безстрастіе къ Россіи можетъ быть для правительства надежными союзниками? Гдѣ есть живое участіе, гдѣ есть любовь, тамъ должна быть и раздражительность. Мелкіе прислужники правительства, промышляющіе ловлею въ мутной водѣ, могутъ, подслушивая, ему передавать сплетни, отравляя ихъ ехидною примѣсью отъ себя, но правительство довольно сильно и должно быть довольно великодушно, чтобы сносить съ благодарностію, даже и несправедливыя укоризны, если онѣ внушены прямодушіемъ.

Кажется, симъ можетъ ограничиться моя исповѣдь. Я высказалъ себя всего. Теперь правительство пускай ищетъ меня здѣсь, а не въ невѣрныхъ и отрывочныхъ изображеніяхъ, донынѣ ему извѣстныхъ. Если я хотѣлъ бы написать просто оправданіе, адвокатскую защиту себя, то безъ сомнѣнія умѣлъ бы написать ее въ иномъ видѣ, съ искуснымъ единымъ направленіемъ къ цѣли: оправдать себя. Чувствую, что и здѣсь многое изъ сказаннаго мною можетъ подать поводъ къ подтвержденію заключеній обо мнѣ состоящихъ; но я сказалъ выше: я всегда имѣлъ неодолимое отвращеніе отъ шарлатанства; не хотѣлъ даже и невинно притворствовать и въ этомъ случаѣ. Говоря о томъ, что было, изъясняя себя, я долженъ былъ переноситься въ мысли, которыя мнѣ были свойственны, а не искать въ риторическихъ уловкахъ противорѣчія самому себѣ, когда моя совѣсть не нуждается въ этомъ противорѣчіи. Я хотѣлъ написать эту записку, какъ пишу свои письма, съ умомъ на просторѣ и съ сердцемъ на-голо. Въ ней такъ-сказать зерцало моей жизни, моихъ мнѣній, моей переписки, но зерцало полное, не разбитое, не искривленное злонамѣренностью и непріязнью. Надѣясь на безпристрастіе моихъ судей, прошу ихъ судить обо мнѣ, благопріятно или нѣтъ, по этому изображенію.

Еще одно слово: мое устраненіе отъ службы, бездѣйствіе въ пріисканіи случая быть принятымъ въ оную, послѣ попытки сдѣланной въ Петербургѣ и лестнаго отзыва, хотя и съ отказомъ на просьбу мою, сообщеннаго мнѣ генераломъ Бенкендор-

фомъ отъ Высочайшаго имени, могутъ навести подозрѣніе на искренность желанія моего быть совершенно очищеннымъ во мнѣніи правительства, ссылаюсь на тогдашнее письмо мое къ генералу Бенкендорфу: проси въ то время быть употребленнымъ при главной квартирѣ дѣйствующей арміи, или по другой части отдѣльной, входящей въ составъ предстоящихъ временныхъ дѣлъ, я былъ побужденъ не однимъ честолюбіемъ; нѣтъ, по лѣтамъ моимъ, семейнымъ обстоятельствамъ, ограниченности моего состоянія, я не свободенъ въ выборѣ службы. Штатныя мѣста доставляютъ малое жалованье, а служба, требующая постояннаго пребыванія въ городѣ, неминуемо вовлекаетъ въ новые расходы. Служба по одному изъ министерствъ вынудила бы меня переселиться съ семействомъ въ Петербургъ, и тутъ встрѣчается помянутое неудобство еще въ высшей степени. Въ мои лѣта, съ непривычкою къ практической службѣ, тяжело было бы привыкать къ ней, уединяясь въ какомъ нибудь губернскомъ городѣ. Такая школа въ нижнихъ классахъ могла бы скорѣе отучить отъ службы, чѣмъ пріохотить къ ней. Зная, на что я гожусь и къ чему неспособенъ, могъ бы я по совѣсти принять мѣсто довѣренное, гдѣ употребленъ бы я былъ для редакціи, гдѣ было бы болѣе пищи для дѣятельности умственной, чѣмъ для чисто административной, или судебной. Когда-то сказалъ я себѣ: я думаю, мое дѣло не дѣйствіе, а ощущеніе. Меня должно держать какъ комнатный термометръ: онъ не можетъ ни нагрѣть, ни освѣжить покоя, но никто скорѣе и вѣрнѣе его не почувствуетъ настоящей температуры. Могу примѣнить это наблюденіе къ себѣ и къ службѣ моей. Я не желалъ бы по крайней мѣрѣ на первый разъ быть дѣйствующимъ лицомъ, по какой бы то ограниченной части ни было; желалъ бы просто быть лицомъ совѣтовательнымъ и указательнымъ, однимъ словомъ быть при человѣкѣ истинно государственномъ — родъ служебнаго термометра, который могъ бы ощущать и сообщать. Могу отвѣчать за подвижность моей ртути: она не знала бы застоя. Вся бѣда моя въ томъ, что у меня ее слишкомъ много и что мой термометръ не привилегированный. Впрочемъ, для устраненія всякихъ подозрѣній, для изъявленія готовности моей со-

вершенно очистить себя во мнѣніи правительства, я радъ принять всякое назначеніе по службѣ, которымъ оно меня удостоитъ.

Письмо къ М. Ѳ. Орлову *).

На-дняхъ крестьянинъ подаетъ мнѣ пакетъ изъ Подольскаго земскаго суда. Могъ ли я ожидать чего хорошаго, а это было твое письмо отъ 9-го сентября, мой милый Рейнъ. Отъ чего письмо шло такъ долго? Можетъ быть, перешло много рукъ, но Богъ съ ними! пускай видятъ, что у меня друзья остаются и по отставкѣ моей и что я отъ нея не худѣю.

Ты спрашиваешь, отчего я пошелъ въ отставку, и приводишь мнѣ въ примѣръ изгнанныхъ изъ Молдавской арміи. Но не сказано ли имъ было, что они изъ арміи удаляются для того, что главнокомандующій не можетъ ужиться съ ними? Въ такомъ случаѣ, они хорошо сдѣлали, что въ службѣ остались, ибо служили не Каменскому. И мнѣ, если было бы сказано, что я при Варшавскомъ мѣстѣ оставаться не могу, потому что не нравлюсь которому-нибудь изъ вышнихъ лицъ, которыя, разумѣется, нужнѣе меня правительству; то, повинуясь безъ ропота приказанію, уважилъ бы его справедливость и право. Но если удаленнымъ сказано было оффиціально, что они неспособны къ полевой службѣ, что присутствіе ихъ въ арміи не только безполезно, но и вредно, то, по моему, не хорошо они сдѣлали, что, воротившись съ носомъ, пошли совать его въ другія мѣста въ ожиданіи будущихъ щелчковъ.

Мнѣ объявлено, что мой *образъ мыслей и поведенія* противенъ духу правительства, и въ силу сего запрещаютъ мнѣ въѣздъ въ городъ, куда я добровольно просился на службу. Предлагая услуги свои въ другомъ мѣстѣ и тому же правительству, которое огла-

*) Письмо это, писанное княземъ Петромъ Андреевичемъ 10 ноября 1821 года, въ селѣ Остафьевѣ, имѣетъ тѣсную связь съ предъидущею статьею; оно извлечено изъ *Записной книжки 1821—1822 г.* князя Вяземскаго, куда внесено было рукою княгини Вѣры Ѳеодоровны Вяземской.

сило меня отступникомъ и почти противникомъ своимъ, даюсь нѣкоторымъ образомъ подъ росписку, что впередъ *не буду мыслить и поступать по старому.*

Служба отечеству, конечно, священное дѣло; но не надобно пускаться въ излишнія отвлеченности; между нами и отечествомъ есть *лица*, какъ между смертными и Богомъ папы и попы.—Вѣруй въ Бога и служи ему дома какъ хочешь; но при людяхъ у однихъ цѣлуй туфлю, а у другихъ руки, которыя иногда и туфли грязнѣе. Вотъ оправданіе. Теперь приступлю къ объясненіямъ и пополненіямъ. Я и до опалы хотѣлъ идти въ отставку, не умѣя ужиться не съ начальствами, а съ службою. Мнѣ и самому казалось неприличнымъ быть въ глубинѣ совѣсти своей въ открытой противоположности со всѣми дѣйствіями правительства; а съ другой стороны, унизительно быть хотя и ничтожнымъ орудіемъ его (то-есть не дѣлающимъ зла), но все-таки спицею въ колесѣ, которое, по моему, вертится наоборотъ. Я не рожденъ дѣйствовать самъ собою и умѣть приносить пользу личную въ общемъ безпорядкѣ. Я сравниваю себя съ термометромъ, который не даетъ ни холода, ни тепла, но живѣе и скорѣе всего чувствуетъ перемѣны въ атмосферѣ, и умѣетъ показывать вѣрно его измѣненія. При другихъ обстоятельствахъ, и я могъ быть бы полезенъ; но тамъ, гдѣ жарятъ или знобятъ на удачу, гдѣ никакимъ признакамъ не вѣрятъ, никакихъ указателей не требуютъ, тамъ я вещь лишняя и лучше мнѣ лежать заброшеннымъ въ углу, чѣмъ висѣть гвоздемъ на стѣнѣ и давать крови своей, подобно ртути, то опускающейся, то стремящейся вверхъ, поочередно кипѣть отъ негодованія, или остывать отъ уныпія. Мое намѣреніе и прежнее было заглянуть къ себѣ въ деревню, устроить свои дѣла, а потомъ ѣхать въ чужіе края и прошататься, пока не стоскуется по домашнемъ хлѣбѣ, или обстоятельства не потребуютъ, чтобы каждый гражданинъ стоялъ на часахъ на своемъ мѣстѣ. Теперь живу въ Остафьевѣ съ семействомъ; на долго ли? не знаю. Во всякомъ случаѣ поѣдемъ въ Москву, въ генварѣ, мѣсяца на два; жена родитъ къ тому времени. Занимаюсь по просьбѣ одного Петербургскаго общества извѣстіемъ о жизни и

стихотвореніяхъ Дмитріева. Если ты былъ доволенъ моимъ Озеровымъ, то надѣюсь, что еще будешь довольнѣе моимъ Дмитріевымъ. Я на просторѣ и на досугѣ развернулся, многаго не договорилъ, на иное намекнулъ. Недѣли черезъ двѣ, кажется, долженъ отдѣлаться. А тамъ мнѣ самому хотѣлось бы себѣ для постоянной работы задать переводъ полезнаго сочиненія. На немъ сѣлъ бы я на годъ или на два и могъ бы еще наѣздничать по сторонамъ. Присовѣтуй мнѣ, какую перевесть бы книгу. Можетъ быть, я и рѣшусь съ легкой твоей руки. Ты правъ, пора словесности нашей приняться за дѣло и бросить игрушки. Вотъ что говорю въ своемъ *Извѣстіи:* „желательно, чтобы данный имъ примѣръ (*въ Ермакѣ и Освобожденіи Москвы*)—почерпать вдохновеніе поэтическое въ источникѣ исторіи народной, увлекъ за собою болѣе подражателей. Источникъ сей нынѣ разчищенъ рукою искусною и въ нѣдрахъ своихъ содержитъ все то, что можетъ вдохнуть жизнь истинную и возвышенную въ поэзію; пора вывести ее изъ тѣснаго круга общежительныхъ удовольствій и возвести на степень высокую, которую она занимала въ древности, когда поучала народы и воспламеняла ихъ къ мужеству и добродѣтелямъ государственнымъ". M-me Staël говоритъ: dans ses Dix années d'exil, que les auteurs russes ont composé jusqu'à ce tems *du bout des lèvres.* Далѣе продолжаю, приведя это замѣчаніе: „постараемся избѣгнуть сего справедливаго упрека и пусть поэзія, мужая вмѣстѣ съ вѣкомъ, отстаетъ отъ ребяческихъ игръ, украшающихъ цвѣтами ея продолжительное отрочество."

— Это все хорошо желать, но въ исполненіи встрѣчается точка съ запятою, то-есть: Министерство Просвѣщенія и Тимковскій. Дай намъ не полную, но умѣренную свободу печатанія, сними съ мысли Алжирскія цѣпи—и въ годъ словесность наша преобразуется. Все, что̀ плыветъ теперь на поверхности, поглотится пучиною, а сокровенное всплыветъ на воду. Ты не знаешь, до какой степени ценсура наша давитъ все то, что не словарь, а подобіе мысли. Нѣкоторые примѣры ея строгости и нелѣпости уморили бы со смѣху Европу. Какъ посмотришь на то, что печаталось при Екатеринѣ, даже при Павлѣ, и то, что теперь вымарывается изъ сочиненій! У меня есть переводъ всей Польской

конституціи, хартіи и образовательныхъ уставовъ. Хочу испытать, допустятъ ли до печати. Такой переводъ могъ бы любопытенъ быть у насъ и со стороны занимательности политической и опыта языка нашего въ новомъ родѣ.—Ты о башмакахъ ни слова не говоришь; прикажи, что изъ нихъ дѣлать. Мнѣ разсказывали о тебѣ черту, которая меня восхитила. Я всего себя тутъ увидѣлъ. Въ самый день твоего пріѣзда послѣдняго въ Москву былъ ты въ театрѣ. Я и самъ добровольно не пропускаю въ городѣ ни одного представленія, si peu présentables qu'elles soient; а надо мною всѣ смѣются, и тѣ самые, которые по цѣлымъ днямъ сидятъ за вистомъ. Они не понимаютъ, что театръ, какъ ни будь дуренъ, но все отдохновеніе образованное, европейское, а Англійскій клубъ, какъ ни будь въ немъ кислы щи и карты лучшаго разбора, заведеніе варварское и азіятское, если съѣзжаться въ немъ не для разговоровъ и общественныхъ преній, но только для того, чтобы прѣть за зеленымъ сукномъ, изъ удовольствія выиграть двадцать-пять рублей и убить нѣсколько часовъ въ дѣйствіи механическомъ. Сдѣлай милость, не поддавайся глупымъ насмѣшкамъ, и если будешь въ Москвѣ, пріѣзжай прямо ко мнѣ въ театръ. Послѣ-завтра открывается Итальянскій театръ представленіемъ: Il Turco in Italia, музыка Россини. Многіе увѣряютъ, что вообще труппа хороша, а нѣкоторые голоса превосходны; *Ратти* мнѣ ихъ очень хвалитъ. Если не головы Москвичей, то хорошо по крайней мѣрѣ уши ихъ воспитывать, да и уши то взросли. Хоть будетъ та выгода, что разговоры не все вертѣться будутъ на Петербургскихъ производствахъ и тузѣ самъ-пятъ и королѣ самъ-семъ.

XLIII.

НОВАЯ ТЯЖБА О БУКВѢ Ъ.

1829.

Пребываніе барона Гумбольдта въ Россіи есть важная эпоха въ воспоминаніяхъ нашего просвѣщенія. Мы видѣли въ немъ высокій примѣръ истинно ученаго и образованнаго человѣка, который, посвятя жизнь и всѣ способности свои на изученіе и развитіе одной изъ отраслей человѣческихъ познаній, не чуждается всѣхъ другихъ отраслей и любопытнымъ взглядомъ окидываетъ всѣ запросы, любопытные для ума человѣческаго вообще, и для ума народнаго частно. Всеобъемность размышленій и разговоровъ его изумительна. Вѣроятно, никто лучше его не знаетъ науки, избранной имъ цѣлью постоянныхъ усилій своихъ, и никто короче его не знаетъ Вселенной. Въ этомъ выраженіи нѣтъ преувеличенія.

Съ равною свободою, съ равнымъ свѣдѣніемъ будетъ онъ вамъ говорить о таинствахъ подземнаго міра, объ обширныхъ подробностяхъ пустыни Новаго Свѣта и о мелкихъ, но блестящихъ частностяхъ гостиныхъ Парижскихъ, въ которыхъ жизнь стѣсняется въ ограниченный, но не менѣе того любопытный кругъ: о духѣ младенчествующаго человѣчества и о распрѣ классицизма съ романтизмомъ между Бауръ-Лорміаномъ и Викторомъ Гюго. Въ Россіи, столь еще богатой для наблюденій разнородныхъ, столь еще свѣжей для изысканій, открылось обширное поле передъ испытательнымъ умомъ его. Языкъ, сіе жи-

вое знаменіе бытія народа, языкъ нашъ, столь незнакомый чужестранцамъ, столь мало знакомый намъ самимъ, долженъ былъ обратить на себя вниманіе ученаго путешественника, слышавшаго на вѣку своемъ звуки языковъ большей части міра извѣстнаго: въ краткое пребываніе свое у насъ онъ учился ему. Особенности его подвергались изслѣдованіямъ его: буква Ъ имѣла эту участь. Однажды въ Петербургѣ, въ одномъ домѣ, изъявилъ онъ мнѣніе свое о безполезности существованія ея въ нашей азбукѣ. Одинъ изъ присутствовавшихъ написалъ къ нему на другой день челобитную отъ буквы Ъ, на французскомъ языкѣ; но самъ скрылъ свое имя, такъ что баронъ Гумбольдтъ и не узналъ его, но по своимъ соображеніямъ отвѣчалъ на полученную грамоту къ другому лицу, которое почиталъ авторомъ ея. Надѣясь на снисходительное разрѣшеніе обоихъ писателей, предлагаемъ читателямъ нашимъ сію маленькую тяжбу, которая тѣмъ занимательнѣе, что возникла между свѣтскими учеными въ Петербургской гостинной, на сценѣ, въ которой мало заботятся у насъ о буквѣ Ъ и Ь и вообще о Русскихъ письменахъ.

ПИСЬМО КЪ БАРОНУ ГУМБОЛЬДТУ.

Милостивый государь!

Слава, которую глубокія и разнообразныя познанія и важныя творенія ваши доставили вамъ, была не чужда намъ задолго до вашего прибытія въ Россію, и удивленіе, встрѣтившее васъ на всемъ пространствѣ сей имперіи, было только однимъ изъ старинныхъ завоеваній обширнаго вашего ума. Сіе чувствованіе, казалось, уже достигло высшей степени; но совсѣмъ тѣмъ личныя ваши достоинства еще болѣе усилили оное: ваша снисходительность, ваша обязательная вѣжливость, ваше свободное и блестящее краснорѣчіе родили во всѣхъ, имѣвшихъ честь узнать васъ, искреннее уваженіе и привязанность, кои, можетъ быть, лестнѣе самаго удивленія.

Для чего, милостивый государь, изъ среды сихъ единодушныхъ кликовъ восхищенія, столь заслуженнаго, долженъ возвы-

ситься голосъ, обвиняющій васъ въ несправедливости, голосъ существа, коего преклонныя лѣта должны бы были задобрить ваше снисхожденіе и коего старинныя заслуги пріобрѣли право на уваженіе общее? Увы, милостивый государь! это существо... я!—Считаю себя въ правѣ жаловаться на васъ, и, въ тяжкой моей горести, мнѣ остается одно только утѣшеніе: надежда, что, узнавъ меня покороче, вы раскаетесь въ напесенной мнѣ обидѣ, и что великодушнымъ покровительствомъ вашимъ замѣните ту непріязнь, которую по видимому ко мнѣ питаете. Удостойте выслушать мое оправданіе, и да не помѣшаетъ вамъ моя мнимая незначительность внимательно склонить ко мнѣ слухъ вашъ.

Я буква Ъ и занимаю довольно важное мѣсто въ Русской азбукѣ. Около десяти вѣковъ протекло со дня моего рожденія, и никто не осмѣливался отвергать дѣйствительность мою и оспаривать тѣ заслуги, кои оказала я и допынѣ оказываю Россійскому языку. Только въ исходѣ минувшаго столѣтія нѣкоторые безвѣстные вводители новизны, искавшіе славы Геростратовъ, замышляли лишить меня правъ моихъ; но общее мнѣніе скоро проузрекло имъ правый судъ, и нападенія ихъ были заглушены окрикомъ нашихъ отличнѣйшихъ и ученѣйшихъ литтераторовъ. Что до меня касается, то я съ жалостію смотрѣла на моихъ ненавистниковъ, и никогда, ни на мигъ не поселили они во мнѣ страха о моемъ существованіи. Скоро даже я вовсе о нихъ позабыла; Россія также.

Но каково было мое удивленіе, когда я узнала недавно, что вы, баронъ, раздѣляете несправедливое мнѣніе этихъ господъ! Я тотчасъ поняла, что кто-либо оклеветалъ меня передъ вами и что, по всей вѣроятности, скрыли отъ васъ мои заслуги. Я сильно была опечалена; но, не попуская унынію овладѣть мною, рѣшилась изложить вамъ мое дѣло съ довѣренностію и прямодушіемъ. Такъ, милостивый государь, осмѣливаюсь прибѣгнуть къ вашему здравомыслію, и это уже меня успокоиваетъ! Преждевременное торжество враговъ моихъ будетъ не надолго; вы познаете грубое сплетеніе ихъ клеветы: я пріобрѣту въ васъ покровителя, и тогда останусь благонадежна въ моей безопасности на предбудущее время. Приступаю къ дѣлу.

Почти всѣ согласныя буквы въ Русскомъ языкѣ имѣютъ два явные звука: одинъ твердый, а другой мягкій: я, Ъ, имѣю честь быть представительницей перваго, а двойчатка—сестра моя Ь—втораго.

Съ перваго взгляда можно бы подумать, что легко было бы исключить одну изъ насъ: тогда оставшаяся выражала бы звукъ ей свойственный, а ея отсутствіе соотвѣтствовало бы знаку исключенному. Тоже думаютъ и мои гонители, кои однако же не осмѣлились посягать на существованіе сестры моей, которой необходимая польза казалась имъ ощутительнѣе моей. Посему-то я буду говорить собственно о себѣ; а для бо́льшаго удобства и ясности, прошу позволеніе говорить о себѣ въ третьемъ лицѣ.

Ъ, кромѣ обязанности своей придавать твердый выговоръ согласнымъ буквамъ, послѣ которыхъ находится, служитъ еще къ познанію словопроизводства. Люди, вникавшіе хотя нѣсколько въ языкъ Русскій, основательно думаютъ, что Ъ есть не что иное, какъ сокращеніе буквы О. Весьма даже вѣроятно, что въ древнемъ Славянскомъ языкѣ Ъ произносилось какъ О короткое. Доказательства, что Ъ и О въ собственномъ смыслѣ суть одна и та же буква, встрѣчаются поминутно въ Русскомъ языкѣ, равно какъ и въ другихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ. Славянскія рѣченія: *како*, *тако* пишутся и выговариваются по-русски: *какъ*, *такъ*. *Тамъ* и *тамо*, *однакъ* и *однако* суть совершенно слова однозначащія и безъ различія употребляются въ языкѣ Русскомъ. Предлоги *въ*, *съ*, *предъ*, *изъ*, и пр., пр. часто перемѣняются въ: *во*, *со*, *предо*, *изо*, и пр. Малороссійское слово *якъ* есть явнымъ образомъ Славянское: *яко*. Первое лицо множественнаго числа настоящаго времени изъявительнаго наклоненія всѣхъ Русскихъ глаголовъ кончится всегда на Ъ, а Малороссійскихъ на О. Напр. мы *дѣлаемъ*,—мы *дѣлаемо*. Тоже и въ будущемъ времени: *мы сдѣлаемъ*, *мы сдѣлаемо*. Легко можно бъ было расплодить сіи примѣры до безконечности. Въ древнихъ Славянскихъ рукописяхъ находимъ даже, что многія слова, какъ-то: *полкъ*, *волкъ*, *востокъ*, *борзый*, писались неотступно: *пълкъ*, *вълкъ*, *въстокъ*, *бръзый* и т. д. Это въ особенности придаетъ великую вѣроятность вышеприведенному предположенію, что въ прежнія времена Ъ выговаривалось всегда

какъ О короткое, хотя и то возможное дѣло, что въ концѣ словъ буква сія заключала въ себѣ звукъ неопредѣленный, почти такой же, какъ Французское безгласное *e*, когда имъ оканчивается какое-либо слово; напр. tente, bande, chance. Если мы не примемъ за правило, что Ъ есть не что иное, какъ О, то какъ же мы объяснимъ его употребленіе въ срединѣ нѣкоторыхъ словъ, каковы: *плъкъ*, *слъкъ*, и т. п.? А словъ сихъ очень много. Самое начертаніе буквы Ъ можетъ въ нѣкоторомъ смыслѣ послужить доказательствомъ ея тожества съ буквой О; ибо весьма вѣроятно, что она писывалась первобытно такимъ образомъ: *Ѻ*, для означенія, что это О краткое, подобно какъ Й донынѣ означаетъ краткое И.

Правда, что для слуха нашего показалось бы очень страннымъ, когда бъ мы вздумали теперь замѣнить буквой О всѣ Ъ, коими кончатся у насъ слова; но этимъ ничего не доказывается противъ тождества обѣихъ сихъ буквъ. Произношеніе въ какомъ либо языкѣ не подвергается ли со временемъ еще бо́льшимъ и страннѣйшимъ измѣненіямъ? Правда и то, что многія слова, кончащіяся нынѣ въ Русскомъ и новомъ Славянскомъ языкахъ на Ъ, въ древнемъ Славянскомъ оканчивались на Ь. Таковая перемѣна послѣдовала, напримѣръ, со всѣми вообще глаголами. Третье лицо настоящаго времени изъявительнаго наклоненія въ обоихъ числахъ неизмѣнно оканчивается на ТЪ, тогда какъ въ древнемъ Славянскомъ языкѣ его окончаніе было на ТЬ. Но сіи новѣйшія исключенія, измѣнившія старинное употребленіе буквы Ъ, не могутъ уничтожить многочисленныхъ доказательствъ тожества ея съ буквою О. Посему буква Ъ останется навсегда драгоцѣннымъ памятникомъ древняго произношенія Славянскаго языка, и въ семъ видѣ будетъ всегда по праву имѣть мѣсто въ азбукѣ Русской. Храненіе словопроизводныхъ памятниковъ языка всегда почиталось предметомъ весьма важнымъ; и если Французы, Нѣмцы и другіе народы почли за нужное не замѣнять буквъ *ph* одною буквой *f* въ словахъ: *philosophie*, *phase* и т. п.; если они по прежнему пишутъ: *athée* вмѣсто *atée*; то для чего же хотѣть, чтобы Русскіе отступили отъ сего правила, уничтоживъ свое Ъ? Но кромѣ этимологической важности сей буквы, есть и другія

немаловажныя причины, но какимъ сохраненіе оной становится необходимымъ.

Буква Ъ, какъ представительница твердаго выговора согласныхъ буквъ въ Русскомъ языкѣ, ставится не только въ концѣ словъ, но и въ срединѣ оныхъ, и здѣсь то всего болѣе необходимость оной кажется ясною даже и для тѣхъ, кои не имѣютъ никакого свѣдѣнія въ словопроизводствѣ Русскаго языка. Почти всѣ слова, въ составъ коихъ входятъ предлоги: *безъ*, *взъ*, *вонъ*, *въ*, *изъ*, *объ*, *отъ*, *предъ*, *разъ*, *съ* и т. п.. не могутъ обойтись безъ буквы Ъ, когда предлоги сіи стоятъ предъ гласною буквой. Языкъ Русскій имѣетъ множество таковыхъ словъ, и если бы въ нихъ исключили Ъ, тогда бы они совершенно измѣнились въ произношеніи, даже иногда и въ значеніи своемъ. Приведу нѣсколько примѣровъ и постараюсь выразить произношеніе словъ Нѣмецкими буквами, болѣе для сего способными, нежели Французскія. Удержу при томъ Русскія буквы: Ж, Ш, Ы, Я, Й, коихъ звукъ весьма трудно изобразить письменно на другихъ языкахъ. Возьмемъ слова:

Въѣздъ (die Einfahrt), подъемный мостъ (die Zugbrücke), изъявленіе (die Bezeugung), предъидущій (der Vorgehende), объѣдать (abfressen, schmarotzen), съуженіе (die Verengung).

Когда Ъ въ нихъ находится (какъ и должно сему быть), тогда слова сіи выговариваются такимъ образомъ:

W-jes'd, pod-jem-nый, is'-a-wle-ni-je, pred-ы-du-щій, ob-je-dat, su-же-ni-je.

Исключивъ же букву Ъ должно бъ было произносить:

Wes'd, po-dem-nый, i-za-wle-ni-je, pre-di-du-щій, obe-dat, su-же-ni-e.

Разность въ произношеніи, отъ того происходящая, ощутительна всякому, но для Русскаго она разительна. Въ нашемъ языкѣ есть звуки, которые, если не вовсе невозможно, то по крайней мѣрѣ очень трудно выразить буквами другаго языка. Таково, между прочими, Я, когда передъ нимъ стоитъ согласная буква, не отдѣленная отъ него буквою Ъ. Когда же, напротивъ того, Я стоитъ само по себѣ, или отдѣлено буквою Ъ отъ предшествовавшей согласной, тогда буквы ja выражаютъ его со-

вершенно. Въ словѣ *изъявленіе* слогъ *яя* можетъ весьма хорошо выразиться буквами s'ja; но отнявъ Ъ, мы получили бы слогъ *зя*, который выговаривается совсѣмъ отлично и коего звукъ не можетъ даже быть переданъ нѣмецкими буквами. Посему никакъ невозможно обойтись безъ Ъ въ словѣ *изъявленіе*.

Слово *предъидущій* также представляетъ собою особенность, о которой я должна упомянуть. Когда, въ сложныхъ словахъ, Ъ стоитъ предъ И, тогда сія послѣдняя буква выговаривается какъ Ы; ибо Ы есть не иное что, какъ обыкновенное І, сдѣлавшееся твердымъ чрезъ прибавку Ъ. Это доказывается всѣми древними Славянскими рукописями, въ коихъ Ы почти всегда изображалось такимъ образомъ: Ъı. Изъ сего явствуетъ, что выбросивъ Ъ изъ слова: *предъидущій*, мы бы совершенно измѣнили произношеніе сего слова.

Слова: *объѣдать и обѣдать* не только различно произносятся, но имѣютъ и совершенно разное знаменованіе. Ob'jedat значитъ: abfressen, тогда какъ obedat значитъ: zu Mittag essen.

Вотъ, милостивый государь, краткое изложеніе причинъ, кои всегда будутъ препятствіемъ къ исключенію буквы Ъ изъ Русскаго букваря. Смѣю надѣяться, что сего краткаго изложенія достаточно будетъ къ оправданію меня въ глазахъ вашихъ и къ доказательству, что я, не подвергаясь упреку въ излишнемъ самолюбіи, могу удерживать за собою право гражданства въ томъ языкѣ, въ которомъ я жила искони, и могу опереться въ томъ на тысячелѣтнюю давность. Примите вмѣстѣ съ симъ увѣренія мои, что я нисколько не досадую на васъ за то, что вы неосновательно знали права мои: я легко понимаю, что вы могли быть введены въ заблужденіе. Но что нѣкоторые изъ Русскихъ не признаютъ сихъ правъ, что они не вѣдаютъ того, что изгнаніемъ меня измѣнился бы совершенно духъ языка ихъ, — сего, по совѣсти, не могу я постигнуть! Признаюсь вамъ откровенно, баронъ, что кромѣ весьма естественнаго желанія оправдаться передъ вами, у меня была еще другая причина написать къ вамъ сіе письмо. Я боялась, чтобы, опираясь на мнѣніе ваше, нѣкоторые изъ сихъ господъ не вздумали снова поднять войну, обратившуюся нѣкогда ко вреду ихъ предше-

ственниковъ. Недоумки, желая возвыситься надъ толпою, охотно цѣпляются даже за самыя заблужденія мужа знаменитаго. Иные изъ нихъ, оставлявшіе меня доселѣ въ покоѣ, и теперь уже пристаютъ къ вашему мнѣнію, чтобъ очернить меня. Я увѣрена, что они не успѣютъ мнѣ повредить; но, въ качествѣ соотечественницы, я желала бы даже избавить ихъ отъ стыда, наносимаго неудачею. Удостоивъ меня вашимъ покровительствомъ, вы наложите на нихъ молчаніе, а меня навсегда оградите отъ всякаго новаго нападенія.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и вѣчною преданностію имѣю честь быть,

Милостивый государь!
покорнѣйшей вашей услужницей
Буква Ъ.

С.-Петербургъ
28 ноября 1829 г.

ОТВѢТЪ БАРОНА ГУМБОЛЬДТА.

Милостивый государь!

Особа весьма остроумная, которую вы часто встрѣчаете въ свѣтѣ и удостоиваете своею благосклонностью, написала ко мнѣ письмо, исполненное наблюденій замысловатыхъ и глубокихъ объ *ударѣніи* и философіи грамматики. Убѣдительно прошу ваше превосходительство изъявить мою живѣйшую благодарность этой почтенной особѣ, коей полъ показался мнѣ сомнительнымъ, но между тѣмъ, вѣроятно, не принадлежащей къ тому, который мы именуемъ прекраснымъ: ибо она, съ прямымъ чистосердечіемъ, хвалится преклонными лѣтами своими. Она немного сутуловата и доказываетъ, что не могла пользоваться благодѣяніями госпожи Т. Вы скажете, милостивый государь, что, не имѣя болѣе права (благодаря добрымъ совѣтамъ вашимъ) нападать на нравственность ея, я малодушно нападаю на наружный ея видъ. Нѣтъ, м. г., миръ заключенъ между нами навсегда! Если осмѣливаюсь говорить о наружности существа, покровительствуемаго вами, и о сходствѣ его слишкомъ великомъ съ родственникомъ, который слабѣе и щедушнѣе его, то это по худой привычкѣ

натуралиста, который пріучился разсматривать формы и по нимъ злословить о свойствѣ физіогномін личной.

Примите увѣреніе въ высокомъ почтеніи, съ коимъ имѣю честь быть,

Милостивый государь!

Вашего превосходительства покорнѣйшій слуга

Гумбольдтъ.

С.-Петербургъ
29 ноября 1829 г.
11 декабря.

XLIV.

О МОСКОВСКИХЪ ЖУРНАЛАХЪ.

1830.

Вотъ рядъ Московскихъ литтературныхъ журналовъ и сомкнулся: запоздалые явились на свои мѣста.

„*Московскій Телеграфъ*". 1-я книжка на 1830 годъ оправдываетъ ожиданіе читателей, которые привыкли находить въ этомъ журналѣ болѣе пищи любопытству, болѣе удовлетворенія разнообразнымъ требованіямъ, чѣмъ въ другихъ Русскихъ журналахъ, ему современныхъ. Можно сравнить „*Московскій Телеграфъ*" съ застольнымъ обѣдомъ въ гостинницѣ, не лакомымъ для взыскательности разборчивыхъ гастрономовъ, но довольно сытнымъ, съ обѣдомъ, отъ коего встанешь по крайней мѣрѣ не голоднымъ. Для каждаго вкуса, разумѣется не слишкомъ утонченнаго, для каждаго желудка найдется пища: художникъ не очень искусенъ, стряпанье его нерѣдко отзывается черезъ-чуръ самоучкою и поспѣшностью, но по крайней мѣрѣ онъ имѣетъ хорошее свойство выбирать сочную и свѣжую провизію, разнообразить блюда и сметливо соглашаться съ требованіями, аппетитомъ и гастрическими способностями своихъ застольниковъ. Читателей Русскихъ, охотниковъ ходить по журнальнымъ обѣдамъ, нечего увѣрять, что мое мнѣніе о „*Московскомъ Телеграфѣ*", какъ оно ни кажется умѣреннымъ, но не менѣе того оно, по сравненію, похвала, и едва-ли не исключительная. Сей журналъ былъ предметомъ многихъ нападокъ со стороны совмѣстниковъ своихъ;

въ чисто литературномъ отношеніи и въ кое-какихъ другихъ отношеніяхъ онъ не безгрѣшенъ, но Русскіе читатели обязаны ему благодарностью, и, по совѣсти, не другимъ журналистамъ слѣдовало-бы выкликать на него негодованіе читающей публики. Не имъ-бы говорить, не намъ-бы слушать. Если журналъ дѣло торговое и договорное, если журналистъ берется за такую-то плату ставить подписчикамъ своимъ годовое продовольствіе, то „*Московскій Телеграфъ*", безъ сомнѣнія, менѣе другихъ обвиненъ быть можетъ въ неустойкѣ. Многіе придирались къ нему и за картинки модъ, пришиваемыя къ статьямъ, коихъ цѣлью распространеніе свѣдѣній совершенно другаго рода. Можетъ быть, обвиненіе подкрѣпится еще большею силою нынѣ, когда вспомнишь, что Русскій законодатель портныхъ и модистокъ есть въ одно время и историкъ Русскаго народа, когда вспомнишь, что объемлющій всѣ пути извѣстности и промышленности, приближаясь къ Нибуру съ посвященіемъ, ко храму славы и къ алтарю отечества съ твореніемъ своимъ, въ разсыпающейся заботливости мимоходомъ вноситъ и въ модныя лавки раскрашенныя свои скрижали. Но соглашеніе сихъ противорѣчій, накидывающихъ нѣсколько смѣшную тѣнь на слишкомъ разнообразное лице, можетъ озаботить друзей и защитниковъ новаго историка,— журнальнымъ читателямъ до того дѣла нѣтъ. Журналъ—спекуляція умственная, или денежная, или та и другая вмѣстѣ. Если издатель полагаетъ, въ чемъ онъ можетъ быть и не ошибается, что изъ полнаго итога подписчиковъ его одна треть подписывается на модныя извѣстія исключительно, другая на модныя извѣстія, приправленныя прочимъ, или на прочее, приправленное модными извѣстіями, и только послѣдняя треть принадлежитъ положительно къ числу читателей журнала, то и въ этомъ соображеніи пользуется онъ оборотомъ весьма позволительнымъ. Но есть еще другое предположеніе, которое выставимъ тѣмъ охотнѣе, что оно благопріятно для лица издателя.

Картинки *Телеграфа*, хотя по видимому вывѣски одной денежной спекуляціи, но могутъ они быть средствами къ успѣху и спекуляціи безкорыстно умственной. Зачѣмъ же не предположить, что Парижскіе щеголи и щеголихи, съ которыми зна-

комитъ насъ *Московскій Телеграфъ*, ничто иное, какъ герольды, по слѣдамъ коихъ вводитъ онъ въ губернскіе и уѣздные города, въ степныя деревни, другія лица важнѣйшія, напримѣръ: Шлегеля, Гизо, Кузена и другихъ. Издатель знаетъ пословицу: по платью встрѣчаютъ, а по уму провожаютъ. Глядя безпристрастно съ этой точки зрѣнія, можно было-бы извинить его, если онъ и къ историческому творенію своему прибавилъ бы картинки модъ. Тассо совѣтуетъ подслащивать край горькой чаши. Великіе люди употребляли часто весьма мелкія средства для достиженія обширной цѣли. Впрочемъ, въ этомъ случаѣ историкъ Русскаго народа имѣлъ бы даже и философическое оправданіе. Преобразователь Россіи не выпускалъ изъ вида и преобразованіе отечественныхъ модъ. Мудрено, какъ историкъ-философъ, „вникнувшій въ духъ своего вѣка“, пренебрегъ этимъ пособіемъ мѣстности. Будемъ однакоже внимательны и справедливы: если новый историкъ и не прибѣгнулъ къ союзу съ Парижскими модами, то имѣлъ онъ въ запасѣ другое „раскрашенное“ пособіе для расширенія дѣйствій своихъ на умы многихъ Русскихъ читателей. Знаетъ ли хорошо г-нъ Полевой Россійское государство, объ этомъ ни слова, но Русскій народъ знаетъ онъ твердо и въ этомъ отношеніи достоинъ быть его историкомъ. Обѣщаніе довести исторію до нашего времени есть точно таже раскрашенная вывѣска. Кто изъ благоразумныхъ людей будетъ ожидать у насъ исторію новѣйшихъ временъ, не говорю уже современной эпохи? Но не все же пишется для благоразумныхъ людей. Современная исторія нигдѣ не доступна, особливо-же у насъ. Укажемъ на одинъ недостатокъ въ историческихъ матеріалахъ, въ современныхъ запискахъ. Историкъ, который добровольно берется перефразировать *Московскія Вѣдомости*, писать о томъ, о чемъ писать не можно, и выдавать свою книгопродавческую работу за исторію, тотъ накидываетъ большое подозрѣніе на свой историческій характеръ и на свою историческую добросовѣстность. Отказываясь вѣрить ему въ одномъ, трудно довѣрять ему и тамъ, гдѣ онъ могъ бы свободно налагать свое мнѣніе. Несбыточныя обѣщанія изобличаютъ по крайней мѣрѣ неосновательность ума, если не хвастовство и не

шарлатанство; но и одной неосновательности довольно, чтобы отбить вѣру и уваженіе. Все это такъ въ понятіяхъ малаго числа разсуждающихъ; но книги пишутся и печатаются для большинства.

Рѣчь о занятіяхъ Общества любителей Россійской Словесности, въ торжественномъ собраніи онаго, 1829 года декабря 23 дня, произнесенная временнымъ предсѣдателемъ ординарнымъ профессоромъ И. И Давыдовымъ и напечатанная въ началѣ 1-й книжки *Московскаго Телеграфа*, соединяетъ въ себѣ довольно вѣрное исполненіе условій торжественной академической рѣчи. Сіи рѣчи вообще походятъ на свѣтскія рѣчи образованныхъ людей. Старайтесь не оскорбить никакихъ приличій, будьте вѣжливы ко всѣмъ присутствующимъ, довольно плавно и красиво выражайте довольно обыкновенныя мысли, и болѣе отъ васъ требовать нечего. Нѣкоторымъ изъ благовѣрныхъ читателей можетъ, однакоже, показаться соблазнительнымъ, что авторъ ея, ординарный профессоръ, не много вольнодумствуетъ о классицизмѣ и романтизмѣ. Что, напримѣръ, скажутъ они о слѣдующемъ: „Прежде обнаруживалось направленіе классицизма, предъ симъ у насъ господствовавшее, стремленіе духа нашего къ видимой природѣ, къ ея живописанію, невольное подчиненіе духовнаго существа вещественному владычеству — нынѣ совершенно иное направленіе получила словесность, направленіе романтизма". Неужели „вещественное владычество" отличительный характеръ классической древности? Неужели, напримѣръ, Греческіе трагики, въ высокихъ созданіяхъ своихъ, были рабами и данниками вещественности? У насъ и такъ ученіе классиковъ въ пебреженіи: если и тѣ, которые по званію своему обязаны хранить священный пламень древности, станутъ разувѣрять въ святынѣ онаго, то число отступниковъ еще болѣе размножится. Пускай каждый остается при своемъ; тяжба классицизма и романтизма еще не рѣшена: классицизму еще нужны адвокаты. Другіе читатели, требующіе непогрѣшительности въ слогѣ ученой рѣчи, могутъ замѣтить несообразность другаго рода. Вотъ примѣръ: „тогда (т.-е. за 18 лѣтъ) мы не имѣли отечественной исторіи, учились ей по иностраннымъ книгамъ; нынѣ мы гордимся своимъ пал-

ладіумомъ, произведеніемъ безсмертнаго дѣписателя, и еще сей палладіумъ не поколебалъ въ юномъ талантѣ (вѣроятно рѣчь идетъ о Н. А. Полевомъ) намѣреніе выдти на тоже поприще исторіи". Палладіумъ также не можетъ поколебать, какъ и юный талантъ не можетъ въ другомъ смыслѣ поколебать палладіумъ. Статья о всеобщей исторіи принадлежитъ къ тѣмъ переводамъ, печатаемымъ въ *Московскомъ Телеграфѣ*, которые, служа доказательствомъ смѣтливости и благонамѣренности издателя въ выборѣ журнальныхъ матеріаловъ, утверждаютъ за нимъ въ ряду совмѣстниковъ первенство по занимательности. Часть критики, относящейся до Русской библіографіи, далеко отстоитъ въ „*Телеграфѣ*" отъ критики иностранной, заимствованной изъ лучшихъ европейскихъ журналовъ. Въ составъ уложенія критики отечественной не входятъ ни добросовѣстность, ни вкусъ, который также есть совѣсть эстетическая. Приговоры, произносимые издателемъ, отзываются всегда пристрастіями, лицепріятіями экстреннаго суда, руководствующагося не внутреннимъ убѣжденіемъ, не коренными законами, а одною силою обстоятельствъ и личныхъ отношеній. Это настоящій революціонный трибуналъ: опалы, торжества, казни, апоѳеозы, дѣйствія и противодѣйствія смѣняются и примѣняются съ безпрерывнымъ противорѣчіемъ, съ примѣрною забывчивостью къ однимъ и тѣмъ же лицамъ, къ однимъ и тѣмъ же дѣламъ, смотря по времени и постороннимъ принадлежностямъ. Правда и то, что жертвы сего трибунала могутъ сказать ему:

Les gens que vous tuez se portent assez bien.

При недостаткѣ добросовѣстности, которая могла бы давать нѣкоторый нравственный вѣсъ сужденіямъ „*Телеграфа*", еще чувствительнѣе недостатокъ вкуса, который по крайней мѣрѣ, въ минуты безпристрастія, вѣрною оцѣнкою разбираемыхъ произведеній, подкрѣпилъ бы голосъ „*Телеграфа*" въ рѣшеніи литературныхъ тяжбъ. Впрочемъ, не будемъ требовать невозможнаго. Бойкость ума, смѣтливость, довольно острая понятливость суть способности врожденныя, но вкусъ—способность, благопріобрѣтаемая основательнымъ и постояннымъ изученіемъ. Знающимъ г-на Полевого извѣстно по устнымъ и письменнымъ свидѣтель-

ствамъ, что фундаментальное невѣдѣніе его въ первыхъ познаніяхъ литтераторскихъ доходитъ до границъ баснословнаго невѣроятія, образованіе его совершенно практическое и оно ровесникъ *Московскому Телеграфу*, которому не болѣе шести лѣтъ. По этому воззрѣнію, г-нъ Полевой относительно къ нему самому приноситъ честь Русскому имени и мы охотно, безъ малѣйшаго эпиграмматическаго подразумѣнія, подтвердимъ слова умнаго человѣка, который назвалъ его представителемъ Русской промышленности. Но изъ того, что онъ понемногу многому научился для себя, не слѣдуетъ, чтобы онъ зналъ многое въ отношеніи къ литературѣ нашей. Жаль, что, не постигнувъ выгоды положенія своего, не умѣлъ и не хотѣлъ онъ благоразумнѣйшею умѣренностію, разсчетливымъ ограниченіемъ дѣйствій своихъ въ мѣрномъ кругу сосредоточить силы и дарованія свои. Теперь, если г-нъ Полевой и принадлежитъ какой-нибудь школѣ, то развѣ Суворовской, которая не терпѣла *немогузнайки*. И въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ въ умственномъ и ученомъ мірѣ ни одного запроса, отъ коего запнулся бы онъ. Читателямъ нашимъ вѣроятно не покажется неумѣстнымъ, что мы нѣсколько распространились въ характеристикѣ г-на Полевого. По способностямъ и погрѣшностямъ своимъ, по многимъ дѣйствіямъ благонамѣреннымъ и по злоупотребленіямъ своимъ, по роли, которую онъ играетъ въ современной эпохѣ словесности нашей, онъ любопытный предметъ изслѣдованія, изученія и указаній. Смѣемъ надѣяться, что мы въ обрисовкѣ своей не отступили отъ безпристрастія и добросовѣстности: желали бы мы надѣяться, что безкорыстныя откровенныя указанія наши послужатъ въ пользу. — Поэзію *Московскаго Телеграфа*, какъ въ сей 1-й книжкѣ, такъ вообще за рѣдкими исключеніями и всегда, можно назвать слабою струпою его. Лѣтопись современной исторіи, или взглядъ на 1829-й годъ есть не что иное, какъ взглядъ на *Московскія Вѣдомости*. Статьи о Русскомъ Московскомъ театрѣ, печатанныя прежде и ком, кажется, будутъ имѣть продолженіе и въ нынѣшнемъ годѣ, замѣчательны своею обширностью. Нельзя не подивиться охотѣ и возможности говорить такъ часто и такъ много о г-жѣ Лавровой, о г-жѣ Репиной, о г-нѣ Бантышевѣ и

прочихъ и прочихъ, сколько при всемъ томъ дарованія ихъ не доставили бы удовольствія посѣтителямъ Московскаго театра. *Новый живописецъ общества и литтературы на 1830 годъ*, явившійся въ прибавленіи къ *Московскому Телеграфу*, по начальному опыту не обѣщаетъ богатой галлереи. Вообще часть правовъ — слабая часть журналовъ нашихъ. Наблюдатели наши, можетъ быть, очень нравоучительны, но вовсе не остроумны; къ тому же они близоруки, а между тѣмъ часто хотятъ описывать общество, которое видятъ только съ улицы сквозь окна.

Вѣстникъ Европы начинаетъ свой журнальный годъ не шуточнымъ доносомъ на романтизмъ, т.-е. отрывкомъ изъ полнаго опыта о романтической поэзіи, „имѣющаго выдти въ свѣтъ неукоснительно“, по авторскому выраженію г-на издателя. Если отныпѣ не станутъ заключать въ остроги, или въ больницы умалишенныхъ, позволяющихъ себѣ придерживаться романтизма, то обвиненіе въ худыхъ послѣдствіяхъ падетъ уже не на автора сей статьи. Онъ съ своей стороны правъ: онъ все сдѣлалъ, что могъ, даже и чего не могъ. Хотите-ли, напримѣръ, знать, что̀ есть этотъ Байронъ, котораго въ простотѣ души своей читаютъ съ удовольствіемъ многіе добрые люди? Узнайте: „онъ шатается стѣнью по мертвымъ костямъ бытія, изъ которыхъ самъ высосалъ соки жизни — не обрѣтая нигдѣ спокойствія и отрады — язва природы, ужасъ человѣчества“. Вотъ другія выписки: „наша романтическая поэзія есть настоящее лобное мѣсто, настоящая торговая площадь. Одинъ поэтическій взмахъ проливаетъ нынѣ болѣе крови, чѣмъ грозная муза Шекспира во всѣхъ своихъ мрачныхъ произведеніяхъ: самъ Аретинъ закраснѣлся бы, глядя на безпутство и наглость, обнажающую себя столь незастѣнчиво на торжищахъ литтературнаго нашего міра.“ — „Куда-жъ какъ пріятно видѣть нынѣ нашу поэзію, добивающуюся имени романтической, чрезъ постыдное подбираніе изгарипъ и поддонковъ романтическаго духа“. — „Даже невѣроятнымъ кажется, чтобы поэма могла имѣть поэтическій цвѣтъ, если она не смочена кровью, — чтобы зданіе ея было прочно, если оно не сооружено на черепахъ, подобно древнему Капитолію. Насилія, грабежи, разбои, убійства, братоубійства, отцеубійства, самоубійства, однимъ сло-

вомъ, всѣ неистовства, до какихъ только можетъ низвергаться человѣческая природа въ минуты преступнаго самозабвенія, составляютъ вѣнецъ и украшеніе настоящей поэзіи." — Не знаешь, чему болѣе дивиться въ сей статьѣ: изступленію-ли слога, или изступленію мыслей, или мнѣній, потому что мысли ни единой тутъ нѣтъ.

Но всего болѣе удивляетъ, что журналистъ, предлагающій читателямъ своимъ сочиненія, писанныя подобнымъ языкомъ, сочиненія, гдѣ слова и выраженія низкія и высокопарныя, витійство семинарское и краснобайство площадное воютъ разногласно, могъ когда-нибудь почитаемъ быть судіею и знатокомъ въ Русской словесности. Въ сей книжкѣ напечатана также критика на *Исторію Русскаго народа:* читателямъ, знакомымъ съ *Вѣстникомъ Европы*, довольно сказать, что она писана съ Патріаршихъ прудовъ. Какъ ни будь дѣльны замѣчанія, въ ней заключающіяся, но какая истина не изнеможетъ, опутанная заблужденіями подобнаго рода? Патріаршіе пруды такъ тинисты, что не распознаешь и ея самой, когда она выходитъ изъ нихъ въ люди. Вотъ начало критики: „Теорія предчувствій составляетъ доселѣ камень претыканія для испытателей человѣческой природы. Одни утверждаютъ, что сіи тайныя вторженія въ туманную область будущности, которыя мы называемъ предчувствіями, суть не что иное, какъ преждевременныя попытки самой души — стряхнуть съ себя чуждыя вериги пространства и времени", и проч. Кто не подумаетъ, что весь этотъ наборъ словъ какой-нибудь продолжительною опечаткою попался въ начало критики на Русскую исторію? Многіе ли изъ Русскихъ читателей дойдутъ до конца этого періода? Для кого писать такимъ языкомъ? Для ученыхъ? онъ покажется верхъ невѣжества. Для свѣтскихъ простолюдиновъ? недоступный верхъ учености. Одинъ критикуемый авторъ найдетъ свою пользу въ неестественномъ изложеніи мыслей, которое должно отбить читателей разнаго рода. Вообще должно сказать, какъ о сей критикѣ, такъ и о той, которая напечатана на туже книгу во 2-мъ № *Московскаго Вѣстника*, что онѣ писаны вовсе не языкомъ критики. Понимаемъ негодованіе, понимаемъ

обязанность занимающихся ученіемъ исторіи изобличить шарлатанство, самохвальство и немощь, когда они совокупно являются на поприще историческое съ требованіями на общее вниманіе. Но и негодованіе не должно испаряться въ порывахъ многословной горячности. И негодованіе должно мѣтить, а не кидаться во всѣ стороны. Критика должна имѣть стройное хладнокровное движеніе регулярнаго войска Европейскаго: наши критики имѣютъ запальчивость, дикіе вопли, необузданное стремленіе Азіятскихъ ордъ. Отъ первой спастись трудно; стоитъ только выждать терпѣливо опрометчивость другихъ, а отразить ихъ легко. Въ критическихъ разборахъ обоихъ журналовъ можно замѣтить еще общую неумѣстность: поздніе обращенія къ трудамъ и памяти Карамзина, удары, во имя его наносимые новому историку. Нѣтъ сомнѣнія, что оскорбительныя сужденія о твореніи его, напечатанныя въ *Вѣстникѣ Европы* и въ *Московскомъ Вѣстникѣ*, имѣющія цѣлію поколебать уваженіе къ заслугамъ, имъ отечеству оказаннымъ, приготовили нынѣшнія сатурналы литтературы нашей, разразившіяся появленіемъ *Исторіи Русскаго народа*. Въ этомъ отношеніи г-нъ Полевой поступилъ неблагодарно: слѣдовало ему посвятить твореніе свое не Нибуру, а Каченовскому и Арцыбашеву. Они удобрили ниву, на которой онъ собираетъ жатву; они вложили въ него мысль и усердіе обработать ее. Въ политическомъ мірѣ анархія ведетъ къ деспотизму: въ литтературномъ мірѣ, неисправленіе законовъ изящности, анархическое своевольство есть также вступленіе къ ложцарствію невѣжества.

Любителей Русской поэзіи можно поздравить съ двумя дебютантами-близнецами на сценѣ *Вѣстника Европы*. Вотъ имена ихъ: Орлино-Когтевъ и Львино-Зубовъ. Впрочемъ, они только именемъ страшны, а стихи ихъ также незлобивы, какъ и всѣ эпиграммы *Вѣстника Европы*. Издатель обѣщаетъ сообщить читателямъ библіографическія извѣстія о книгахъ отечественныхъ и иностранныхъ. Въ 1-мъ № дается легкій отчетъ о четырехъ книгахъ: *Древніе и новѣйшіе Юмары въ отношеніи къ Россіянамъ*, *Крымскіе Сонеты* Адама Мицкевича, переводъ и подражанія Козлова, *Радуга*, *Альманахъ анекдотовъ*. Подобныя критиче-

скія статьи придадутъ, безъ сомнѣнія, живость и занимательность, *Вестнику Европы*. Въ этомъ журналѣ давно уже ничего не говорится спроста: вездѣ языкъ символическій, загадочный, исполненный намековъ и умолчаній. Надобно вслушаться, вглядѣться въ него долго, прежде чѣмъ дать себѣ право переводить съ него на другой болѣе житейскій языкъ. И потому не рѣшимся сказать ни слова о сей библіографической попыткѣ. Довольствуемся тѣмъ, что поздравимъ подписчиковъ *Вѣстника Европы* съ дополненіемъ, необходимымъ для литературнаго журнала.

Главныя принадлежности *Атенея* вообще: благоразуміе, здравость въ сужденіяхъ и выраженіи, соблюденіе приличій, уваженіе къ читателямъ и къ званію писателя, вѣжливость образованности Европейской и частнаго общежитія, правильность, чистота языка и слога: сіе послѣднее свойство немаловажно въ наши дни, когда сама георія языка нашего угрожаема совершеннымъ ниспроверженіемъ практическими попытками новыхъ прозаиковъ. Чего же не достаетъ *Атенею*, чтобы удовлетворить читателямъ, требующимъ Европейскаго журнала? Не достаетъ живости, дѣятельности, подвижности, теплоты, которыя можно почесть существенными необходимостями періодическаго изданія. Опредѣлить положительно и ясно въ чемъ состоятъ именно потребности сіи—почти невозможно; но отсутствіе ихъ осязательно, и вотъ почему *Атеней*, при другихъ правахъ своихъ на внимательное уваженіе, не имѣетъ въ Россіи вліянія, безъ коего журналъ самобытно существовать не можетъ. Разумѣется, говоря о живости и подвижности, не имѣемъ въ виду той боевой живости, той рукопашной подвижности, коими укрѣпились мышцы другихъ журналовъ, испытанныхъ въ брани. У насъ многіе изъ авторовъ худо понимаютъ смыслъ иностранныхъ словъ: критика и полемика по мнѣнію иныхъ одно и тоже. Критика: сужденіе, или изслѣдованіе, или разборъ творенія. Полемика: письменный споръ ученый, литтературный, геологическій. Можно критиковать предъ судомъ публики книгу, какое ни имѣй понятіе о сочинителѣ ея: но не всегда захочешь вступить въ полемику съ сочинителемъ, т.-е., въ споръ, въ преніе, потому что споръ есть разговоръ, а съ инымъ писателемъ разговаривать ни можно, то

есть не должно. Впрочемъ, и полемика полемикѣ и споръ спору рознь. Между равно благовоспитанными, образованными людьми нерѣдко и въ спорѣ бываетъ обмѣнъ насмѣшекъ, колкостей, но изъ того не слѣдуетъ, что споръ въ гостиной между благовоспитанными людьми есть одно и тоже что споръ въ сѣняхъ между лакеями, или на улицѣ между черни. По этому соображенію, образованный человѣкъ, застѣнчивый въ отношеніи къ чести своей, не войдетъ въ бой неровный, словесный или письменный, съ противниками, которые не научились въ школѣ общежитія цѣнѣ выраженій и приличіямъ вѣжливости. — Въ 1-й книжкѣ *Атенея* напечатанъ еще отрывокъ изъ *Опыта о романтической поэзіи*, который скоро вполнѣ будетъ изданъ. Помянутый отрывокъ переведенъ съ латинскаго: тотъ же ли это самый *Опытъ*, о коемъ объявилъ и *Вѣстникъ Европы*?—неизвѣстно. По слогу трудно узнать тождество въ авторѣ обоихъ отрывковъ. Въ *Атенеѣ* видно гораздо болѣе умѣренности, порядка, болѣе хладнокровія, трезвости въ мнѣніяхъ и выраженіи. Если однакоже согласиться, что авторъ одинъ, то должно полагать, что въ день авторской лихорадки пишетъ онъ для *Вѣстника Европы*, а въ день перемежки для *Атенея*. Замѣтимъ и то, что въ первомъ журналѣ дѣло идетъ о романтизмѣ современномъ, въ другомъ—о романтизмѣ среднихъ вѣковъ. Нѣкоторые изъ нынѣшнихъ романтиковъ пишутъ эпиграммы классическія; это непростительно: если Прованскіе трубадуры и писали эпиграммы, то не на насъ, и, слѣдовательно, горячиться намъ нечего. Какъ бы то ни было, ожидаемъ съ любопытствомъ появленія полнаго *Опыта*, или полныхъ опытовъ, если ихъ два. Но судя по симъ отрывкамъ и вообще по мнѣніямъ, которыя у насъ въ обращеніи по предмету романтизма, надѣяться новыхъ понятій, точнѣйшаго распредѣленія двухъ родовъ, кажется, еще не время. Въ изысканіи началъ классической и романтической поэзіи, въ началѣ двоякой природы нашей: *вещественной* и *духовной*, *внѣшней* и *внутренней* и такъ далѣе, видно болѣе мистицизма, чѣмъ лучезарной критики. Неужли трагическое твореніе *Эдипа* менѣе религіозно, менѣе отвлеченно въ общемъ понятіи и въ примѣненіи къ вѣку своему, чѣмъ созданіе *Іоанны д'Аркъ*?

И взирающему съ сей точки зрѣнія почему Софоклъ долженъ показаться классикомъ, а Шекспиръ романтикомъ?

Юрію Милославскому и здѣсь не совсѣмъ посчастливилось. По пословицѣ: ему мягко стелятъ, а жестко спать. Послѣ начальныхъ дружескихъ привѣтствій, заключающихся въ подобныхъ выраженіяхъ: „Замысловатый планъ, занимательность дѣйствія, живость красокъ, вѣрная обрисовка характеровъ, много поэтическихъ оттѣнковъ, прекрасный слогъ“ и проч. и проч., вотъ что находимъ въ концѣ: „Въ *Юріи Милославскомъ* весь ходъ происшествій, не смотря на множество частностей, повидимому дѣлающихъ его чрезвычайно разнообразнымъ, очень простъ, односторонень, не богатъ поэзіей, ибо всѣ случаи, которые, такъ сказать, испестряютъ главное событіе, не развиваются изъ одной главной мысли, изъ одной точки, но есть что-то накладное, постороннее: по этому мало жизни въ романѣ, вполнѣ поэтической жизни“. „Съ перваго взгляда бросается также и то, что весь романъ состоитъ почти изъ однихъ разговоровъ, изъ безпрестанныхъ отдѣльныхъ сценъ, и между тѣмъ—какъ мы сказали уже—довольно маловажныхъ, тогда какъ проходятъ долгіе промежутки времени, которые могли бы быть, и даже должны были быть гораздо важнѣйшими происшествіями: по этому, читая *Юрія Милославскаго* г-на Загоскина, воображаешь себя иногда на мѣстѣ человѣка, пришедшаго въ переднюю въ домъ вельможи: множество лицъ мелькаютъ мимо васъ, но вы узнаете объ нихъ только по замѣчаніямъ слугъ“.

XLV.

О ЛАМАРТИНѢ И СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗІИ.

1830.

Ламартинъ изъ новѣйшихъ поэтовъ Французскихъ болѣе другихъ знакомъ читателямъ нашимъ; послѣ него Казиміръ-де-ла-Винь и частью Беранже. Но имена Виктора Гюго, Септъ-Бёва (Sainte-Beuve), издавшаго первый томъ своихъ стихотвореній подъ псевдонимомъ Жозефа-де-Лорма, а другой недавно подъ названіемъ *Утѣшеній* (Les Consolations), Альфреда-де-Виньи, переводчика *Венеціанскаго Мавра* и слѣдовавшаго въ своемъ переводѣ Шекспиру столько, сколько Французская совѣсть, хотя ультра-романтическая, слѣдовать позволила; имена нѣсколькихъ поэтовъ-женщинъ: Дельфины Ге, Дебордъ-де-Вальморъ и еще нѣкоторыя другія имена, блестящія въ нынѣшнемъ созвѣздіи Французской поэзіи, едва знакомы намъ и по одному слуху. Это жаль. Поэзія Французская и вообще литтература находится нынѣ въ любопытномъ кризисѣ, который по крайней мѣрѣ изучать полезно. Наша литтература какъ-то совершенно отдѣлилась отъ Европейской. Запретительный тарифъ, Богъ знаетъ отъ какой власти изданный, пресѣкъ сообщенія наши съ чужими державами, то-есть по части торговли привозной, а вывозная наша процвѣтаетъ, сколько можетъ, и на литтературныхъ европейскихъ рынкахъ романы наши развѣ чѣмъ немногимъ пониже въ цѣнѣ романовъ Китайскихъ и Гренландскихъ. Это освобожденіе отъ вліянія чужестранцевъ хорошо, если развиваетъ соб-

ственную промышленность. Если же нѣтъ, то независимость наша не есть пріобрѣтеніе, а уронъ. Между тѣмъ, отказавшись отъ чужихъ произведеній, мы своихъ не изобрѣтаемъ, не заводимъ Русской выдѣлки, а все (разумѣется, за нѣкоторыми исключеніями) работаемъ на манеръ такого-то Англійскаго или Нѣмецкаго мастера. Въ этомъ есть даже какое-то трогательное смиреніе, подобное тому, съ которымъ наши Русскіе мастеровые придаютъ иностранные ярлыки домашней своей работѣ, никакъ не надѣясь на одно имя свое. Гдѣ-то, кажется на Арбатѣ, была слѣдующая вывѣска: „Гремиславъ, портной изъ Парижа". Въ портняжномъ литературномъ ремеслѣ встрѣчаются также свои Гремиславы. Прежде переводили у насъ и Делилей, и Флоріановъ, и Лагарповъ, не говорю уже о первостатейныхъ поэтахъ, по крайней мѣрѣ переводы эти разнообразили движенія нашего поэтическаго языка. Теперь сохрани Боже быть переводчикомъ Французскаго поэта; но переводить Нѣмецкихъ, Англійскихъ поэтовъ съ Французскаго перевода можно, а еще лучше писать въ духѣ такого-то поэта, не понимая духа его и зная только по слуху и то потому, что земля слухомъ полнится. Странныя и жалкія противорѣчія, заставляющія литературу нашу двигаться взадъ и впередъ, не трогаясь почти съ мѣста.

Обратимся къ Ламартину. Онъ у насъ въ особенности поэтъ женскаго пола. Если можно примѣнять поэта къ романисту, то онъ въ глазахъ читательницъ возвышается именно достоинствомъ, коего недостатокъ столь вредитъ Вальтеръ Скотту передъ судомъ женскаго трибунала. Любовь есть струна, которая болѣе другихъ звучитъ подъ рукою Ламартина, и любовь точно такая, какую женщины любятъ, по крайней мѣрѣ въ стихахъ. Въ романахъ Шотландца любовь, напротивъ, часто посторонняя принадлежность, и гдѣ она и высказывается, то слишкомъ просто, не логогрифомъ сердца, а ясною истиною его и прекрасною своею истиною. Спросите у поклонниковъ Французскаго поэта, что имъ нравится въ его стихотвореніяхъ?—А меланхолическія аксіомы, подобно слѣдующей, отвѣчаютъ они:

Un seul être me manque, et tout est dépeuplé.

Такимъ заявленіемъ надѣятся они запечатлѣть тотчасъ молча-

ніемъ уста дерзнувшаго спрашивать о томъ, что уже не подлежитъ ни вопросу, ни сомнѣнію.

Вотъ отъ чего первая часть поэтическихъ думъ Ламартина вообще нравится болѣе, чѣмъ вторая, въ которой, да простятъ намъ чувствительныя души наше святотатство, болѣе силы, болѣе дарованія, чѣмъ въ первой. Въ подтвержденіе мнѣнія нашего укажемъ на стихотворенія: *Бонапарте*, *Умирающій поэтъ*. Не смотря на сужденіе наше, спѣшимъ сказать, что Ламартинъ истинный поэтъ; жаль, что по системѣ, принятой имъ, онъ выливаетъ мысли и чувства свои въ одну форму и смотритъ на міръ съ одной точки зрѣнія. Объятый умиленіемъ любви или религіи, онъ всегда одинаково любитъ и молится. Въ лирѣ его будто одна струна, одинъ строй, между тѣмъ не видать, чтобы въ душѣ была одна страсть, одно чувство, а развѣ одна привычка. Чѣмъ же изъяснить общій успѣхъ, который привѣтствовалъ поэта при самомъ появленіи его? Онъ явился въ пору: вдохновеніе, сіе призваніе свыше, или догадка, сіе вдохновеніе ума, взвели его разомъ на успѣхъ немпнуемый. Явись онъ во Франціи десятью годами ранѣе, или десятью позже, и онъ былъ бы въ первомъ случаѣ слишкомъ страненъ, въ другомъ — недовольно оригиналенъ. Успѣхъ его изъясняется первыми успѣхами Шатобріана, не сравнивая дарованій того и другаго. Одинъ въ прозѣ, другой въ стихахъ, пробудили въ душѣ чувства, которыя рѣдко вызываемы были со дна ея Французскими прозаиками и поэтами. Въ эпохи, слѣдующія за грозами народными, въ эпохи усталости близкой къ охлажденію, безпечности близкой къ дремотѣ нравственной, тотъ и другой нашли способъ сладостно и задумчиво возбуждать тихія движенія сердца, вызывать его изъ среды существенности, все испытавшей, все поглотившей, въ сферу ощущеній спокойныхъ и созерцательныхъ, отдѣлить его отъ земли, на которой ничего уже новаго ему не предстояло, и обратить его къ новымъ упованіямъ, къ новымъ потребностямъ. Шатобріанъ явился послѣ революціи; Ламартинъ послѣ воспнаго и анти-поэтическаго владычества Наполеона, сжавшаго Францію и потрясшаго ее послѣ паденіемъ колосса своего. Ибо не должно забывать, что Наполеонъ сталъ предметомъ поэтиче-

кимъ только послѣ низверженія. На скалѣ своей онъ посвященъ былъ несчастіемъ, и поэзія присвоила себѣ сего Промея, уже не баснословнаго, но историческаго и современнаго. Въ обѣихъ эпохахъ, упомянутыхъ выше, душамъ нуженъ былъ тдыхъ; но душа отдыхаетъ не въ бездѣйствіи, не въ онѣмѣніи, акъ бренное тѣло, а въ тихихъ наслажденіяхъ размышленія, ъ созерцаніи прошедшаго, уже перегорѣвшаго, но еще не остывшаго, въ упованіи, въ безкорыстныхъ разсчетахъ на будущее. Іюди, утомленные бурями и битвами земли, обращаютъ взоры ъ небу. Шатобріанъ былъ благовѣстникомъ религіи; Ламартинъ—любви, полной мистицизма, любви религіозной, равно чужой волокитства и утонченной порочности регенства во Франціи, , такъ сказать, чистой, непорочной чувственности древняго лассицизма, возобновленной и одѣтой блестящими и свѣжими юрмами въ опытахъ Андрея Шенье. Для дополненія примѣнеій нашихъ, замѣтимъ, что краснорѣчіе Шатобріана гораздо азнообразнѣе поэзіи Ламартина. Не говоря уже о романахъ ли прозаическихъ поэмахъ, о путевыхъ запискахъ его, вспомнимъ, что краснорѣчіе его овладѣло сценою политическихъ преній; что онъ изъ области вымысловъ или возвышенныхъ созерцаній перенесъ въ памфлеты свои весь жаръ, все чародѣйство, се могущество увлекательнаго слова. Не знаю, могли ли сіи ачества образовать въ Шатобріанѣ государственнаго мужа; но, езъ сомнѣнія, упрочили они за нимъ славу краснорѣчивѣйшаго олитическаго писателя. Читая его, нельзя не симпатизировать, е сочувствовать ему, часто украдкою отъ строгаго ума своего, асто на зло своимъ мнѣніямъ. Возстановленная династія могла раздновать памфлетъ: *Бонапарте и Бурбоны*, какъ блестящую юбѣду, одержанную и обратившую многихъ въ пользу ея.

Ламартинъ не хотѣлъ, или не умѣлъ разнообразить выраженія дарованія своего. Онъ нѣсколько похожъ на проповѣдника, который разъ въ году, на извѣстный случай, читалъ бы роповѣдь свою всегда на одинъ текстъ. При всемъ дарованіи, при всей возможной полнотѣ и звучности рѣчи, при всемъ глубокомъ, искреннемъ чувствѣ, при всемъ изобиліи красокъ, отсвѣчивающихъ однѣ и тѣже формы, онъ неминуемо долженъ былъ

бы слѣдовать всегда одному направленію, и могъ бы только разнообразить комментаріи свои на предположенную себѣ тему. Ламартинъ другой Юнгъ. Въ немъ нѣтъ воображенія и творчества. Все воображеніе и творчество его заключаются въ слогѣ, въ искусствѣ соображенія словъ, красокъ и звуковъ. Попытки его въ твореніяхъ важнѣйшихъ: *Послѣдняя пѣснь Чайльдъ-Гарольда*, *Смерть Сократа* оказываютъ совершенный недостатокъ въ немъ драматической силы, безъ коей нѣтъ живаго созданія. Въ монологахъ нѣтъ еще драмы; а у него вездѣ монологъ одной мысли, одного чувства. Самъ поэтъ долженъ быть средоточіемъ дѣйствія великой драмы и, такъ сказать, утаивать, прятать присутствіе свое въ ней. Мы судимъ строго Ламартина какъ поэта, принадлежащаго поэзіи общей, а не Французской въ особенности. Изъятый изъ общаго круга, онъ возвышается въ очеркѣ поэтовъ Французскихъ, во-первыхъ, старшинствомъ, если не первобытнымъ, то, по крайней мѣрѣ, старшинствомъ въ новомъ поколѣніи. Изъ современниковъ онъ первый покорился владычеству новой музы, такъ сказать музы внутренней, первый сталъ искать вдохновеній болѣе въ глубинѣ души, нежели въ зрѣлищѣ внѣшняго міра, такъ сказать, болѣе взводить зеркало души своей на окружающій ее міръ, нежели повторять въ немъ впечатлѣнія внѣшнія. За исключеніемъ Андрея Шенье, который былъ классикъ не Французскій, но классикъ Греческій, совершенно пластическій, не довольствующійся однимъ подражаніемъ списковъ, но созидающій формы новыя по образцамъ древнимъ, едва ли имѣли Французы поэта, коего поэзія была бы цѣлью исключительною себѣ самой, а не средствомъ прикладнымъ. Конечно, въ нѣкоторыхъ твореніяхъ лирика Лебрёна, Жильбера, Мильвуа, коего имя, кажется, слишкомъ забыто во Франціи, Парни, и можетъ быть Бертена, пробиваются струи чистаго родника поэзіи, и вообще можно сказать, что какъ есть химія, приложенная къ искусствамъ, такъ у Французовъ было искусство поэтическое (l'art poétique), приложенное къ Греческой миѳологіи, къ Римской исторіи, къ царедворству, къ терпимости, къ политикѣ, къ остроумію, къ общежитію, къ волокитству, къ либерализму и всѣмъ наукамъ и даже къ химіи. Для полноты

сравненія, скажемъ: поэзій было много, но поэзіи мало. Ламартинъ, по крайней мѣрѣ, освободилъ ее отъ необходимаго товарищества и вывелъ съ Парижской мостовой, къ которой она была приписана по городскому праву. Не разъ уже замѣчено было, что Америка, Африка, Азія, куда Вольтеръ переносилъ свои драматическія созданія, что рощи, скалы, водопады, пустыни, природа, воспѣтые Сенъ-Ламберомъ и Делилемъ, не выдавались изъ ограды Парижскихъ заставъ.

XLVI.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ПИСЬМА КЪ А. И. ГОТОВЦОВОЙ.

1830.

Жалѣю, что давно не знаю ничего о вашихъ стихотворныхъ занятіяхъ. Надѣюсь, что вы не измѣнили имъ. Смѣю даже совѣтовать вамъ упражняться постоянно и прилежно: пишите болѣе и передавайте стихамъ своимъ какъ можно вѣрнѣе и полнѣе впечатлѣнія, чувства и мысли свои. Пишите о томъ, что у васъ въ глазахъ, на умѣ и на сердцѣ. Не пишите стиховъ на общія задачи. Это дѣло поэтовъ-ремесленниковъ. Пускай написанное вами будетъ разрѣшеніемъ собственныхъ, сокровенныхъ задачъ. Тогда стихи ваши будутъ имѣть жизнь, образъ, теплоту, свѣжесть. Въ женскихъ исповѣдяхъ есть особенная прелесть. Свой взглядъ, свое выраженіе придаютъ печать оригинальности и новости предметамъ самымъ обыкновеннымъ. Можетъ быть, лучшіе стихи у всѣхъ первѣйшихъ поэтовъ именно тѣ, которыми выражены чувства простыя, общія по существу своему, но личныя по впечатлѣніямъ, дѣйствовавшимъ на поэта, и положенію, въ которомъ онъ находился на ту пору. Вотъ тайна истины и истинной поэзіи. Депрео преподаетъ великое правило:

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.

Проповѣдникъ классицизма едва ли въ этомъ случаѣ не былъ пророкомъ романтизма. Разумѣется, тутъ дѣло не о положительныхъ истинахъ, не о существенности, но объ истинѣ чувства. Тутъ истина синонимъ вѣрности. Почему такъ мало истинно-хо-

рошихъ стиховъ пишется въ наше время, хотя число хорошихъ стихотворцовъ нарочно умножилось? Потому, что многіе поютъ фальшиво, не своимъ голосомъ, а поддѣлываясь подъ чужіе голоса. Молодежь, полная надеждъ и часто суетности, поетъ о разочарованіи, объ усталости жизни, когда вовсе не было отъ чего устать. Въ большей части нашихъ поэтовъ современныхъ мы не видимъ лицъ, а видимъ маску, которую они отлили себѣ, соображаясь съ духомъ времени и корча господствующее лицо. Ради Бога не надѣвайте маски.

Не увлекайтеся заразой повсемѣстной,
Вы сердца слушайтесь, не моды, не молвы:
И чтобъ навѣрно быть прелестной,
Вы будьте истинны, вы будьте просто вы.

Позвольте еще вамъ посовѣтовать: не пренебрегайте также вѣрностью рѳмы. Уважайте истину поэзіи, но соблюдайте свято истину и стихотворства. Языкъ стихотворный — языкъ условный; нарушая одно изъ условій, разстраиваете вы согласіе цѣлаго. Чѣмъ рѳма кажется маловажнѣе, тѣмъ рачительнѣе должно стараться о ней. Въ бездѣлицахъ, гдѣ все достоинство въ чистотѣ и красивости отдѣлки, недостатокъ отдѣлки еще разительнѣе и непріятнѣе. Если не быть педантомъ въ рѳмахъ, то уже лучше писать вовсе безъ рѳмъ; но не совѣтую вамъ прибѣгать къ этому лучшему. Тутъ кстати вспомнить Французскую поговорку: le mieux est l'ennemi du bien. Конечно, признаю нѣкоторыя исключенія; но вообще по этому отношенію принадлежу въ стихахъ старой школѣ, а не древней и не новѣйшей. Виноватъ; люблю эту звучную игрушку средняго вѣка, и читая хорошіе стихи безъ рѳмъ, мнѣ всегда приходитъ въ голову мысль: жаль, что эти стихи не стихами писаны. Не буду совѣтовать вамъ переводить стихи стихами, но для упражненія въ языкѣ переводите прозу. Эта работа развяжетъ вамъ руку, развяжетъ выраженія ваши, обогатитъ васъ средствами и формами. Языкъ Русскій упрямъ: безъ постояннаго труда не переупрямить его. Не всегда можно быть расположеннымъ писать стихи; а между тѣмъ необходимо писать каждый день, то-есть работать надъ языкомъ. Языкъ — инструментъ; едва ли не труднѣе онъ самой

скрипки. Можно бы еще замѣтить, что посредственность какъ на одномъ, такъ и на другомъ инструментѣ нетерпима; но боюсь огорчить и себя и многихъ товарищей, словесныхъ скрипачей. Переводы стихотворческіе пріучаютъ обыкновенно къ принужденнымъ оборотамъ; даютъ привычку выражать себя безъ точности, не рѣшительно, а довольствоваться выраженіями, близкими къ настоящимъ, такъ сказать, ходить не прямо къ цѣли ближайшею дорогою, а бродить около, сбивчиво и не твердо. Мудрено быть развязнымъ въ двойныхъ оковахъ: оковахъ мысли и выраженія. Объ иномъ переводчикѣ, какъ объ искусномъ акробатѣ, можно сказать, что онъ мастерски ломается. Изъ вольныхъ переводчиковъ образуются обыкновенно невольные поэты. Мало у насъ исключеній въ этомъ случаѣ: кажется, кромѣ Дмитріева и Жуковскаго, и назвать некого. Первый въ басняхъ своихъ, а второй въ переводахъ изъ Нѣмецкихъ поэтовъ, хотя и идутъ по слѣдамъ проложеннымъ, или по струнѣ протянутой, но шагъ ихъ такъ твердъ, движенія такъ свободны, что, глядя на нихъ, забываешь и думаешь, что они гуляютъ по своей дорогѣ.

Въ выборѣ для переводовъ прозаическихъ должно, разумѣется, держаться лучшихъ образцовъ, авторовъ, отличающихся ясностію мыслей и выраженій, слогомъ правильнымъ и красивымъ. Нужно также разнообразить переводы свои, испытывая себя въ разныхъ родахъ. Избранныя мѣста Французскихъ писателей въ книгахъ Поэля, Левизака, или въ повѣйшемъ собраніи *Музея Литтературнаго*, кажутся мнѣ лучшими учебными руководствами для подобныхъ упражненій. Хорошо еще, особливо же, когда не съ кѣмъ совѣтоваться въ письменныхъ занятіяхъ своихъ, переводить отрывки уже переведенные лучшими нашими прозаиками, т.-е. Карамзинымъ и Жуковскимъ, и потомъ сличать критически свои опыты съ дѣломъ мастера. Въ *Пантеонѣ иностранныхъ писателей*, изданномъ Карамзинымъ, найдете вы прекрасные уроки для этихъ испытаній. Впрочемъ, чтобы хорошо овладѣть языкомъ, не довольно писать на немъ много, нужно еще много читать и перечитывать писателей отечественныхъ, и не однихъ образцовыхъ и современныхъ.

Кантемиръ, Сумароковъ, Княжнинъ, Петровъ и другіе, не говорю уже о Ломоносовѣ, родоначальникѣ нашемъ, который самъ за себя говоритъ, не будутъ служить вамъ примѣромъ для слога, правильности и красивости оборотовъ; но показывая Русскій языкъ въ своихъ постепенныхъ измѣненіяхъ, они обогатятъ ваши свѣдѣнія въ немъ и составятъ вамъ понятіе о немъ обдуманное, многостороннее, а не поверхностное, такъ сказать махинальное, на обумъ. Къ тому же, есть мода на слова, какъ и на все житейское: употребленіе, прихоть, спѣсь, какое-то школьное цѣломудріе, а чаще всего простодушное невѣдѣніе изгнали изъ нашего языка многія слова, которыя хранятся въ старинныхъ авторахъ и могли бы съ пользою быть водворены въ прежнія права свои. По многимъ изъ нашихъ новѣйшихъ писателей замѣтно глубокое и всеобъемлющее незнаніе того, что сдѣлано предшественниками нашими. Какъ иные поютъ, такъ они пишутъ со слуха. Имъ Русская литтература знакома только съ той эпохи, въ которую они застали ее. Было уже сказано, что и Карамзинъ писатель старинный и вѣкъ свой отжившій: если вѣрить нѣкоторымъ слухамъ, то проза наша, мимо его, ушла далеко впередъ. Ушла она, это быть можетъ, только не впередъ и не назадъ, а вкось. Набѣги нашихъ литтературныхъ наѣздниковъ не подвинутъ прозы нашей; но за то, благодаря Бога, примѣръ ихъ недовольно увлекателенъ, чтобы дать ей общее обратное движеніе. Проза, являющаяся въ новѣйшихъ журналахъ, почти единственныхъ хранилищахъ новѣйшей прозы, или совершенно безцвѣтна и безжизненна, или рдѣетъ какою-то насильственною пестротою и движется судорожными припадками. Впрочемъ, есть предметы, о коихъ совѣстно говорить при прекрасномъ полѣ, и винюсь передъ вами, что заговорилъ о нашихъ журналахъ, которые въ изступленіи своемъ, кажется, забыли, что есть у нихъ и читательницы. Кто-то сказалъ, что съ нѣкотораго времени журналы наши такъ грязны, что ихъ не иначе можно брать въ руки, какъ въ перчаткахъ.

Еще есть вспомогательное средство для изученія языка Русскаго: частое чтеніе *Академическаго Словаря*. Этотъ способъ былъ мнѣ присовѣтованъ Карамзинымъ и, слѣдовательно, заслу-

живаетъ довѣренность вашу. Сей словарь далекъ отъ совершенства; но все, за неимѣніемъ другаго, должно прибѣгать къ нему, какъ къ единому хранилищу матеріальныхъ богатствъ языка нашего.

P. S. О журналахъ нашихъ говорилъ я, разумѣется, не безъ исключеній. Во первыхъ, упомяну объ *Аѳенеѣ*. Проведя большую часть нынѣшняго года въ отдаленной деревнѣ и въ разъѣздахъ по степямъ Заволжскимъ, я не могъ безпрерывно слѣдовать за всѣми журналами нашими, но, судя по книгамъ *Аѳенея*, мнѣ попадавшимся, нахожу, что сей журналъ соблюдаетъ въ рецензіяхъ своихъ должное приличіе. Не раздѣляю съ нимъ литтературныхъ мнѣній его; не одобряю направленія, замѣченнаго мною въ нѣкоторыхъ критикахъ его; но, по крайней мѣрѣ, признаю охотно, что можно читать ихъ, не краснѣя за писателей, не забывающихъ достоинства званія своего, что можно, если вздумается, отвѣчать на нихъ, не нарушая должнаго уваженія къ себѣ. Духъ критики (если можно это назвать духомъ и критикою) нѣкоторыхъ журналовъ, на которые указывать не для чего, потому что бѣдственная извѣстность ихъ слишкомъ уже у всѣхъ оглашена, исторгнулся изъ границъ не только литтературнаго и общежительнаго, но и нравственнаго приличія. Судить ихъ нечего: довольно и того, что остаются за ними, по силѣ печати, въ вѣчное и потомственное владѣніе, нареканія, коими они перекидывались между собою въ частыхъ своихъ схваткахъ. Не скажешь ничего сильнѣе и оскорбительнѣе того, что они другъ другу говорятъ. Тутъ только слушай и любуйся, а прибавлять нечего. Въ политическихъ сношеніяхъ журнальныхъ кабинетовъ видимъ мы нерѣдко, послѣ продолжительныхъ брапей, союзы насильственные, худо и на скорую руку, по обстоятельствамъ, слѣпленные; но въ слѣдъ за этими мировыми сдѣлками не можетъ быть уваженія ни между примирившимися, ни со стороны, потому что оружія, употребленныя воевавшими, были недостойны образованныхъ и честныхъ противниковъ. О литтературномъ состояніи нашей республики письменъ говорить почти нечего; но можно и должно бы написать обозрѣніе нравственнаго состоянія литтературы нашей. Литтературу

называютъ выраженіемъ общества: слѣдуетъ вступиться за общество, изобличая лживость выраженія поддѣльнаго и оскорбительнаго для чести ея. Литтература наша, то-есть журпальная, то воинственная, то рыночная, не есть выраженіе общества, а развѣ нѣкоторыхъ темныхъ закоулковъ его. Но я опять заплутался въ этихъ закоулкахъ и забылъ, что служу вамъ проводникомъ: извините меня, впередъ не буду.

XLVII.

ИСТОРІЯ РУССКАГО НАРОДА. КРИТИКИ НА НЕЕ ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ И ДРУГИХЪ ЖУРНАЛОВЪ. ОДИНЪ ТОМЪ НА ЛИЦО, ОДИННАДЦАТЬ БУДУЩИХЪ ТОМОВЪ ВЪ ВОЛѢ БОЖІЕЙ.

1830.

Не однѣ хорошія книги пользуются преимуществомъ обращать на себя вниманіе просвѣщенныхъ читателей. Худыя книги раздѣляютъ иногда съ первыми сіе право. Худой романъ, худая поэма, пелѣпая трагедія могутъ явиться и пропасть безъ замѣчанія; между тѣмъ сочиненія философическія, историческія, учебныя, хотя даже и ниже посредственности, должны возбуждать изслѣдованія критики. Сія обязанность тѣмъ важнѣе тамъ, гдѣ литтература еще бѣдна количествомъ подобныхъ сочиненій. Тамъ, за неимѣніемъ хорошихъ книгъ, и дурныя замѣщаютъ порожнія мѣста; а не только людей, но многіе судятъ и о книгахъ по мѣсту, ими занимаемому. У другихъ еще и то соображеніе: если человѣкъ, если книга, объявляютъ притязаніе на право сбить съ мѣста уже признанную заслугу, то частью по простотѣ, частью по малодушному удовольствію видѣть, что и заслуга не ограждается общественнымъ мнѣніемъ отъ оскорбленій, они готовы быть за одно съ наглостью и тщеславіемъ. Смѣлость и хищническое удальство часто нравятся и увлекаютъ ее. Есть лже-димитріи и въ литтературѣ, и они беззаконно облекаются на время доспѣхами и багряницею законной власти. *Исторія Русскаго народа* служитъ тому новымъ доказательствомъ.

Но какъ ни худо это сочиненіе, оно принадлежитъ именно къ разряду тѣхъ, которыя критика не должна пропустить забвеніемъ. Исторія Россіи, писанная издателемъ журнала, который, не смотря на многіе недостатки и еще бо́льшія погрѣшности, пользуется по справедливости преимуществомъ быть лучшимъ журналомъ нашимъ, то есть полнѣйшимъ и разнообразнѣйшимъ, должна была при появленіи своемъ имѣть много подписчиковъ, по крайней мѣрѣ всѣхъ подписчиковъ *Телеграфа*, если только не исключить тѣхъ, кои подписываются на него какъ на журналъ модъ. Такъ оно и было! Она была встрѣчена съ шумомъ, съ шумомъ, можетъ быть, и падетъ, или пала. Но иные люди вѣрятъ мертвецамъ: противъ суевѣрія ихъ должно дѣйствовать повторенными опытами. Московскіе журналы были наполнены критиками на *Исторію Русскаго народа*, но эти критики не могли достигнуть надлежащей цѣли, а именно: изобличенія погрѣшностей въ планѣ и въ исполненіи. Критики были слишкомъ сердиты и крикливы, а въ крикахъ и не разслушаешь истины; она требуетъ болѣе умѣренности, разстановки и твердости въ рѣчи. Сердитый человѣкъ заглушить можетъ, а не убѣдить. Критика должна имѣть стройное, хладнокровное движеніе регулярнаго войска Европейскаго: отъ подобнаго нападенія спастись трудно; но запальчивость, дикіе вопли, необузданное стремленіе Азіятскихъ ордъ не опасны. Иныя изъ сихъ критикъ были написаны какъ будто на смѣхъ, но не надъ авторомъ. Напримѣръ: „Теорія предчувствій составляетъ доселѣ камень претыканія для испытателей человѣческой природы. Одни утверждаютъ, что сіи тайныя вторженія въ туманную область будущности, которыя мы называемъ предчувствіями, суть ничто иное, какъ преждевременныя попытки самой души—стряхнуть съ себя чуждыя вериги пространства и времени“ и проч. Таково начало критики, напечатанной въ классическомъ журналѣ *Вѣстникъ Европы*. Послѣ того, какъ ни будь дѣльны замѣчанія, въ ней заключающіяся, но какая истина не изнеможетъ, опутанная заблужденіями подобнаго слога? Для кого писать такимъ языкомъ? Для ученыхъ? онъ покажется верхъ невѣжества. Для невѣждъ? недоступный верхъ учености. Одинъ критикуемый ав-

торъ найдетъ свою пользу въ нестройномъ и какомъ-то болѣзненномъ изложеніи мыслей, отбивающемъ читателей. Съ другой стороны, въ критикахъ на *Исторію Русскаго народа*, напечатанныхъ въ *Вѣстникѣ Европы* и другихъ журналахъ, есть еще общая неумѣстность: поздніе, почтительные обращенія къ трудамъ и памяти Карамзина, и удары во имя его, наносимые новому историку. Нѣтъ сомнѣнія, что оскорбительныя сужденія объ *Исторіи Государства Россійскаго*, раздававшіяся въ печати нашей съ цѣлью поколебать, а если можно и ниспровергнуть уваженіе народа къ заслугамъ Карамзина, приготовили нынѣшнія сатурналіи литтературы нашей, разразившейся явленіемъ *Исторіи Рускаго народа*. Въ этомъ отношеніи новый историкъ поступилъ неблагодарно: слѣдовало ему посвятить твореніе свое не Нибуру, а Каченовскому и Арцыбашеву. Въ мірѣ политическомъ анархія ведетъ къ деспотизму смѣлаго хищника: въ литтературномъ мірѣ ниспроверженіе законовъ ума и вкуса, возмущенія анархическаго своевольства противъ нравственныхъ и умственныхъ властей бываютъ также веденіемъ къ лже-царствію невѣжества.

Поговоривъ о худыхъ критикахъ, намъ весьма пріятно обратить вниманіе читателей на критику весьма хорошую, писанную г-мъ Руссовымъ, уже извѣстнымъ своими историческими изысканіями и потому болѣе другаго способнымъ судить *Исторію Русскаго народа*. Критика сія сперва была по частямъ печатана въ книжкахъ *Славянина*, а нынѣ напечатана особенно. Въ сихъ замѣчаніяхъ, писанныхъ съ должнымъ хладнокровіемъ, но часто и съ веселымъ остроуміемъ, собраны и выведены на свѣжую воду, съ уликами и доказательствами, многія изъ погрѣшностей, недосмотровъ, противорѣчій, не только съ истиною, но и съ самимъ собою, и часто невѣроятныхъ, коими авторъ щедро услужилъ критику своему. Авторъ съ такою необдуманностью составилъ первый томъ сочиненія своего, что не держался въ немъ ни порядка, ни единства въ хронологическомъ отношеніи. Оспаривая, напримѣръ, Карамзина, онъ иногда съ нимъ соглашается въ томъ же самомъ мѣстѣ и списываетъ его, забывъ, что онъ отвергаетъ его свидѣтельство. Измѣненія его по части хроно-

логіи объясняются у критика забавнымъ сравненіемъ: „это значитъ тоже, что сшивъ платье безъ пуговицъ, связку ихъ положить въ карманъ, дабы брать ихъ тогда и столько, сколько нужно будетъ застегнуться, смотря по погодѣ". Въ числѣ противорѣчій междоусобныхъ, коимъ новая *исторія* служитъ обширнымъ поприщемъ, можно выставить еще одно, позабытое другими критиками. Авторъ въ предисловіи своемъ укоряетъ Карамзина за излишнюю поспѣшность въ его трудѣ и довольно забавно спрашиваетъ: „когда же думалъ историкъ"? На это можно было бы ему отвѣтить: всегда; ибо рѣшительно вся жизнь Карамзина была или приготовленіемъ къ труду, или исполненіемъ труда, или порою созрѣванія, или порою зрѣлости и жатвы. Но дѣло не въ томъ: любопытно только послѣ сей укоризны видѣть сколько авторъ самъ посвятилъ времени на составленіе 12-ти томовъ исторіи, не только уже готовыхъ въ кабинетѣ автора, но даже сдѣлавшихся уже и собственностію публики, ибо подписка на нихъ открыта и сумма за всѣ 12-ть томовъ заплачена подписчиками. „Съ 1825 года я началъ уже систематическое сочиненіе о Русской исторіи". Въ 1829 году появился первый томъ и 11-ть томовъ должны быть готовы къ напечатанію: слѣдовательно, въ четыре года совершенъ трудъ, на который Карамзинъ, со всею поспѣшностію своею, употребилъ болѣе двадцати лѣтъ. Нельзя же полагать, что трудъ новаго историка еще не совершенъ, что одиннадцать обѣщанныхъ томовъ пока таятся еще въ головѣ автора, тогда, когда они уже проданы не книгопродавцу, который можетъ пуститься на удачу предпріятія и, такъ сказать, на волю Божію, но частнымъ подписчикамъ, которые подписываются на наличныя. Такое предположеніе было бы легкомысленно и оскорбительно для добросовѣстности автора. Дай Богъ автору и всѣмъ авторамъ здоровья и долголѣтія, но въ добрый часъ молвить, а въ худой промолчать: вѣдь жизнь ихъ не застрахована на такой-то срокъ. Во всѣхъ образованныхъ земляхъ, у всѣхъ честныхъ людей, открывается подписка и собираются съ подписчиковъ деньги, когда сочиненіе уже написано и готово къ печати. Сочиненіе можетъ быть допечатано послѣ жизни автора, если онъ умретъ въ это время; смерть

его оплакивается ближними и добрыми людьми, по крайней мѣрѣ не сбывается пословица: плакали денежки. А между тѣмъ втораго тома еще нѣтъ; друзья автора распускаютъ извѣстіе, что онъ сжегъ второй томъ, бывъ недоволенъ трудомъ своимъ. Это огненное очищеніе, этотъ Божій судъ среднихъ вѣковъ, приноситъ честь уничиженію авторскому, но тутъ слѣдуютъ два вопроса: отчего же не сожженъ и первый томъ, и причемъ останутся подписчики? при одномъ пеплѣ что-ли?

Пока *Исторія Русскаго народа* есть только исторія Русской снаровки сбывать свой товаръ налично, когда онъ еще и не на лицо.

XLVIII.

ВЕЛИЧКА.

(СОЛОНЧАКИ. ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАПИСОКЪ).

1830.

Мы выѣхали изъ Кракова въ 7 часовъ утра: до Велички часъ дороги по шоссе, то-есть одна миля. Начальникъ мѣста выдаетъ билетъ для осмотра. Съ этимъ билетомъ являешься къ соляному кратеру, сажаютъ тебя на тесемочныя сидѣлки и опускаютъ въ бездну. Это низпареніе продолжается около двухъ минутъ. Въ первомъ этажѣ нѣтъ работы. Во всѣхъ этажахъ около 1.200 работниковъ: двѣ трети изъ нихъ работаютъ днемъ, одна ночью. Работа простая, но довольно тяжелая: соль ломаютъ на подобіе камней. Плата дается работникамъ малая; за переломанные куски не платится. Собираютъ около милліона и болѣе центнеровъ [1]). Австрійцы продаютъ нынѣ центнеръ по 13 злотыхъ. Во время существованія герцогства Варшавскаго дѣлили барышъ пополамъ. Теперь можно сказать, что Польша потеряла хлѣбъ съ солью. Иныя громады отрываются порохомъ; другіе переходы заваливаются. Въ мѣстахъ, гдѣ грунтъ смѣшанъ, работъ не продолжаютъ: ломаютъ одну чистую соль. Есть ломки въ надеждѣ (Hoffnungsschlag); и въ этомъ подземномъ мірѣ надежды иногда обманчивы, какъ и на поверхностномъ. Уже 550 лѣтъ добываютъ тутъ соль. Преданіе разсказываетъ, что святая Кунигунда уронила кольцо въ колодезь: стали искать его,

[1]) Центнеръ или квинталъ содержитъ въ себѣ 100 фунтовъ вѣсу.

нашли или нѣтъ кольцо, неизвѣстно, но нашли соль. Какъ бы то ни было, но человѣческая рука расширила владѣніе свое и въ тайникахъ природы. Сначала отверстіе было малое, теперь въ немъ теряешься: около Французской мили пространства [1]). Ходили мы три часа по переходамъ и осмотрѣли всѣ главныя мѣста. Между прочими, тутъ есть зала, въ которой полъ вымощенъ изваяніемъ Суворова, сына Рымникскаго; здѣсь давалъ онъ подземный балъ земнымъ красавицамъ Кракова. Русское рыцарство, волокитство и Русская блестящая расточительность успѣютъ выказаться вездѣ: для нихъ нѣтъ непроницаемыхъ безднъ. Замѣчательны еще: памятникъ Австрійскому императору, церковь, алтарь, лики святыхъ, каѳедра, разумѣется все это изъ соли. Значительнѣйшія впечатлѣнія получаешь, какъ спускаешься и подымаешься и при видѣ озера. Въ этомъ подземельи обыкновенно не болѣе пяти градусовъ тепла; въ иныхъ переходахъ чувствуешь влажность отъ внѣшняго воздуха. Подымаясь изъ преисподней, ощущаешь въ воздухѣ теплоту жизни, дѣлаешься цвѣткомъ, который послѣ зимней ночи растворяется, пропитанный лучами лѣтняго солнца. Но ничто не сравнится съ чувствомъ, объемлющимъ посѣтителя, когда онъ слышитъ въ этой преисподней шумъ подземныхъ водъ, разсѣкаемыхъ паромомъ, на которомъ онъ плывётъ. Надъ озеромъ виситъ какъ огромная башня. По лѣстницѣ взбѣжалъ работникъ и кидалъ сверху зажженную бумагу. Я не знаю, чего тутъ не придетъ въ голову: и Стиксъ, и Харонъ, и зарево ада; но весь этотъ запасной магазинъ древняго баснословія бѣденъ предъ видимою истиною и природою. Любопытно знать, какъ отдѣлался бы въ этомъ соляномъ подземельи человѣкъ, вѣрующій примѣтѣ, что худо просыпать соль.

---

[1]) Т.-е. около четырехъ верстъ и одной пятой доли.

XLIX.

ѲЕДОРА, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ ИЛИ БЫЛЬ СЪ ПРИМѢСЬЮ.

Сочиненіе Павла Сумарокова, почетнаго члена императорскаго Виленскаго университета. Спб. 1830.

1830.

Современницы героини романа сего должны радоваться появленію онаго. Авторъ не побоялся пословицы, и съ перваго взгляда на книгу удостовѣряешься, что пословицы, сія такъ называемая „мудрость народовъ", не всегда же безошибочны: у насъ на глазахъ карманная *Ѳедора*. Что ни говорите, а есть смѣлость и благородство въ подобномъ подвигѣ. Часто участь и не книги зависитъ отъ поговорки, кстати или, лучше сказать, не кстати примѣненной. Сколько людей жертвы шуточнаго прозвища, даннаго въ дѣтствѣ товарищами или въ обществѣ шалуновъ: подите, послѣ говорите, что такой-то умный человѣкъ, хорошій гражданинъ, добродѣтельный помѣщикъ; все это остается въ сторонѣ, а при лицѣ его неизгладимо остается случайное эпиграмматическое прилагательное. Такимъ образомъ можно сказать объ этомъ романѣ, что онъ доброе дѣло, предоставляя другимъ сказать, что онъ и добрая книга. Для насъ, взирающихъ на нее съ точки зрѣнія болѣе возвышенной, нравственное, календарное достоинство ея гораздо важнѣе всякаго другаго достоинства. Но, можетъ быть, не всѣ захотятъ смотрѣть съ нами одинаково и многіе потребуютъ отъ насъ, чтобы мы спустились съ философической обсерваторіи своей и ремесленнымъ образомъ разобрали просто книгу, какъ книгу. По-

стараемся и этимъ близорукимъ требователямъ угодить нѣкоторыми матеріальными подробностями. По мнѣнію нашему, въ этомъ отношеніи не столько содержаніе и дѣйствіе романа, сколько разсказъ его привлекаетъ и оковываетъ вниманіе читателя, и потому не станемъ слѣдовать за *Ѳедорой*, которая, „съ шести, семи лѣтъ возраста въ домѣ цѣловальника Антона и жены его Лукерьи Новоселовыхъ смотрѣла за птицами, скотомъ, кормила ихъ, носила дрова, помогала топить печь, баню по субботамъ, подметала избу и выносила соръ“. Но пусть говоритъ сама *Ѳедора:* „Пойдетъ Лукерья къ коровамъ, я подаю ей подойники, отношу скрынки (не кринки ли?) съ молокомъ. Я не знала праздности; нѣтъ дѣла, плету кружева, вышиваю полотенца, нижу бисеремъ подзатыльники на продажу (хорошо еще, что ей самой не даютъ подзатыльниковъ), ввечеру вяжу шерстяные чулки, наблюдаю за лучиною въ свѣтцѣ“. Когда *Ѳедорѣ* исполнилось четырнадцать лѣтъ, въ жизни ея послѣдовала перемѣна: ее заставили пасти стадо Антопово. Въ этомъ занятіи однажды застала ее гроза. Пастухъ Лука, нашедъ Ѳедору измокшую и иззябнувшую, заманилъ ее въ пчельникъ, развелъ огонь. „Я согрѣлась, поблагодарила его“, говоритъ Ѳедора, „а онъ сталъ ласкаться ко мнѣ. Я оттолкнула его, не жалѣла ругательствъ; но онъ насильно обнялъ и поцѣловалъ меня. Не могу изъяснить, что во мнѣ тогда происходило; закричавъ во все горло, дала ему добрую пощечину и проч.“ Не смотря на такой ощутительный знакъ неодобренія, Ѳедора не вовсе однако жъ была равнодушна къ Лукѣ, и когда сей отчаянный любовникъ, изъ любви къ ней, добровольно пошелъ въ солдаты, тогда... Но оставимъ ее снова высказывать свое признаніе: „Вѣсть о томъ привела меня въ нѣкоторое окаменѣніе, холодъ пробѣжалъ по всему тѣлу, и послѣдовала во мнѣ великая перемѣна. На лицѣ показалась блѣдность, худоба, сижу за пяльцами въ молчаніи, отвѣчаю на вопросы только да, нѣтъ, и сколько разъ упавшая на полотно слеза вшивалась вмѣстѣ съ гарусомъ въ узоръ!“ — Слеза, вшитая въ узоръ, чего нибудь да стóитъ?

Пропустимъ картину Русскаго кабака, написанную въ Теньеровомъ вкусѣ (стр. 55—56), и скажемъ, что Ѳедора, вслѣд-

ствіе невольной ревности Лукерьиной, переселилась въ городъ къ протопопицѣ, скажемъ, что она училась тамъ Французскому языку, Рисованью, Ариѳметикѣ, Закону Божію, Россійскому слогу, Исторіи, Географіи, Физикѣ и Астрономіи. Подслушаемъ еще одно изъ ея признаній: „Рисованье мнѣ сначала не понравилось; трудишься съ часъ, и появится только глазъ или носъ не знаешь чей". Подслушаемъ также, что говоритъ губернскій предводитель одной Француженкѣ, наставницѣ дочерей его: „Вашъ языкъ бѣдный, склеенный изъ слоговъ площадныхъ, неблагопристойныхъ, содѣлался отъ десятка превосходнѣйшихъ мужей повсемѣстнымъ: нынѣ почти во всякомъ домѣ, начиная отъ попугая до барыни, всѣ лепечутъ по Французски, худо выучась своей грамотѣ". Долго было бы разсказывать всѣ превратности судьбы Ѳедориной: какъ она, по смерти протопопицы, снова переселилась къ Лукерьѣ; какъ, наконецъ, узнали, что она не крестьянка, а дочь богатыхъ дворянъ, погибшихъ во время Пугачевскаго бунта; какъ производилось о томъ слѣдствіе и пр. Одно мѣсто изъ сего слѣдствія заслуживаетъ особеннаго замѣчанія. Судья спрашиваетъ у бывшей Ѳедориной няни (которая не видала своей барышни со времени трехлѣтняго возраста сей послѣдней): „Не имѣетъ ли сходства съ Софьею эта дѣвица?" *Няня:* Трудно теперь распознать, м. г. *Судья*—Однако, посмотрите хорошенько, сличите съ памятью. *Няня.* Походитъ, очень походитъ: тѣ же черные глазки, волосы. *Кормилица.* И тотъ же окладъ лица". Ѳедора сдѣлалась богатою наслѣдницей, ее привозятъ въ Москву. Тамъ, говоритъ она, „на другой день съѣхались къ намъ множество дѣдушекъ, тетушекъ, сестрицъ двоюродныхъ, внучатныхъ, давнишнихъ пріятелей, ласкались, цѣловали меня съ обозрѣніемъ отъ головы до ногъ, предлагали мимоходомъ дружество, и нѣсколько сліянныхъ голосовъ уподобляли бесѣду жидовской синагогѣ". Но Москва, кажется, не всегда представлялась Ѳедорѣ въ подлинномъ своемъ видѣ, и наша богатая дѣвица часто бросала въ ней невѣрный взглядъ на предметы. Такъ, между прочимъ, бронзовая статуя Екатерины II, поставленная въ благородномъ собраніи, показалась ей мраморною.

Выписываемъ здѣсь Ѳедорины [1]) переводъ Сегюровой надписи къ портрету Императрицы:

Чудесну силу здѣсь магнита,
Влекущу къ сѣверной странѣ,
Героя, мужа знаменита,
Познай въ премудрой сей женѣ.
Даетъ уставы, чиститъ нравы,
Искусна царствовать, писать,
Полна вселенна Ея славы,
Велѣла зависти молчать.
Когда бъ судьба опредѣлила
Ей жить безъ скипетра въ рукахъ,
Умомъ бы, кротостью плѣнила,
Свой тронъ воздвигла бы въ сердцахъ.

Наконецъ, Ѳедора вышла замужъ за полковника, видѣла однажды Луку, подарила ему 500 рублей, собрала вокругъ себя всѣхъ тѣхъ, которыхъ съ дѣтства любила, родила трехъ дѣтей, и говоритъ въ заключеніе своей повѣсти: „семейство—мой міръ; супругъ—нѣжнѣйшій любовникъ; подданные—мои ближніе. Я блаженствую, и была бы еще счастливѣе, когда бы имѣла еще что-либо пожелать и проч.“

Позволимъ себѣ одно критическое замѣчаніе: въ концѣ романа не поддерживается добрый подвигъ, обѣщанный въ заглавіи; Ѳедора не Ѳедора, а Софья, и для чести Ѳедоры мы почти желали бы, чтобы никто не прочиталъ романа до конца. Но, къ сожалѣнію, дѣло несбыточное: авторъ такъ увлекателенъ, что не вырвешься изъ рукъ его.

---

[1]) Въ примѣчаніи къ сей надписи сказано: Вотъ мой переводъ и пр.; а въ продолженіе всей повѣсти, Ѳедора сама разсказываетъ свои похожденія и говоритъ всегда о себѣ въ первомъ лицѣ.

I.

О ДУХѢ ПАРТІЙ; О ЛИТТЕРАТУРНОЙ АРИСТОКРАТІИ.

1830.

I.

Если вѣрить нѣкоторымъ указаніямъ, то въ литературѣ нашей существуетъ какой-то духъ партій; онъ силится возстановить какую-то аристократію именъ. Указанія эти повторяются отголосками журнальными; но нигдѣ не объясняются убѣдительными доказательствами, а мнѣнія безъ ясныхъ уликъ остаются предубѣжденіями, предразсудками, не заслуживающими вѣры. Литература наша ограничена такимъ малымъ числомъ дѣйствій и дѣйствующихъ лицъ, такъ еще молода, что смѣшно искать въ ней явленій литературъ обширныхъ, многолюдныхъ и достигнувшихъ зрѣлаго возраста. Извѣстное слово о бурѣ въ стаканѣ воды можетъ быть примѣнено и здѣсь. Впрочемъ, встрѣчаются такіе охотники до бурь, что они ради искать ихъ и въ стаканѣ, помня пословицу, что хорошо ловить въ мутной водѣ. У насъ можно опредѣлить двѣ главныя партіи, два главные духа, если непремѣнно хотѣть ввести междоусобіе въ домашній кругъ литературы нашей; можно даже означить ихъ двухъ родоначальниковъ: Ломоносова и Тредьяковскаго. Къ первому разряду принадлежатъ литераторы съ талантомъ, къ другому литераторы безталанные. Мудрено ли, что люди, возвышенные мыслями и чувствами своими, сближаются единомыслiемъ и сочувствiемъ? Мудрено ли, что Расинъ, Мольеръ, Депрео были

друзьями? Прадоны и тогда называли вѣроятно связь ихъ духомъ партіи, заговоромъ аристократическимъ. Но дѣло въ томъ, что потомство само пристало къ этой партіи и записалось въ заговорщики. Державинъ, Хемницеръ и Капнистъ, Карамзинъ и Дмитріевъ, Жуковскій и Батюшковъ, каждые въ свою эпоху современники и болѣе или менѣе совмѣстники, были также сообща главами тайнаго заговора дарованія противъ дюжинной пошлости, вкуса противъ безвкусія, образованности противъ невѣжества. Такіе естественные, необходимые по законамъ нравственной природы, союзы утѣшительны и назидательны. Они заключаются не въ силу обдуманнаго договора съ его гласными и негласными статьями. Эти союзы дѣлаются сами собою. Карамзинъ и Дмитріевъ были друзьями и, такъ сказать, основателями новой школы, единомышленниками, единовѣрцами, исключительно потому, и просто потому, что одинъ былъ Карамзинъ, а другой былъ Дмитріевъ. И такъ далѣе. Знаемъ, что для иныхъ утѣшительнѣе было бы видѣть раздоръ между людьми, коихъ соединило само Провидѣніе, освятивъ ихъ печатью благородства и избравъ ихъ орудіями благоволенія своего къ человѣчеству; но, по счастію, событія не оправдываютъ злопамѣренныхъ упованій завистливой посредственности. Союзъ людей, возвышенныхъ по своимъ дарованіямъ и нравственности, скрѣпленъ и освященъ самою природою: они — союзники, а противники — ихъ сообщники. Сообщество сихъ послѣднихъ невѣрно, непрочно, какъ страсти, личныя выгоды, разсчеты корысти, служащіе зыбкимъ основаніемъ симъ случайнымъ сдѣлкамъ. Если и были примѣры, что возвышенные литераторы современные враждовали между собою и непріязнью своею утѣшали тайныхъ ненавистниковъ своихъ, то примѣры, по счастію, довольно рѣдки. Можно сказать, рѣшительно, что у насъ ихъ не было. Распри Ломоносова съ Сумароковымъ не идутъ къ дѣлу. Сумароковъ былъ раздражительное дитя; къ тому же въ немъ былъ умъ, но не было генія; слѣдовательно, онъ могъ и не постигать высоты соперника своего. А въ другомъ отношеніи онъ въ Ломоносовѣ не столько поэта, сколько преобразователя языка ненавидѣлъ. Грамматическій старовѣръ, онъ чуждался, страшился но-

визны, какъ ереси; а гдѣ вмѣшается расколъ, тамъ разсудокъ и чувство побѣждаются предубѣжденіемъ. Кромѣ сего исключенія, которое, впрочемъ, не совсѣмъ безусловно, у насъ между литераторами возвышенными господствовало согласіе, не возмущенное печальными разстройствами. Сойдите съ высоты, на которой являются они взорамъ нашимъ, сойдите на широкое поприще, усѣянное толпами, — и тутъ вы найдете безпрерывную сшибку мелкихъ страстей, мелкихъ личностей, мелкихъ выгодъ. Не говоримъ уже о несостоятельности отношеній сихъ задорныхъ мирмидоновъ къ лицамъ, которыя стоятъ на вершинѣ для нихъ недостигаемой, къ лицамъ, предъ которыми они повергаются то на колѣни, то въ забавномъ напряженіи кидаютъ передъ ними дѣтскую свою рукавичку: нѣтъ! слѣдуйте за движеніями ихъ отдѣльныхъ и частныхъ междоусобій, читайте журналы, сіи обличительныя хроники анархической литературы нашей, въ коихъ написанное за годъ, за недѣлю, въ явномъ противорѣчіи съ написаннымъ сегодня, въ которыхъ вчерашній врагъ готовится въ завтрашніе друзья, и на оборотъ, и вы увидите на которой сторонѣ заводятся партіи, заключаются и разстроиваются союзы. Мы уже сказали: разумѣется, есть аристократія дарованій. Природа дѣйствуетъ также въ смыслѣ нѣкотораго монархическаго порядка: совершеннаго равенства не существуетъ нигдѣ. Она также даруетъ законныя преимущества въ мірѣ физическомъ и нравственномъ: родятся силачи и хилые, стройные и горбатые, красавцы и уроды, умные и глупые, писатели и писачки, поэты и риѳмоплеты. Природное, нравственное достоинство есть неотъемлемая собственность первыхъ; но превратность судебъ человѣческихъ часто ниспровергаетъ въ дѣйствіяхъ послѣдствія непреложенныхъ началъ. Случалось иногда горбатому быть счастливымъ соперникомъ красавца у своенравной женщины; иной разслабленный имѣетъ свою минуту торжества надъ силачемъ, и такъ далѣе. Лукавство, пронырство, ничѣмъ непозмущаемое упрямство, никакими средствами не пренебрегающая дерзость, вырывали иногда случайную побѣду изъ рукъ менѣе дѣятельнаго, болѣе безкорыстнаго достоинства. И тѣ, которые у насъ болѣе другихъ говорятъ объ аристокра-

тическомъ союзѣ, будто существующемъ въ литературѣ нашей, твердо знаютъ, что этотъ союзъ не опасенъ выгодамъ ихъ, ибо не онъ занимается текущими дѣлами литературы, не онъ старается всякими происками, явными и тайными, овладѣть источниками ежедневныхъ успѣховъ и преклонить къ себѣ, если не уваженіе, то благосклонность, которая гораздо податливѣе перваго. Уваженіе какая-то сила скрытная, она оказывается медленно и безъ шума, растётъ и зрѣетъ со временемъ; благосклонность нетерпѣливѣе, она дѣйствуетъ необдуманно, плодъ минуты, она и покинается минутно Справьтесь съ вѣдомостями нашей книжной торговли, и вы увидите, что если одна сторона литературы нашей умѣетъ писать, то другая умѣетъ печатать, съ цѣлью скорѣе продать напечатанное. А это умѣнье родъ майората, безъ коего аристократія не можетъ быть могущественна. Мы живемъ въ вѣкѣ промышленности: теоріи уступили поле практикѣ; надежды—наличнымъ итогамъ. Видя, что многія худыя книги удаются, то-есть сбываются лучше иныхъ хорошихъ, несправедливо было бы искать тому причины въ одномъ неразумѣи публики. Невинность публики идетъ своимъ чередомъ; но воздайте и каждому свое: припишите часть успѣховъ спаровкѣ и ловкости писателей. Нѣкоторые изъ нихъ были уже заранѣе провозглашены друзьями своими и ловкими товарищами. Напримѣръ, *Исторія Русскаго народа* и *Иванъ Выжигинъ*, сіи книжные близнецы нашего времени, сіи Иванъ и Марья въ царствѣ литературнаго прозябенія, имѣли гораздо болѣе расхода, чѣмъ нѣсколько другихъ твореній, заслуживающихъ истинное уваженіе. Такимъ образомъ литературной промышленности, которая есть существенная аристократія нашего вѣка, нечего по пустому заботиться и кричать о такъ-называемой аристократіи, которая чужда оборотовъ промышленности.

II.

Двуличность мыслей порождаетъ двусмысленность выраженій, которое не что иное, какъ безсмысліе, когда оно не умышленно и не искусственно. Эта двоякость въ словахъ обыкно-

венно замѣтна въ людяхъ, худо владѣющихъ даромъ слова изустнаго или письменнаго. Желая прикрыть свою мысль, для свободнаго пропуска, они вдаются въ уловку — и тутъ и ждетъ ихъ неудача. Языкъ, или перо ихъ подвертывается подъ разслабленною мыслью и мѣтя въ одно попадаютъ они въ другое. Но чаще всего ударъ ихъ разражается на воздухѣ, или дѣйствуетъ обратно на нихъ самихъ. Бѣда умничать тѣмъ, которымъ умничанье не далось. Для объясненія сказаннаго нами, ссылаемся еще разъ на повторяемыя нападки нѣкоторыхъ журналовъ на такъ называемую литературную аристократію. Можно, зная противниковъ своихъ, догадываться на кого и во что они мѣтятъ, но, стоя у цѣли, никакъ не видимъ, чтобы удары ихъ достигали ее. Дѣло въ томъ, что имъ нельзя сказать то, что у нихъ на умѣ, и нѣтъ въ нихъ достаточно искусства, чтобы пособить своему безсилію.

Что можно подразумѣвать у насъ подъ литературною аристократіею?

Имѣемъ два возможныя истолкованія сему выраженію. Изслѣдуемъ ихъ одно за другимъ.

Идетъ-ли дѣло о томъ, что нѣкоторые изъ коренныхъ дворянъ нашихъ занимаются литературою, что нѣкоторые изъ сановниковъ нашихъ были первоклассными писателями, что напримѣръ князь Кантемиръ, Державинъ и Дмитріевъ были министрами, что иные изъ писателей и нашего поколѣнія, по рожденію своему, по обстоятельствамъ, по образованію, полученному отъ Европейскаго и утонченнаго воспитанія, стоятъ на высшей степени Русскаго просвѣщенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на высшей степени Русскаго общежитія, что имъ доступны равно и мѣста служебныя, и ученыя общества, и гостиныя обѣихъ столицъ и столицъ Европейскихъ, что имена ихъ встрѣчаются съ честью и въ царскихъ указахъ, и въ статьяхъ журнальныхъ, и въ учебной книгѣ г-на Греча, и даже въ нарядныхъ альбомахъ свѣтскихъ красавицъ? Но тутъ, кажется, нѣтъ ни малѣйшаго повода къ порицанію. Что худаго, что напримѣръ творецъ *Недоросля*, носилъ при имени своемъ аристократическую частичку фонъ, имѣлъ право быть воспитанъ въ уни-

верситетскомъ благородномъ пансіонѣ, что, возмужавъ, былъ онъ въ связи съ Чернышевыми, съ Панинымн, съ Булгаковыми, имѣлъ способы объѣздить нѣсколько разъ Европу и былъ вмѣстѣ писателемъ и свѣтскимъ человѣкомъ? Что худаго, что Карамзинъ былъ не только лучшимъ писателемъ нашимъ, но рожденіемъ, образованіемъ и навыками всей жизни своей принадлежалъ всегда вершинѣ лучшаго общества, былъ собесѣдникомъ и пріятелемъ государственныхъ мужей и вельможъ нашихъ, что изъ ученаго кабинета своего переходилъ онъ къ царскому столу, что въ бесѣдѣ его находилъ удовольствіе Императоръ Александръ, который, мимо царскаго величія, по утонченной вѣжливости и вообще аттицизму нравовъ своихъ и обхожденія слылъ въ просвѣщенной Европѣ однимъ изъ самыхъ благовоспитанныхъ людей современной эпохи? Неужели Исторія, имъ писанная, тѣмъ виновата, что и онъ былъ человѣкъ благовоспитанный, что по связямъ съ государственными сановниками имѣлъ онъ болѣе способовъ изучать людей и дѣла, вѣрнѣе судить о прошедшемъ по удобству видѣть вблизи настоящее. Неужели вслѣдствіе того Исторія его должна быть хуже, чѣмъ напримѣръ *Исторія Русскаго народа*, рожденная въ конторѣ *Московскаго Телеграфа* и двойчатка журнала Парижскихъ чепчиковъ и Вѣнскихъ колясокъ? Неужели нѣкоторымъ участникамъ *Литтературной Газеты* теперь не даютъ пропуска на Парнасъ, какъ сказано въ *Телеграфѣ*, потому только, что они помѣщики и что они у мѣста въ высшемъ кругѣ нашего общества? Давно ли имя благороженнаго и благовоспитаннаго человѣка сдѣлалось у насъ укоризною и поводомъ къ исключенію? Въ какомъ литтературномъ уложеніи сказано, что нынѣ истинному дарованію должно ѣздить на извощикѣ, взятомъ съ биржи, а не въ каретѣ четвернею? Высшій классъ въ государствѣ всегда долженъ быть уваженъ: того требуетъ политическій порядокъ; а образованный классъ въ народѣ, будь онъ высшій, средній, или нижній, равно достоинъ уваженія; у насъ же высшій классъ есть и образованнѣйшій. Есть въ этомъ случаѣ исключенія, но вѣрно большинство не на ихъ сторонѣ. Хорошо и почтенно образоваться самоучкою, или выучиться многому на мѣдныя

деньги, но не должно предавать осмѣянію тѣхъ, которые, по милости Божіей, воспитаны были на золотыя или хотя на ассигнаціонныя, потому что въ этомъ ничего нѣтъ смѣшнаго. Нападать на безграмотность аристократіи нашей, или дворянства, несправедливо, ибо одно это званіе у насъ и грамотное. Ссылаясь на біографическіе словари Новикова и Греча, мы укажемъ, что большая часть писателей нашихъ принадлежала аристократіи, то есть званію пользующемуся преимуществами, дарованными дворянству: слѣдовательно въ Россіи выраженіе литтературная аристократія нимало не можетъ быть нареканіемъ, а напротивъ оно похвальное и, что еще лучше, справедливое наименованіе. Дворянскія гостиныя наши также не вертепы мрака и невѣжества: онѣ соединяютъ насъ съ образованною Европою; въ нихъ читаются Русскія и чужеземныя книги; въ нихъ иностранные путешественники, каковы: Гумбольдтъ, г-жа Сталь, Статфордтъ Каннингъ, графъ Сегюръ находятъ сочувствіе и соотвѣтствіе своимъ понятіямъ; въ нихъ раздаются отголоски Европейскаго просвѣщенія, въ нихъ, а не въ домахъ купеческихъ, не въ жительствахъ мѣщанъ, ремесленниковъ нашихъ. Разумѣется, доля исключеній и здѣсь идетъ въ счетъ, но мы должны имѣть въ виду одни общіе итоги.

По комъ знаетъ и судитъ насъ Европа, по комъ признаетъ насъ народомъ, скоро догнавшимъ народы, временемъ насъ опередившіе? По тѣмъ же аристократамъ, къ коимъ должна принадлежать и литтературная аристократія и которые, начиная отъ князя Кантемира до нашихъ современниковъ, были съ честью и блескомъ представителями Русскаго дворянства въ кабинетахъ Монтескье, Вольтера, Шатобріана и въ гостиныхъ лучшаго общества во всей силѣ и въ просвѣщенномъ значеніи слова сего. Демократическія нападки на наши аристократическія гостиныя также несправедливы и неблагодарны, какъ были бы жалобы на духъ притѣснительный нашего духовенства, на его нетерпимость, гоненіе наукъ и просвѣщенія, потому что Французскіе философы XVIII-го вѣка имѣли право жаловаться на духъ притѣснительный членовъ западной церкви. Не довольно либеральничать, должно еще либеральничать съ

толкомъ и совѣстью; а не то либеральныя понятія будутъ тѣмъ, чѣмъ ихъ назвалъ нѣкто: завиральныя.

Дворянство не даетъ дипломовъ на умъ и просвѣщеніе, но не есть же оно синонимъ глупости и невѣжества. Вѣдь вы не говорите, что такая-то литтературная школа дурна, что писатели такой-то эпохи, такого то рода не стоютъ уваженія. Вы говорите о литтературной аристократіи: все дѣло, вся мысль ваша, если она есть, заключается въ словѣ аристократія, въ словѣ аристократъ. Отъ этой улики нельзя отвернуться никакими умствованіями, никакими грубостями, никакими камнями, какъ ни кидайте ихъ прямо въ лобъ противникамъ своимъ, что между прочимъ вовсе не аристократическій и не литтературный способъ возражать на мнѣнія противорѣчащія. Но это въ сторону: у литтераторовъ-не аристократовъ, или вѣрнѣе у не литтераторовъ-не аристократовъ можетъ быть своя полемика и какъ видите полновѣсная.

Повторяемъ: званіе аристократа, а особливо-же въ монархіи, не хуже другаго; ругаться имъ неприличпо, равно какъ и всякимъ другимъ. Каждое званіе, какъ часть государственнаго общества, имѣетъ свое относительное достоинство. Когда начали у насъ упрекать одного писателя купеческимъ званіемъ его, то нынѣшніе-же такъ называемые аристократы выставили на позоръ несообразность и непристойность подобныхъ упрековъ. Дѣло не въ званіи, въ которомъ родимся: On ne se choisit pas son père, какъ говоритъ Ламотъ въ одѣ своей къ Руссо, по въ томъ, какъ поспѣть свое званіе. И дворянинъ дворянину, и купецъ купцу розница. Есть и дворяне, которые дворяне по одной грамотѣ, и купцы, которые купцы по одной гильдіи. Не довольно быть записаннымъ въ купечество, по для пріобрѣтенія уваженія должно еще чѣмъ-нибудь торговать и торговать честно, быть дѣятельнымъ участникомъ въ торговыхъ оборотахъ, споспѣшествующихъ промышленности народной, богатству государственному; но купецъ, напримѣръ торговавшій-бы однимъ своимъ перомъ, или открывавшій подписки на книги еще не написанныя, былъ-бы не лучше и не

хуже дворянина, который въ глуши деревни своей обираетъ крестьянъ своихъ и оплетаетъ сосѣдей.

Что означаетъ слово аристократія, по Греческому корню своему? Правленіе, составленное изъ нѣкотораго числа людей мудрыхъ и могущихъ, однимъ словомъ именитыхъ. До Французской революціи слово аристократъ никогда не бывало наименованіемъ поносительнымъ. Въ эту эпоху оно, какъ и многія другія слова, было превратно перетолковано Парижскою чернью.

Но нельзя-же намъ ссылаться на лексиконъ безграмотныхъ крикуновъ и свято держаться опредѣленій его. Нельзя не сознаться, что неумѣстно и неблагонравно брать у чужаго народа, и особливо-же изъ совершенно чуждой эпохи, выраженія, служившія нѣкогда орудіями ослѣпленныхъ и ожесточенныхъ страстей, и примѣнять ихъ тамъ, гдѣ нѣтъ имъ положительнаго и добросовѣстнаго смысла, гдѣ весь смыслъ ихъ только относительный и то еще въ какихъ отношеніяхъ. Смѣшно, но извинительно, когда Русскій историкъ передразниваетъ на обумъ, на угадъ понятія, соображенія и языкъ Гизо, или Тьера, когда онъ кроитъ нашу исторію по чужимъ вырѣзкамъ, привыкнувъ въ званіи своемъ журналиста модъ одѣвать насъ по Парижскимъ покроямъ, но изъ подражанія, или изъ того, что сказать что-нибудь хочется, а сказать отъ себя не съумѣетъ, заводитъ у насъ и чужеземную терминологію, запятненную въ свое время не одною грязью, оно хотя и смѣшно, но не извинительно. Спѣшимъ сказать, что мы въ обвиняемыхъ нами умысла не ищемъ и указываемъ на одно дѣйствіе. Знаемъ невѣдѣніе противниковъ нашихъ: оно во многомъ не лукавое и часто умилительно своею младенческою безотвѣтственностью; знаемъ, что многимъ изъ нихъ, что никому столько, сколько г-ну Полевому не позволяется сказать въ оправданіе свое: перо мое—врагъ мой. Но все-же есть мѣра и невѣдѣнію и невинности. Мало-ли, что ребенокъ больной, или слѣпецъ могутъ сдѣлать несообразнаго съ общимъ порядкомъ: но на нихъ есть дядьки, сестры милосердія и вожатые. Говорите, что стихи, что проза князя такого-то не хороши: мнѣнія въ этомъ случаѣ свободны и вкусы независимы. Вы, можетъ быть, и правы; но оставьте княже-

ство его въ сторонѣ. Не говорите о немъ языкомъ неприличнымъ: развѣ княжество его стихами записано въ родословную книгу, и стихи его копія съ дворянской грамоты? Ибо князь такой-то, лицо, который умѣетъ пренебрегать личностями людей, которыхъ онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ признавать судіями надъ собою, къ тому-же князь такой-то можетъ быть и достоинъ порицанія; но княжество его — достоинство, записанное въ родословной книгѣ кровью предковъ его и которое онъ обязанъ передать чистымъ потомкамъ своимъ, и потому оно должно быть недоступно перу журналиста.

LI.

О СУМАРОКОВѢ.

1830.

Сумароковъ одно изъ замѣчательнѣйшихъ лицъ въ литературѣ нашей. Онъ имѣетъ свою физіономію, означенную рѣзкими чертами: это лицо портретное. Его нельзя изучать какъ образецъ изящнаго, какъ памятникъ искусства; онъ ни въ чемъ не оставилъ намъ уроковъ, слѣдовъ къ подражанію; дѣйствія его были, такъ сказать, единовременныя, языкъ его, слогъ его, формы его, имъ самимъ заимствованныя у чужестранцевъ и даже не примѣненныя къ правамъ нашимъ и къ историческимъ преданіямъ, все это въ наше время почти безъ цѣны. Творенія Сумарокова болѣе упоминаются и поминаются, чѣмъ читаются нынѣ. Вездѣ, гдѣ онъ былъ только авторъ и поэтъ, онъ едва-ли пережилъ себя, за весьма немногими исключеніями; но тамъ, гдѣ отдѣляется личность его, онъ вездѣ еще свѣжъ и ярокъ, потому что онъ горячо и откровенно передавалъ свою раздражительность, когда обстоятельства приводили ее въ игру. Поэтому, какъ полемикъ, Сумароковъ еще живъ, хотя предметы его полемики уже и не возбуждаютъ соучастія нашего. Сумароковъ вѣроятно почиталъ себя Русскимъ Вольтеромъ, и по примѣру образца своего покушался омногосложить свое дарованіе. Но если онъ обманулся въ разсчетахъ авторскаго тщеславія, то не менѣе того имѣлъ онъ нѣчто Вольтеровское, а именно его раздражительность, частичку его сатирической горяч-

пости: все это можетъ быть мало назидательно, но часто забавно и увлекательно. Тяжба между нимъ и Ломоносовымъ давно рѣшена: за исключеніемъ нѣсколькихъ остроумныхъ замѣчаній со стороны Сумарокова о языкѣ нашемъ, нечему научиться изъ фактовъ сей забытой тяжбы; но все еще любопытно читать ихъ, потому что личность Сумарокова въ нихъ оказывается. То же можно сказать и о войнѣ его съ Тредьяковскимъ, прибавивъ, что здѣсь тяжба рѣшена забвеніемъ, насильственною мировою сдѣлкою, скрѣпленною потомствомъ, которое отказалось отъ Сумарокова и отъ Тредьяковскаго: но аппеляціи существуютъ. Особливо же забавны памфлеты его противъ подьячихъ; хотя они также уже чужды намъ по содержанію своему, но драгоцѣнны и нынѣ по истинѣ и силѣ чувства и по патріотизму, ихъ одушевляющимъ. Они уже не трепещутъ *интересомъ минуты*, но еще трепетъ гнѣва, но авторскій жаръ еще въ нихъ сохранились. Можно сказать рѣшительно, что нѣтъ на Русскомъ языкѣ ничего забавнѣе, ничего подходящаго ближе къ такъ называемымъ Facéties Вольтера, какъ нѣкоторыя изъ статей Сумарокова, напечатанныя въ послѣднихъ томахъ сочиненій его. Въ этомъ отношеніи мы мало порадовались бы открытію новыхъ, не напечатанныхъ, чисто литературныхъ, или поэтическихъ произведеній Сумарокова, не надѣясь найти въ нихъ опроверженій умѣреннаго мнѣнія нашего о талантѣ его. Но находка біографическихъ и характеристическихъ памятниковъ о немъ можетъ насъ порадовать, насъ, для коихъ старина наша такъ еще нова, а любопытство такъ сильно, ибо мы, раздѣляя общую Европейскую жадность къ запискамъ историческимъ или анекдотическимъ, должны довольствоваться чужими сплетнями за неимѣніемъ своихъ. Двѣ бумаги Сумарокова, здѣсь предлагаемыя, живо отражаютъ его запальчивость, необузданность, сатирическія и комическія выходки ума его. Достовѣрность этихъ фактовъ не подвержена сомнѣнію. Подлинникъ жалобы на Ломоносова отысканъ въ бумагахъ Миллера *надорванный*, вѣроятно въ общемъ оффиціальномъ засѣданіи. Сохраненъ-ли онъ, какъ любопытный документъ, или какъ свидѣтельство, могущее повредить Ломоносову? предостав-

лемъ другимъ рѣшить недоумѣніе; замѣтимъ однако-же, что Ломоносовъ и Миллеръ были врагами. — Въ разсужденіи другой бумаги, для очистки памяти Демидова отъ нареканія въ безсовѣстномъ жестокосердіи, должно упомянуть, что этотъ Демидовъ, запмодавецъ Сумарокова, былъ, по дошедшимъ преданіямъ, проказникъ, и что вѣроятно онъ единственно для шутки, хотя и неумѣренной, хотѣлъ напугать Сумарокова и вывести его изъ терпѣнія. По крайней мѣрѣ, таково мнѣніе нѣкоторыхъ изъ современниковъ той эпохи. Знавшіе Сумарокова, любили иногда вызывать раздражительность и комическіе порывы гнѣва его. Намъ случилось читать въ однѣхъ запискахъ, что Павелъ I, еще въ малолѣтствѣ часто видавшій его за столомъ своимъ, забавлялся его способностью сердиться. Однажды съ умысломъ хвалилъ онъ при немъ недавно вышедшія творенія Лукина, котораго Сумароковъ не любилъ: „однако же на этотъ разъ", говоритъ сочинитель помянутыхъ записокъ, „Александръ Петровичъ былъ довольно смиренъ". Это выраженіе, напоминающее свойство ребяческое, очень мило сказанное о Сумароковѣ, кажется, живо изображаетъ характеръ его. Слѣдовательно, бывалъ онъ иногда и очень не смиренъ. Замѣчательно также въ письмѣ его къ Потемкину приказаніе сего послѣдняго написать трагедію безъ риѳмъ. Это показываетъ проницательность и оригинальность ума Потемкина, который, и не бывши авторомъ, требовалъ уже отъ драмы нашей новыхъ покушеній, не довольствуясь исключительнымъ подражаніемъ узкимъ формамъ трагедіи Французской. Такимъ образомъ, Потемкинъ, по крайней мѣрѣ желаніями и соображеніями, долженъ занять почетное мѣсто въ романтической нашей школѣ.

ВЪ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ШТАТСЪ-КОНТОРУ ОТЪ БРИГАДИРА АЛЕКСАНДРА СУМАРОКОВА.

Доношеніе.

Увѣдомился я, что прислана за подписаніемъ Ломоносова въ Государственную Штатсъ-Контору о удержаніи моего жалованья промеморія, дабы тѣмъ возвратить издержанную казну

за напечатаніе моихъ трагедій; а понеже, хотя я и отъ Штатсъ-Конторы жалованье получаю, однако подъ вѣдомствомъ оной конторы не состою, того ради оная Контора удерживать моего жалованья по присылкѣ Ломоносова надѣюсь не благоволитъ. А оный Ломоносовъ, яко человѣкъ, на котораго я имѣю подозрѣнія, по челобитью моему въ силу указовъ, какъ извѣстный мнѣ злодѣй, будетъ отъ моихъ дѣлъ отрѣшенъ. Оный Ломоносовъ можетъ быть принялъ дерзновеніе дѣлать таковыя на меня нападенія отъ того, что онъ часто отъ пьянства сходитъ съ ума, что всему городу извѣстно, и (какъ уповательно) то онъ ту промеморію подписалъ на меня въ обыкновенномъ своемъ безумствѣ; ибо Академія причины не имѣетъ взыскивать съ меня деньги таковымъ порядкомъ, понеже я не только отъ казенныхъ долговъ, но и ни отъ какихъ никогда не отпирался. Я Государственную Штатсъ-Контору нижайше прошу, чтобы она не состоящаго подъ своимъ вѣдомствомъ человѣка, по тому только одному, что онъ отъ нея жалованье получаетъ, наказывать не благоволила; ибо ежели Академія бы хотѣла съ меня деньги взыскивать, (оскорбляя) такъ чувствительно и меня, честнаго человѣка, то бы должна была она писать не въ то мѣсто, отъ котораго я жалованье получаю, но гдѣ я подъ вѣдомствомъ состою; ибо всегда и часто съ ума сходящій Ломоносовъ не можетъ повелѣніемъ своимъ ни одной полушки удержать изъ моего жалованья, хотя бы онъ и въ цѣломъ умѣ былъ, потому что я свое жалованье получаю по именному Ея Императорскаго Величества указу, и служу отъ начала службы моей безпорочно. А онъ, Ломоносовъ, таковыя во пьянствѣ дерзновенія дѣлалъ неоднократно, за что содержался нѣсколько времени подъ карауломъ и отрѣшенъ былъ отъ присутствія конференціи. А что онъ не въ полномъ разумѣ, въ томъ я свидѣтельствуюсь сочиненною имъ Риторикою и Грамматикою.

Бригадиръ Александръ Сумароковъ.

Письмо и записка [1]) Александра Петровича Сумарокова къ князю Григорью Александровичу Потемкину, когда онъ былъ еще графомъ:

Завтра отъѣздъ двора, а у меня завтра домъ отъемлется; не знаю по какому праву, ибо домъ мнѣ въ нынѣшній годъ по пристройкѣ болѣе уже тысячи рублей сталъ; а оцѣненъ онъ въ 900 руб., хотя и сталъ мнѣ кромѣ мебелей въ шестнадцать слишкомъ тысячъ. Демидову я долженъ только 2000 руб., а онъ, разсердясь на меня за плута своего повѣреннаго, котораго онъ и самъ со двора сбилъ, требуетъ нынѣ и процентовъ и рекамбій, хотя и обѣщался мнѣ о томъ и не помышлять.

Я нижайше прошу вашего сіятельства, почитающаго человѣколюбіе, послать къ г. Демидову, дабы онъ, помня человѣколюбіе, не требовалъ съ меня кромѣ данной мнѣ суммы, и чтобъ сія сумма была вычтена изъ моего жалованья, кое я получаю ежегодно въ началѣ маія. У меня одинъ только на сей землѣ домъ, такъ мнѣ пріютиться будетъ некуда и долженъ я буду на старости таскаться по міру.

Я внесъ вещей въ уплату въ Магистратъ болѣе нежели три тысячи; а что они дешево оцѣнены (да и не покупаются будто), это не моя вина.

Я вмѣсто процентовъ и рекамбій воздамъ вашему сіятельству сочиненіемъ новой трагедіи безъ риѳмъ, какъ вы мнѣ приказывать изволили.

Я жду въ рѣшеніи вашемъ или спасенія моего, или отчаянія; а къ рѣшенію сего времени уже мало осталось. Вообразите себѣ мое состояніе.

Вашего Сіятельства
нижайшій слуга
А. Сумароковъ.

10 іюля 1775 г.

Сдѣлайте милость и пришлите, милостивый государь, мнѣ отраду, письмо ваше открытое, или припишите хотя къ г. Демидову на сей бумагѣ, что вашему сіятельству по снисхожденію ко мнѣ угодно будетъ.

---

[1]) Списаны съ подлинника, который находится у Сергѣя Николаевича Глинки.

ЗАПИСКА РАДИ ПАМЯТИ.

1) Долженъ я Прокофью Демидову двѣ тысячи рублевъ: заплатилъ бы я ему оныя давно, но онъ былъ въ Голландіи болѣе года, потомъ былъ въ Москвѣ моръ болѣе же года, потомъ былъ я отчаянно боленъ полгода, потомъ, пріѣхавъ ради нуждъ моихъ въ Петербургъ и для напечатанія новыхъ моихъ сочиненій, былъ я тамо, проживался, полтора года.

2) Я имѣю свидѣтельство, что Демидовъ съ меня процентовъ и рекамбій брать не хотѣлъ, да и деньги далъ мнѣ въ заемъ безъ процентовъ.

3) Работалъ я довольно, помоществуя г. Баженову при учрежденіи и церемоніи Кремлевскаго Дворца, а потому, что въ самый тотъ день было освященіе оныя закладки, въ который срокъ вышелъ отсрочки моего векселя, г. Баженовъ, пріятель Демидову, обнадежилъ меня, что онъ г. Демидовъ меня для того общенароднаго дѣла понуждать не будетъ, а о процентахъ и рекамбіи онъ и не помышляетъ; и для того г. Демидовъ увѣрилъ меня самъ и векселя не переписалъ.

4) Смутилъ его со мною его повѣренный, котораго за его непорядки онъ г. Демидовъ и самъ сбилъ.

5) Отъ Магистрата описывали мои деревни и домъ во двухъ тысячахъ. Наконецъ жребій палъ на мой домъ, который въ Магистратѣ оцѣнили въ девять сотъ рублевъ въ сорокъ одну копѣйку съ полушкою; а я уже по оцѣнкѣ положилъ на мой домъ болѣе тысячи рублевъ!

6) Книги мои и рукописи приказано было подканцеляристу магистратскому осмотрѣть и поставить при нихъ караулъ; хотя ни Магистратъ, ни подканцелярист не знаютъ различія между оды, эклоги и элегіи.

7) Я, вмѣсто дома моего, внесъ въ Магистратъ табакерку, пожалованную мнѣ отъ Его Императорскаго Высочества въ знакъ отличной Его ко мнѣ милости; она изъ лучшаго лаписъ-лазули, изъ лучшей золотой работы съ нѣсколькими брильянтами, изъ которыхъ одинъ красной. Табакерка сія не была ношена никогда; она стоитъ двухъ тысячъ рублей по малой

мѣрѣ, и, слѣдовательно, всего моего Демидову долгу. Другая табакерка, подаренная мнѣ отъ графа Алексѣя Григорьевича Разумовскаго, пожалованная ему блаженной памяти Государынею, и подаренная мнѣ ради вѣчнаго о немъ воспоминанія, стоитъ по малой мѣрѣ семьсотъ рублевъ. Часы Элликотовы серебряные, которыхъ по апробаціи Петербургской часовой фабрики лучше не бывало въ разсужденіи машины ихъ. А домъ мой сталъ мнѣ кромѣ мебелей въ шестнадцать тысячъ!

8) Все мое внесенное въ Магистратъ, и книги мои и эстампы оцѣнили они въ Магистратѣ самою малою цѣною.

9) Нынѣ означили въ Магистратѣ сіи мои вещи мнѣ возвратить, а въ мѣсто того продать мой домъ, который мнѣ уже послѣ ихъ оцѣнки сталъ еще въ тысячу рублевъ.

10) Магистратъ долженъ продать то, что я ему назначу, а не то, что онъ хочетъ.

11) Что вещей не покупаютъ, въ этомъ моей виновности нѣтъ.

12) Выбить человѣка изъ дому, хотя бы онъ и ни малѣйшей не сдѣлалъ отечеству услуги, со всею фамиліею, съ малолѣтними дѣтьми и со всѣми слугами, посреди сѣверной зимы, не позволяется.

13) Происшедшему отъ знатныхъ предковъ и имущему чинъ и орденъ и прославившемуся къ чести своего отечества по всей Европѣ, таскаться по міру и замерзнуть на улицѣ не позволяется; ибо въ православномъ государствѣ о православіи и любви ближняго забывать Магистрату не должно.

14) И разбойники людей грабятъ, но не всегда умертвляютъ; а Магистратъ долженъ о человѣколюбіи больше стараться, нежели разбойники.

15) Сіи судьи, которые меня разорить хотятъ, суть рабы отечества; а я сынъ отечества и потому, что я дворянинъ, и потому что я уже отличный чинъ и орденъ имѣю, и потому, что трудился довольно во краснорѣчіи Россійскаго языка.

16) Драмы мои играютъ содержатели, продавая и покупая выхоженную мною привилегію, и не только отнявъ у меня ложу, но и отказавъ мнѣ дать билеты, парушаютъ сочиненные

со мною прежними содержателями контракты, и довольствуются доходомъ моихъ трудовъ они, а не я.

17) Я несомнѣнно уповаю, что ежели сія моя записка представительствомъ вашего сіятельства дойдетъ до слуха Самодержицы, такъ я съ моею фамиліею на улицѣ не замерзну.

ПРИМѢЧАНІЯ.

Я нижайше прошу о томъ, чтобы къ Демидову послать, чтобы онъ со мною поступилъ по законамъ честности, и взялъ бы съ меня только надлежащія деньги, а въ Магистратъ, чтобы меня изъ дома не выгонять, ибо они съ меня и рубашку снять могутъ. А по театру разсмотрѣть бы мое съ Урусовымъ дѣло полиціи справедливо. Драмы напечатаны; но они напечатаны ради чтенія, а не для публичнаго представленія, чего нигдѣ и никогда не дѣлалося, гдѣ театральныхъ стихотворцовъ и много, да и здѣсь, исключая меня, ни съ кѣмъ того, гдѣ и контрактовъ не было, не дѣлалося. А я театры основалъ не ради огорченія себя, но ради представленія моего времени и моего имени. 11-го Ноября 1775. А. Сумарковъ.

Въ этихъ документахъ сутяжничество идетъ рядомъ съ авторскимъ самолюбіемъ, съ остроуміемъ и сатирическою бойкостью. Окончательная фраза въ доношеніи его Штатсъ-Конторѣ отличается язвительною колкостью и комизмомъ: „а что онъ (то есть Ломоносовъ) не въ полномъ разумѣ, въ томъ я свидѣтельствуюсь сочиненною имъ риторикою и грамматикою", и не одна эта забавная выходка раздражительнаго Сумарокова отыщется въ означенныхъ документахъ: найдется ихъ и нѣсколько. Если Сумароковъ не былъ геніаленъ, то въ свое время онъ былъ, безъ сомнѣнія, очень умный и талантливый писатель, и въ этомъ отношеніи, вѣроятно, выше всѣхъ своихъ современниковъ и совмѣстниковъ. Этимъ объясняются и оправдываются успѣхи его и уваженье, коимъ онъ пользовался въ современномъ ему обществѣ. Онъ первый внесъ себя и окружающую жизнь въ литературу свою. Это уже есть признакъ

чуткой и смѣтливой натуры; оно и величайшая и незабвенная его заслуга. Ломоносовъ съ своими одами царствовалъ на Олимпѣ, многимъ недоступномъ; въ кабинетѣ учеными трудами своими былъ онъ равно вдалекѣ отъ текущей жизни и почти внѣ ея. Сумароковъ былъ всегда и вездѣ на лицо, дѣйствующимъ лицемъ на театрѣ: въ трагедіяхъ и комедіяхъ, дѣйствующимъ и запальчивымъ лицомъ въ явленіяхъ общественной жизни: памфлетами, эпиграммами, пзустными колкостями. Онъ у всѣхъ былъ на виду; всѣ встрѣчались съ нимъ; всѣ его слышали и слушали, всѣ знали его, многіе любили, многіе его боялись. Онъ не только первый въ свое время, но и позднѣе едва-ли не единственный у насъ писатель-боецъ, входившій въ борьбу съ жизнью на площади, на открытомъ полѣ. Онъ также съ нѣкоторою справедливостью могъ сказать: ma vie est un combat.

LII.

ВЗГЛЯДЪ НА МОСКОВСКУЮ ВЫСТАВКУ.

1831.

Московская выставка продолжаетъ обращать на себя общее вниманіе. Каждое утро она сборное мѣсто многочисленныхъ посѣтителей: на биржѣ, на площадяхъ, въ гостиныхъ, въ смиренныхъ жильяхъ простолюдина, въ кабинетахъ ученыхъ, она предметъ общихъ разговоровъ, наблюденій, пересудовъ. Москва болѣе нежели когда-нибудь столица мануфактурная. Вельможи, дамы, чиновники, свѣтская молодежь, не говоря уже о мануфактуристахъ, промышленникахъ, торговцахъ, всѣ только и толкуютъ, что объ издѣліяхъ, всѣ какъ будто изъ-за станковъ, изъ мастерскихъ, всѣ вольноопредѣляющіеся кандидаты въ члены Технологическаго Института. Нельзя полагать, что одно просвѣщенное любопытство влечетъ туда ежедневно нѣсколько тысячъ зрителей, что всѣ сужденія и толки о выставкѣ дѣльны и поучительны; но если изъ числа всѣхъ посѣтителей сотая часть, тысячная часть возвратится изъ нея съ однимъ новымъ наблюденіемъ, съ одною новою мыслью, съ однимъ новымъ чувствомъ уваженія къ пользамъ просвѣщенія и благодарности къ правительству, пекущемуся о развитіи его, то и тогда нравственное вліяніе выставки обильно въ богатыхъ и утѣшительныхъ послѣдствіяхъ. Дѣйствіе подобныхъ впечатлѣній должно у насъ быть тѣмъ ощутительнѣе, что въ Россіи менѣе чѣмъ гдѣ нибудь отдѣлены между собою классы производителей и потре-

нтелей. Кто у насъ изъ дворянъ, имѣющихъ помѣстье, болѣе ли менѣе не фабрикантъ, не промышленникъ, не торговецъ? огатый щеголь, который постыдился бы показаться на вечеремъ раутѣ иначе какъ во фракѣ изъ Англійскаго сукна, самъ тромъ снялъ поставку на низкое сукно, производимое на фарикѣ, имъ заведенной. Тотъ, у коего домъ сіяетъ роскошнымъ бранствомъ бронзы и фарфоровъ, платитъ за прихоти растотельности своей деньгами, вырученными отъ продажи желѣза ъ завода своего. Въ другихъ земляхъ высшій классъ народа олѣе наслаждается успѣхами промышленности отечественной, но не имѣетъ нужды предварительно заботиться о нихъ; у насъ отъ же классъ наслаждается ими и содѣйствуетъ имъ. Въ этомъ слѣдуемъ мы примѣру своего Великаго Петра: онъ, дабы имѣть флотъ, началъ самъ своеручно строить корабли. У насъ дѣло промышленности—дѣло общее и частное. При такомъ сображеніи польза выставокъ многоплодна и учрежденіе оныхъ мѣра самая благотворительная и совершенно государственная. Если и Французы приписываютъ учрежденію сему великіе успѣхи, коими ознаменовали они промышленные труды свои въ послѣдніе годы, то какихъ же намъ не ожидать отъ него послѣдствій? Французы, народъ скорый, весь внѣшній, весь на лицо самохвальный, громогласный въ общежитьи, въ печати, на рынкахъ Европейскихъ; во Франціи множество журналовъ, обществъ по разнымъ отраслямъ науки и промышленности; многолюдство, почти всемірное средоточіе Парижа, сего безсмѣннаго базара Европейскаго, древнее и всегдашнимъ соприкосновеніемъ подстрекаемое соперничество съ Англіею, служили бы и безъ выставокъ достаточными поощреніями, достаточными ручательствами въ народной дѣятельности и гласности. Но у насъ болѣе живутъ жизнью домашнею, сокровенною; если Французы слишкомъ самонадѣянны, то мы слишкомъ недовѣрчивы къ себѣ; обширность государства отчуждаетъ насъ другъ отъ друга, слишкомъ раздробляетъ производительныя силы и многіе полезные успѣхи, усовершенствованія, предпріятія совершались въ тишинѣ и смиреніи безкорыстной неизвѣстности, или подъ фирмою иноплеменною переходили въ магазины иностранцевъ. Нынѣ, благо-

даря правительству, выставки обнародываютъ богатства государства, даютъ права гражданства въ Россіи Русскимъ издѣліямъ, знакомятъ насъ съ самими собою, указываютъ въ чемъ мы болѣе успѣли, чего намъ не достаетъ, даютъ живой отчетъ въ настоящемъ и предсказываютъ усовершенствованія въ будущемъ.

Устройство, расположеніе Московской выставки хорошо обдуманы и хорошо исполнены. Всѣ распоряженія приносятъ честь дѣятельности и вкусу тѣмъ изъ членовъ комитета, которые наиболѣе занимались ими. Здѣсь дано хорошее значеніе Русской поговоркѣ: товаръ лицомъ продается. И въ самомъ дѣлѣ еще прежде, нежели вниманіе свѣдущаго наблюдателя вникнетъ въ подробное изслѣдованіе предметовъ выставки, уже зрѣніе его пріятно поражено величествомъ и красивостью общей картины. Каждая зала имѣетъ свою живописную наружность и свое внутреннее достоинство. Зала, убранная разноцвѣтными шатрами изъ бумажныхъ издѣлій Титова, Урусова и другихъ, привлекаетъ взоры красивостью декораціи своей, а еще болѣе удовольствуетъ вниманіе, когда по пристальномъ разсмотрѣніи издѣлій, убѣдишься въ значительныхъ успѣхахъ, коими упомянутые почтенные фабриканты возвысили степень промышленности своей. Наряды Азіатской роскоши, которую присвоила себѣ и преобразовала Европа, шали Гучкова, Колокольцовыхъ, Мерлиной служатъ великолѣпными обоями залы, ими обвѣшанной: здѣсь заглядятся не однѣ дамы, развлеченныя и озабоченныя выборомъ шали, платка, или шарфа, но и хладнокровные и безкорыстные знатоки, которые порадуются усовершенствованіямъ фабрикъ нашихъ и пожелаютъ братьямъ Гучковымъ идти далѣе и далѣе по стезѣ, которую проходятъ они съ честью, напоминая имъ, что промышленность, какъ и всѣ науки и художества, не можетъ оставаться неподвижною: она должна подвигаться или отступать, возвышаться или падать. Фабрика, которая постепенно не улучшается, должна неминуемо ослабѣвать; ибо при общей дѣятельности, при общихъ напряженіяхъ соревнованія, около нее возвысятся по времени нѣсколько новыхъ фабрикъ совмѣстницъ, которыя перебьютъ у нея первенство. Разноцвѣт-

ность, блескъ, обиліе шелковыхъ издѣлій придаютъ радужную яркость залѣ, содержащей въ себѣ богатства фабрикъ князя Юсупова, Кондрашева, Майкова-Доброхотова, Щеглова, Рогожиныхъ, Локтева и другихъ состязателей ихъ въ сей отрасли мануфактурной, которая едва ли у насъ не опередила другихъ и по праву старшинства и по новымъ успѣхамъ своимъ. Тоже должно сказать и о парчахъ золотыхъ и серебряныхъ и прочихъ издѣліяхъ того рода: по богатству своему, по торжественному употребленію, къ коему онѣ наиболѣе назначены, по воспоминаніямъ историческимъ, которыя придаютъ имъ какую-то національную драгоцѣнность, какую-то освященную печать старины, издѣлія сіи обращаютъ особенное вниманіе публики на имена Колокольникова, Полякова, Левина, Тюляева, отличающихся приношеніями своими на выставку отечественныхъ произведеній. Зала, обставленная фарфорами съ Императорскаго С.-Петербургскаго завода, съ заводовъ Попова, братьевъ Гарднеровъ, хрусталями съ Императорскихъ стекляныхъ заводовъ, съ заводовъ Мальцовыхъ, Орлова, цвѣтными стеклами Амелунга переноситъ воображеніе въ область волшебства, застроенную чертогами зеркальными и хрустальными: но и очнувшись отъ поэтическихъ сновидѣній, найдешь въ залѣ сей на яву и передъ глазами побужденія къ чувствамъ истиннаго удовольствія. Здѣсь красота соединяется съ пользою, издѣліе возвышается до степени изящнаго искусства; здѣсь блескъ живописи, правильность, стройность, вкусъ въ отлитіи формъ преобразовываютъ грубыя вещества: песокъ и глину, въ предметы утонченной роскоши, предметы ежедневнаго и всеобщаго употребленія въ драгоцѣнныя убранства великолѣпныхъ дворцовъ. Между сими торжественными созданіями искусства, вниманіе соотечественника обращается съ особеннымъ участіемъ на смиренный фарфоръ, присланный изъ Сибири. Если онъ никакъ не можетъ входить въ соперничество съ упомянутыми выше, то по крайней мѣрѣ онъ отмѣнно замѣчателенъ по относительной добротѣ своей, дешевизнѣ и по мѣсту своего происхожденія. Нѣтъ Урала для успѣховъ промышленности и просвѣщенія при благопріятномъ дѣйствіи правительства. По краснвому и такъ сказать ваятель-

ному расположенію нѣкоторыхъ изъ химическихъ произведеній, и самые профаны не пройдутъ безъ вниманія мимо отдѣленія, въ которомъ, между прочими, усовершенствованные труды заводчика Бесса занимаютъ отличное мѣсто. Въ настоящемъ развитіи промышленности химія и механика суть главнѣйшія опоры мануфактурнаго дѣла. Фабрикантъ, пренебрегающій посвященіемъ себя въ ихъ таинства, добровольно отказывается отъ пособій и выгодъ просвѣщенія.

Всего величественнѣе общая картина, открывающаяся предъ взорами при входѣ въ большую залу. Зала сія, сама по себѣ, есть уже прекрасное созданіе искусства: величиною, высотою, стройною и благородною простотою она заслужила Европейскую извѣстность. Нынѣ, когда обширное пространство ея наполнено разнообразными издѣліями отечественными, она истинно представляетъ видъ храма Русской промышленности. Вниманіе, болѣе или менѣе разсѣянное въ другихъ отдѣленіяхъ, переходеніемъ изъ залы въ залу, здѣсь сосредоточивается и возрастаетъ. Послѣ перваго объема, общее впечатлѣніе, раздробленное на впечатлѣнія частныя, ни мало не теряетъ силы своей: напротивъ, оно питается подробностями. Здѣсь разнообразіе предметовъ, вынужденное обширностью залы, не позволяетъ входить въ отчетливое исчисленіе. Но если слѣдовать за разливами толпы, по мѣрѣ какъ тѣснится она къ тому или другому отдѣленію, то нельзя не упомянуть: о прекрасныхъ клеенкахъ фабрики Чурсинова, достигнувшихъ, кажется, до возможнаго совершенства; о ткаными картинахъ съ Императорской шпалерной фабрики, уже купленныхъ Московскимъ купцомъ Лепешкинымъ и заслуживающихъ общее удивленіе, а со стороны взыскательныхъ судей легкое порицаніе въ одномъ отношеніи рисунка; о саблѣ, или, правильнѣе, о сабельныхъ ножнахъ серебряныхъ, съ изображеніемъ сраженій; сіе искусное произведеніе привлекаетъ къ себѣ безостановочно волны любопытныхъ посѣтителей, которые заранѣе приготовлены молвою любоваться имъ, по отличному совершенству отдѣлки, по трудолюбію и терпѣнію художника, употребившаго, какъ сказываютъ, шестнадцать лѣтъ на работу свою и по цѣнѣ, назначенной въ 25.000

рублей и превышающей всѣ цѣны другихъ предметовъ выставки. Металлическія издѣлія: желѣзныя, стальныя и чугунныя, удивляютъ наиболѣе чужестранныхъ посѣтителей мастерствомъ обработки и дешевизною цѣнъ. Косы, гвозди съ заводовъ Шепелевскихъ и другіе предметы съ прочихъ казенныхъ и частныхъ заводовъ, хотя и не имѣютъ за себя большинства тѣсноты въ приливахъ публики, но не менѣе того достойны они общаго вниманія и общей признательности. Тоже можно сказать и объ отдѣленіи издѣлій льняныхъ и пеньковыхъ: публика не заглядится на образцы равентуха, пестреди, полотенъ парусныхъ и другихъ, на канаты и снасти, но внимательный ревнитель пользы отечественной не пробѣжитъ мимо ихъ смиреннаго достоинства. Когда Фоксъ *) былъ на Парижской выставкѣ въ 1802 г., спѣшили обратить вниманіе его на роскошныя произведенія Ліонскихъ фабрикъ и другія богатства прихоти, вкуса и моды. „Укажите мнѣ", говорилъ онъ, „на издѣлія, коими промышленность ваша содѣйствуетъ благосостоянію простаго народа, на хорошія и дешевыя хозяйственныя орудія, одѣянія, потребности домашнія". Нѣтъ сомнѣнія, что въ самыхъ смиренныхъ началахъ скрывается истинный корень богатства государственнаго, но, при нынѣшнемъ развитіи образованности, не менѣе того и предметы праздной роскоши и самыя прихоти своенравной и перемѣнчивой моды входятъ въ область наблюденій экономиста и выводы, извлекаемые изъ оныхъ, важны для соображеній государственнаго хозяйства. Машины, физическіе и металлическіе инструменты, если также недоступны любопытному участію всей публики, то весьма важны для нѣкоторыхъ. Уже замѣчено было, что въ тѣ дни, когда выставка открыта для всѣхъ посѣтителей, то около сихъ отдѣленій тѣснѣе, нежели въ другіе дни. Смѣтливость, перенимчивость нашихъ мастеровыхъ и вообще простолюдиновъ, привычка ихъ учиться съ глаза объясняетъ это обстоятельство. Можетъ быть, симъ прогулкамъ по выставкѣ, сему курсу практическаго ученія, обязаны мы будемъ новымъ Жакартомъ, новымъ Кулибинымъ. И въ этомъ отношеніи инструменты, представленные адмиралтейскими заводами, машины,

*) Англійскій министръ.

выставленныя фабрикантомъ Гучковымъ, который съ добросовѣстностью, благонамѣренностью и просвѣщенною откровенностью, достойными уваженія и подражанія, вводитъ любопытныхъ и совмѣстниковъ въ таинства искусства своего, отличная ворсостригальная трансверсальная машина Нильсена, модели гг. Портнова и Лебедевыхъ и другія пособія изобрѣтательности и науки, приложенныя къ промышленности, важны и занимательны не только по искусству въ отдѣлкѣ, по общимъ въ нихъ потребностямъ художниковъ и всѣхъ образованныхъ людей, но и по дѣйствію и вдохновенію, которыя онѣ произвесть могутъ въ простолюдинѣ, еще не постигнувшемъ тайны назначенія своего. Москва похвалиться можетъ двумя превосходными отечественными часовщиками: Носовымъ и Толстымъ. Произведенія ученаго искусства ихъ занимаютъ почетное мѣсто въ замѣчательнѣйшихъ предметахъ нынѣшней выставки. Жаль, что представлены ими одни стѣнные часы. Недостатокъ въ карманныхъ часахъ и крайняя скудость оружейныхъ издѣлій, равно предметовъ столь общаго употребленія, замѣчается съ сожалѣніемъ въ числѣ нѣкоторыхъ другихъ промежутковъ тѣми изъ наблюдателей, которые справедливо желали бы въ выставкѣ болѣе полноты. Но для смягченія сихъ строгихъ судей, можно напомнить имъ, что нынѣшняя выставка есть только вторая въ Россіи и первая въ Москвѣ. Многаго нѣтъ, но довольно и того что есть. Насладимся настоящимъ и понадѣемся на будущее. Хотя произведенія чисто изящныхъ искусствъ и не входятъ въ составъ музея промышленности, но невозможно, и по высокости предмета, и по мастерству созданія, не упомянуть съ отличною похвалою и съ чувствомъ удивленія къ Русскимъ врожденнымъ способностямъ, о бюстѣ Государя Императора, украшающемъ главную залу выставки. Онъ работы Петра Васильева Норманова, двороваго человѣка. Имя художника сего достойно извѣстности, уваженія и живѣйшаго участія.

Въ семъ краткомъ, поверхностномъ обозрѣніи мы не обошли, а обѣжали выставку: много полезнаго пропустили безъ замѣчанія, много достойнаго извѣстности безъ упоминовенія. Слѣдуя за волнами толпы, мы болѣе согласовались съ движеніями ея

и не имѣли въ виду составленія отчета полнаго и систематическаго. Описаніе выставки, которое издано будетъ комитетомъ объ устройствѣ ея, удовлетворитъ въ этомъ отношеніи любопытству читателей, требующихъ полной и подробной статистики края, хотя и нашего, но еще мало намъ извѣстнаго. Мы на первый случай представляемъ опытъ живописной прогулки, изъ которой возвратились съ нѣкоторыми наблюденіями, многими впечатлѣніями и живыми чувствами удовольствія и признательности.

LIII.

О МОСКОВСКИХЪ ПРАЗДНИКАХЪ ПО ПОВОДУ МАНУФАКТУРНОЙ ВЫСТАВКИ, БЫВШЕЙ ВЪ МОСКВѢ.

1831.

11 и 20 іюня даны были въ Москвѣ два пиршества, достойныя сохраниться въ памяти Московскихъ жителей: первое членами комитета выставки и отдѣленій мануфактурнаго и коммерческаго совѣтовъ, другое фабрикантами, участвовавшими въ Московской выставкѣ. Замѣчательная по успѣху, который превысилъ общее ожиданіе, важная по неминуемымъ послѣдствіямъ своимъ въ будущемъ, выставка была такимъ занимательнымъ событіемъ, такимъ необыкновеннымъ мирнымъ торжествомъ, близкимъ сердцу истиннаго патріота, что она должна была быть празднована общественною признательностію. Въ утѣшительное знаменіе, что частныя выгоды у насъ не отчуждаютъ другъ отъ друга государственныхъ сословій, что преданность къ правительству, любовь къ просвѣщенію и къ народной пользѣ соединяютъ въ единодушное цѣлое отдѣльные члены общества, выставка, которая по благопріятному случаю была учреждена въ домѣ благороднаго собранія, была такимъ же благопріятнымъ случаемъ празднована въ свою очередь въ домѣ купеческаго собранія. Въ хорошо расположенныхъ и красиво цвѣтами и деревьями убранныхъ залахъ его были накрыты обѣденные столы на многолюдное собраніе. Первѣйшія городскія власти, фабриканты изъ купеческаго и дворянскаго званій, Русскіе и

чужеземные, ремесленники, лица, участвовавшія въ устройствѣ выставки, и нѣсколько почетныхъ жителей Московскихъ составляли единомысленное, многочисленное семейство, которое собиралось на праздники Русской промышленности. Праздники сіи одушевлены были присутствіемъ начальника Москвы, коему выставка такъ много обязана за свои успѣхи и коего благонамѣренныя и просвѣщенныя попеченія такъ положительно, такъ постоянно содѣйствуютъ развитію Московской промышленности и многимъ усовершенствованіямъ гражданственности и общежитія.

Пиры сіи имѣли такъ сказать два свойства: одно существенное, другое относительное. По первому, они были совершенно удачно исполнены, и если поваренное дѣло есть не только необходимое ремесло, но можетъ въ высшихъ примѣненіяхъ своихъ быть причтено и къ числу *изящныхъ художествъ*, то неблагодарно было бы не замѣтить что оба обѣда достойны были своего мануфактурнаго назначенія. Великолѣпіе, роскошь, устройство ихъ были совершенно праздничныя. Между прочимъ, господствовавшее на нихъ обиліе скороспѣлыхъ плодовъ, принадлежащихъ также къ особенной характеристикѣ Московской промышленности, могло бы убѣдить иностранцевъ, что преждевременная зрѣлость есть не только отличительное свойство нашей нравственной, но и физической природы. Относительное достоинство обѣдовъ было еще замѣчательнѣе и удовлетворительнѣе. Они были прекрасною вывѣскою нашего образованнаго общества. Побудительная мысль ихъ, цѣль, смѣшеніе людей разнаго званія, чуждыхъ другъ другу по личнымъ отношеніямъ, но единомышленниковъ, но сочувствующихъ вмѣстѣ по любви къ пользѣ общественной и заслугамъ, приносимымъ ей, всѣ сіи примѣты истинной и зрѣлой гражданственности придавали Московскимъ пиршествамъ совершенно Европейскій оттѣнокъ. Тѣмъ не менѣе одушевлены онѣ были отличительно Русскими чувствами: громогласныя, задушевныя ура, которыя сопровождали заздравные тосты, подносимые въ честь державному виновнику празднуемаго событія и потомъ ревностнымъ исполнителямъ благодѣтельныхъ намѣреній его, имѣли звучные отголоски въ

сердцахъ истинно Русскихъ. Сердце сердцу вѣсть даетъ — говорили наши предки: попадѣемся, что пламенныя желанія, что усердные обѣты, въ сей день произнесенные, отзовутся далеко по обширной Россіи; попадѣемся, что услышитъ и благословитъ ихъ всеблагое Провидѣніе.

Замѣчательно и то, что на сихъ празднествахъ Русской промышленности не была позабыта и отечественная литература, которая также цвѣтущая вѣтвь нравственной промышленности народа. Просвѣщенные Московскіе фабриканты предложили заздравный кубокъ въ честь присутствовавшаго И. И. Дмитріева, старѣйшины Русскаго Парнасса. Осушенъ былъ также кубокъ и въ память Карамзина, которому Русскій языкъ обязанъ своимъ усовершенствованіемъ, а Москва была нѣкогда обязана своею литературною славою и который первый ввелъ въ общее употребленіе слово промышленность, получившее право гражданства на языкѣ и въ понятіи народномъ.

LIV.

ТАРИФЪ 1822 ГОДА,

или:

ПООЩРЕНІЕ РАЗВИТІЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ ОТНОШЕНІИ КЪ БЛАГОСОСТОЯНІЮ ГОСУДАРСТВЪ И ОСОБЕННО РОССІИ.

1834.

Каждая эпоха имѣетъ свой отличительный характеръ, не тотъ, который придается ей современными страстями и заблужденіями: сей характеръ есть недугъ преходящій, означающій переломъ изъ одного возраста въ другой, но не самый характеръ того возраста. Характеромъ должно назвать только тѣ свойства эпохи, которыми она совершаетъ успѣхи на поприщѣ образованности и народнаго благосостоянія. Успѣхи сіи передаются залогами дальнѣйшихъ пріобрѣтеній изъ одного поколѣнія въ другое и могутъ служить вѣхами на пути человѣчества, стремящагося къ цѣли, назначенной Провидѣніемъ, къ цѣли усовершенствованія. Если нужно съ сей точки зрѣнія опредѣлить характеръ эпохи нашей, то мы назовемъ ее эпохою практическаго или положительнаго просвѣщенія, то есть всеобъемлющей промышленности и примѣненія открытій и силъ ея къ пользамъ общественнаго и частнаго благосостоянія. На сей стезѣ встрѣчаются и, съ бо̀льшимъ или меньшимъ успѣхомъ, взаимно содѣйствуютъ усилія правительствъ и народовъ. Здѣсь Россія и Англія, Франція и Пруссія, каждая въ кругу, ей соразмѣрномъ, равно слѣдуютъ благотворному движенію, какъ

впрочемъ ни разнородны существенныя стихіи ихъ государственнаго бытія и коренныя условія ихъ могущества, благоденствія и славы. Политическія грядущія судьбы Европы и образованнаго міра неизвѣстны. Событія приготовляются людьми, но созрѣваютъ волею единаго Провидѣнія. Можетъ быть таится еще много непредвидимыхъ жребіевъ въ темной урнѣ современной судьбы; можетъ быть еще изъ нѣдра многихъ бурь и потрясеній долженъ возникнуть общій порядокъ; но успѣхи, совершенные духомъ предпріимчиваго трудолюбія, духомъ промышленности, не погибнутъ въ ошибкѣ страстей и событій. Они останутся навсегда началомъ новой достопамятной эры въ исторіи общественной гражданственности. Посмотримъ не только около себя, нѣтъ, слава Богу, у насъ примѣры не были бы достаточно убѣдительны и противуположность не озарила бы яркимъ свѣтомъ справедливости нашихъ замѣчаній, обратимъ наши взоры далѣе, туда, гдѣ раздоръ междоусобныхъ мнѣній, гдѣ неистовство страстей, безуміе необузданныхъ ученій въ ежедневномъ состязаніи играютъ участью народа и готовы для минутнаго торжества своихъ выгодъ ниспровергнуть общее благоденствіе.

Тамъ увидимъ мы, что въ самомъ противоборствѣ понятій и упованій есть однако же одно единомысленное стремленіе къ пользѣ положительной, къ извлеченію изъ природы всѣхъ пособій, кои ввѣрены ею рукою Создателя въ достояніе человѣка. Общеполезныя открытія слѣдуютъ одно за другимъ. Природа преслѣдуема алчнымъ и допытливымъ умомъ въ послѣднихъ ущеліяхъ своихъ, извѣдана въ сокровеннѣйшихъ свойствахъ, измѣрена въ глубочайшихъ тайникахъ. Никогда торжество человѣка надъ нею не было запечатлѣно столь вѣрными и блестящими слѣдами. Прежде умъ человѣческій присвоивалъ себѣ по одному завоеванію въ два, три столѣтія и долго не могъ покорить его совершенно господству своему: оно выбивалось изъ рукъ его и оставалось безъ примѣненія и безъ послѣдствій.

Нынѣ каждое завоеваніе ведетъ непосредственно къ другому. Умъ входитъ въ права собственности съ мѣста и съ боя, налагаетъ на нее вооруженную руку и собираетъ безпрекослов-

ную дань. Жатва пріобрѣтеній служитъ вмѣстѣ и удовлетвореніемъ насущной потребности, и посѣвомъ для будущей жатвы. Внѣ сферы отвлеченныхъ покушеній, всѣ усилія, всѣ соображенія натянуты къ одной цѣли, а именно, жизнью искуственною, добытою просвѣщенными трудами, удвоить, утроить, удесятерить способы жизни естественной, расширить границы времени, уменьшить нждивенія и умножить послѣдствія, однимъ словомъ довершить дѣло природы изысканіями ума, которому данъ ключъ ко всѣмъ ея таинствамъ, подлежащимъ нашему вѣдѣнію. Сколь умозрительныя покушенія и мудрствованія современной дѣятельности сбивчивы и нерѣдко лживы въ своемъ безпокойномъ стремленіи, столь напротивъ надежны и плодовиты въ послѣдствіяхъ своихъ опыты, изысканія, имѣющія цѣлію пользу ясную и положительную. Провидѣніе какъ будто хочетъ показать въ сей противоположности то, что человѣкъ можетъ исполнить самъ собою и то, въ чемъ долженъ онъ покорять себя силѣ, свыше надъ нимъ господствующей. Оно напоминаетъ ему, въ чемъ онъ истинно могущъ и проницателенъ и то, въ чемъ онъ ограниченъ и слабъ, напоминаетъ, что онъ опредѣленъ дѣйствовать, но что въ одномъ онъ самъ дѣйствующее лицо, а въ другомъ только орудіе.

И за то какой рядъ чудесъ открывается предъ любопытнымъ взоромъ. Земля оковывается желѣзными колеями; удобство и быстрота сухопутныхъ сообщеній не стѣснены своенравіями почвы, или измѣнчивостью непогодъ. Новымъ замысломъ человѣкъ вторично покоряетъ себѣ непостоянную и бурную стихію. Освободившись отъ самовластія вѣтровъ, онъ руководствуется дѣйствіемъ, зависящимъ отъ собственной воли, миритъ двѣ враждебныя стихіи, или сіе же самое дѣйствіе обращаетъ на сухопутныя суда, которыя катятся безъ лошадей, по движенію, такъ сказать, одной мысли. Всеобъемлющее слово таинственнаго языка скоропостижно передается, и одинъ край Европы молча откликается съ другимъ въ часы рѣшительныхъ событій и великихъ ожиданій. Мало того, что всевластною волею человѣка поверхность земли исчерчена во всѣхъ направленіяхъ, естественныхъ и противоестественныхъ, тамъ, гдѣ встрѣчается

преграда его стремительному шествію, онъ врывается въ самыя нѣдра земли и уготовляетъ безпрепятственную дорогу запасамъ своихъ трудовъ и предпріятіямъ своей торговли. Дайте срокъ, дайте капиталовъ — и потянутся торговые обозы подъ сводомъ рѣкъ, заслоняющимъ человѣку сводъ небесъ съ солнцемъ своимъ, уже ему ненужнымъ. Быстрота сообщеній между отдаленными краями, между одною гемисферою и другою пополняетъ важное изобрѣтеніе письменнаго искусства. Благодаря ему, мы сочувствуемъ съ столѣтіями, давно павшими въ бездну ничтожества, и захватываемъ мыслью вѣка, еще таящіеся въ лонѣ грядущаго. Симъ новымъ изобрѣтеніемъ обязаны мы за сближеніе разноплеменныхъ жителей пространнаго міра. Промышленность, торговля и современныя открытія соединили разбросанные члены Божьяго семейства, которые безъ нихъ остались бы навсегда чужды другъ другу.

Но кромѣ сихъ геркулесовскихъ подвиговъ, сихъ чудесъ человѣческой предпріимчивости, изумляющихъ насъ обиліемъ и объемомъ послѣдствій своихъ, сколько еще частныхъ, ежедневныхъ, повсемѣстныхъ благодѣяній, утѣшающихъ испытующій взоръ наблюдателя въ ограниченномъ кругѣ полезнаго движенія. Давно ли гражданская дѣятельность сосредоточивалась въ однихъ городахъ, требуя значительныхъ поощреній, стеченія благопріятныхъ пособій и многолюдства? Нынѣ она не укрывается за твердынею городскихъ стѣнъ, а разливается по пустынямъ, по деревнямъ и требуетъ одного законнаго охраненія, одной свободы дѣйствія. Тамъ, гдѣ дѣятельный умъ промышленника находитъ на пути своемъ рѣчку, лѣсъ, руду каменнаго угля, нѣсколько рукъ, неоплаченныхъ за трудъ свой щедростію почвы, тамъ и открывается поприще для его полезныхъ подвиговъ. Промышленность водружаетъ свое благовѣщающее знамя: подъ сѣнію его разгарается свѣтильникъ полезныхъ свѣдѣній, образуется общежитіе, возникаетъ просвѣщеніе, развиваются умственныя силы человѣка и указывается имъ цѣль, достойная ихъ испытаній и стремленія. Въ семъ отношеніи дѣйствуетъ она и на самую нравственность общества, признавшаго власть ея. Напрасны лжеумствованія тѣхъ, которые порочатъ промышленность

за направленіе ума человѣческаго къ цѣли исключительно вещественной, почитая направленіе сіе униженіемъ возвышеннаго назначенія его. Изъ того, что промышленность имѣетъ всегда готовыя возмездія для трудовъ, въ пользу ея понесенныхъ, что она не требуетъ отъ ревнителей самоотверженія безкорыстнаго, еще не слѣдуетъ, чтобы она была дѣломъ одного личнаго разсчета.

Промышленность есть наука преимущественно общественная и человѣколюбивая. Въ ней частная польза есть неотдѣльное звено пользы общей, рычагъ, которымъ можно дѣйствовать на благосостояніе народное. Обхватывая всеобъемлющимъ вліяніемъ своимъ всѣ ступени общества и непосредственно нижайшія, она, по мѣрѣ силъ своихъ, возвышаетъ человѣка, улучшивая положеніе его. Трудъ есть завѣтное условіе физической и нравственной природы нашей. Владѣя средствомъ добывать изученнымъ трудомъ пропитаніе свое и обезпечивать нужды семейства, человѣкъ исполняетъ предназначеніе свое и можетъ пользоваться благомъ жизни. Въ такомъ положеніи онъ будетъ въ миролюбивомъ сочувствіи съ порядкомъ, его окружающимъ, съ законами, ему предписанными. Въ бѣдности, въ неподвижности, въ немощи физической и умственной праздности онъ не борется съ жизнью, а подавленъ ею, онъ не доволенъ, ропщетъ, и отъ ропота готовъ, при первомъ случаѣ, перейти къ насильству. Нужды и скорби — непадежныя поруки въ нравственности. Человѣку, въ силу законовъ возвышенной природы его, не довольно, когда ему хорошо: онъ еще безпрерывно ищетъ лучшаго. Въ семъ непостоянствѣ хранится залогъ и земнаго усовершенствованія его, и безсмертія души. Повинуется ли онъ благоразумію? Онъ въ стремленіи къ лучшему не жертвуетъ хорошимъ, которое уже его, но и не отвергаетъ надежды, ибо умственная природа его есть возрастающая. Промыселъ одарилъ и нѣкоторыхъ животныхъ творческою дѣятельностью, передъ которою наша смиряется въ изумленіи; но дѣятельность сія не имѣетъ развитія и приращенія. Поглощенная настоящимъ, она не носитъ въ себѣ залога грядущаго. Какъ ни изумительны труды строительнаго и общежительнаго бобра, пчелы, созидающей свое прочное и кра-

сивое зданіе, но каковы были труды сіи въ первые дни творенія, таковы и нынѣ, послѣ многихъ тысячелѣтій, таковы будутъ и до окончанія вѣковъ. Въ человѣкѣ дѣятельность есть нравственное побужденіе, слѣдовательно и благонамѣренное направленіе ея должно непосредственно или косвенно обратиться въ пользу и самой нравственности. Заключать иначе было бы клеветать на Провидѣніе. Человѣкъ хозяинъ природы и чѣмъ лучше устроиваетъ онъ свое хозяйство, чѣмъ болѣе извлекаетъ онъ пользы изъ него, тѣмъ вѣрнѣе исполняетъ онъ свое земное предназначеніе.

Нигдѣ примѣненіе сихъ началъ не можетъ быть столь удобно и полезно какъ въ Россіи. Россія во многихъ отношеніяхъ еще новый міръ. Онъ долженъ быть разработанъ промышленностью. Обозрите умственнымъ взглядомъ статистику Россіи: обширность государства, разнообразіе климатовъ, народонаселеній, языковъ, вѣроисповѣданій, правовъ, правъ, понятій. Вникните въ сіе не столько соединеніе, сколько смѣшеніе исторической древности съ молодостію гражданственною, которая не отпрыскъ столѣтняго корня, а свѣжая въ полномъ цвѣтѣ прививка къ нему. Изслѣдуйте неравенство въ успѣхахъ гражданственности ея, такъ, что одно званіе отъ другаго, одна губернія отъ другой отдѣлены не столько политическими правами и поверстными разстояніями, сколько столѣтіями въ образованности, и скажите потомъ, легко ли подвести сей міръ, сплоченный изъ противорѣчій, подъ одинъ общій законъ просвѣщенія? Можно ли требовать отъ сего державнаго великана, мужа и отрока въ одно время, полнаго согласія и единства въ проявленіи нравственныхъ и умственныхъ силъ? Но за то Россія тѣмъ доступнѣе къ принятію практическаго просвѣщенія, которое и скорѣе водворяется, и зависитъ болѣе отъ воли и способовъ правительства. Нравственное и политическое образованіе государства не можетъ быть нечаяннымъ событіемъ, выраженіемъ одной мысли. Напротивъ, народное благоденствіе, основанное на прямыхъ началахъ практическаго просвѣщенія, есть часто ускоренный, но зрѣлый плодъ благовременно изданнаго коммерческаго постановленія, нѣкоторыхъ правъ, законныхъ поощреній, дарованныхъ

промышленности и торговлѣ, согласно съ истинными потребностями и выгодами народа и казны. Въ этомъ отношеніи правительство можетъ дѣйствительно преобразовать бытіе государственное въ извѣстный срокъ. Оно можетъ ежегодно повѣрять счастливыя послѣдствія принятыхъ имъ мѣръ, обозрѣвая обогащающіеся и возникающіе города, обстроенныя села, пристани, обставленныя судами своими и заграничными, пути и рынки, оживленные дѣятельностію народною. Оно можетъ видѣть, какъ благодѣянія довольства разливаются по всѣмъ ступенямъ общежитія, какъ искореняется невѣжество и какъ народъ мужаетъ и бодрствуетъ въ успѣхахъ трудолюбія, какъ утверждается производительная независимость государства, опора и ручательство независимости политической.

Вопросъ: такой-то державѣ не лучше ли быть исключительно земледѣльческою, другой мануфактурною, третьей торговою?— давно разрѣшенъ на дѣлѣ и принадлежитъ къ пустымъ умствованіямъ теоріи. Природа опредѣлила лучшія границы сего вопроса, одаривъ каждое государство особенными ему преимуществами. Ни одно государство не можетъ соединять въ себѣ всѣ роды промышленности, это неоспоримо; но изъ правила, что безразсудно было бы поставить себѣ цѣлію пересадить на сѣверъ, напримѣръ, отрасль винодѣлія, или на югъ промышленность пеньки и желѣза, нельзя же вывести заключенія, что такому то народу не должно обращаться къ промышленности, потому что всѣ предметы обработыванія не находятся у него подъ руками. Строгое раздѣленіе работъ полезно въ частной дѣятельности, но оно несбыточно въ примѣненіи къ народамъ. Смѣшно раздѣлить родъ человѣческій на цеха, и изъ уваженія къ школьному правилу не позволить одному разряду вмѣшиваться въ ремесло другаго, или разставить народы, какъ роговой оркестръ, и осудить каждаго, изъ опасенія разстроить общее согласіе, брать всегда одну ноту и испускать одинъ звукъ. Во всякомъ случаѣ сей вопросъ уже никакъ нейдетъ къ Россіи. Въ ней есть время и мѣсто для всего, опредѣлительныя, готовыя системы ей, благодареніе Богу, не по росту. Какъ ни растягивай ихъ, онѣ ея не обхватятъ. Все съ какого-нибудь края,

но выдается она изъ положенной мѣрки. Земледѣльческая въ одной полосѣ своей, мануфактурная въ другой, торговая по рубежамъ своимъ, сухопутнымъ и водянымъ, опоясывающимъ полъ міра, она стоитъ лицомъ на всѣ четыре стороны, сѣетъ и жнетъ, куетъ и тчетъ въ обѣ руки и, сидя у моря, ждетъ вѣтра, куда послать свои запасы. Къ тому же, на всякій случай и повсемѣстно ратная, во всеоружіи съ ногъ до головы, всегда готовая на вызовъ дерзновеннаго доказать ему, что, въ числѣ другихъ промышленностей и въ застрахованіе всѣхъ прочихъ, есть у нея изъ чего выбивать штыки и кому ими дѣйствовать. Таковою создалъ ее въ началѣ Богъ, а потомъ Петръ. Такъ промышленность наша есть также дочь Полтавской битвы и повсемѣстница всѣмъ другимъ отраслямъ нашей гражданственности и государственной независимости. Довольно и сихъ правъ ея на уваженіе наше. Живоначальное имя Петра сопряжено со всѣми успѣхами нашими на поприщахъ ратномъ и мирномъ. Куда ни пойди въ Россіи, вездѣ отыщешь глубокіе, путеводительные слѣды богатырской его ноги, до чего ни дотронешься, нигдѣ еще не остыло впечатлѣніе мощной и пламенной руки его.

Не смотря на справедливость сихъ соображеній въ общемъ объемѣ и на примѣненіе ихъ въ особенности къ Россіи, нельзя не сознаться, что развитіе промышленности и охраненіе ея соотвѣтственными постановленіями правительства встрѣчаютъ между нами еще много противниковъ. Многіе не вполнѣ довѣряютъ пользѣ, которою охранительная система принесла Россіи, и многіе худо понимаютъ эту пользу. Тарифъ 1822 года, какъ государственное постановленіе и начало новой эры въ преспѣяніи Россіи, не всѣми еще оцѣненъ по истинному своему достоинству.

Многіе, видя въ немъ одно коммерческое учрежденіе, и слѣдовательно одно стѣсненіе привозной торговли, возстаютъ противъ него, какъ противъ нарушенія свободы торговли, проповѣдуемой во многихъ книгахъ, со многихъ профессорскихъ каѳедръ и даже иногда исповѣдуемой всенародно министрами съ ораторскихъ амвоновъ своихъ, но никогда и нигдѣ не приведенной въ дѣйствіе вполнѣ и неограниченно. Каждый та-

рифъ, какъ-бы ни былъ онъ либералевъ, имѣетъ свои исключенія, на которыя сосѣди въ правѣ жаловаться. Ничего нѣтъ упрямѣе предубѣжденій и полуученыхъ понятій: дѣйствительность скользитъ по нимъ, и не въ силахъ поколебать ихъ. Не мѣсто разбирать здѣсь во всей подробности систему о свободѣ торговли. Не мѣсто доказывать, что она нигдѣ вполнѣ не существовала и существовать не можетъ, равно какъ и запретительная система. Извѣстно, что та и другая нарушаются всегда изъятіями изъ общихъ правилъ и что, слѣдовательно, нѣтъ нигдѣ ни совершенной свободы, ни совершенной запретительности. Весь вопросъ заключаться можетъ въ томъ: согласно-ли съ потребностями своего государства правительство разрѣшаетъ или запрещаетъ ввозъ, или отпускъ такого-то предмета, или не во вредъ ли выгодамъ его насильственно поощряетъ совершеннымъ запрещеніемъ или непомѣрно высокими пошлинами такую-то отрасль отечественной промышленности, или, напротивъ, предаетъ ее на погибель, допуская нарушительное совмѣстничество иностранное. Важность сихъ соображеній несомнительна, но тутъ нѣтъ и быть не должно принято въ уваженіе святость той или другой системы, а одно извѣданіе истиннаго положенія способовъ и промышленности того государства, о коемъ идетъ рѣчь. Сіе положеніе измѣняется обстоятельствами и временемъ: та отрасль, которая въ извѣстной эпохѣ требовала охранительнаго запрещенія, можетъ послѣ допустить разрѣшеніе и наоборотъ.

Не входя въ подробное изслѣдованіе различныхъ торговыхъ системъ, измѣнявшихъ по временамъ ходъ промышленности и торговли въ Россіи, можно замѣтить съ достовѣрностью, что еще со временъ Императрицы Екатерины II начали усиливаться у насъ мѣры запретительной или охранительной системы.

Позднѣе же двѣ противоположныя крайности: временное введеніе строгой континентальной системы и правила такъ называемой системы свободной торговли, превозглашенныя тарифомъ 1819 года, не могутъ быть приняты въ соображеніе при изслѣдованіи помянутаго вопроса: та и другая мѣра была случайною и неизбѣжною данью обстоятельствамъ.

Внѣшняя политика, а не внутренняя польза государства, была въ обѣихъ эпохахъ побудительною виновницею предпринятыхъ мѣръ. Въ первой желѣзная власть Наполеона тяготѣла надъ Европою. Россіи нужно было, до вступленія въ рѣшительную борьбу, выгадать нѣсколько времени, и дальновидною уступчивостью отсрочить часъ битвы. Во второй умы, народы, правительства, выгоды общія и частныя, долго сжатыя и скованныя, или дѣйствовавшія не по собственному произволу и не для пользы, а всегда въ силу закона необходимости,—вдругъ сверглп иго, на нихъ лежавшее. Европа праздновала свое примиреніе и свободу. Тарифъ 1819 года былъ памятникомъ торжества сего и плодомъ трактатовъ, вслѣдствіе того возникшихъ. Онъ былъ родъ жертвоприношенія на алтарь мира, дѣйствіе великодушнаго самоотверженія со стороны Россіи. Она не только не требовала возмездія за подвигъ общаго спасенія, но даже отказывалась отъ принадлежащей ей доли въ дѣлежѣ общихъ выгодъ, на которую событія и рѣшительное участіе ея въ оныхъ давали ей неоспоримое право. Но празднующимъ днямъ нужно было постановить предѣлъ. Иначе Россія слишкомъ дорого заплатила бы за торжество свое, и пришлось бы ей жалѣть о времени континентальной системы. Упадокъ нашихъ мануфактуръ, общее оцѣпенѣніе народной дѣятельности, непомѣрное наводненіе нашихъ рынковъ иностранными издѣліями, которыя болѣе задерживали, нежели оживляли ходъ самой торговли, а между тѣмъ возникающее вредное противодѣйствіе за границею, стѣсняющее сбытъ нашихъ произведеній, побудило правительство обратить заботливое вниманіе на истинныя потребности государства.

Сіи соображенія дали жизнь тарифу 1822 года. Сей нечаянный переломъ изъ одной системы въ другую изумилъ и испугалъ многихъ. Умы, порабощенные еще свѣжимъ впечатлѣніемъ, затвердившіе со слуха извѣстное правило поборниковъ свободной торговли: дайте волю и дайте дорогу (laissez faire et laissez passer), завопили громогласно. Плачевныя пророчества угрожали Россіи неминуемымъ и скорымъ разореніемъ. Тарифъ сей—смертный приговоръ торговлѣ нашей, говорили они: ино-

странцы не станутъ покупать произведенія наши, потому что лишены средствъ продавать намъ свои! Они насъ не будутъ пускать къ себѣ, отплачивая намъ за отказъ въ гостепріимствѣ. Какъ будто торговля дѣло вѣжливости и народы считаются визитами! Какъ будто не одинъ законъ выгоды опредѣляетъ торговыя сношенія!

Высокая пошлина не столько побужденіе къ собственному производству, сколько соблазнъ къ тайному провозу,—продолжали они. Казна лишится таможеннаго дохода и принуждена будетъ прибѣгнуть къ усиленію налоговъ, чтобы прикрыть недоимки! Отстраненіе совмѣстничества иностранцевъ поразитъ неподвижностію успѣхи нашей мануфактурной и ремесленной промышленности! Послѣдствіемъ того будетъ монополія въ пользу нѣсколькихъ капитальныхъ мануфактуристовъ, во вредъ потребителямъ, во вредъ различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, всѣмъ выгодамъ помѣщиковъ и вообще всему народному благосостоянію! Таковы были общіе вопли.

Положимъ еще, что подобныя предвѣщанія могли встрѣтить тарифъ при его появленіи. Одно правительство имѣетъ средство объять общія выгоды и, извѣдавъ свойства и потребности ихъ, вывести заранѣе полное о нихъ заключеніе, и на немъ основать свои мѣры. Частныя мнѣнія, односторонніе взгляды, при всемъ безпристрастіи соображеній, не могутъ ясно судить до времени и до удостовѣренія опыта. Но не странно ли слышать еще и нынѣ отъ многихъ тѣ же толки и тѣ же задиимъ числомъ пророчества? Тарифъ уже выдержалъ двѣнадцатилѣтнее испытаніе. Сіи годы не всѣ были годами мира и благопріятныхъ обстоятельствъ.

Въ 1824 году было наводненіе въ Петербургѣ: снисходя къ потерямъ, понесеннымъ купечествомъ при этомъ бѣдствіи, правительство уступило однѣхъ пошлинъ около четырехъ милліоновъ рублей.

Въ 1826 и 1827 годахъ война съ Персіею прекратила торговлю на Каспійскомъ морѣ и во всемъ Закавказскомъ краѣ.

Война съ Турціею въ 1828 и 1829 годахъ имѣла тоже

дѣйствіе на торговлю по морямъ Черному и Азовскому и въ Бессарабіи.

Въ 1829, 1830 и 1831 годахъ холера держала Россію въ осадѣ, свирѣпствуя во многихъ ея областяхъ. Вторженіе подобнаго непріятеля и долгое пребываніе его въ нѣдрахъ имперіи должны были имѣть пагубное и повсемѣстное вліяніе на обороты торговли, какъ внутренней, такъ и внѣшней.

Въ 1831 и 1832 годахъ возстаніе Польши, война съ нею и безпокойства въ западныхъ губерніяхъ задержали въ тѣхъ мѣстахъ всѣ торговыя дѣла.

Наконецъ въ 1833 году неурожай во многихъ губерніяхъ Россіи прекратилъ отпускъ хлѣба за границу. Сіе вредное дѣйствіе на одну изъ главнѣйшихъ отраслей отпускной торговли нашей должно было имѣть неблагопріятное отраженіе и на всѣ другія, а равно и на требованіе иностранныхъ товаровъ.

Между тѣмъ и Европа въ продолженіе сего періода подвергнута была различнымъ потрясеніямъ, которыя болѣе или менѣе отзывались и въ движеніяхъ общей торговли. Европейскій миръ не былъ нарушенъ повсемѣстнымъ возстаніемъ къ оружію, но сохраненіе вооруженнаго мира отвлекаетъ вниманіе правительства и капиталы отъ пользы промышленности и торговли. Мятежи, междоусобія, ниспроверженіе династій и восшествіе другихъ, съ измѣненіемъ въ правилахъ государственныхъ, съ перемѣною политическихъ союзовъ и симпатій, отторженіе областей отъ метрополныхъ державъ своихъ, нѣсколько политическихъ тяжбъ, долговременно ожидающихъ рѣшенія, всѣ сіи обстоятельства, дѣйствуя на движеніи фондовъ, на предпріятія частныхъ людей, на общую довѣренность и безопасность, коихъ требуетъ торговля, не могли не имѣть хотя издалека и косвенно вліянія и на торговыя судьбы Россіи.

Не смотря на то, Россія, пораженная въ разныхъ концахъ своихъ бѣдствіями, ее постигшими, Россія воюющая, Россія, опустошаемая заразою, Россія, расторгнутая въ исполинскомъ единодержавіи своемъ временнымъ отъ общаго порядка отпаденіемъ многихъ областей своихъ, Россія, Провидѣніемъ поставленная стражемъ Европейскихъ выгодъ, и, слѣдовательно, всегда

готовая державною силою уравновѣсить волнующіяся судьбы ея, Россія, подъ сѣнію охранительной системы тарифа своего, подвигалась безостановочно въ возрастающемъ стремленіи своемъ на стезѣ государственнаго благосостоянія. Промышленность и торговля выдержали опытъ сихъ годинъ пожертвованій, кровавой борьбы и внѣшнихъ заботъ. Заключенія сіи не гадательныя, не умозрительныя: они очевидны и осязательны. Фабрики наши и ремесла умножаются: успѣхи ихъ были представлены на всенародный судъ на трехъ выставкахъ. Отпускная торговля наша усиливается, и, слѣдовательно, приноситъ пользу земледѣлію и сельскому хозяйству. Привозная возрастаетъ, и, что достойно замѣчанія и поощренія, особенно въ такихъ предметахъ, кои необходимы для нашихъ фабрикъ. Слѣдовательно, здѣсь соединяется совокупная выгода сохраненія взаимства въ отношеніи къ заграничной торговлѣ и покровительства народной промышленности, въ чемъ заключается главная тайна всякаго благонамѣреннаго тарифа. Таможенные доходы значительно возрастаютъ; слѣдовательно, казна обогащается и двоякое назначеніе тарифа, какъ закона поощрительнаго для промышленности и закона финансоваго, вполнѣ достигнута. Вексельные и денежные курсы не только удерживаются, но удовлетворительнымъ образомъ улучшаются. Всѣ эти результаты на лицо. Это не отвлеченныя истины, а цифры, а факты, доступные понятію и повѣркѣ каждаго. Правительство не скрываетъ ихъ въ тайнахъ кабинета: они обнародываются въ достовѣрныхъ документахъ. Виды торговли, отчетъ кредитныхъ установленій, Коммерческая газета передаютъ ихъ во всеобщее свѣдѣніе. Гласность дѣйствій—лучшая порука ихъ несомнительности.

Теперь, чтобы вывесть полное заключеніе изъ всего сказаннаго выше, пересмотримъ краткимъ обозрѣніемъ дѣйствія внѣшней торговли съ 1824 по 1834 годъ, для доказательства, что за удовлетворительные сіи итоги мы обязаны системѣ, которой правительство постоянно слѣдовало въ теченіе десяти лѣтъ, сравнимъ ихъ съ предъидущимъ десятилѣтіемъ. Не забудемъ притомъ, что сіе предъидущее десятилѣтіе было точно періодомъ мира и благопріятной тишины. Послѣ того разсмотримъ поверх-

ностно, какъ система сія дѣйствовала на таможенное управленіе и вообще споспѣшествовала государственному благоустройству. Въ дѣлѣ государственнаго управленія никакая часть онаго не можетъ оставаться совершенно отдѣльною: улучшенія въ одной благопріятствуютъ всѣмъ другимъ; особенно же, когда сія часть, подобно таможенной, сосредоточиваетъ въ себѣ столько разнородныхъ выгодъ, выгодъ частныхъ и казны, внутреннихъ и внѣшнихъ, вещественныхъ и чисто нравственныхъ, настоящихъ и будущихъ.

Съ 1824 по 1834 годъ привезено иностранныхъ товаровъ на . . . . . 1.951.844.619 р.
Съ 1814 по 1824 годъ на . . . . . 1.646.901.710 —

Болѣе на . . 304.939.909 р.

Примѣчаніе. Какъ цифры вдѣсь сами по себѣ ни убѣдительны и ни даютъ благопріятный результатъ, но, вникнувъ въ нихъ, какъ въ представителей цѣнностей и дѣйствій торговли, мы извлечемъ изъ нихъ результаты еще болѣе достойные замѣчанія и одобренія. Когда наши мануфактуры и ремесла не были ограждены охранительнымъ тарифомъ отъ опаснаго соперничества иностранцевъ, тогда привозъ сырыхъ матеріаловъ былъ весьма ограниченъ. Привозная торговля не питала народнаго трудолюбія, не давала капиталамъ Русскимъ двойнаго оборота: торговаго и промышленнаго. Она ихъ поглощала. Нынѣ видимъ совершенно противное: привозная торговля, изъ враждебной совмѣстницы, сдѣлалась союзницею отечественной промышленности.

Слѣдующая вѣдомость изложитъ главнѣйшія тому доказательства:

	Привезено:		
	съ 1824 г. по 1834 г.	съ 1814 г. по 1823 г.	въ послѣдующее десятилѣтіе болѣе или менѣе.
Бумаги хлопчатой пудовъ	1.002.669	551.138	451.531
— пряденой	4.467.915	1.976.453	2.491.462
Шелка	130 354	137.664	7.310 [1]
Шерсти тонкой	109.012	73.045	35.967

[1] Привозъ шелка изъ за-границы уменьшился отъ увеличившагося употребленія Грузинскаго шелка.

	Привезено:		
	съ 1824 г. по 1854 г.	съ 1814 г. по 1823 г.	въ послѣднее десятилѣтіе болѣе или менѣе.
Индиго	208.675	154.187	54.188
Кошенили	30.802	12.791	18.011
Краска и марены	552.271	388.723	163.548
Сандала и дерева для окрашенія .	3.577.501	1.664.795	1 912.706
Сахарнаго песку	12.328.846	7.787.982	4.540.864
Инструментовъ и машинъ, цѣна р.	9.552.820	7.295.227	2.257.593

Бумажныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ и прочихъ красильныхъ и набивныхъ фабрикъ и сахарныхъ заводовъ въ Россіи было въ 1823 году 1205, а 1832 году 1567. Въ теченіе девяти лѣтъ число ихъ увеличилось на 362. Въ семъ отношеніи держались мы послѣдне-собранныхъ достовѣрныхъ свѣдѣній. Но нѣтъ сомнѣнія, что въ послѣдніе два года *цифра* сія не понизилась, а, напротивъ, нѣсколько поднялась. Если усиленный привозъ сырыхъ матеріаловъ доказываетъ процвѣтаніе нашей народной дѣятельности, то привозъ нѣкоторыхъ другихъ товаровъ служитъ несомнѣннымъ признакомъ, что народные капиталы у насъ не приходятъ въ истощеніе, что благосостояніе разливается по разнымъ ступенямъ общества и роскошь находитъ чѣмъ оплачивать прихоти свои. Наука государственнаго хозяйства не подчиняется правиламъ цѣломудреннаго нравоученія: роскошь есть для нея способъ потребленія. „Легко можно было-бы обойтись безъ кофе и табаку, говоритъ Сей, ибо прожили-же безъ нихъ нѣсколько столѣтій; но зачѣмъ лишать себя удовольствія, когда оно не вредно ни здоровью, ни общественному благосостоянію“. Народъ, который добывалъ бы и потреблялъ ежегодно на пять тысячъ милліоновъ произведеній, совершилъ-бы нѣкоторые успѣхи, если началъ-бы производить пять тысячъ и двадцать милліоновъ, хотя бы сіи двадцать милліоновъ и пошли на покупку табака, который можетъ быть излишнимъ изъ всѣхъ излишностей.

Привозъ товаровъ, къ жизненнымъ потребностямъ принадлежащихъ, какъ-то: кофе, чая и напитковъ, значительно усилился въ послѣдній періодъ. Годовая сложность потребляемаго кофе привознаго доходитъ нынѣ до 150.000 пудовъ. Вымѣнъ на Кяхтѣ чая даетъ такое же число: оно почти вдвое противъ

прежнихъ лѣтъ. Винъ привозится также гораздо болѣе, особенно же высшихъ качествъ, привозимыхъ въ бутылкахъ, и преимущественно Шампанскаго. Если сія послѣдняя статья можетъ относиться только до богатаго званія, то въ потребленіи двухъ первыхъ значительно участвуютъ и среднее состояніе и низшее. Неизвѣстно, должны ли причислить и табакъ къ разряду жизненныхъ потребностей, но во всякомъ случаѣ кстати, по предположенію Ся, замѣтить, что привозъ иностраннаго табаку равно у насъ значительно усиливается. Онъ доходитъ нынѣ до 75.000 пудовъ, когда прежде сильнѣйшій годъ по привозу его не показывалъ выше 31.000 пудовъ.

Съ 1824 по 1834 годъ отпущено за границу товаровъ на	2.307.399.005 р.
Съ 1814 по 1824 годъ на	2.181.694.424 „
Болѣе на . .	125.504.581 р.

Слѣдуя прежнему порядку и не довольствуясь видѣть одну прибыль, но разлагая свойства ея, мы и здѣсь постараемся извлечь нѣкоторыя соображенія, благопріятныя нашему мнѣнію. Противники мануфактурной системы въ Россіи, болѣе всего опирались и опираются и нынѣ на опасеніи, что она не иначе можетъ утвердиться у насъ, какъ во вредъ земледѣлія и сельскаго хозяйства. Событія доказываютъ совершенно тому противное. Значительнѣйшая часть отпуска нашего состоитъ въ предметахъ, именно до сельской промышленности относящихся, и въ общей сложности отпускъ сей возвысился. Что касается собственно до хлѣбной торговли, то о ней нельзя выводить опредѣлительнаго заключенія; на усиленіе отпуска пшеницы, ржи и прочаго зернового хлѣба могутъ только дѣйствовать случайныя и особенныя обстоятельства: гдѣ нибудь за границею неурожай, или гдѣ нибудь война. Нельзя усилить отпускъ товара, коего потребленіе усилить невозможно. Какія мѣры правительство ни принимай, до какой степени совершенства ни доводи земледѣліе, но все не заставишь Европы съѣсть болѣе хлѣба, нежели сколько приходится на человѣка. И къ тому же куда возить хлѣбъ? Вездѣ, въ Англіи, во Франціи и въ другихъ государ-

ствахъ, ограничивающіе законы препятствуютъ привозу онаго. Каждая держава старается обезпечить себя собственнымъ продовольствіемъ. Что же касается до отечественной мануфактурности, нѣтъ сомнѣнія, что она еще благопріятствуетъ землепашеству и самому потребленію хлѣба. Фабричный ремесленникъ больше съѣдаетъ хлѣба, нежели хлѣбопашечный домосѣдъ. Скотоводство нужно равно и для земледѣльческой и для мануфактурной промышленности. Откуда же сія послѣдняя почерпаетъ по большей части свои сырые матеріалы, какъ не отъ улучшеннаго земледѣлія? Не все-же одного хлѣба просить отъ земли! Земля можетъ дать и другое. Главный предметъ спора заключается здѣсь въ сбивчивости понятій. Многіе не иначе понимаютъ обширное слово земледѣліе, какъ подъ ограниченнымъ смысломъ хлѣбопашества. Но, вмѣсто того, признайте хлѣбопашество только отраслью земледѣлія, а земледѣліе одною только отраслью сельскаго хозяйства, и вопросъ разрѣшится самъ собою. Промышленность, въ обширнѣйшемъ и разнообразнѣйшемъ объемѣ своемъ, будетъ тогда однимъ развитіемъ средствъ и силъ, добытыхъ первоначальными трудами. Смѣшно же было бы сказать народу: не иди далѣе! довольствуйся одною черною работою и предоставь другимъ дальнѣйшія выгоды и усовершенствованія! Само собою разумѣется, что должно будетъ напротивъ дать народу средства додѣлывать и сбывать сырыми матеріалами то, что ему за излишествомъ не нужно, или что ему иначе продать нельзя какъ въ томъ видѣ. Развѣ въ Англіи и во Франціи, въ сихъ двухъ преимущественно мануфактурныхъ государствахъ, земледѣліе *въ худшемъ* состояніи, нежели въ другихъ? Рѣшительно нѣтъ. Объ опасеніи, что мануфактурная дѣятельность отъемлетъ много рукъ у полевой работы и думать нечего. Положимъ, что у насъ 300.000 человѣкъ рукодѣльныхъ работниковъ. Удвоимъ это число въ надеждѣ будущаго развитія промышленности, и это число весьма достаточно: ибо не должно забывать, что при распространеніи промышленности изобрѣтательность пріискиваетъ средства облегчать и сокращать ея производства: одинъ работаетъ за двухъ и трехъ, животныя замѣщаютъ людей, механика животныхъ. Что же зна-

чатъ 600.000 человѣкъ, которые изъ разныхъ концовъ Россіи стекутся въ средоточіе промышленной дѣятельности, и разумѣется предпочтительно изъ губерній малоземельныхъ и безплодныхъ? Къ тому же, при новомъ устройствѣ механическихъ работъ, въ которыхъ главный производитель не человѣкъ, а сила, мы видимъ, что на фабрикахъ уже не нужно имѣть цѣлъ поколѣнія. Отроки, женщины, увѣчные заняты наравнѣ съ другими, и дѣлаютъ свое дѣло.

Слѣдующая вѣдомость покажетъ сколько вообще усилилась главнѣйшая отпускная торговля наша въ теченіе послѣдняго десятилѣтія въ сравненіи съ предъидущимъ:

	Съ 1824 по 1834	Съ 1814 по 1824	Въ послѣднее десятилѣтіе болѣе	менѣе
Льна . . . . . пудовъ	22.760.561.	13.092.793.	9.667.768.	—
Пеньки	25.424.518.	26.569.698.	—	1.145.180.
Пакли льняной и пеньковой . .	3.720.499.	1.761.198.	1.959.301.	—
Сала	38.542.227.	24.042.310.	14.499.917.	—
Сѣмени льняного, четв	5.249.151.	3.874.145.	1.375.006.	—
Веревокъ и канатовъ пуд. . .	3.180.835.	1.765.910.	1.414.945.	—
Кожъ:				
юфти	929.249.	839.756.	89.493.	—
штукъ	1.665.553.	1.094.250.	571.303.	—
невыдѣлан. по цѣнѣ р. .	39.322.137.	9.724.731.	29.597.403.	—
Шерсти . . . . . пудовъ	1.115.466.	351.733.	763.733.	—
Хлѣба разн. четв	23.165.995.	20.851.412.	2.314.583.	—

Итоги вообще удовлетворительны. Если вывозъ пеньки уменьшился, за то возвысился вывозъ веревокъ и канатовъ; слѣдовательно земледѣліе не потерпѣло, а выиграла промышленность. Нѣтъ сомнѣнія, что статья сія дала бы итогъ еще значительнѣйшій, если бъ послѣднее десятилѣтіе не было эпохою мира для морскихъ державъ, слѣдовательно эпохою ограниченія въ потребленіи корабельныхъ потребностей. Введеніе желѣзныхъ цѣпей на мѣсто якорныхъ канатовъ, замѣняемое между многими иностранными мореходцами, должно также быть принято здѣсь въ соображеніе. Не смотря на то отпускъ веревокъ и канатовъ усилился почти вдвое въ послѣдніе годы, а именно съ 1830 года, когда послѣдовало отмѣненіе отпускной съ нихъ пошлины. Если въ росписи отпускной торговли нашей не можетъ болѣе занимать одного изъ главнѣйшихъ мѣстъ полотно парусное,

фламское и равендукъ, то причину того искать должно въ развитіи промышленности, которую каждая держава старается усилить у себя всѣми возможными средствами. Напримѣръ, Англія и Швеція, опредѣленіемъ премій и другими поощреніями, содѣйствуютъ у себя заведенію полотняныхъ фабрикъ. Но рядомъ съ симъ убыткомъ возникаетъ у насъ и прибыль: требованія на ленъ значительно увеличились. Статья сырыхъ кожъ заслуживаетъ особенное замѣчаніе. Поощреніе отпуска товара сего пониженіемъ пошлины имѣло величайшія и полезнѣйшія послѣдствія. Оно вообще худо было оцѣнено. Въ свободномъ вывозѣ сырыхъ кожъ за границу видѣли исключительно одно дѣйствіе ихъ на кожевенные заводы наши. И здѣсь противники охранительной системы, оспоривающіе пользу отъ водворенія промышленности, переходятъ на другую сторону, сами не догадываясь о томъ. Они предаютъ выгоды сельскаго хозяйства, и заботятся только о выгодѣ мануфактурной. Они забываютъ, что разрѣшеніе вывоза за границу сырыхъ кожъ поощряетъ у насъ размноженіе скотоводства, столь необходимаго вообще и для земледѣлія, усиливаетъ вывозъ сала, которое начали отпускать вдвое болѣе противъ прежняго. Все ихъ сердоболіе устремлено пынѣ на упадокъ кожевенныхъ заводовъ, который вовсе не слѣдовалъ за разрѣшеніемъ вывоза, а напротивъ ему предшествовалъ и даже нѣкоторымъ образомъ могъ вынудить его. При упадкѣ заводовъ, должно было принять мѣры къ сохраненію по крайней мѣрѣ того, чѣмъ дѣйствовали они въ пользу сельскаго хозяйства. Не способствуя къ усиленному вывозу сырыхъ кожъ, правительство разорило бы только наше скотоводство, а не могло бы поддержать кожевенные заводы, вопреки законамъ необходимости. Изъ выдѣланной кожи отпускалась отъ насъ одна юфть, а пора юфти миновалась. Наполеонъ былъ большой покровитель сей отрасли торговли нашей, но покровительство сіе покупалось дорогою цѣною. Вооруженныя кочующія племена въ переходахъ своихъ изъ одного края Европы въ другой и далѣе изнашивали въ его время много обуви. Много обуви оставалось и на поляхъ сраженій. Миръ сберегаетъ это потребленіе. Мода, другаго рода всевла-

стный повелитель, дѣйствуя въ свою очередь, вытѣснила напротивъ юфть изъ круга многихъ употребленій, замѣнивъ ее другими. Промышленность и торговля имѣютъ свои измѣняющіеся законы. Въ томъ и заключается тайна охранительной системы, чтобы во время, согласно съ потребностями, налагать или снимать запрещеніе. Смѣшно полагать, что у насъ юфть будутъ покупать, потому только, что станемъ ее выдѣлывать, и вотъ однако же заключеніе, которое должно вывести изъ общихъ толковъ. Впрочемъ нельзя сказать, чтобы вывозъ юфти и понесъ значительное уменьшеніе. Напротивъ, онъ въ послѣднее десятилѣтіе даже нѣсколько и перевѣсилъ предъидущее, конечно не въ надлежащей соразмѣрности съ другими отраслями промышленности, но причины тому достаточно объяснены. Въ отпускѣ масла коноплянаго и льнянаго замѣчаются по годамъ значительныя измѣненія. Въ 1829 году отпущено его 509.000 пудовъ; а въ 1830—643.000, что превышаетъ сильнѣйшіе вывозы лучшихъ прежнихъ годовъ; но въ сложности отпускъ сей не представляетъ постепеннаго повышенія. Впрочемъ, не должно слишкомъ жалѣть о томъ. Производство масла, ограниченное у насъ еще въ тѣсныхъ предѣлахъ грубаго сельскаго хозяйства и стариннаго обычая, даетъ такія ничтожныя выгоды въ сравненіи съ тѣми, которое оно должно дать и даетъ въ Англіи, при лучшемъ устройствѣ, что усиленный вывозъ льняная сѣмени едва-ли пока не предпочтительнѣе. Нѣсколько разъ уже журналы обращали вниманіе сельскихъ хозяевъ на сей предметъ особенной важности, но доныпѣ послѣдствія не отвѣчали полезнымъ указаніямъ. Въ числѣ другихъ статей вывоза, достойныхъ замѣчанія, хотя и болѣе ограниченныхъ въ дѣйствіи своемъ, можно упомянуть о слѣдующемъ:

Вывозъ лѣса значительно увеличился съ 1824 года. Въ нѣкоторыхъ годахъ вывезено было до 700.000 пудовъ и болѣе поташа. Шерсть составляетъ новую и замѣчательную статью въ нашей отпускной торговлѣ. Она примѣняется къ статьѣ сырыхъ кожъ и можетъ служить новою темою для тѣхъ, которые пугаются у насъ развитія промышленности, какъ вредной успѣхамъ сельскаго хозяйства, и поощренія сельскому хозяйству,

какъ вредному выгодамъ нашихъ мануфактуръ. Между тѣмъ разведеніе овецъ усиливаетъ наше скотоводство и обогащаетъ торговлю нашу новою отраслью. Суконодѣліе держится и улучшивается, и шерсти отправляется въ иные годы до 160.000 пудовъ и болѣе. Требованіе на воскъ примѣтно возрастаетъ. Въ послѣднее десятилѣтіе вывезено его 518.000 пудовъ, а въ прежнее 350.000 Отпускъ щетины слѣдуетъ тому же благопріятному движенію. Въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ вывезено ее до 700.000 пудовъ, а въ предъидущее 519.000.

Обозрѣвая кругъ сихъ дѣйствій въ отношеніи къ отечественной промышленности и къ внѣшней торговлѣ отпускной и привозной, нельзя не сознаться, что вообще замѣтно движеніе къ лучшему. Нѣтъ дѣйствія безъ причины: нельзя не согласиться и въ томъ, что причину тому должно искать въ охранительной системѣ, которой слѣдуетъ правительство. Полагать, что сіи благопріятныя послѣдствія могли быть выведены и безъ содѣйствія той системы, было-бы слишкомъ несправедливо. Но здѣсь надлежало-бы вывести изъ предположенія сего еще страннѣйшее заключеніе: что сіи благія послѣдствія выведены не только мимо, но вопреки предпринятой системѣ. Заключеніе вовсе не допустительное. Таможенный законъ всеобъемлющъ и такъ тѣсно обхватываетъ всѣ промышленныя и торговыя выгоды народа и вообще все его вещественное благосостояніе, что онъ во всѣхъ примѣненіяхъ своихъ долженъ быть непосредственно имъ вреденъ, или непосредственно имъ благопріятенъ. Въ таможенномъ законѣ нѣтъ ничего отвлеченнаго, ни условнаго. Онъ законъ дѣйствительности, и только.

Для полноты картины внѣшней торговли должно выставить движенія привоза и вывоза золота и серебра.

Они являются въ слѣдующемъ видѣ:

	Съ 1824 по 1834	Съ 1814 по 1824
Въ монетѣ и слиткахъ привезено: на . .	322.136.144.	321.969.988.
Отпущено на	59.306.701.	60.982.229.
привезено болѣе на	262 829.443.	266.987.759.

Излишне было бы входить въ опроверженіе всѣхъ мнѣній, которыя у насъ затемняютъ вопросъ о пользѣ или вредѣ сво-

боднаго отпуска и ввоза драгоцѣнныхъ металловъ. Главная причина господствующихъ заблужденій есть та, что монеты и первобытное вещество, изъ коего монеты выдѣлываются, почитаютъ за богатство какого-то особеннаго рода, къ которому не могутъ быть примѣнены другія цѣнности. Отстраните это заблужденіе, и вопросъ поясннтся самъ собою. Драгоцѣнные металлы и монеты будутъ тогда наравнѣ со всѣми другими товарами, конхъ привозъ и вывозъ соразмѣряется съ мѣстными потребностями. Одному купцу выгодно вымѣнять за границею Французское вино на Русскую рожь, и онъ высылаетъ рожь; другому выгоднѣе вымѣнять такое же вино на золото, и онъ высылаетъ золото. Въ торговлѣ никто ничего не отпускаетъ и не уступаетъ въ видѣ подарка, а всегда въ видѣ мѣны на другую цѣнность. Въ движеніи торговыхъ оборотовъ и высланная рожь и высланное золото рано или поздно, въ какомъ нибудь видѣ, по возвратятся туда, откуда были отправлены, не къ тому же лицу можетъ быть, но все въ кругъ общенароднаго капитала! Вотъ почему нельзя никогда безусловно примѣнять выгодъ народа къ выгодамъ частнаго лица. Частный человѣкъ, который имѣлъ-бы серебро и золото въ излишествѣ противъ нужнаго его потребленія, не обѣднѣлъ-бы отъ сего излишества и мертвый рубль его остался бы всегда рублемъ.

Напротивъ же, излишнее изобиліе монеты у народа было бы неизбѣжною причиною упадка цѣнности оной и, слѣдовательно, постепеннаго обѣдненія его. Если свобода торговли можетъ быть неограниченно допущена въ какомъ-нибудь отношеніи, то именно въ отношеніи къ отпуску и ввозу драгоцѣнныхъ металловъ. Опредѣлительная цѣнность ихъ, мало измѣняющаяся обстоятельствами и мѣстностями, извѣстное употребленіе ихъ уравновѣшиваютъ сами собою, безъ направленія правительства, случайности ихъ колебанія. Деньгамъ нигдѣ не нужно имѣть свидѣтельства о происхожденіи: онѣ товаръ повсемѣстный. При излишнемъ накопленіи цѣна ихъ упадаетъ, и тогда ищутъ онѣ истока туда, гдѣ онѣ дороже. Недостатка въ нихъ быть не можетъ, ибо тогда, при возвысившейся цѣнѣ ихъ, драгоцѣнные металлы, въ слиткахъ или монетѣ, стекутся туда, гдѣ они, какъ

товаръ, дороже всего другого, и во всякомъ случаѣ отправители ихъ выплютъ съ тѣмъ, чтобы получить за нихъ другія цѣнности; слѣдовательно, выгоды взаимной торговли соблюдены съ той и другой стороны.

При усилившемся движеніи торговли неминуемо должно было усилиться и движеніе торговаго мореплаванія. Оно важно не только какъ живѣйшій и удобнѣйшій способъ торговыхъ отправленій, но и само-собою какъ отрасль промышленности и обращеніе капиталовъ, питающихся движеніемъ. Два десятилѣтія, принятыя нами мѣрилами нашихъ изслѣдованій, представляютъ наше торговое мореплаваніе въ слѣдующемъ видѣ:

Кораблей было въ приходѣ изъ иностранныхъ мѣстъ:

	Съ 1824 г. по 1834 г.	Съ 1814 г. по 1824 г.
Съ товарами	19.763.	19.585.
Балластомъ	25.480.	20.736.
Всего. . .	45.243.	40.321.
Болѣе. . .	4.922.	—

Кораблей отошло въ иностранныя мѣста:

	Съ 1824 г. по 1834 г.	Съ 1814 г. по 1824 г.
Съ товарами	44.158.	38.528.
Балластомъ	1.419.	1.095.
Всего. . .	45.577.	39.623.
Болѣе. . .	5.954.	—

Состояніе денежнаго и вексельнаго курса, въ предѣлахъ тѣхъ же двухъ періодовъ, равно заслуживаетъ особенное замѣчаніе. Оно также подкрѣпляетъ выводы, изложенные выше.

Вексельный и денежный курсъ въ С.-Петербургѣ.

	Въ 1825 г.	Въ 1833 г.
На Лондонъ пенс.	$9^{27}/_{32}$.	$10^{7}/_{8}$.
„ Амстердамъ штив.	$9^{11}/_{16}$.	пенс. $53^{7}/_{8}$.
„ Гамбургъ шиллинг.	$8^{15}/_{16}$.	$9^{11}/_{16}$.
„ Парижъ сантим.	103.	$111^{7}/_{8}$.

	Въ 1835 г.	Въ 1838 г.
Рубль серебряный коп.	372 1/2.	361.
Червонецъ голландскій	1,155.	1,057 1/2.
Билеты Коммиссіи 6% ассиг.	99 3/4.	121 3/4.
Погашеніе долговъ 5% монет.	82 1/2.	91 1/2.

Мы здѣсь разсматривали дѣйствія промышленности и торговли болѣе съ внѣшней стороны. Сколько же еще удовлетворительныхъ и блестящихъ выводовъ можно извлечь изъ сихъ изслѣдованій, обративъ вниманіе на пользу, которую принесли сіи результаты во внутреннихъ спошеніяхъ государства! Она не столь очевидна, по дробности своей не столь удобно вычисляема, но не менѣе того дѣйствительна и обширна. Какимъ движеніямъ должна была отозваться внѣшняя торговля въ движеніяхъ внутренней торговли, равно заслуживающихъ вниманіе въ обширныхъ объемахъ своихъ и въ частныхъ барышахъ смиреннаго мелочнаго торгаша, на обширныхъ рынкахъ городовъ и ярмарокъ, и на тѣсныхъ площадкахъ сельскаго базара, въ предпріятіяхъ внутренняго судоходства и въ промыслѣ извощика, который съ телѣгою и лошадью обезпечиваетъ взносъ повинностей и содержаніе семейства перевозкою товаровъ изъ одного края Россіи въ другой. Какія можно вывести утѣшительныя заключенія въ пользу дѣйствій сей новой усиленной жизни вообще на образованность, на просвѣщеніе народа, на многія государственныя постановленія, вынужденныя порожденіемъ новыхъ потребностей, на благопріятныя измѣненія, которыя неминуемо внесетъ сей порядокъ въ стихіи нашего сельскаго хозяйства, и вообще на грядущія участи Россіи, зрѣющія подъ охраненіемъ постепенныхъ, но вѣрныхъ мѣръ попечительнаго правительства.

Но разсмотрѣніе съ сей стороны вопроса, запимавшаго насъ, вовлекло бы слишкомъ далеко. Оно можетъ служить предметомъ другой статьи, или возбудитъ вниманіе другого писателя.

Намъ остается доказать, что если тарифъ 1822 года, какъ государственный законъ, благопріятенъ развитію народныхъ богатствъ, то не менѣе того полезенъ и какъ финансовый законъ. Слѣдующія цыфры будутъ нашимъ доказательствомъ.

Всѣхъ таможенныхъ сборовъ поступило:

Съ 1824 по 1834 годъ. . .	673.339.401 р.	52½ к.
„ 1814 „ 1824 „ . . .	396.126.285 „	92 „
Болѣе	277.213.115 р.	60½ к.

При семъ не должно забывать о упомянутыхъ выше событіяхъ, которыя запечатлѣли многіе годы разсматриваемаго десятилѣтія и должны были дѣйствовать неблагопріятно на сборъ таможенныхъ пошлинъ, вовсе прекращая ихъ въ нѣкоторыхъ пограничныхъ пунктахъ.

Въ другой статьѣ, которая должна служить пополненіемъ или поясненіемъ нынѣшней, мы разсмотримъ дѣйствія тарифа 1822 года въ отношеніи къ таможенному управленію въ Россіи и къ главнѣйшимъ постановленіямъ, изданнымъ въ пользу торговли и промышленности въ силу и въ пользу охранительной системы, симъ тарифомъ основанной.

LV.

ПРОЕКТЪ

ПИСЬМА КЪ МИНИСТРУ НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ГРАФУ СЕРГѢЮ СЕМЕНОВИЧУ УВАРОВУ, СЪ ЗАМѢТКАМИ А. С. ПУШКИНА.

1836.

Примѣчаніе. Отыскивая въ моемъ походномъ и, какъ я, кочующемъ, архивѣ воспоминанія мои о И. И. Дмитріевѣ, набросанныя мною тому нѣсколько лѣтъ, напалъ я на письмо мое къ С. С. Уварову, министру народнаго просвѣщенія. Конечно это нѣсколько сухое, полемическое письмо, не можетъ для современнаго читателя, имѣть живость и занимательность біографическаго и анекдотическаго очерка. Литтературныя, цензурныя и многія другія отношенія такъ измѣнились, такъ мало соотвѣтствуютъ нынѣшнимъ условіямъ, обстоятельствамъ и порядкамъ, что связи между настоящимъ и минувшимъ трудно отыскать. Но самый этотъ недостатокъ современности и наличности можетъ, съ другой стороны, придать цѣнность документу, имѣвшему въ данное время свое значеніе и свою цѣль. Между тѣмъ сущность дѣла, на которую указывается въ предлагаемомъ здѣсь письмѣ, можетъ быть, и не совершенно устарѣла. Болѣе, или менѣе вѣрныя и справедливыя, заключающіяся въ немъ нареканія на тогдашнюю печать могутъ, если не ошибаемся, быть отчасти примѣняемы и къ новѣйшей печати. Во всякомъ случаѣ, возбу-

дитъ ли это письмо въ комъ нибудь соглашеніе и единомысліе, или подвергнется порицанію и осужденію большинства, но все же отражается въ немъ одно изъ литературныхъ воззрѣній того времени: воззрѣніе, конечно, частное, но не исключительно личное, а присвоенное нѣкоторыми изъ образованнѣйшихъ современниковъ, между прочими и такимъ авторитетомъ какъ Пушкинъ. Онъ въ то время не только что раздѣлялъ мысли, выраженныя въ письмѣ, но настоятельно поощрялъ къ скорѣйшему изложенію ихъ на бумагѣ и обращенію въ ходъ.

Въ настоящее время всевозможныхъ политическихъ и литературныхъ побіеній и сокрушеній, политическихъ и литературныхъ возстановленій и реставрацій, какъ законныхъ такъ и лжесвидѣтельскихъ, новая справка, новый документъ въ тяжбѣ, которая еще не окончательно обсуждена, лишними быть не могутъ, хотя и не имѣли бы они большой исторической и юридической важности. Многіе приверженные поклонники усердно, чтобы не сказать суевѣрно, или язычески, возобновляютъ въ журнальныхъ капищахъ своихъ кумиры, давнымъ давно вѣкъ свой отжившіе. Но почему, хотя для равновѣсія, не предоставить и другимъ собирать обломки, преданія минувшаго, которые указываютъ на другое направленіе, на другія сочувствія, можно почти сказать—на другія вѣрованія.

Между тѣмъ, за давностью времени, не упомню дошло ли письмо до назначенія своего, или осталось оно въ видѣ проекта, вслѣдствіе какихъ нибудь повстрѣчавшихся обстоятельствъ, и между прочими вслѣдствіе отъѣзда моего за границу. Впрочемъ дѣло не въ томъ: читалъ ли министръ письмо, или нѣтъ? Тѣмъ болѣе, что, какъ можно судить по обыкновенному ходу вещей, письмо, прочитанное все же окончательно попало бы въ длинный канцелярскій ящикъ.

Во всякомъ случаѣ просвѣщенный умъ Сергѣя Семеновича былъ, безъ сомнѣнія, доступенъ къ выраженію мыслей и понятій даже и противорѣчащихъ дѣйствіямъ министра. Впрочемъ въ письмѣ идетъ рѣчь не о самыхъ дѣйствіяхъ, а скорѣе о бездѣйствіи министра: о излишней, по мнѣнію нашему, терпи-

мости его. Терпимость можетъ быть добродѣтелью, но можетъ она быть и равнодушіемъ: таковою, вѣроятно, и была она въ Уваровѣ. Личныя же сношенія мои съ нимъ, запечатлѣнныя давнишнимъ Арзамасскимъ братствомъ, давали мнѣ право и волю объясняться съ нимъ откровенно, не опасаясь за посягательство на министерское званіе и достоинство.

Полемическія статьи имѣютъ сходство съ любовными письмами, которыя мы писали въ молодости; имѣютъ онѣ и ту же участь. И тѣ и другія пишутся съ горяча, подъ давленіемъ неодолимаго чувства, точно вслѣдствіе роковой и неизбѣжной необходимости. Когда позднѣе случится самому прочесть ихъ, то иногда дивишься увлеченію своему, или своей запосчивости; иногда смѣешься надъ ними и, слѣдовательно, надъ собою; чаще всего, перечитывая ихъ, испытываешь въ себѣ чувство неловкости: хотѣлъ бы иное исправить, другое выключить, но поздно: написанное написано, не вырубишь его топоромъ не только на бумагѣ, но также и изъ своей жизни, а впрочемъ и хорошо, что не вырубишь. Это даетъ силу и власть слову. Теперь замерла животрепещущая нота, которая свѣжо и сильно звучала въ этой свободной рѣчи; но эта рѣчь была въ свое время искренняя и правдивая. Слѣдовательно и нынѣ сохраняетъ она правду свою, хотя уже и относительную.

Тоже сбывается и со мною. Нынѣ, перечитывая хладнокровно, и такъ сказать заднимъ умомъ, мою обвинительную рѣчь, я, разумѣется, не вполнѣ доволенъ ею. Но не хочу также заднимъ числомъ примѣнять ее къ теперешнимъ понятіямъ моимъ. Не хочу ни передѣлывать себя, ни переодѣвать себя по новому покрою. Это было бы болѣе или менѣе ложь. Остаюсь въ томъ видѣ, въ какомъ я вылилъ себя. Единственная цѣнность подобнаго документа заключается, въ глазахъ немногихъ литературныхъ юристовъ, въ неподдѣльности и въ точной современности его. Такимъ образомъ можно по горячимъ слѣдамъ дойти до дознанія истины. Оставляю даже и отпечатокъ раздраженія и страстности, которыми, такъ сказать, опалены парекапія мои на профессора Устрялова. Надѣюсь, что тѣнь любознательнаго

и дѣятельнаго труженика проститъ мнѣ нѣкоторую запальчивость рѣчи моей.

На извѣстное письмо Чаадаева указывается здѣсь потому, что въ самое то время было оно вопросомъ и злобою дня. Можетъ быть придалъ и ему значеніе не по росту его. Во всякомъ случаѣ прямаго отношенія къ Русской литературѣ въ немъ нѣтъ. Писано оно было на Французскомъ языкѣ и къ печати не назначалось. Любезнѣйшій аббатикъ, какъ прозвалъ его Денисъ Давыдовъ, довольствовался чтеніемъ письма въ средѣ Московскихъ прихожанокъ своихъ, которыхъ былъ онъ настоятелемъ и правителемъ по дѣламъ совѣсти (directeur de conscience). Безтактность журналистики нашей съ одной стороны, съ другой обольщеніе авторскаго самолюбія, придали несчастную гласность этой конфиденціальной и келейной ультрамонтанской энцикликѣ, пущенной изъ Басманскаго Ватикана.

Опредѣленіе въ точности времени, въ которое написано письмо мое, ускользаетъ изъ памяти моей. Но по указаніямъ на литературныя явленія, встрѣчающимся въ письмѣ, можно приблизительно возстановить его хронологическое отношеніе.

Homburg v. d. Höhe.

Мартъ, 1875 года.

Милостивый Государь
Сергѣй Семеновичъ.

Вступивъ въ управленіе министерствомъ просвѣщенія ваше превосходительство сказали, что „народное образованіе должно совершаться въ соединенномъ духѣ Православія, Самодержавія и Народности".

Нелегко опредѣлить, до какой степени удобно общее сіе примѣненіе ко всѣмъ отраслямъ наукъ, но по крайней мѣрѣ въ ученіи исторіи отечественной правило сіе имѣетъ ясный, полный смыслъ и совершенно соотвѣтствующій духу нашего пра-

вительства. Наша исторія есть выводъ, слѣдствіе, плодъ этихъ трехъ началъ. Извѣстно, что слова, произнесенныя отъ имени правительства, должны быть не только обѣщаніемъ, но и обязательствомъ. Не дѣйствуя прямо и постоянно въ коренномъ смыслѣ исповѣдуемыхъ началъ, правительство потрясаетъ въ управляемыхъ вѣру къ словамъ своимъ. Дѣйствуя въ противность своимъ правиламъ, правительство порождаетъ въ обществѣ несогласіе, сбивчивость въ понятіяхъ, нравственное и въ слѣдъ за тѣмъ политическое разстройство, которое тѣмъ труднѣе ему исправить и искоренить, что оно само безъ вѣдома, или безъ сознанія своего, начало и корень сего разстройства. Въ противорѣчіяхъ правительства съ самимъ собою заключается величайшее зло.

Съ откровенностью, достойною важности предмета, къ коему приступить хочу, и съ добросовѣстностью твердаго убѣжденія осмѣливаюсь просить васъ, милостивый государь, удѣлить мнѣ нѣсколько минутъ вниманія на примѣненіе вышеизложенной истины къ явленіямъ, ежедневно совершающимся въ глазахъ нашихъ. Позвольте сказать, что именно въ дѣйствіяхъ подлежащаго управленію вашему вѣдомства встрѣчаются рѣшительные примѣры упомянутаго противорѣчія правительства съ самимъ собою. Привожу доказательства тому:

Одна и есть у насъ книга, въ которой начала православія, самодержавія и народности облечены въ положительную дѣйствительность, освященную силою историческихъ преданій и силою высокаго таланта. Не нужно мнѣ именовать ее. Вы, безъ сомнѣнія, сами упредили меня и назвали ее. Здѣсь ни разномыслія, ни разнорѣчія быть не можетъ. Твореніе Карамзина есть единственная у насъ книга, истинно государственная, народная и монархическая. Не говорю о литтературномъ или художественномъ достоинствѣ ея, ибо въ этомъ отношеніи можетъ быть различіе въ мнѣніяхъ, но въ другомъ оно быть не можетъ, ибо повторяю вмѣстѣ съ вами, вмѣстѣ со всѣми, вмѣстѣ съ очевидностью: она одна. А между тѣмъ книга сія, которая естественно осуществляетъ въ себѣ тройственное начало,

принятое девизомъ вашего министерства, служитъ, по неизъяснимому противорѣчію, постоянною цѣлью обвиненій и ругательствъ, устремленныхъ на нее съ учебныхъ каѳедръ и изъ журналовъ, пропускаемыхъ цензурою, цензурою столь зоркою въ уловленіи словъ и въ гадательномъ пріисканіи потаенныхъ и мнимыхъ смысловъ, и столь не дальновидною, когда истина, такъ сказать, колетъ глаза. Нельзя при этомъ не пожалѣть о худомъ выборѣ цензоровъ, которые съ одной стороны раздражаютъ писателей придирчивыми стѣсненіями и часто нелѣпостью своихъ толкованій, а съ другой наносятъ общей пользѣ вредъ непростительною оплошностью. Въ лицахъ, облеченныхъ довѣренностью власти, кто неспособенъ, тотъ уже вреденъ. Ошибочный выборъ людей есть также родъ противорѣчія правительства съ самимъ собою, который никогда не остается безъ пагубныхъ послѣдствій. Дѣйствія нашей цензуры въ отношеніи къ критикамъ на *Исторію Россійскаго Государства* служатъ тому лучшимъ доказательствомъ. Дабы вѣрнѣе опредѣлить мѣру несообразностей и вреда, которую влечетъ за собою подобное направленіе допущенной нынѣ критики, обратимся къ эпохѣ появленія въ свѣтъ *Исторіи Государства Россійскаго* и къ нѣкоторымъ уже минувшимъ обстоятельствамъ.

Появленіе сей книги въ 1818 году было истинно народнымъ торжествомъ и семейнымъ праздникомъ для Россіи. Россія, долго не знавшая славнаго родословія своего, въ первый разъ изъ книги сей узнала о себѣ, ознакомилась съ стариною своею, съ своими предками, получила книгою сею свою народную грамату, освященную подвигами, жертвами, родною кровью, пролитою за независимость и достоинство имени своего. Вы помните это торжество, и съ просвѣщенною любовью раздѣляли его вмѣстѣ съ другими. Но оно не могло быть общимъ. *Исторія Государства Россійскаго* встрѣтила противниковъ. Часть молодежи нашей, увлеченная вольнодумствомъ, политическимъ суемудріемъ современнымъ и легкомысліемъ, свойственнымъ возрасту своему, замышляла въ то время несбыточное преобразованіе Россіи. Съ чутьемъ вѣрнымъ и проницательнымъ, она тотчасъ оцѣнила важность книги, которая была событіе, и со-

бытіе, совершенно противодѣйствующее замысламъ ея. Книга Карамзина есть непреложное и сильное свидѣтельство въ пользу Россіи, каковою содѣлало ее Провидѣніе, столѣтія, люди, событія и система правленія; а они хотѣли на развалинахъ сей Россіи воздвигнуть новую по образу и подобію своихъ мечтаній. Медлить было нечего. Колкіе отзывы, эпиграммы, критическія замѣчанія, предосудительныя заключенія посыпались на книгу и на автора изъ среды потаеннаго судилища. Судіи не могли простить Карамзину, что онъ исторіографъ, слѣдовательно, по словамъ ихъ, наемникъ власти; что онъ монархическій писатель,—слѣдовательно, запоздалый, *не постигающій духа и потребностей времени* (фразеологія тогдашняя, которая и нынѣ въ употребленіи); они толковали, что Карамзинъ сбивается въ значеніи словъ, что онъ *единодержавіе* смѣшиваетъ съ *самодержавіемъ* и вслѣдствіе того ложно приписываетъ возраставшую силу Россіи началу самодержавія, и проч. и проч. Всѣ сіи обвиненія въ смыслѣ судей были основательны и раціональны. Имъ не хотѣлось самодержавія; какъ же имъ было не подкапываться подъ твореніе писателя, который чистымъ убѣжденіемъ совѣсти, глубокимъ соображеніемъ отечественныхъ событій и могуществомъ краснорѣчія доказывалъ, что мудрое самодержавіе спасло, укрѣпило и возвысило Россію.

Вспомните еще, что Карамзинъ писалъ тогда исторію не совершенно въ духѣ Государя, что, по странной перемѣнѣ въ роляхъ, писатель былъ въ нѣкоторой оппозиціи съ правительствомъ, являясь проповѣдникомъ самодержавія, въ то время, когда правительство въ извѣстной рѣчи при открытіи перваго Польскаго сейма въ Варшавѣ, такъ сказать, отрекалось отъ своего самодержавія. Соображая всѣ сіи обстоятельства, легко постигнуть, какъ досаденъ былъ Карамзинъ симъ молодымъ умамъ, алкавшимъ преобразованій и политическаго переворота. Они признали въ писателѣ личнаго врага себѣ и дѣйствовали противъ него непріятельски.

Самый IX-й томъ, въ которомъ Карамзинъ съ откровеннымъ негодованіемъ благородной души живописалъ яркими кра-

скими тиранію *освященнаго царя* [1]), самый сей томъ долженъ былъ усилить къ нему вражду противниковъ мнѣнія его. Замѣчательно, что, не ослабѣвая въ изображеніи ужасныхъ событій, не утаивая ни одного преступленія державной власти и, такъ сказать, утомясь рукою и сокрушеннымъ духомъ въ исчисленіи безконечныхъ сихъ преступленій, Карамзинъ ни на минуту не сомнѣвается въ святости мнѣнія своего, ни на минуту не измѣняетъ ему. Онъ остается вѣренъ началу самодержавія, хотя, какъ историкъ, не щадитъ самодержца предъ неизбѣжнымъ зерцаломъ потомства. Умиляяся надъ жертвами, онъ жалостью своею не увлекается въ противорѣчія себѣ: въ долготерпѣніи ихъ видитъ онъ народную добродѣтель и торжество государственной необходимости. Вѣра его въ Провидѣніе служитъ ему здѣсь утѣшеніемъ и руководителемъ въ рѣшеніи политической задачи. Дальновиднѣе въ этомъ случаѣ тѣхъ поверхностныхъ и односторонніхъ судей, которые видятъ въ IX-мъ томѣ Карамзина соблазнительную откровенность, противники самодержавія увидѣли въ этомъ томѣ торжество убѣжденій писателя, вѣрнаго себѣ и мнѣнію своему. И самое 14 декабря не было ли впослѣдствіи времени такъ сказать критика вооруженною рукою на мнѣніе, исповѣдуемое Карамзинымъ, то-есть *Исторію Государства Россійскаго*, хотя, конечно, участвующіе въ немъ тогда не думали ни о Карамзинѣ, ни о трудѣ его [2]).

Изустная и политическая оппозиція труду Карамзина перешла скоро въ оппозицію журнальную и по наружному виду литературную, хотя и тутъ литература была только вывѣской. Въ Русскомъ журналѣ явился Польскій писатель Лелевель. Подъ формами безпристрастія, вѣжливости и учености, началъ онъ наносить удары книгѣ Карамзина. Мнѣнія и духъ писателя сего, раскрывшіяся послѣ, во дни Польскаго мятежа, позволяютъ намъ заключить, безъ обиды чести его, что вѣроятно не любовь къ Россіи и къ пользѣ просвѣщенія нашего побудила его подвизаться на поприщѣ критика. Позже два другіе журнала, бо-

[1]) „Мучителя“ (Замѣтка Пушкина).

[2]) Мѣсто со словъ: „И самое 14 декабря“ Пушкинъ очертилъ и написалъ противъ него: „Не лишнее-ли?“

лѣе прочихъ, сдѣлались отголосками ожесточенныхъ приговоровъ *Исторіи Государства Россійскаго*. Они оба впослѣдствіи времени запрещены были правительствомъ по причинѣ направленія своего, несообразнаго съ существующимъ порядкомъ, и по суемыслію и вредному пустословію содержащихся въ нихъ статей. *Телеграфъ* и *Телескопъ* истощили въ оскорбленіяхъ памяти Карамзина и труда его все, что могла изобрѣсть ожесточенная ненависть, и гораздо болѣе того, что должна была допустить цензура, знающая свои обязанности и постигающая духъ своего правительства. Выберемъ одинъ примѣръ изъ тысячи: „Карам„зина теперь читаютъ мало, со скукой; его исторія дурна именно „тамъ, гдѣ онъ хотѣлъ щеголять слогомъ. Отъ чего же это? „Отъ того, что Карамзинъ не былъ истиненъ, вѣренъ самому „себѣ; отъ того, что онъ часто притворялся, отъ того, что его „слезы были слезы театральныя, его одушевленіе—сценическая декламація". Боже сохрани меня, въ подобныхъ указаніяхъ на лица и дѣйствія ихъ искать политической, положительной связи съ печальными событіями, омрачившими страницу нашей современной исторіи. Я не зараженъ болѣзнью мнительности политической. Многіе ищутъ всегда обдуманное злоумышленіе въ явленіяхъ, непостижимыхъ для здраваго сужденія и отступающихъ отъ общаго порядка; я обыкновенно изъ 20-ти подобныхъ примѣровъ отдаю одну долю на неблагонамѣренность, а 19-ть на безразсудность и упоеніе самолюбія. И моя выкладка кажется вѣрнѣе. Но не менѣе того изъ несообразностей частныхъ, положимъ совершенно невинныхъ въ побужденіи своемъ, можетъ впослѣдствіи произойти общій вредъ. На случай этой возможности правительство именно и облечено силою и средствами для заблаговременнаго противодѣйствія злу. Иначе, если оно оплошаетъ въ предусмотрительности своей, то отвѣтственность за содѣянное зло падаетъ на него гораздо болѣе, нежели на тѣхъ, которые въ проступкѣ своемъ могли быть увлечены предубѣжденіями своими, самонадѣянностью и даже потворствомъ и безмолвнымъ одобреніемъ завѣдывающей власти.

Въ семъ отношеніи дѣйствія подвѣдомственной вамъ цензуры находятся въ явномъ противорѣчіи съ правилами, провоз-

глашенными вами и съ духомъ нашего правительства. Но не въ однихъ журналахъ разлилась прилипчивая зараза сей критики, вовсе не литературной по вліянію и послѣдствіямъ своимъ. Тѣ же нареканія, тѣ же обвиненія раздались и въ учебномъ вѣдомствѣ. Казалось, что принято за правило ослабить, охладить любовь учащагося поколѣнія къ ученію отечественной исторіи, ибо порождая не только сомнѣнія въ достоинствѣ единой нашей исторической книги, но и внушая совершенное къ ней пренебреженіе, убивали не одну книгу, но и самую исторію нашу. Мы далѣе увидимъ доказательства тому. Духъ сомнѣнія, духъ отрицанія овладѣлъ умами преподавателей. Какой-то историческій протестантизмъ силится осушить источники нашихъ вѣрованій и преданій, не раскрывая, впрочемъ, новыхъ для жажды нашей вѣры и народной любознательности. Мелочная критика, ничтожныя изысканія, нелѣпая фразеологія *высшихъ взглядовъ*, *потребностей и духа времени* искажаютъ нашу исторію. Университеты начали требовать какой-то *подвижной исторіи*, то-есть хотятъ перекраивать ее, смотря по измѣненіямъ господствующаго образа мыслей и страстей современнаго поколѣнія. Историческій скептицизмъ переходитъ къ современному *нигилизму*. Несторъ донынѣ былъ краеугольнымъ камнемъ нашего историческаго зданія. Камень сей низвергаютъ, и посягатель на сію святыню удостоивается награды золотою медалью въ торжественномъ собраніи Императорскаго университета. На это мнѣ возразятъ, что дѣло министерства просвѣщенія поощрять ученыя изысканія и смѣлыя попытки въ области наукъ. Согласенъ! Но не дѣло правительства награждать тѣ изысканія, которыя могутъ служить къ разслабленію государственныхъ и историческихъ началъ народа. Не говорю уже о томъ, что изысканія сіи сами по себѣ сомнительны и парадоксальны, что побудительная сила ихъ часто заключается въ одномъ тщеславіи и въ одной оппозиціи къ *предлежащимъ властямъ*, хотя и не политическимъ, а пока умственнымъ и литературнымъ. Наука наукою, но есть истины, или священныя условія, которыя выше науки. Фонтенель говорилъ, что если всѣ истины были бы у него въ горсти, то онъ не разжалъ бы руки своей. Каж-

дому народу нужно имѣть свою писанную исторію и свое писанное законодательство. Будь и то и другое несовершенно, все равно: пока нѣтъ лучшаго, не нарушайте уваженія къ тому, что есть. Правительство должно покровительствовать одну *зиждительную* или *охранительную* силу, а въ новой исторической школѣ нашей нѣтъ ничего зиждительнаго. Смѣло вопрошаю совѣсть вашу и просвѣщеніе ваше: чего ожидать Россіи отъ новыхъ историческихъ корифеевъ? Они искоренятъ съ исторической почвы нашей труды Шлецера и Карамзина. Вѣрю! Но въ состояніи ли они замѣнить ихъ? Эта новая школа походитъ на извѣстную во Франціи *черную шайку*, которая скупала на ломъ древніе замки и памятники. Дѣло ли правительства давать преміи за подобныя разоренія? И въ семъ отношеніи дѣйствія подвѣдомственныхъ вамъ мѣстъ совершенно противорѣчатъ духу и пользамъ нашего государственнаго порядка. Историческій скептицизмъ, терпимый и даже поощряемый министерствомъ просвѣщенія, неминуемо довелъ до появленія въ печати извѣстнаго письма Чаадаева, помѣщеннаго въ *Телескопѣ*. Напрасно искать въ семъ явленіи тайныхъ пружинъ, движимыхъ злоумышленными руками. Оно просто естественный и созрѣвшій результатъ направленія, которое дано исторической нашей критикѣ. Допущенное безвѣріе къ писанному довело до безвѣрія къ дѣйствительному. Подлежащія вамъ мѣста какъ будто именемъ правительства говорили учащемуся поколѣнію: не учитесь Карамзину! Не вѣрьте ему! Не другими ли словами говорили они: не учитесь Русской Исторіи! Не вѣрьте ей! Ибо пельзя же учиться по бѣлой бумагѣ и по пустому мѣсту. Письмо Чаадаева не что иное, въ сущности своей, какъ отрицаніе той Россіи, которую съ подлинника списалъ Карамзинъ. Тутъ никакого умысла и помысла политическаго не было. Было одно желаніе блеснуть новостію воззрѣній, парадоксами и попытать силы свои въ упражненіяхъ по части искаженія Русской Исторіи. Обыкновенно лица и правительства при явленіи неожиданныхъ и непріятныхъ для нихъ событій ищутъ имъ внѣшнія и незавпсимыя отъ нихъ причины. Никому не хочется внутреннею исповѣдью доискаться тайной связи между началами, въ насъ

сокрытыми, и дальнѣйшими результатами, истекающими уже не только внѣ, но часто вопреки воли нашей. Для достиженія истины должно слѣдовать совершенно противному порядку. Можно сказать рѣшительно, что, за исключеніемъ рѣдкихъ случаевъ, каждая неудача наша заключается въ собственной нашей винѣ и каждый общественный безпорядокъ имѣетъ зародышъ свой въ ошибкахъ той или другой власти. Перечтите со вниманіемъ и безъ предубѣжденія все, что̀ писано было у насъ противъ *Исторіи Государства Россійскаго* и самого Карамзина, сообразите направленіе, мнѣніе и духъ новаго историческаго ученія, противопоставленнаго ученію Карамзина, и изъ соображеній вашихъ неминуемымъ итогомъ выйдетъ извѣстное письмо, которое такъ дорого обошлось бѣдному Чаадаеву.

Всѣ сіи мысли, съ откровенностью изложенныя предъ вами, давно таились во мнѣ и раздѣляются многими у насъ благомыслящими людьми. Но побужденіемъ къ изліянію ихъ нынѣ послужило новое отступленіе отъ началъ, вписанныхъ на скрижали вашего министерства; скажу болѣе: новый соблазнъ, облеченный и освященный законною силою посредствомъ С.-Петербургскаго университета. Можно было надѣяться, что появленіе письма въ *Телескопѣ* указало, хотя нѣсколько и поздно, опасную цѣль, къ которой ведетъ путь, проложенный новѣйшею нашею историческою критикою. Но г. Устряловъ доказалъ, что эта надежда была неосновательна. Разсужденіе, напечатанное имъ, уже не журнальная бѣглая статья: оно написано для полученія степени доктора философіи. И въ чемъ же заключается оно? Въ необдуманномъ, сбивчивомъ повтореніи пустословныхъ обвиненій *Телеграфа*, *Телескопа* съ братіею! Историческая критика не подвинулась въ немъ ни на шагъ, не положила основанія ни одной новой истинѣ, но перебрала съ любовью груду обломковъ, взгроможденныхъ *черною шайкою* нашихъ историческихъ *ломщиковъ*, и, любуясь ими, въ заключеніе провозгласила: *нѣтъ у насъ исторіи!* Или другими словами: юноши, отложите попеченіе изучать исторію народа своего, проникнуть себя любовью къ настоящему, воспитавъ ее любовью къ прошедшему! Твореніе, по которому могли бы вы учиться исторіи вашей,

многимъ даже не взыскательнымъ читателямъ стало казаться неудовлетворительнымъ, — говорятъ, что при всей красотѣ повѣствованія оно наполняетъ умъ какими-то несвязными картинами, часто образами безъ лицъ, еще болѣе неправильными очерками, однимъ словомъ, всѣ говорятъ въ одинъ голосъ, что Россія еще не имѣетъ своей исторіи (пока, подразумѣвается само собою, мы, переводчики Маржерета и издатели Курбскаго, не рѣшимся пожаловать васъ оною).

Не станемъ разбирать удивительное crescendo наглости и нелѣпости всѣхъ этихъ выраженій, въ коихъ авторъ не умѣлъ даже сохранить логическій порядокъ мыслей. Онъ, напримѣръ, ссылается для подкрѣпленія мнѣнія своего на авторитетъ *невзыскательныхъ читателей*, слѣдовательно, неспособныхъ судить о достоинствѣ творенія. Далѣе, признаетъ *красоту* повѣствованія и говоритъ, что оно наполняетъ умъ какими-то несвязными картинами, образами безъ лицъ и проч. Въ чемъ же можетъ заключаться красота повѣствованій, если не въ ясности и связи соображеній и въ вѣрности передачи ихъ другимъ? Какое отсутствіе здраваго смысла въ докторѣ философіи! Но все это литтературныя замѣчанія, и я не стану ими обременять васъ, готовясь написать для печати возраженіе на статью г-на Устрялова. Здѣсь хочу обратить вниманіе на важнѣйшія несообразности. Во-первыхъ:

Мысли г. Устрялова сбиваются на ту же теорію, которая, проповѣдуемая исторической оппозиціею нашею, получила, наконецъ, практическое примѣненіе въ извѣстномъ письмѣ *Телескопа*. Оба мнѣнія подкрѣпляютъ другъ друга и сливаются вмѣстѣ. Одно различіе въ томъ, что въ журнальномъ письмѣ болѣе безумія и таланта, а въ университетскомъ разсужденіи болѣе нелѣпости и менѣе искусства. Я вполнѣ увѣренъ, что г. Устряловъ во многомъ, а можетъ быть даже и во всемъ, по совѣсти и убѣжденію, совершенно противоположенъ мнѣніямъ, изложеннымъ въ помянутомъ письмѣ. Я готовъ согласиться, что даже, чего добраго, имѣлъ онъ благое намѣреніе разсужденіемъ своимъ косвенно возразить *Телескопу*. Но вашему превосходительству извѣстна Испанская пословица: что адъ вымощенъ

благими намѣреніями. Праведники тѣ, которые умѣютъ привести ихъ въ исполненіе. А то лучшія побужденія души могутъ имѣть, по неспособности головы, самыя пагубныя послѣдствія.

Во-вторыхъ:

Профессоръ Императорскаго университета пишетъ разсужденіе на степень доктора философіи и Императорскій университетъ одобряетъ сіе разсужденіе. Въ немъ, между прочимъ, сказано: „всѣ говорятъ въ одинъ голосъ, что Россія еще не имѣетъ своей исторіи". Позвольте мнѣ замѣтить здѣсь, что г. профессоръ и Императорскій университетъ при общемъ заключеніи въ одинъ голосъ должны были во всякомъ случаѣ вспомнить объ одномъ исключеніи, а именно о голосѣ Государя, который торжественно предъ Россіею сказалъ Карамзину: „Александръ сказалъ вамъ: *Русскій народъ достоинъ знать свою Исторію.* Исторія, вами написанная, достойна Русскаго народа".

Теперь: позволитъ ли цензура, а что́ еще важнѣе, должна ли она позволить частному человѣку печатно порицать выборъ, сдѣланный самимъ Государемъ, хотя на низшее мѣсто администраціи? Разумѣется, нѣтъ! А здѣсь Императорскій университетъ рѣшительнымъ приговоромъ опровергаетъ мнѣніе Государя въ дѣлѣ, для общей пользы гораздо важнѣйшемъ, нежели опредѣленіе какого-нибудь чиновника.

И послѣ подобныхъ несообразностей въ сферѣ дѣйствій самаго правительства будутъ искать въ области мнимыхъ догадокъ, или въ тайникахъ неблагонамѣренныхъ обществъ зародыши возмутительныхъ понятій или ослабленія уваженія къ законной власти и къ существующему порядку, если они изрѣдка кое-гдѣ и пробиваются въ жизни общественной. Но за чѣмъ головоломно искать эти зародыши за тридевять земель, когда они у насъ подъ рукою, когда они гласно и торжественно съ университетскихъ каѳедръ посѣваются въ умѣ молодежи, всегда жадной къ пріятію всего, что́ носитъ на себѣ отпечатокъ оппозиціи! На развѣшенномъ знамени министерства вашего изображено охранительное правило. Такъ! но подъ сѣнью знамени

сего не совершаются-ли дѣйствія ему противныя? Анархія въ понятіяхъ ведетъ къ анархіи въ дѣйствіяхъ [1]).

Хотя и не намѣренъ я входить здѣсь въ разборъ разсужденій г. Устрялова, но не скрою отъ васъ еще одного прискорбнаго впечатлѣнія, которое оно оставляетъ на умѣ здравомыслящемъ. Въ ученіи, истекающемъ изъ высшихъ учебныхъ казенныхъ мѣстъ, заключается залогъ просвѣщенія и, слѣдовательно, будущаго благосостоянія отечества, особенно нынѣ, когда учащемуся поколѣнію загражденъ путь къ иностраннымъ университетамъ. Но можно-ли ожидать отъ нашихъ учебныхъ мѣстъ удовлетворительнаго дѣйствія на народное образованіе, если ничтожная брошюра г. Устрялова можетъ быть признана университетомъ за удовлетворительное право на степень учености? Исполненная противорѣчій, необдуманностей, ибо каждая похвала исторіи Карамзина имѣетъ тутъ же готовое параллельное порицаніе, каждое положеніе автора собственное его отреченіе, брошюра сія ничто иное, какъ незрѣлый плодъ опрометчиваго ученика. Незрѣлость г. Устрялова обнаружилась еще болѣе на диспутѣ, открытомъ въ слѣдствіе разсужденія его. Диспутъ сей былъ общимъ посмѣшищемъ для всѣхъ присутствующихъ. Несостоятельный диспутантъ не могъ поддержать ни одного положенія своего, не умѣлъ, хотя уловками блестящихъ парадоксовъ, избѣжать ни одного удара, на него нанесеннаго орудіями, взятыми изъ собственнаго его арсенала.

Къ стыду классическаго ученія, коего университетъ долженъ быть стражемъ, г. Устряловъ не усомнился вывести на одну доску Карамзина и Полеваго [2]): стройное твореніе одного и хаотическій недоносокъ другаго! И столь двусмысленно, или просто сбивчиво опуталъ собственное мнѣніе свое оговор-

---

[1]) Противъ мѣста отъ словъ: „И послѣ подобныхъ несообразностей“ до словъ: „къ анархіи въ дѣйствіяхъ“ Пушкинъ замѣтилъ: „Не лишнее ли, т.-е. не повтореніе ли?“

[2]) Противъ этого мѣста Пушкинъ замѣтилъ: „О Полевомъ не худо было напомнить и пространнѣе. Не должно забыть, что онъ сдѣланъ членомъ корреспондентомъ нашей Академіи за свою шарлатанскую книгу, писанную безъ смысла, безъ изысканій и безо всякой совѣсти,—не говорю уже о плутовствѣ подписки, что уже касается управы благочинія, а не Академіи Наукъ“.

ками, пошлыми фразами и перифразами, что по истинѣ не знаешь, кому изъ двухъ отдаетъ онъ преимущество!

Послѣ подобнаго соблазна, какую довѣренность могутъ имѣть благомыслящіе родители къ университетскому преподаванію! Съ какимъ чувствомъ будутъ они посылать сыновей учиться Русской исторіи въ университетъ, въ которомъ г. Устряловъ занимаетъ каѳедру Русской исторіи!

Что за нить, за сцѣпленіе несообразностей и противорѣчій правительства въ благихъ намѣреніяхъ его и въ противодѣйствующемъ исполненіи оныхъ. Мысль унываетъ при такомъ прискорбномъ зрѣлищѣ!

Въ заключеніе считаю не излишнимъ объяснить истинное побужденіе, которое понудило меня войти предъ вами въ вышеизложенныя разсужденія. По чувству почти сыновней признательности и преданности, привязывающему меня къ памяти Карамзина, можно было-бы предположить, что здѣсь говорило одно сіе чувство, оскорбленное въ любви и уваженіи своемъ. Но вы знали Карамзина также хорошо, и не остановитесь на этомъ предположеніи. И при жизни своей былъ онъ всегда чуждъ и выше притязаній недоброжелательства на спокойное его самолюбіе: самъ онъ никогда за себя не вступался и запрещалъ ближнимъ своимъ вступаться за него. Нынѣ за гробомъ онъ еще менѣе нуждается въ суетныхъ удовлетвореніяхъ. Нѣтъ, худо понялъ-бы я Карамзина, худо оцѣнилъ-бы характеръ его и примѣръ, имъ завѣщанный, если вступалъ бы здѣсь въ споръ за личность и за имя, и безъ друзей его вписанное на скрижаляхъ отечественной славы. Побужденіемъ моимъ въ этомъ случаѣ были другія чувства, а именно: твердое убѣжденіе въ важности и справедливости моихъ указаній, откровенность мнѣ свойственная и надежда, что слова мои могутъ обратить на себя вниманіе вашего превосходительства и не останутся совершенно безплодными для общей пользы.

LVI.

НАПОЛЕОНЪ И ЮЛІЙ ЦЕСАРЬ.

PRÉCIS DES GUERRES DE JULES CÉSAR, PAR L'EMPEREUR NAPOLÉON ÉCRIT À L'ÎLE SAINTE HÉLÈNE SOUS LA DICTÉE DE L'EMPEREUR PAR M. MARCHAND SUIVI DE PLUSIEURS FRAGMENTS INÉDITS ET AUTHENTIQUES, ETC. ETC. PARIS. 1836.

1836.

Вотъ еще новое любопытное дополненіе къ загробной литературѣ Св. Елены, которая уже подарила насъ многими примѣчательными и живѣйшею занимательностью дышащими твореніями. Кто не читалъ историческихъ диктовокъ славнаго изгнанника? Ими на уединенной скалѣ услаждалъ онъ свои муки, сокращалъ долгіе дни и безсонныя ночи! Ими, по неутолимой жаждѣ своего властолюбія, покушался онъ еще предписывать законы мнѣніямъ потомства, представляя на судъ его дѣянія свои и другихъ въ томъ видѣ и съ той точки зрѣнія, кои особенно ему были свойственны и нужны! Въ этомъ отношеніи Наполеонъ-писатель—необходимый комментаторъ Наполеона-полководца, политика и правителя. Въ этихъ отрывкахъ онъ во многомъ себя разгадываетъ или тѣмъ, что̀ говоритъ, или тѣмъ, что̀ умалчиваетъ, или тѣмъ, что̀ прибавляетъ къ истинѣ, или тѣмъ, что̀ утаиваетъ отъ нея. А сколько орлиныхъ, быстрыхъ, свѣтозарныхъ, проницательныхъ взглядовъ на людей и событія! Сколько страницъ, воспламененныхъ высокимъ краснорѣчіемъ, украшеннымъ не цвѣтами искуснаго ритора и фразеолога, но, такъ сказать, созрѣвшими плодами человѣка,

испытавшаго все и всѣхъ, ратоборца съ судьбою и людьми, коего выраженіе разительно и полновѣсно, потому что жизнь его закалилась въ схваткахъ стихій могущихъ и пламенныхъ, потому что краснорѣчіе его—отголосокъ событій и что слова его—еще дѣйствіе.

Меморіалъ Ласказа есть, безъ сомнѣнія, одна изъ важнѣйшихъ книгъ нашего столѣтія. Если слишкомъ часто Ласказъ выходитъ въ ней самъ на сцену и заслоняетъ Наполеона Лесажевскимъ ѓласомъ своимъ, то какъ не простить ему этой маленькой утѣхи самолюбія за добродушную точность, съ которою онъ велъ свой журналъ, и за тѣ живые очерки, въ коихъ онъ передалъ намъ героя своего какъ въ говорящемъ зеркалѣ. А журналъ докторовъ Омеара, особенно Антомарки, который въ живой картинѣ передалъ намъ послѣдніе дни и кончину изгнанника, коего смерть за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ была бы важнѣйшимъ событіемъ въ Европѣ, а тутъ совершилась тихо и одиноко въ виду пѣсколькихъ вѣрныхъ до гроба! Не знаю ничего трогательнѣе и разительнѣе сихъ отходныхъ страницъ Антомарки. Никакая печальная развязка трагедіи, романа не возбуждаетъ тоски и соболѣзнованія, подобныхъ этимъ чисто-медицинскимъ отмѣткамъ. Съ стѣсненіемъ духа слѣдуешь за возрастающими признаками приближающейся кончины: вопрошаешь съ медикомъ этотъ слабѣющій и прерывающійся пульсъ, который нѣкогда бился такъ сильно и горячо бурною жизнью державъ и народовъ; сочувствуешь очевидцамъ и раздѣляешь удивленіе ихъ при видѣ Наполеона умирающаго, Наполеона умершаго. Нигдѣ и ни въ комъ не выразилось такъ сильно могущество и немощь человѣка, какъ въ Наполеонѣ, нѣкогда Парижскомъ или Европейскомъ, и въ Наполеонѣ за-оксанскомъ!

Маршанъ въ предисловіи къ изданной имъ нынѣ книгѣ сообщаетъ еще нѣсколько новыхъ подробностей о кончинѣ его. Онъ также подтверждаетъ, что послѣднія слышанныя отъ него слова были: Франція! Армія! Послѣдними чтеніями его были: походы Аннибала, описанные бригаднымъ генераломъ Фредерикомъ Гильомомъ, и походы Дюмурье. Тутъ же, въ предисловіи, находятся и нѣкоторыя выписки изъ духовнаго завѣщанія и

кодицилл Наполеона и изъ наставленій, кои онъ далъ своимъ душеприкащикамъ: Монталону, Бертрану и Маршану.—Между прочими особенное вниманіе заслуживаетъ то, что относилось до сына его:

„Вы уговорите его принять вновь имя Наполеона, какъ только вступитъ онъ въ совершеннолѣтіе и удобно ему будетъ это сдѣлать.

„Если бы случился такой оборотъ фортуны, что онъ вступилъ бы на престолъ, то обязанность моихъ душеприкащиковъ будетъ обратить вниманіе его на все то, чѣмъ я обязанъ моимъ старымъ офицерамъ и солдатамъ и вѣрнымъ моимъ служителямъ. Память моя будетъ славою жизни его; вы облегчите ему средство пріобрѣсти все, чѣмъ можетъ онъ окружить себя въ этомъ смыслѣ; вы дѣятельно и прилежно исправите понятія его о событіяхъ и вещахъ (vous redresserez ses idées avec force sur les faits et les choses); вы можете найти у д'Алба, Фена, Мепваля и Бурьенна много такого, что будетъ для него особенно важно.

„Если не будетъ благопріятнаго оборота фортуны во Франціи, то желаю, чтобы какъ можно менѣе изъ семейства моего было при царскихъ дворахъ, а чтобы мои племянники и племянницы переженились между собою въ Римскихъ владѣніяхъ, въ Швейцарской республикѣ, или въ Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ.

„Увѣрьте письменно, или лично, если можно, императрицу Марію-Луизу въ уваженіи и въ чувствахъ, кои я къ ней имѣлъ; поручите ей сына моего, который только въ ней можетъ найти опору.

„Составьте собраніе картинъ, книгъ и медалей, которыя могли бы дать сыну моему правильныя понятія и уничтожить ложныя предубѣжденія, кои чуждая политика могла бы внушить ему, съ тѣмъ, чтобы онъ видѣлъ вещи такъ, какъ онѣ были.

„Печатая мои Италійскіе и Египетскіе походы и тѣ изъ моихъ рукописей, кои будутъ изданы въ свѣтъ, должно посвятить ихъ сыну моему, а равно и письма государей, если отъ-

щутся: можно будетъ получить ихъ изъ архивовъ, что не было бы трудно, ибо гордость народная много бы отъ того выиграла".

По увѣренію Маршана, позднее приношеніе его не есть еще послѣднее богатство литтературныхъ запасовъ Св. Елены. Послѣднею диктовкою Наполеона въ ночь съ 29 апрѣля на 30 (онъ умеръ 5-го мая) былъ проектъ военнаго устройства Франціи, въ двухъ частяхъ, который онъ наименовалъ: Premiêre и seconde rêverie. Сіи бумаги еще не изданы въ свѣтъ.

Настоящій же перечень походовъ Юлія Цесаря есть болѣе книга военная. Это краткіе комментаріи на комментаріи Цесаря; они особенно любопытны и важны въ военномъ отношеніи. За краткимъ и довольно голословнымъ изложеніемъ событій и военныхъ дѣйствій слѣдуютъ при каждой главѣ примѣчанія, въ коихъ Наполеонъ также весьма кратко и сжато излагаетъ свой окончательный приговоръ въ похвалу или въ осужденіе, сравнивая иногда свойства, удобства и характеристику прежней войны съ новѣйшею. О достоинствѣ этихъ замѣчаній, какъ нибудь, бѣгло и даже сухо набросанныхъ, говорить нечего. Тутъ мастеръ говоритъ о своемъ мастерствѣ: слѣдовательно, каждое слово важно для художества и художниковъ. Какую цѣну долженъ имѣть въ устахъ рѣшителя стольнихъ сраженій, напримѣръ, слѣдующій афоризмъ: „Есть минута въ сраженіяхъ, когда малѣйшая маневра рѣшитъ и даетъ превосходство: это капля воды, отъ которой переполняется..."

По поводу моста, наведеннаго Цесаремъ чрезъ Рейнъ, и чрезмѣрныхъ похвалъ о томъ Плутарха, Наполеонъ довольно пространно говоритъ о мостѣ, наведенномъ на Дунаѣ Французскими войсками въ 1809 году. Поясненія его о семъ предметѣ и предположенія о удобствѣ устроенія пробочныхъ понтоновъ кажутся намъ достойны особеннаго вниманія и изслѣдованія въ практическомъ отношеніи военнаго искусства. Предоставляемъ разсмотрѣніе и оцѣнку сихъ предположеній знатокамъ военнаго дѣла, а сами обратимся къ предметамъ, имѣющимъ особенно историческій и характеристическій интересъ.

Многіе удивлялись, какъ Наполеонъ могъ пережить славу и

державу свою, какъ могъ онъ не избавиться собственнымъ жертвоприношеніемъ отъ униженій и продолжительнаго мученичества паденія своего?...

Удивленіе легкомысленное и суетное! Наполеонъ долженъ былъ имѣть такую вѣру въ судьбу свою, столь чудесную и безпримѣрную, что онъ не могъ отчаяваться до послѣдней минуты: долженъ былъ ждать и не сходить съ лица земли, пока земля носила его. Иначе Наполеонъ не былъ бы Наполеономъ.

Судьба, вознесшая его изъ скромной обители Корсиканской на престолъ Франціи и за двѣ или за три ступени отъ мечтательнаго царства всемірной державы, могла сорвать его съ утеса Св. Елены и бросить снова въ сшибку событій и народовъ. Физической невозможности, раціональной несбыточности тутъ не было; слѣдовательно довольно для оправданія суевѣрія его. Съ сей точки зрѣнія должно смотрѣть и на поведеніе его въ изгнаніи, на эти замашки, на этикетъ баснословнаго двора его, отъ коихъ онъ не отрекался, чтобы *собственнымъ сознаніемъ*, которое паче всѣхъ уликъ, не дать окончательной формальности произнесенному надъ нимъ приговору, и не подпасть, въ случаѣ непредвидимыхъ обстоятельствъ, устраненію, основанному на отрицательномъ правѣ давности. Вся эта Тюльерійская комедія, разыгранная на домашнемъ театрѣ Св. Елены, разумѣется, смѣшна въ глазахъ равнодушія и философіи; но Наполеонъ, вѣроятно, и самъ, чувствуя безразсудность упрямства своего въ настоящемъ, хотѣлъ оставить себѣ на всякій случай въ будущемъ возможность сказать: figa bien qui figa le dernier. Въ разсматриваемой нами книгѣ находимъ замѣчательныя сужденія его о самоубійствѣ Катона послѣ неудачи его въ Утикѣ: „Поступокъ Катона былъ одобренъ современниками его и расхваляемъ Исторіею. Но кому смерть его была полезна? Цесарю. Кого обрадовала она? Цесаря. Кому была она пагубна? Риму и партіи его. Но скажутъ: онъ лучше рѣшился умереть, нежели поддаться Цесарю. Кто же принуждалъ его поддаваться? За чѣмъ не послѣдовалъ онъ за Катономъ или за единомышленниками своими, которые отправились изъ Утической пристани? Они собрали партію свою въ Испаніи. Какое вліяніе имѣло бы

ния его, совѣты и присутствіе посреди десяти легіоновъ, которые въ слѣдующій годъ равновѣсили жребій на ратномъ полѣ при Мундѣ! Даже и послѣ этого пораженія, кто помѣшалъ бы ему слѣдовать моремъ за молодымъ Помпеемъ, который пережилъ Цесаря и поддерживалъ еще долго со славою орлы республики? Кассій и Брутъ, племянникъ и ученикъ Катона, умертвили себя на полѣ сраженія при Филиппикѣ; Кассій убилъ себя, когда Брутъ былъ побѣдителемъ; недоразумѣніемъ, отчаянными поступками, внушенными ложнымъ мужествомъ и ложными понятіями о величіи, они доставили побѣду тріумвирату. Марій, преданный фортуною, былъ выше ея; изгнанный изъ-среди морей, онъ скрылся въ Минтурнскія болота; твердость его была вознаграждена: онъ снова вступилъ въ Римъ и былъ консуломъ въ седьмой разъ; старый, изнуренный и достигшій до высшей степени счастія, онъ предалъ себя смерти, чтобы укрыться отъ переворотовъ судьбы. Но когда партія его была торжествующею, если бъ книга судебъ была раскрыта предъ Катономъ и увидѣлъ бы онъ въ ней, что чрезъ четыре года Цесарь, пробитый двадцатью тремя ударами кинжаловъ, падетъ въ сенатѣ къ подножію статуи Помпея, что Цицеронъ вступитъ снова на ораторскую трибуну и прогремитъ съ нея свои филиппики противъ Антонія: то Катонъ поднялъ ли бы руку на себя? Нѣтъ, онъ предалъ себя смерти по досадѣ, изъ отчаянія. Смерть его была слабостью великой души, заблужденіемъ стоика, пятномъ въ жизни его!“

Въ другомъ мѣстѣ, возвращаясь къ сему предмету, говоритъ онъ: „Какія услуги не оказалъ бы Катонъ, если бъ явился онъ въ Кордовѣ, посреди стана молодыхъ Помпеевъ, коихъ партія, побѣжденная при Фарсалахъ, при Тапсѣ, возрождалась изъ пепла своего! Таково было могущество ея въ мнѣніи народовъ! Такимъ образомъ смерть сего благонамѣреннаго человѣка была бѣдствіемъ для сената и для республики; въ немъ не достало терпѣнія, онъ не умѣлъ выждать времени и обстоятельствъ“.

Далѣе, продолжаетъ онъ: „Говорятъ, что Цесарь былъ готовъ на самоубійство въ сраженіи при Мундѣ; сіе намѣреніе было бы весьма бѣдственно для партіи его: она была бы разбита,

какъ Брутъ и Кассій!! Правитель, начальникъ партіи, можетъ ли добровольно покинуть своихъ? Подобная рѣшимость можетъ ли быть признана за добродѣтель, мужество и великодушіе? Смерть не есть ли конецъ всѣхъ бѣдствій, противоборствъ, усилій и трудовъ, и пренебреженіе смертью не есть ли обыкновенная добродѣтель каждаго воина? Хочешь ли смерти, должно ли дать себѣ смерть? Должно, отвѣчаютъ, когда остаешься безъ надежды. Но можетъ ли кто, когда и какъ быть безъ надежды на этомъ зыбкомъ театрѣ, гдѣ естественная или насильственная смерть одного человѣка мгновенно измѣняетъ положеніе и порядокъ всѣхъ дѣлъ?"

Заключеніе книги сей, въ которой излагаются послѣднія событія жизни Цесаря, смерть его и сужденіе о ней, принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ историческимъ отрывкамъ, когда-либо писаннымъ. Тутъ Наполеонъ такъ тѣсно смѣшивается съ Цесаремъ единомыслiемъ и соотвѣтственностью положеній, не смотря на различіе обстоятельствъ и времени, что читатель чувствуетъ, съ какимъ убѣжденіемъ и какъ задушевно вылились эти страницы изъ груди Наполеона: „Цесарь въ Римѣ! Партія Помпея совершенно уничтожена; весь Римскій міръ признаетъ надъ собою законъ побѣдителя. Сенатъ именуетъ его императоромъ и диктаторомъ безсмѣннымъ. Цесарь опредѣлилъ большое число сенаторовъ и патриціевъ. Онъ преобразовалъ календарь; приказалъ заняться составленіемъ кодекса гражданскаго и уголовнаго. Онъ занялся проектами для украшенія Рима многими великолѣпными зданіями, заказалъ составленіе всеобщей карты имперіи и статистической таблицы областей; поручилъ Варрону образовать многочисленную публичную библіотеку; опародовалъ проектъ осушить Понтійскія болота, вырыть новое русло Тибру отъ Рима до моря, а въ Остіи рейду, удобную къ принятію огромнѣйшихъ кораблей; онъ говорилъ о прорѣзаніи Коринѳскаго перешейка; онъ отправилъ колоніи, чтобы поднять Коринѳъ и Карѳагенъ.

„Онъ искренно простилъ всѣмъ остаткамъ Помпейской партіи и призвалъ къ высшимъ должностямъ начальниковъ знатнѣйшихъ домовъ патриціевъ; онъ повиновался чувству велико-

душія, ему свойственному, но вмѣстѣ съ тѣмъ и совѣтамъ политики. Не народною ли партіею предводительствуя, перешелъ онъ Рубиконъ? Не на нее ли опираясь, побѣдилъ гордость аристократіи, собравшейся вокругъ Помпея? Въ самомъ дѣлѣ, что могъ бы онъ совершить съ двумя или тремя легіонами? Какъ покорилъ бы онъ Италію и Римъ безъ осадъ и сраженій, еслибъ большинство рукъ Римлянъ и Итальянцевъ не было за него? Помпей, при началѣ междоусобной войны, имѣлъ два старые легіона и 30.000 человѣкъ у воротъ Рима; въ Коренціи имѣлъ онъ тридцать когортъ. Но народъ былъ противъ него; онъ долженъ былъ безъ боя оставить вѣчный градъ. Онъ переплылъ море, чтобы бѣжать на встрѣчу легіонамъ Азіятскимъ; онъ создалъ тамъ себѣ армію, былъ въ Греціи окруженъ сенатомъ и большинствомъ патриціевъ; но и Цесарь съ перваго шага былъ властелиномъ Рима.

„Послѣ торжествъ при Фарсалахъ, Пансѣ и Мундѣ, при совершенномъ уничтоженіи партіи Помпея, партія народная и старые воины возвысили свои требованія; голоса ихъ раздались, Цесарь почувствовалъ опасеніе, онъ прибѣгнулъ къ вліянію важнѣйшихъ семействъ, для обузданія тѣхъ и другихъ. Въ народахъ и въ революціяхъ аристократія завсегда существуетъ: уничтожаете ли вы ее въ дворянствѣ—она тотчасъ переходитъ въ богатые и сильные дома средняго состоянія; уничтожаете ли вы ее и тутъ—она всплыветъ и найдетъ себѣ прибѣжище у старѣйшинъ мастерскаго класса и у народа. Правитель ничего не выигрываетъ отъ этого перемѣщенія аристократіи; напротивъ, онъ приводитъ все въ прежній порядокъ, давая ей существовать въ ея естественномъ положеніи, преобразовывая древніе домы подъ новыя начала. Сей порядокъ былъ еще потребнѣе для Рима, который, повелѣвая міромъ, имѣлъ нужду, для поддержанія превосходства своего, въ сей волшебной силѣ, прикованной къ именамъ Сципіоновъ, Павловъ-Эмиліевъ, Метелловъ, Клавдіевъ, Фабіевъ, и пр.; они были завоеватели и правители, и въ теченіе столькихъ вѣковъ имѣли вліяніе на судьбы Европы, Азіи, Африки“.

Неудача Римскихъ войскъ оставалась еще однакоже въ од-

номъ мѣстѣ безъ отмщенія: Крассъ погибъ съ войскомъ своимъ на берегахъ Евфрата, и Римскія орды, оставшіяся въ рукахъ Парѳянъ, призывали согражданъ своихъ къ искупленію ихъ. „Цесарь—говоритъ Наполеонъ—объявилъ въ первыхъ дняхъ 44 года намѣреніе переплыть море, покорить Парѳянъ и отомстить за прахъ Красса. Во всю зиму онъ занимался приготовленіемъ къ сей великой экспедиціи, которой требовала слава Рима и польза Цесаря; дѣйствительно, послѣ междоусобной войны столь упорной нужна была заграничная война, чтобы смѣшать остатки всѣхъ партій и преобразовать войска народныя".

Далѣе Наполеонъ разсматриваетъ затрудненія, связанныя съ симъ походомъ, и представляетъ предположенія свои къ одолѣнію оныхъ. Наполеонъ является тутъ начальникомъ штаба Цесаря; по и тому и другому былъ положенъ предѣлъ на срединѣ поприща къ цѣли, вѣчно удаляющейся по мѣрѣ приближенія къ ней. „Въ то время, какъ сей великій мужъ — продолжаетъ Наполеонъ—готовился исполнить возвышенныя судьбы, обломки партіи аристократической, уцѣлѣвшіе по великодушію его, замыслили заговоръ противъ него; Брутъ и Кассій были зачинщиками онаго. Брутъ былъ стоикъ, ученикъ Катона; Цесарь любилъ его и два раза спасъ ему жизнь, но секта, къ коей онъ принадлежалъ, не допускала ничего, что бы могло смягчить его. Исполненный понятій, преподаваемыхъ въ Греческихъ школахъ противъ тиранніи, онъ признавалъ законнымъ убійство человѣка, который былъ выше законовъ. Цесарь, диктаторъ безсмѣнный, управлялъ Римскимъ міромъ; Римъ имѣлъ призракъ сената: оно и не могло быть иначе, послѣ междоусобій Марія и Суллы, нарушенія законовъ Помпеемъ, пяти лѣтъ междоусобной войны, при такомъ большомъ числѣ ветерановъ, основавшихся въ Италіи, преданныхъ своимъ военачальникамъ и ожидающимъ всего отъ величія нѣсколькихъ человѣкъ и ничего отъ республики. Въ такомъ положеніи сіи совѣщательныя собранія не могли править; лицо Цесаря было, слѣдовательно, залогомъ владычества Рима надъ міромъ и спокойствія гражданъ всѣхъ партій; слѣдовательно, власть его была законна. Позднѣе, чтобы оправдать низкое и противополитическое убійство, заговор-

щики и приверженцы ихъ предположили, что Цесарь хотѣлъ наименовать себя царемъ: предположеніе, очевидно, нелѣпое и лживое, которое однако же перешло изъ вѣка въ вѣкъ и признается истиною исторической! Если бы Цесарь имѣлъ дѣло съ поколѣніемъ, которое видѣло Нуму, Туллія и Тарквиніевъ, онъ могъ бы прибѣгнуть, для укрѣпленія власти своей и прекращенія сомнѣній и волненій республики, къ формамъ правительства, свято уважаемымъ и освященнымъ привычкою; но онъ жилъ среди народа, который въ пятьсотъ лѣтъ не зналъ другой власти, кромѣ власти консуловъ, диктаторовъ, трибуновъ; достоинство царей было уничтожено, курульныя кресла были выше трона. На какой тронъ могъ бы вступить Цесарь? На тронъ Римскихъ царей, коихъ власть простиралась до городскаго округа? На тронъ варварскихъ властителей Азіи, побѣжденныхъ Фабриціями, Сципіонами, Метеллами, Клавдіями и проч.? Это была бы странная политика. Какъ! Цесарь искалъ бы безопасности, величія, уваженія въ вѣнцѣ, который носили Филиппы, Аттилы, Митридаты, Фарнаки, Птоломеи, когда граждане видѣли ихъ всѣхъ влачимыхъ за торжественною колесницею побѣдителей ихъ. Это слишкомъ нелѣпо".

Изложивъ и опровергнувъ всѣ доводы, на коихъ добрый Плутархъ, либеллистъ Суэтоній и нѣсколько другихъ писателей той же партіи основали мнѣніе свое, столь неправдоподобное, Наполеонъ заключаетъ книгу свою слѣдующими словами: „Цесарь не могъ желать, не желалъ, ничего не сдѣлалъ, а дѣлалъ все противное тому, въ чемъ обвиняютъ его. Конечно, не наканунѣ похода на Евфратъ и открытія войны трудной рѣшился бы онъ ниспровергнуть формы, существующія уже въ теченіи пятисотъ лѣтъ, чтобы ввести новыя. Кто правилъ бы Римомъ въ отсутствіи царя? Регентъ, губернаторъ, вице-король, тогда какъ Римъ пріученъ былъ управляться консуломъ, преторомъ, сенатомъ, трибунами?

„Принося въ жертву Цесаря, Брутъ поддался предразсудку воспитанія, почерпнутому въ Греческихъ школахъ; онъ примѣнилъ его къ темнымъ тиранамъ Пелопонезскимъ, которые съ помощію искательствъ и пронырствъ похищали власть надъ

городомъ; онъ не хотѣлъ видѣть что власть Цесаря была законна, потому что она была нужна и охранительна, потому что она соблюдала всѣ выгоды Рима, потому что она была дѣйствіемъ мнѣнія и воли народа. Цезарь умершій былъ замѣщенъ Антоніемъ, Октавіемъ, Тиберіемъ, Нерономъ — и вслѣдъ за этимъ всѣ человѣческія соображенія были истощены въ теченіе шести сотъ лѣтъ; но ни республика, ни царская монархія не явилась. Вѣрное доказательство, что ни та, ни другая не были болѣе въ соотношеніи съ событіями и вѣкомъ. Цесарь не хотѣлъ быть царемъ, потому что онъ не могъ хотѣть того, ибо послѣ него въ теченіи шести сотъ лѣтъ ни одинъ изъ преемниковъ его не хотѣлъ".

Какъ замѣчательны эти отрывки! Какая ясность и твердость въ изложеніи! Все это вырѣзано на мѣди. Выпуклости, внѣшнихъ украшеній нѣтъ, но все глубоко и прочно. Если Наполеонъ былъ мастеръ работать для исторіи, то здѣсь является онъ и мастеромъ въ разработываніи исторіи. Нѣтъ сомнѣнія, что книга сія останется навсегда первокласснымъ историческимъ памятникомъ, на которомъ можно бы надписать: „Цесарю первому Цесарь второй". Къ сему творенію приложены еще три отрывка, также продиктованные Наполеономъ: о второй книгѣ *Энеиды*, о трагедіи Вольтера „*Магометъ*" и *О самоубійствѣ*.

Помышлялъ-ли бѣдный Виргилій, что онъ подпадетъ подъ стратегическую критику полководца новѣйшихъ временъ, который говоритъ, что „деревянный конь могъ быть народнымъ преданіемъ, но что сіе преданіе нелѣпо и недостойно поэмы эпической, что ничего подобнаго этому нѣтъ въ Иліадѣ, гдѣ все сообразно съ истиною и дѣйствіями военными". „Предполагая", — говоритъ Наполеонъ — „что этотъ конь могъ вмѣстить только сотню воиновъ, то и тогда былъ бы онъ тяжести огромной, и нѣтъ вѣроятности, чтобы могли перетащить его въ одинъ день съ берега моря подъ стѣны Иліона, особенно при переходѣ чрезъ двѣ рѣки. Разрушеніе Трои также неправдоподобно". Все дѣйствіе второй книги — говоритъ критикъ — продолжается отъ часу по полуночи до восхожденія солнца, слѣдственно въ промежутокъ трехъ, четырехъ часовъ: это не-

лѣпо. Троя не могла быть взята, сожжена и разрушена ранѣе пятнадцати дней. Троя вмѣщала въ себѣ армію; сія армія не спаслась бѣгствомъ, слѣдовательно она должна была обороняться во всѣхъ дворцахъ".

Что тутъ и возражать! Наполеонъ умѣлъ брать города: ему и книги въ руки, и Виргиліева книга также! „Если бъ Гомеръ" — продолжаетъ Наполеонъ — „взялся за описаніе приступа Трои, онъ не описалъ бы его какъ приступъ укрѣпленія, но положилъ бы на это дѣйствіе нужное время: по крайней мѣрѣ восемь дней и восемь ночей. Читая Иліаду, чувствуешь на каждомъ шагу, что Гомеръ былъ на войнѣ, и не провелъ жизни своей, какъ утверждаютъ комментаторы, въ Хіосскихъ училищахъ; читая Энеиду, чувствуешь, что она написана школьнымъ регентомъ, который никогда ничего не дѣлалъ". О пожарѣ Трои замѣчаетъ онъ: „Сципіону нужно было семнадцать дней, чтобы сжечь Карѳагенъ, покинутый жителями; нужно было одиннадцать дней, чтобы сжечь Москву, хотя обстроенную большею частію деревянными зданіями! — Не такъ должна подвигаться эпопея и не такъ выступаетъ Гомеръ въ Иліадѣ. Журналъ Агамемнона не былъ бы точнѣе въ исчисленіи разстояній и времени, въ правдоподобіи военныхъ дѣйствій, чѣмъ это высокое твореніе".

Наполеонъ не любилъ Вольтера. Тутъ вѣроятно дѣйствовало не столько литературное, сколько политическое убѣжденіе. Ему нуженъ былъ болѣе всего порядокъ; а Вольтеръ, по свойству ума и страстей своихъ, былъ во многомъ нарушитель установленнаго порядка. Наполеонъ видѣлъ въ Вольтерѣ идеолога, а идеологія была ненавистна его практической устроительной природѣ (organisatrice). Вольтеръ былъ насмѣшникъ, а Наполеонъ не любилъ насмѣшки, даже и до него не касающейся, потому что насмѣшка есть орудіе независимости, ускользающее отъ управы, и особенно во Франціи — всесильное. Разбирая трагедію: *Магометъ*, несообразности ея историческія и нравственныя и предлагая, что въ ней слѣдовало бы измѣнить, Наполеонъ говоритъ между прочимъ: „Чтобы твореніе *Магометъ* было истинно-достойнымъ Французской сцены, нужно, чтобы оно

могло быть читано безъ негодованія просвѣщенными людьми въ Константинополѣ, равно какъ и въ Парижѣ".

Какое вѣрное замѣчаніе, свѣтлое и глубокое опредѣленіе исторической трагедіи. Какъ падаютъ предъ ней съ возвышенной славы своей всѣ драматическія творенія, написанныя съ талантомъ, но въ духѣ сочинителя, вѣка его и его общества, а не въ духѣ и не въ атмосферѣ той среды, изъ коей вызвали они свои дѣйствующія лица.

Заключимъ нашу статью выпискою замѣтки о самоубійствѣ.

10 августа 1820 года.

„Имѣетъ ли человѣкъ право умертвить себя? Имѣетъ, если смерть его не вредитъ никому, и если жизнь для него есть зло.

„Когда жизнь бываетъ зломъ для человѣка? Когда она обѣщаетъ ему одни страданія и скорби. Но страданія и скорби могутъ измѣняться ежеминутно, и слѣдовательно нѣтъ ни одной минуты жизни, гдѣ человѣкъ имѣлъ бы право себя убить; эта минута могла бы наступить только въ часъ смерти его, ибо только тогда убѣдился бы онъ, что вся жизнь его была сцѣпленіе бѣдъ и страданій. Нѣтъ человѣка, которому нѣсколько разъ въ жизни не приходило бы, въ нравственномъ изнеможеніи, подъ гнетомъ ощущеній, тяготящихъ душу его, желанія умертвить себя и которому, спустя нѣсколько дней, не пришлось бы отъ перемѣны въ ощущеніяхъ и въ обстоятельствахъ радоваться тому, что замыслъ его не совершился.

„Человѣкъ, который убилъ бы себя въ понедѣльникъ, могъ бы желать жить въ субботу; а между тѣмъ убиваешь себя единожды! Жизнь человѣка образуется изъ прошедшаго, настоящаго и будущаго; и такъ потребно, чтобы жизнь была бѣдствіемъ для него, если не въ прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ, то по крайней мѣрѣ въ настоящемъ и будущемъ. Но если она бѣдствіе только въ настоящемъ, то онъ жертвуетъ будущимъ. Бѣды одного дня не даютъ ему права жертвовать своею дальнѣйшею жизнью. Человѣкъ, коего жизнь есть бѣдствіе, и который имѣлъ бы увѣренность—чего допустить нельзя—что она

была бы бѣдствіемъ и навсегда безъ измѣненія въ положеніи и волѣ, безъ перемѣны отъ обстоятельствъ, привычки, или хода времени—что также невозможно—тотъ одинъ имѣлъ бы права убить себя.

„Человѣкъ, который, изнемогая подъ бременемъ различныхъ золъ, предаетъ себя смерти, совершаетъ несправедливость противъ самого себя, повинуется изъ отчаянія и слабости прихоти минуты, жертвуя ей всею жизнью.

„Сравненіе съ рукою, пораженною антоновымъ огнемъ, которую отсѣкаютъ, чтобы спасти тѣло,—не хорошо. Когда хирургъ отпиливаетъ руку, онъ убѣжденъ, что она дала бы смерть тѣлу: это не чувство, а дѣйствительность; напротивъ же, когда страданіями своими человѣкъ покушается на жизнь свою, онъ не только полагаетъ конецъ страданіямъ своимъ, но еще низпровергаетъ будущее: человѣкъ никогда не раскается, что далъ себѣ руку отрѣзать, но можетъ раскаяться и почти всегда долженъ былъ бы раскаяться, что нанесъ себѣ смерть".

Эти сужденія произносимыя Наполеономъ очень любопытны и замѣчательны. Они нѣкоторымъ образомъ даютъ ключъ къ тайнымъ и внутреннимъ помысламъ его. Если самоубійство можетъ быть допущено, то, кажется, никто болѣе Наполеона не имѣлъ повода и права покончить съ собою и тѣмъ вырваться изъ вражескихъ рукъ, послѣ паденія своего. Не должно забывать, что Наполеонъ на островѣ Св. Елены смотрѣлъ на себя какъ на жертву политики, или, вѣрнѣе, хотѣлъ выставить въ себѣ несправедливую и достойную сожалѣнія жертву. Онъ защищалъ себя, онъ писалъ апологію свою предъ судомъ современниковъ и потомства. Онъ вѣроятно зналъ, что многіе удивляются, какъ могъ онъ рѣшиться отдать себя живымъ въ руки враговъ; боялся, можетъ быть, что нѣкоторые припишутъ это малодушію его, недостатку мужества въ рѣшительную и роковую минуту. Вотъ, въ виду этихъ судей и приговоровъ ихъ, пишетъ онъ трактатъ о самоубійствѣ. Нигдѣ не смотритъ онъ на самоубійство съ религіозной и христіанской точки зрѣнія: онъ ограничивается одною житейскою и спекулятивною стороною этого вопроса. Еще важ-

нѣе и то, что онъ на пустынномъ островѣ своемъ, прикованный къ скалѣ, въ унизительномъ и бѣдственномъ положеніи своемъ, при всей *злобѣ дня*, не терялъ надежды, что *завтрашній день* можетъ все перемѣнить; что какъ судьба перенесла его въ Парижъ съ острова Ельбы, то и съ острова Св. Елены таже судьба можетъ перенести его туда же. Говоря словами его: онъ и въ грустный и страшный *понедѣльникъ*, не терялъ надежды, что можетъ наступить радостная *суббота*.

LVII.

NAPOLÉON, POÈME PAR EDGAR QUINET. PARIS. 1836.
(НАПОЛЕОНЪ. ПОЭМА Э. КИНЕ).

1836.

Наши времена не эпическія. Тому много причинъ; войти въ подробное и полное изслѣдованіе оныхъ невозможно въ краткомъ объемѣ журнальной статьи. Міръ нравственный и политическій имѣетъ свои эпохи подобно міру физическому; нѣкоторыхъ изъ допотопныхъ животныхъ не доискиваются въ мірѣ живущихъ; земля старѣетъ и стынетъ, нравственная почва также. Новыя явленія замѣнили на ней отжившія свой вѣкъ. Можетъ быть, нѣтъ новѣйшей эпической поэзіи по той же причинѣ, по коей нѣтъ новѣйшей скульптуры: люди тѣ же, но иначе одѣты. Герои нашего времени носятъ треугольныя шляпы и галстухи; скульптура любитъ обнаженныя головы и шеи, потому и принуждена она нынѣ высѣкать рѣзцомъ своимъ вѣковѣчные анахронизмы и противоестественныя натяжи. Статуи наши стоятъ на лѣтнемъ положеніи на вьюгѣ и на морозѣ, подъ небомъ, не имѣющимъ *аттицизма* неба Фидіасовъ. Если новому статуарію и придетъ мысль прикрыть героя своего знакомою шляпою и знакомымъ сюртукомъ, то это уже по необходимости, не въ примѣръ другимъ, и то къ соблазну и къ ужасу присяжныхъ жрецовъ изящнаго, которые, впрочемъ, по искусству правы, но также правъ и художникъ, по совѣсти и по истинѣ исторической. Дѣло въ томъ, что хотятъ невозможнаго: хотятъ разрѣшенія задачи неразрѣшимой. Должно принести на жертву

искусство, или истину, и истину не отвлеченную, а народную, площадную, и слѣдовательно непримосновенную. Примиренія тутъ быть не можетъ. Имѣть условную одежду для изображенія современныхъ знаменитостей — то же, что имѣть бы для нихъ условныя черты и особый окладъ лица героическій по правиламъ ваятельной риторики.

Вѣкъ нашъ допытливъ, изслѣдователенъ, до крайности привязчивъ, мнителенъ, правдивъ, и если лжетъ, то развѣ самому себѣ, и то изъ безусловной, фанатической любви къ истинѣ; а гдѣ клятва, тамъ и преступленіе. На эпическую эпоху нахлынулъ также потопъ всеобъемлющій: потопъ книгопечатанія. Нѣтъ великаго человѣка въ глазахъ каммердинера; нѣтъ эпическихъ событій и лицъ для журналистовъ, біографовъ, лазутчиковъ во станѣ живыхъ и мертвыхъ. Великіе люди *донотные* не знали ни каммердинеровъ, ни журналистовъ; имъ легко было показываться свѣту во всеоружіи своемъ сквозь увеличительное и разноцвѣтное стекло преданій. Нынѣшнія дѣйствующія лица разсматриваются въ микроскопы, которые на бѣлой, пухлой рукѣ красавицы найдутъ тысячи ямокъ и бородавокъ, и въ розѣ міріады отвратительныхъ чудовищъ. Исторія была прежде жертвоприношеніе, апооеозное служеніе; нынѣ она сомнѣніе, изобличеніе и отрицаніе. Какая эпопея, то-есть какое эпическое суевѣріе можетъ устоять въ Европѣ послѣ *Опыта о нравахъ народовъ* Вольтера, *Записокъ* герцога Сен-Симона, изысканій *О свойствахъ и причинахъ богатства народовъ* Адама Смита, политическихъ эпиграммъ Талейрана, въ виду стоглазой, сторучной журналистики, которая лежитъ на порогѣ храма славы,

„Чудовище обло-озорно-огромно, стозѣвно и лаяй"!..

Можетъ-ли устоять личное и рукопашное богатырство предъ изобрѣтеніемъ пороха и стратегическими соображеніями барона Жомини? Гдѣ искать любви послѣ романовъ Кребильона-сына, Лакло, Луве и Жоржа-Занда, женщины, которая пишетъ, какъ прежде мужчины не читали? Всему есть время, и возрастъ на возрастъ не приходится.

Если, однакоже, есть лицо въ новѣйшія времена, которое могло бы позировать предъ эпическимъ поэтомъ, то развѣ На-

полеонъ; ибо жизнь его есть эпопея. Во всякомъ случаѣ станетъ его на *Одиссею*, если не стало бы терпѣнія его на десятилѣтнюю осаду Иліона. По холсту, растянутому для изображенія странствованій его отъ Альповъ до пирамидъ, отъ пирамидъ до Кремля, отъ Кремля до скалы Св. Елены,—есть гдѣ кисти поразгуляться. Въ группахъ, въ массахъ, въ движеніи, въ эффектахъ, въ ошибкахъ свѣта и тьмы также недостатка не будетъ. Въ немъ являются судьба, цѣлый міръ, олицетворившіеся въ одномъ человѣкѣ, который себя и кругомъ себя все пересоздалъ и самъ пережилъ себя и созданіе свое. Это Ахиллъ невредимый и также, какъ тотъ,—имѣвшій свое слабое мѣсто: властолюбіе, за которое держала его фортуна, когда погружала въ водахъ Стикса, въ водахъ жизни и смерти, и предала съ этой стороны на произволъ собственныхъ страстей и ударовъ возмездія и мщенія. Неоспоримо, Наполеонъ—лицо эпическое, эпическая стихія, съ своимъ Олимпомъ и адомъ и всѣмъ, что только могло умѣститься въ широкой головѣ Гомера. Исторія, философія могутъ оспаривать нѣкоторыя изъ правъ его на титулъ *Великаго*, если титулъ сей долженъ быть окончательно освященъ памятью и благодарностью человѣчества; но поэзія не откажетъ ему въ титлѣ *поэтическаго исполина*, и сохранитъ его въ своихъ преданіяхъ. Такъ, есть для эпическаго поэта дѣйствующее лицо, есть сцена, но партера нѣтъ, то-есть прежняго благосклоннаго партера, партера вѣрующаго, преданнаго, страстнаго, идолопоклоннаго, предъ коимъ разыгрывались древнія эпопеи. Нынѣ въ партерѣ сидитъ ученая, прагматическая, взыскательная критика, готовая раздѣть героя до послѣдней нитки и перебрать кулисы и машины до послѣдней щепки. Она садится рядомъ съ суфлёромъ въ узкую яму его, чтобы оградить себя отъ всякихъ сценическихъ обольщеній, буквально слѣдовать за дѣйствіемъ, и караулить героя какъ неотступный тюремщикъ.

Къ тому же и въ самомъ стихотворческомъ исполненіи и въ самой формѣ встрѣчаются затрудненія и препятствія. Эпическая поэма требуетъ въ поэтѣ и читателѣ богатырской силы, а наше поколѣніе скоро задыхается, можно сказать, что оно запалено. Выраженіе „ouvrage de longue haleine“ —выраженіе

другаго вѣка, особенно въ поэзіи. Мы можемъ выдержать нѣсколько сотъ стиховъ, за тысячу переходимъ уже съ трудомъ, и то съ тѣмъ условіемъ, чтобы читать ихъ, какъ Итальянская публика слушаетъ свою оперу: минуя речитативы и обращая вниманіе на однѣ эффектныя аріи; такъ что Байронъ, поэтическій типъ нашего вѣка, написалъ всѣ свои поэмы безъ речитативовъ, означивъ точками пробѣлы своихъ поэтическихъ партицій. Доказываетъ ли это, что мы болѣе поэты, то есть одарены живѣйшимъ поэтическимъ чувствомъ, нежели наши предки, которые часто довольствовались одною формою, когда мы требуемъ вездѣ и всегда раздражающихъ впечатлѣній, или доказываетъ оно, что мы просто лѣнивѣе и менѣе совѣстливы ихъ— не знаю. Можетъ быть и то и другое вмѣстѣ, но результатъ тотъ же и неопровергаемъ. Новая поэма Ламартина *Jocelyn* служитъ тому доказательствомъ. Два толстые тома стиховъ пугаютъ современное любопытство, и первое впечатлѣніе, произведенное однимъ глазомѣромъ, уже не въ пользу поэта. Между тѣмъ и сія поэма эпизодическая, отрывчатая, обрубленная, безъ связей, безъ переходовъ, вынужденныхъ общими правилами для полноты и нераздѣлимости цѣлаго.

Эдгардъ Кине также согласился съ потребностью времени: поэма его—собраніе отдѣльныхъ главъ, отдѣльныхъ картинъ, разнообразныхъ и формою и красками своими. Въ этомъ устройствѣ есть сознаніе поэтическаго чувства. Если избрать въ нашемъ времени лицо эпической поэмы, то развѣ Наполеона; если есть возможная форма для новѣйшей эпопеи, то развѣ форма Испанскихъ романсовъ о Сидѣ. Смотря по содержанію, пѣснопѣвецъ Наполеона переходитъ отъ простонародной баллады до возвышенной оды, отъ героиды къ элегіи. Метръ его измѣняется съ ходомъ предмета. Эта мысль счастливая и шагъ впередъ. Давно уже классическій Мармонтель говорилъ, что если необходимо писать поэмы съ риѳмами, то должно бы переломить ихъ однообразіе введеніемъ стиховъ различной мѣры, не перемѣшанныхъ на удачу, какъ то бываетъ въ вольныхъ стихотвореніяхъ, но примѣняя ихъ къ различнымъ содержаніямъ, сообразно съ удобствомъ метра, такъ напр. пятистопный стихъ,

какъ простѣйшій, къ мѣстамъ патетическимъ, шестистопный къ повѣствованіямъ плавнымъ и величественнымъ, четырехстопный къ движеніямъ лирическимъ, и такъ далѣе. Вѣроятно не старикъ Мармонтель надоумилъ Эдгара Кине, ибо новѣйшее поколѣніе Французской литтературы не признаетъ предковъ и законодателей; оно не хуже нѣкоторыхъ изъ нашихъ корифеевъ ругается именами, памятными только однимъ старовѣрцамъ; но мы хотѣли при этомъ случаѣ мимоходомъ показать, что не всѣ нововведенія сегодняшнія, а что есть между ними кое-что и вчерашняго. Эдгаръ Кине принадлежитъ къ сей школѣ юной Франціи, въ которой есть, безъ сомнѣнія, много талантовъ и много грядущаго, но еще, можетъ быть, болѣе молодости, то есть заносчивости, самонадѣянности и броженія. Нужно ей перебѣситься и осѣсться. Поворотъ отъ правильной, мѣрной, плавной Виргиліевской литтературы, основанной во Франціи Расиномъ и Фенелономъ, былъ слишкомъ крутъ. Впрочемъ, не одну литтературу круто повернули во Франціи; а литтература, какъ и всякая теорія, нѣсколько опрометчиво и слѣпо кидается впередъ, не заботясь, слѣдуетъ ли за нею и можетъ ли слѣдовать дѣйствительность. Конечно, литтература Версальская, академическая, литтература монархіи Людовика XIV и даже литтература мятежнаго XVIII вѣка, которая при всей отважности и разрушительности въ понятіяхъ и системахъ своихъ, свято почитала неприкосновенность существовавшихъ формъ, которая въ Вольтерѣ имѣла посягателя на всѣ преданія, за исключеніемъ преданій Депрео и Расина,—эта литтература имѣла въ себѣ что-то слишкомъ условное, исключительное, выдѣланное до разслабленія, до истощенія самой природы. Новые умы почувствовали сей недостатокъ, сей недугъ, сію смерть того, что перешло имъ въ наслѣдство. Они убѣдились, что лежащій предъ ними трупъ украшенъ, подновленъ уже до послѣдней степени возможности и искусства въ бальзамированіи тѣлъ, что тутъ творить болѣе нечего, а только покрывать новыми слоями старые и работать надъ дѣломъ конченнымъ. Тогда кинулись они въ другую сторону искать новыхъ стихій и забѣжали въ противоположную крайность. Жизни, жизни хотятъ они! во что бы ни стало, жизни,

хотя судорожной, изступленной, но жизни новой, чтобы не сбивалась на прежнюю, уже совершившую кругъ дѣйствія своего и оборвавшую на семъ пути всѣ цвѣты, всѣ плоды, всѣ сѣмена будущей жатвы. Теперь должно ожидать появленія между ними жизнодателя, подобно Расину, который приведетъ въ стройную цѣлость эти разбросанные, гальванизированные недоростки жизни. Должно сознаться, что въ сущности нынѣшняя Французская литература ближе къ природѣ и правдоподобнѣе, нежели прежняя, но въ выраженіи своемъ она все еще изыскана, натянута, и въ самомъ выборѣ стихій своихъ держится болѣе уклоненій, исключеній природы, нежели постояннаго и правильнаго явленія силъ ея. Это напряженная школа Микель-Анджела, которая сама—отпечатокъ школы Лаокооновской, а не Аполлона Бельведерскаго; напряженные мускулы, вздутыя жилы, выраженіе борьбы, слѣдовательно силы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и страданія. Вѣроятно, и сіе направленіе литтературы есть также слѣдствіе господствующаго побужденія отдѣлить себя отъ предшедшаго и опасеніе сбиться снова на Египетскую бальзамировку. Странны свойства сей новой литтературы: то откровенна она до наготы и до наглости, то самую наготу прикрываетъ безполезными украшеніями! Она татуируетъ себя, какъ будто совѣстясь показаться въ состояніи непорочности и пренебрегая между тѣмъ благопристойно завѣсить свое грѣшное тѣло. Это дикая островитянка, которая является къ намъ голая, но съ серьгами въ ноздряхъ. Побрякушки роскоши, привитыя къ природной первобытности,—смѣшеніе жалкое и отвратительное! Хочетъ ли новая литтература попасть на простоту? Она не запросто проста, а съ усиліемъ. Простота не легко дается; это святыня, которая требуетъ особеннаго призванія и долгаго очищенія. Простота должна быть какъ благодѣяніе, такъ что лѣвая рука не вѣдаетъ о милостынѣ, подаваемой правою. Будьте просты, не думая о простотѣ, не зная, что вы просты: тогда узнаютъ и убѣдятся въ томъ другіе. Истина и простота—вотъ двѣ главныя стихіи поэзіи; въ нихъ талантъ отыщетъ силу и возвышенность. Этихъ стихій именно еще и нѣтъ у Французовъ. Онѣ предугаданы избранными умами. Лучшіе таланты ихъ озабочены, обданы сею

алчною тоскою, жаждою струи животочивой, сими страданіями, которыя должны разрѣшиться плодомъ истины и жизни, и обѣщаютъ успѣхъ; но пока еще они болѣзненно мечутся въ разныя стороны и сбиваются въ исканіяхъ своихъ. Мысль написать поэму *Наполеонъ* не по образцу *Генріады* есть неоспоримо уже слѣдствіе поэтическаго убѣжденія; это есть уже успѣхъ, но этимъ почти и ограничивается поэтическое, существенное достоинство поэмы. Въ исполненіи мысль искажена и рукодѣліе поэта задушило зародышъ воображенія его. Наполеонъ столь еще живъ не только въ памяти нашей, но, такъ сказать, и въ глазахъ нашихъ, что поэзія должна быть въ семъ случаѣ живописью, живописью историческою — и только! Не заботьтесь о томъ, какъ опоэтизировать вашъ предметъ, какъ позолотить ваше золото. Стоя на берегу моря, не думайте, какъ бы хорошо изъ этой воды подѣлать фонтаны и скачущіе водометы. Овладѣйте предметомъ вашимъ чистыми, немудрыми, свято боязненными руками—и поэзія сама брызнетъ изъ него до небесъ и прянетъ широкими разливами! Въ поэмѣ Эдгара Кине истина нигдѣ не встрѣчена прямо въ лицо, нигдѣ нѣтъ собственнаго слова, а все обиняки, метафоры, все Делилевская муза, которой страстно хотѣлось описать кошку, слона, лошадь, но никогда не доставало духа напменовать слона—слономъ, лошадь лошадью, и такъ далѣе,—которая всегда надѣвала шелковыя перчатки, срывая земляничку въ полѣ, всегда играла въ „отгадай, не скажу“. У поэта Наполеонъ послѣ Ваграмской битвы пишетъ или диктуетъ письмо къ Жозефинѣ.—Вотъ какъ Эдгаръ Кине приступаетъ къ тому:

Grand maréchal, voici le jour!
Avec la plume d'un vautour,
Avant que l'aube ne blanchisse,
Écrivez en lettres de sang:
Du bourg de Wagram, en son camp,
L'Empereur à l'Impératrice, etc. etc.

Смѣшно, потому что не вѣрно. Стихи сами по себѣ не дурны. Герою фантастическому можно бы допустить коршуна и кровь на мѣсто чернилъ; но когда идетъ дѣло о Наполеонѣ, то выйдетъ каррикатура. Въ Наполеонѣ нечего преувеличивать

и усиливать природу: представьте просто и вѣрно, какъ Наполеонъ, на разсвѣтѣ, послѣ побѣды, пишетъ къ женѣ своей,— тутъ будетъ поэзія, потому что фактъ поэтическій; а здѣсь ея нѣтъ. Къ чему дѣлать изъ Наполеона какого-то чернонижника? Кровью не удивишь ни его, ни тѣхъ, которые знали его. Кровь у него была, по несчастью, не фигура риторическая! Къ тому же Наполеонъ имѣлъ въ литературѣ и въ искуствѣ удивительную вѣрность чувства и вкуса; извѣстны совѣты, которые онъ давалъ Тальмѣ, требуя отъ него болѣе простоты и критикуя игру его въ роли Нерона въ сценѣ съ Агриппиною. „И Неронъ дома, у себя“,—замѣчалъ онъ ему—„говорилъ безъ сомнѣнія за-просто, какъ я теперь говорю съ вами; а вы всегда хотите выказывать въ немъ царя, драпируете его царскою мантіею и заставляете говорить его какъ будто предъ народомъ, или въ совѣтѣ владыкъ“.

Описываетъ ли поэтъ Летицію, посмотрите куда его бросаетъ: какъ будто сила и поэзія не въ сходствѣ, а сходство не въ дѣйствительности!

Écoutez! je vois dans la plaine
Une coupe d'albâtre pleine;
Non, c'est une vigne en son clos,
Un aigle et ses petits éclos.
Non, non, ce n'est pas une vigne
Mariée à l'acacia.
Sous son voile, blanc comme un cygne,
C'est madame Létitia.

Эти стихи дурны не только потому, что они смѣшны и можно сказать не лѣпы, но главный ихъ порокъ не въ недостаткѣ поэтическаго искусства, а въ отсутствіи поэтической совѣсти. Будто мать Наполеона не есть уже природное и самобытное поэтическое лицо, которое можно выставить прямо, не дѣлая изъ нея какого-то уродливаго поэтическаго или антипоэтическаго калейдоскопа? Я видѣлъ въ Римѣ мать Наполеона, не задолго до ея смерти: развалину въ городѣ вѣковѣчныхъ развалинъ. Въ уединенномъ палацѣ ея, на концѣ Corso, обремененная лѣтами, бѣдствіями и недугами, слѣпая, безногая, прикованная къ кресламъ своимъ, какъ сынъ ея нѣкогда къ

скалѣ, она доживала вѣкъ свой одинокая, вдали отъ дѣтей, разлученныхъ съ нею силою обстоятельствъ, пережившая изъ нихъ многихъ и многое и бесѣдующая въ мракѣ своемъ съ тѣнями минувшаго! Поэзія, пробужденная въ душѣ впечатлѣніемъ сей картины, сей разительной дѣйствительности, не была ли выше всякой другой поэзіи, изысканной и іероглифической? Что видѣлъ я, то видѣли и нѣкоторые другіе, знаютъ всѣ: каждый изъ современниковъ свыкся по собственнымъ впечатлѣніямъ, или по разсказамъ, съ симъ историческимъ лицомъ, и никому (развѣ въ бреду горячки) не приходило въ голову представить себѣ Летицію въ видѣ чаши въ полѣ, или виноградной лозы за-мужемъ за акаціевымъ деревомъ. Вотъ почему современная, историческая поэзія должна быть особенно буквальная: въ этомъ случаѣ духъ именно въ буквѣ и заключается, точно какъ достоинство и душа портрета въ рабскомъ сходствѣ. Аллегорическіе портреты не удовлетворяютъ истинному чувству: оно требуетъ не холодной отвлеченности, а живой и теплой дѣйствительности.

Впрочемъ Кине не безъ таланта, особенно если смотрѣть на эту поэму, какъ на первый опытъ въ стихотворствѣ. Въ предисловіи сказано, что съ самаго дѣтства не писалъ онъ ни одного стиха. Жаль! Стихотворство—ремесло, какъ и другое; должно сперва набить руку, а потомъ уже браться и за работу на славу: Рафаэль началъ не Преображеніемъ.—Можетъ быть, отъ того, что эта поэма попытка, и есть въ ней много подражательнаго, вопреки всѣмъ притязаніямъ на особенность. Въ стихахъ Кине невольно отзываются Ламартинъ, и Гюго, и народный поэтъ-трибунъ Барбье. Духъ бодръ, но рука немощна. Справиться со стихомъ не бездѣлица. Лучшіе стихи встрѣчаются въ восточныхъ отрывкахъ: les Pyramides, le Pacha, le Chamelier, l'Iman, le Désert. Оно такъ и быть должно: восточная поэзія есть, такъ сказать, поэзія ученическая, поэзія несовершеннолѣтнихъ. Роскошь красокъ, фигуръ, сравненій прилагательныхъ,—все это легче дается, нежели положительная мысль, простое чувство, голыя существительныя, которыя должно одѣть и украсить вѣрностью и свѣжестью выраженія. Напримѣръ:

Au bord de L'Orient
Les tombeaux ont parlé. Dans ses citernes vides,
Le désert avait soif au pied des pyramides;
Et le désert a bu son outre de géant

или:

Maintenant, écoutez, l'oreille contre terre!
Le grand désert bondit, ainsi qu'une panthère,
Malheur au mécréant qui trop tôt l'éveilla!
Pour toujours il remplit ses vides pyramides
Des cent voix de l'épée, et d'échos homicides;
Et l'écho du désert redit partout: Allah!

Пирамиды, ожидая Наполеона, говорятъ:

Où l'as-tu vu passer, vent qui viens d'Italie?
Où l'as-tu vu passer, mer d'orages remplie?
Dis, viendra-t-il bientôt, ou ce soir, ou demain,
Aux pélerins d'Alep demander mon chemin?
De mon faîte éternel si je pouvais descendre,
J'irais agenouillée, au bord des flots l'attendre.

Jamais en mon désert rien n'a laissé de trace,
Ni peuple, ni cité, que d'un souffle j'efface.
Ainsi qu'un livre ouvert, avec sa marge d'or,
Où pas un mot entier ne s'aperçoit encor,
Pour écrire le nom de ses jours à venir,
Tout mon sable s'étend de Thèbes jusqu'à Tyr.

Эти стихи въ восточномъ родѣ не дурны. Къ тому же подобная поэзія отчасти и кстати, когда идетъ дѣло о Египетскомъ Наполеонѣ. Не смотря на простоту свою, онъ имѣлъ иногда восточныя выходки и вдавался въ пирамидальное витійство: не даромъ также любилъ онъ Occiana и туманную поэзію его, сбивающуюся на солнечную поэзію Востока. Кюхе перенесъ свои восточныя краски и кисть въ Москву съ примѣсью поэзіи фантастической. Тутъ чего хочешь, того просишь; только не проси географіи.

Et plus loin que l'Atlas, plus loin que le Thabor,
Mais plus près que l'Oural, avec ses sables d'or,
Une ville aux cent tours, perdue en la tempête,
Sur le bord des frimas, avait bâti son faîte,
Et l'aigle Moscovite au bout de l'univers
Avait caché son front sous l'aile des hivers.

Comment ai-je pu dire une aigle et son aiglon?
Ce n'était pas une aire au repli d'un vallon.
Au pied du vieux Kremlin, c'était Moscou la sainte!

Ah! que de hautes tours qui gardaient son enceinte!
Que de canons bâillaient à travers ses créneaux
Comme en leur gîte obscur de jeunes lionceaux.

Non! non! ce n'était pas une lionne au gîte.
C'était Moscou la grande où tout un peuple habite.
Oh! que de toits dorés! de coupoles d'étain!
Oh! que de minarets blanchissant au matin,
Sous leurs turbans de neige y rêvaient du Bosphore,
Comme fait la sultane en attendant l'aurore.

Plus belle qu'au matin, la sultane au sérail,
C'était Moscou la belle et son peuple en travail.
Car les gnomes frileux des glaciers du Caucase
Tremblans, avaient assis ses dômes sur leur base;
Et les nains de l'Oural sous leurs tentes de crin,
Avaient forgé ses clefs et ses portes d'airain.

Кажется, Москва произвела надъ поэтомъ то же дѣйствіе, что и Летиція въ началѣ поэмы: головокруженіе и оптическое обаяніе.—Чего не видитъ онъ въ Москвѣ? Все, кромѣ Москвы. Наполеонъ входитъ въ Москву и говоритъ:

Mon ame, allons! debout! et, sans nous en dédire,
Pour la dernière fois, jouons ici l'empire.
Demain la Providence, aujourd'hui le hasard [1]).
Ne faisons pas attendre ainsi sur son rempart
Moscou, la ville sainte, en ses habits de fête.
La porte s'ouvre. Allons! entrons en ma conquête.

Mais, voyez! sur le seuil, dès qu'il a mis le pied,
Les portes après lui se brisent à moitié.
Les tours, les hautes tours de colère enivrées
Jettent bas leurs créneaux, leurs coupoles dorées;
Hurlantes jour et nuit, autour de la cité,
Comme fait la panthère, en son gîte insulté.

Adieu les minarets! adieu les vastes dômes.
. . . . . Adieu vieille Babel...

Пропускаемъ нѣсколько еще библейскихъ эпитетовъ, взятыхъ какъ будто на-прокатъ и расточаемыхъ на удачу.

Tout s'écroule à la fois. Sous le souffle de Dieu
La cité s'est changée en une mer de feu,
Où comme les vaisseaux qui passent vers Candie
Les palais sur le flanc sombrent dans l'incendie;
Et la vague sanglante, en léchant son rivage,
Ouvre sa large gueule et dévore la plage.

[1]) Прекрасный и полный пророческаго смысла стихъ.

Ah! sire! c'en est fait! fuyez comme un faucon.
Voyez! voyez au loin, du haut de son balcon
La tour de Saint-Ivan, ainsi qu'une sorcière,
Se balance en hurlant sur l'immense chaudière;
Et comme le berger qui rallume son feu
Voyez sur le brasier, la main, la main de Dieu!

C'en est fait! un royaume a passé comme une ombre.
Tout pâlit; tout se tait; la nuit est froide et sombre.
Rien n'est resté debout, hormis un empereur
Qui cherchait sous la cendre un reste de lueur;
Muet il contemplait la divine merveille;
Et le souffle de Dieu disait à son oreille:

Ainsi s'écrouleront tes projets renversés!
Ainsi ton vaste empire et tes voeux insensés!
Ainsi s'écroulera la tour de ta victoire!
Ainsi ton héritage, et ton nom, et ta gloire!
Ainsi le vent du ciel, éteignant ton flambeau,
Dissipera ton oeuvre et ta *cendre au tombeau!*

Посреди многихъ пятенъ, которыя тѣмъ скорѣе кидаются въ глаза, что онѣ яркаго цвѣта и, такъ-сказать, тщеславятся своею безобразностью, нѣтъ сомнѣнія, что въ сихъ отрывкахъ, а особенно въ послѣднемъ, встрѣчаются и признаки смѣлаго и сильнаго дарованія, если позволено судить о дарованіи поэта по отдѣльнымъ, сильнымъ и живописнымъ выраженіямъ, не требуя отъ него полнаго и нераздѣльнаго единства въ цѣломъ созданіи его и въ впечатлѣніи, коимъ оно отражается на душу читателя. Сказываютъ, что главный Французскій пѣснопѣвецъ и запѣвало, замолкнувшій съ іюльскихъ дней, какъ *Соловушко* Дмитріева: „Сталъ счастливъ — замолчалъ", — готовитъ жизнь Наполеона въ простонародныхъ пѣснях [1]). Судя по одной изъ его прежнихъ пѣсенъ, въ коей Наполеонъ выведенъ за-просто, безъ ходулей героя и поэта, можно ожидать много хорошаго отъ обѣщанныхъ рапсодій. Послѣ *Ночного Смотра* Зейдлица, я не знаю ни одного поэтическаго изображенія Наполеона, которое было бы разительнѣе простотою и вѣрностью своею. Это не богатая картина великаго художника, не Вандомскій памятникъ; нѣтъ, это живая литографія для всенароднаго употребле-

[1]) *Примѣчаніе.* Беранже, поклонникъ Наполеона, неутомимо преслѣдовалъ пѣснями своими правительство реставраціи старшей вѣтви Бурбоновъ.

нія, это маленькій эскизъ Горація Верне, чугунная настольная статуйка, въ маленькой шляпѣ, въ сюртукѣ, съ руками, сложенными крестомъ на груди! Ее немпнуемо встрѣчаешь въ каждомъ кабинетѣ любопытнаго и мыслящаго современника, или на камнѣ щеголя, какъ вывѣску умѣнія его убрать свою комнату по требованіямъ нынѣшняго вкуса. Сія пѣсня изъ всѣхъ пѣсенъ Берапже менѣе другихъ извѣстна, вѣроятно именно потому, что въ ней болѣе истинной поэзіи.

Приписка. Знакомствомъ моимъ съ Letizia Ramolino, которая впослѣдствіи была madame mère, какъ величали ее во Франціи, когда сынъ ея былъ императоромъ, обязанъ я дочери ея, нѣкогда королевѣ Неаполитанской Каролинѣ; послѣ паденія брата ея и всего царскаго колѣна его, жила она во Флоренціи подъ именемъ графини Липона (Comtesse de Lipona — анаграмма Napoli —Неаполь). Въ концѣ 1834 года былъ я во Флоренціи. Нашъ повѣренный въ дѣлахъ Кокошкинъ предложилъ мнѣ представить меня экс-королевѣ. Разумѣется, съ удовольствіемъ и любопытствомъ принялъ я это предложеніе, тѣмъ болѣе, что до того времени я никого не видалъ изъ Наполеонидовъ. Графиня Липона была очень любезная и симпатическая женщина: слѣды красоты еще живо обозначались въ лицѣ ея; домъ ея во Флоренціи отличался гостепріимствомъ, а пріемъ ея — привѣтливостью и простотою. Изъ вѣжливости величали ее еще вашимъ величествомъ; но это величаніе было добровольное, не то, что съ братомъ ея Іеронимомъ, также жившимъ тогда во Флоренціи; этотъ требовалъ величанія, онъ смотрѣлъ на себя, какъ на Бестфальскаго короля и хотѣлъ, чтобы и другіе смотрѣли на него заднимъ числомъ. Графиня особенно благоволила къ Русскимъ и отличала ихъ отъ другихъ путешественниковъ. Роль императора Александра I-го въ драмѣ 1814 и 1815 годовъ благопріятно еще отсвѣчивалась на насъ. Въ этой роли олицетворялись побѣдитель и миротворецъ, являвшійся нерѣдко покровителемъ и заступникомъ жертвъ, павшихъ подъ ударами побѣды его. Графиня Липона это помнила. Она очень цѣнила умъ и любезность Кокошкина, но говорила, что при всей любви къ нему не можетъ затвердить дикое имя его. Когда узнала

она, что ѣду въ Римъ, дала она мнѣ письма къ дяди своему, кардиналу Фешу, и къ матери своей. Это было особенное свидѣтельство благорасположенія ко мнѣ, потому что старая, больная, слѣпая экс-императрица уже не допускала къ себѣ путешественниковъ. Не знаю, какъ держалась она въ лицѣ императрицы; но тутъ мнѣ показалось, что первобытная натура ея всплыла изъ-подъ обломковъ ея бывшаго величія. Нужно было особенное усиліе воображенія, чтобы отыскать въ ней царственную волчицу, которая воскормила Ромула и около полдюжины второстепенныхъ Ромульчиковъ. Въ ней не видать было слѣда прежняго величества. Предо мною была старая Итальянка, даже не аристократическаго происхожденія: ничего не было отборнаго, возвышеннаго. По Французски говорила она плохо, и съ Итальянскимъ выговоромъ, отъ котораго, впрочемъ, не могъ совершенно отдѣлаться самъ Наполеонъ. Всѣ эти внѣшніе признаки, вся окружающая обстановка была не въ пользу императрицы-матери: тутъ, казалось, нѣтъ доступа ни поэзіи, ни даже исторіи. Но внутреннее чувство порабощалось впечатлѣніями минувшаго. Видимая проза облекалась радужнымъ сіяніемъ еще свѣжихъ преданій. Глядя на нее, какъ-будто перечитываешь эпопею сына ея. Не столько смотришь на нее, сколько видишь при ней неотступную, все объемлющую, все затмѣвающую тѣнь его. Она была холодный, безмолвный, надгробный памятникъ сына; но нельзя было пройти мимо этого памятника, или на минуту остановиться предъ нимъ, чтобы глубоко не задуматься. Въ старое время развалины громоздились постепенно подъ напоромъ столѣтій; въ наше историческая почва покрывается развалинами со дня на день. Скромный Московскій ополченецъ 1812 года стоялъ на Бородинскомъ полѣ предъ побѣдоносными полчищами всемощнаго Наполеона; спустя нѣсколько времени, онъ же былъ на поклонѣ у матери его, переживающей въ Римѣ изгнанницей и могущество и славу сына своего, и его самого, и все политическое зданіе, которое онъ воздвигъ и, казалось, упрочилъ, если не на всегда, то на долго.

Еще одно воспоминаніе, пробужденное во мнѣ во слѣдъ за предъидущими. Выше сказалъ я, что до Флоренціи не зналъ

я и не видалъ никого изъ Наполеоновскаго семейства. Когда Кокошкинъ повезъ меня къ королевѣ Каролинѣ, я былъ въ волненіи и съ трепетомъ ожидалъ впечатлительной встрѣчи. Наше тогдашнее поколѣніе было болѣе или менѣе подъ Наполеоновскимъ обаяніемъ. Вытерпѣнныя имъ оскорбленія и страданія на жгучей скалѣ, осуществленіе и олицетвореніе въ немъ древняго баснословнаго Промееея, который также имѣлъ свою скалу и своего пожирающаго ястреба въ лицѣ Гудсонъ-лова, записки Ласъ-каза, записки доктора Антомарки и другія краснорѣчивыя защитительныя рѣчи въ пользу Наполеона, и обличительныя противъ жестокосердія *коварнаго Альбіона*, поэтическія проклинанія Байрона въ томъ же смыслѣ, патріотическія и остроумныя пѣсни Беранже, все это пробуждало въ насъ живыя сочувствія къ падшему Наполеону. Мы забывали преступленія его противъ мира и благоденствія Европы, забывали, какъ тяжела была желѣзная рука владычества его. Предъ нами былъ одинъ страдалецъ, опоэтизированный судьбою и карою, на которую былъ осужденъ онъ местью побѣдителей своихъ. Едва вошелъ я въ салонъ Каролины, и мнѣ послышались слѣдующія слова: „да помилуйте, какъ же вамъ не стыдно: вамъ должно было идти въ черви, а вы пошли съ пиковой десятки“. Тутъ испугался я, обомлѣлъ и совершенно растерялся. Мнѣ показалось, что отъ избытка чувствъ и волненія я сдѣлался жертвою галлюцинаціи и что горячка ударила мнѣ въ голову. Что же оказалось? Въ углу комнаты за ломбернымъ столомъ сидѣли Иванъ Матвѣевичъ Муравьевъ-Апостолъ, генералъ Николай Онуфріевичъ Сухозанетъ и еще кто-то изъ нашихъ. Они перенесли въ столицу Медицисовъ мирныя Русскія занятія и беззаботно козыряли-себѣ въ домѣ сестры Наполеона и предъ грустною и величавою тѣнью его.

Гомбургъ предъ высотами.
Іюнь 1875 г.

LVIII.

РЕВИЗОРЪ.

Комедія, соч. Н. Гоголя. С.-Петербургъ, 1836 г.

1836.

Литературныя событія у насъ рѣдки. Литература наша кругообращается въ явленіяхъ, подходящихъ подъ статью обыкновенныхъ, ежедневныхъ происшествій. Эти явленія скользятъ по вниманію читающей публики, не прорѣзывая глубокихъ слѣдовъ въ общественномъ мнѣніи. Развѣ только въ чрезполосномъ владѣніи журналистовъ возникаютъ по сему случаю тяжбы, обращающія на себя и то мелькомъ взоры однихъ литературныхъ присяжныхъ, или экспертовъ; впрочемъ, и въ такомъ случаѣ также трудно сквозь шумъ, крики и брань попятныхъ вникнуть, о чемъ идетъ дѣло и удостовѣриться, есть ли дѣйствительно дѣло въ спорѣ. Часто съѣдутся, шумятъ, и чѣмъ же кончатъ? поднимутъ мертвое тѣло..... Высшая же власть, завѣдывающая подобными дѣлами, то-есть образованная публика, принимаетъ все это просто къ свѣдѣнію безъ лицепріятія, и тѣмъ свободнѣе, что все это — дѣло для нея постороннее. Рѣдко случается писателямъ нашимъ задѣть публику за живое, касаясь предметовъ, близкихъ къ ней. Многіе изъ писателей нашихъ живутъ слишкомъ внѣ общества; они чужды общежитейскимъ отношеніямъ, понятіямъ, мнѣніямъ, нравственности высшаго круга читателей, т.-е. образованнѣйшаго; между тѣмъ не довольно положительны, добросовѣстны, чтобы дѣйствовать съ пользою на классы чита-

телей, нуждающихся въ пищѣ простой, но сытой и здоровой. Они какой-то междоумокъ въ обществѣ: они пишутъ для людей, которые ихъ не читаютъ, или не имѣютъ нужды ихъ читать, и, слѣдовательно, читаютъ равнодушно и разсѣянно, и читаются тѣми, которые не могутъ судить ихъ. Тѣмъ болѣе литературное произведеніе, выходящее изъ круга этихъ частныхъ и безжизненныхъ явленій, потрясающее оба противоположные края читателей, рождаетъ у насъ дѣятельность необыкновенную. Каждый спѣшитъ дать голосъ свой и неминуемымъ слѣдствіемъ того бываетъ разногласіе въ мнѣніяхъ. Драматическое произведеніе, а въ особенности комедія народная, или отечественная, принадлежитъ къ сему разряду явленій, которыя должны преимущественно обратить на себя общее вниманіе. О комедіи каждый въ правѣ судить; голоса о ней собираются не въ тишинѣ кабинета, не предъ зерцаломъ искусства, не по окончаніи медленной процедуры и примѣненія всѣхъ законовъ литературнаго уложенія; публика не выжидаетъ, чтобы тотъ или другой трибуналъ, тотъ или другой журналъ, тотъ или другой критикъ изслѣдовалъ дѣло и подписалъ приговоръ. Нѣтъ, голоса собираются по горячимъ слѣдамъ въ шумномъ партерѣ, гдѣ каждый, кто взнесъ законную долю установленнаго сбора, допускается къ судейскимъ кресламъ и рядитъ и судитъ за свои деньги о дѣлѣ, подлежащемъ общему сужденію. У насъ и въ этомъ отношеніи авторы съ удивительною ловкостью умѣютъ обыкновенно избѣгать прямой встрѣчи и тѣснаго столкновенія съ публикою. Большая часть Русскихъ комедій также дѣло для нея постороннее: это снимки съ картинъ чужой или вымышленной природы. Въ подобныхъ снимкахъ можетъ идти дѣло объ искусствѣ художника въ исполненіи, но нѣтъ рѣчи о жизни, о вѣрности, о природномъ сочувствіи. Тѣмъ болѣе комедія, не принадлежащая кругу сихъ заимствованій, вымысловъ или поддѣлокъ, должна произвести общее, сильное и разнородное впечатлѣніе. Мало было у насъ подобныхъ комедій: *Бригадиръ*, *Недоросль*, *Ябеда*, *Горе отъ ума* — вотъ, кажется, верхушки сего тѣснаго отдѣленія литературы нашей. *Ревизоръ* занялъ мѣсто въ слѣдъ за ними и сталъ выше нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Комедія сія имѣла полный успѣхъ на сценѣ: общее вниманіе зрителей, рукоплесканія, задушевный и единогласный хохотъ, вызовъ автора послѣ двухъ первыхъ представленій, жадность публики къ послѣдовавшимъ представленіямъ и, что всего важнѣе, живой отголосокъ ея, раздававшійся послѣ въ повсемѣстныхъ разговорахъ,—ни въ чемъ не было недостатка. Въ чтеніи комедія выдержала театральный успѣхъ, если еще не превзошла его, что и должно быть въ комедіи, писанной съ умомъ и талантомъ, съ истинною комическою веселостью, но съ меньшею заботливостью о игрѣ и сшибкахъ драматическихъ внезапностей. Въ семъ отношеніи, замѣтимъ мимоходомъ, *Ревизоръ*, приблизившійся характеристическимъ достоинствомъ своимъ къ вышеупомянутымъ исключеніямъ изъ Русскаго театра, приближается къ нимъ и тѣмъ, что можно было бы напменовать недостатками ихъ, еслибъ сіи недостатки не составляли общей принадлежности и литтературы нашей. Но о семъ рѣчь впереди и въ другомъ мѣстѣ. Впрочемъ, какъ успѣхъ *Ревизора* ни былъ блистателенъ, а все же не можетъ онъ не подлежать нѣкоторымъ оговоркамъ, критическимъ замѣчаніямъ и осужденіямъ. Охотно и предварительно соглашаемся за глаза со всѣми критиками настоящими, прошедшими и будущими, что въ сей комедіи встрѣчаются погрѣшности и спросимъ у нихъ: знаютъ-ли они хотя одно литтературное твореніе, которое вышло бы совершеннымъ изъ рукъ творца своего? Чисто литтературные споры почти всегда безполезны, потому что въ спорахъ о изящности художническаго произведенія трудно, или рѣшительно невозможно привести споръ къ окончательному заключенію. Есть что-то ребяческое въ важности, съ которою аристархи литтературные спѣшатъ наложить свинцовое клеймо свое на каждое новое литтературное явленіе. Намъ кажется, что безъ ихъ отмѣтки твореніе не додѣлано и ждетъ отъ нихъ законнаго вида, какъ послѣ таможеннаго досмотра. Общія замѣчанія о комедіи г. Гоголя можно подвести подъ три отдѣленія: литтературное, нравственное и общественное. Въ изслѣдованіи сихъ замѣчаній и въ возраженіяхъ на оныя обратимъ мы болѣе вниманія на то, что было говорено о *Ре-*

визоръ, нежели на то, что было о немъ писано: во-первыхъ, потому, что безполезность замѣчаній чисто литературныхъ уже нами оцѣнена, во-вторыхъ, потому, что въ разговорахъ Русскихъ гораздо болѣе ума, нежели въ письменныхъ Русскихъ статьяхъ. Вообще умъ нашъ натуры изустной, а не письменной. Къ тому же въ спорѣ, раздающемся въ салонахъ, рѣчь идетъ о мнѣніяхъ: въ спорѣ журналовъ болѣе о словахъ и о личности. Съ журналами спорить нельзя, по той же причинѣ, по которой Карамзинъ не отвѣчалъ ни на одну критику, хотя онъ и любилъ спорить. Есть люди, которые жаркіе спорщики въ своемъ кругу и вмѣстѣ съ тѣмъ миролюбивы и безотвѣтны на толкучемъ рынкѣ [1]).

Обратимся къ замѣчаніямъ.

Нѣкоторые говорятъ, что *Ревизоръ* не комедія, а фарса. Дѣло не въ названіи: можно написать геніальную фарсу и пошлую комедію. Къ тому же въ *Ревизорѣ* нѣтъ ни одной сцены въ родѣ Скапиновыхъ Обмановъ, Доктора по неволѣ, Пурсоньяка или Расиновыхъ: les Plaideurs; нѣтъ нигдѣ вымышленной карикатуры, переодѣваній и проч. и проч. За исключеніемъ паденія Бобчинскаго, нѣтъ ни одной минуты, сбивающейся на фарсу. Въ *Ревизорѣ* есть карикатурная природа: это дѣло другое. Въ природѣ не все изящно; но въ подражаніи природѣ неизящной можетъ быть изящность въ художественномъ отношеніи. Смотрите на картины Теньера, на корову Поль-Потера, и спросите послѣ: какъ могло возвышенное искусство посвятить кисть свою на подобные предметы? Не ужъ-ли не нашло оно въ природѣ ничего лучшаго и достойнѣйшаго, какъ пьяные мужики и дородная корова? Вы можете быть правы по совѣсти

[1]) Само собой разумѣется, что нѣтъ правила безъ исключенія. Читатели наши, знакомые съ *Московскимъ Наблюдателемъ*, догадаются и безъ нашей оговорки, что онъ здѣсь въ сторонѣ. Нельзя не желать для пользы литературы нашей и распространенія здравыхъ понятій о ней, чтобы сей журналъ сдѣлался у насъ болѣе и болѣе извѣстнымъ. Особенно критика его замѣчательно хороша. Не выгодно подпасть подъ удары ея, но по крайней-мѣрѣ оружіе ея и нападенія всегда благородны и добросовѣстны. Понимаемъ, что и при этомъ случаѣ издатели *Телескопа* и другіе въ добродушномъ и откровенномъ испугѣ воскликнутъ: „избави насъ, Боже, отъ его критикъ"! Но каждый молится за свое спасеніе: это натурально.

своей; но любитель живописи и знатокъ въ картинахъ готовъ заплатить большія деньги за корову весьма невѣжливую, за Теньера, который каждую картину свою скрѣпляетъ однимъ дѣйствующимъ лицомъ, подъ пару помянутой коровѣ, и предоставитъ вашему цѣломудренному вкусу пріобрѣтеніе благородныхъ картинъ Ангелики Кауфманъ. Разумѣется, *Ревизоръ* не высокая комедія, въ смыслѣ *Мизантропа* или *Тартюфа*: тутъ не выводятся на сцену лица придворныя, лица высшаго круга, не выводятся и лица, отмѣченныя общимъ человѣческимъ характеромъ. Сцена въ уѣздѣ. Авторъ однимъ выборомъ сцены даетъ уже вамъ мѣру и свойство требованій, на кои онъ берется отвѣтствовать. Перенести такъ-называемую высокую комедію въ уѣздный городокъ было бы уже первымъ признакомъ необдуманности и неблагоразумія автора.—Говорятъ, что языкъ низокъ. Высокое и низкое высоко и низко по сравненію и отношенію: низкое, когда оно на мѣстѣ, не низко: оно въ пору и въ мѣру. Но вы, милостивые государи, любите только ту комедію, которая во Французскомъ кафтанѣ, при шпагѣ съ стальнымъ эфесомъ, или по крайней мѣрѣ, въ черномъ фракѣ и въ башмакахъ, изъясняется александрійскими стихами, или по крайней-мѣрѣ академическою и благородною прозою? Прекрасно! Какъ тутъ противъ васъ и спорить? Слава Богу, мы не дожили еще до такой глупости, чтобъ готовы были смѣяться надъ трудами Расина и Мольера и ставить ни во что хотя бы и Лагарпа. Мы соглашаемся, что вы имѣете за себя голоса и авторитеты, которые каждый благоразумный и чему-нибудь учившійся человѣкъ признаетъ если не исключительно и безусловно, то по крайней мѣрѣ почтительно, съ чувствомъ уваженія и любви къ предкамъ, коихъ заслуги не утрачены и нынѣ, ибо настоящее есть наслѣдіе прошедшаго. Ваши требованія доказываютъ, что вы придерживаетесь преданій классическаго вѣка, почерпнули ихъ въ ученіи, или свыклись съ ними въ кругу образованнаго общества: это также въ глазахъ нашихъ не бездѣлица, вопреки мнѣнію тѣхъ, которые ставятъ ни во что аристократическія традиціи обществъ вѣка Людовика XIV или Екатерины II. Но, съ другой стороны, или именно по сей же самой терпимости,

которую мы исповѣдуемъ, какъ законъ истинной образованности, мы не ограничиваемся заколоченнымъ наглухо и единожды навсегда кругомъ дѣйствій, нравовъ, событій, формъ образцовыхъ и непреложныхъ. Нѣтъ, мы въ искусствѣ любимъ просторъ. Мы полагаемъ, что гдѣ есть природа и истина, тамъ вездѣ можетъ быть и изящное подражаніе оной. А тамъ уже дѣло вкуса, или, правильнѣе, вкусовъ, избирать любое для подражанія и въ подражаніяхъ. Между-тѣмъ не излишнимъ будетъ замѣтить почитателямъ классическихъ преданій, что фонъ-Визинъ читалъ своего *Бригадира* и своего *Недоросля* при просвѣщенномъ и великолѣпномъ дворѣ Екатерины II. „Такъ“,—скажутъ они, но въ этихъ комедіяхъ при дурномъ обществѣ, въ нихъ собранномъ, встрѣчаются за то и Добролюбовы, Стародумы, Милоны и добродѣтельныя Софьи, а въ *Ревизорѣ* нѣтъ ни одного Добролюбова, хотя для примѣра“. Согласны; но вотъ маленькая оговорка: когда играли *Недоросля* при Императрицѣ и послѣ предъ публикою, то немилосердно сокращали благородныя роли Стародума и Милона, потому что онѣ скучны и неумѣстны, сохранялись же въ неотъемлемой цѣлости низкіе роли Скотинина, Простаковыхъ, Кутейкина, не смотря на нравы ихъ вовсе не изящные и на языкъ ихъ вовсе не академическій. При однихъ добродѣтельныхъ лицахъ своихъ, при лицахъ высокой комедіи фонъ-Визинъ остался бы незамѣченнымъ комическимъ писателемъ, не читалъ бы своихъ комедій Екатеринѣ Великой и не былъ бы и понынѣ типомъ Русской комической оригинальности. Вывезли его къ безсмертію лица, которыя также не выражаютъ ни одного благороднаго чувства, ни одной свѣтлой мысли, ни одного въ человѣческомъ отношеніи отраднаго слова. А не въ отсутствіи ли всего этого обвиняете вы лица, представленныя Гоголемъ?

Другіе говорятъ, что въ *Ревизорѣ* нѣтъ правдоподобія, вѣрности, потому что комедія есть описаніе нравовъ и обычаевъ извѣстной эпохи, а въ сей комедіи нѣтъ надлежащей опредѣленности. Слѣдовательно, гдѣ зрителю нельзя узнать по лицу и платью, кто какого прихода и въ которомъ году онъ родился, тамъ нѣтъ и комедіи? Кто-то сказалъ, что комедія

сеть исторія общества; а здѣсь вы отъ комедіи требуете и статистики! Позвольте же спросить теперь: а комедія, въ которой просто описанъ человѣкъ съ страстями, съ слабостями, съ пороками своими, напримѣръ, скупой, ревнивый, игрокъ, тщеславный — или типы, которые не принадлежатъ исключительно ни тому, ни другому столѣтію, ни тому, ни другому градусу долготы и широты, а просто человѣческой природѣ и Адамову поколѣнію, развѣ они нейдутъ въ комедію? Берегите свое правило для комедіи исторической, или анекдотической, но не прикладывайте его къ комедіи вообще.

Кто говоритъ, что коренная основа *Ревизора* не правдоподобна, что городничій не могъ такъ легковѣрно вдаться въ обманъ, а долженъ былъ потребовать подорожную и проч. Конечно, такъ; но авторъ въ этомъ случаѣ помнилъ болѣе психологическую пословицу, чѣмъ полицейскій порядокъ, и для комика, кажется, не ошибся. Онъ помнилъ, что у страха глаза велики, и на этомъ укрѣпилъ свою басню. Къ тому же, и минуя пословицу, въ самой сущности дѣла нѣтъ ни малѣйшаго насилія правдоподобію. Извѣстно, что ревизоръ пріѣдетъ инкогнито, слѣдовательно можетъ пріѣхать подъ чужимъ именемъ. Извѣстіе о пребываніи въ гостинницѣ неизвѣстнаго человѣка падаетъ на городничаго и сотоварищей его въ критическую минуту *паническаго страха*, по прочтеніи роковаго письма. Далѣе, почему не думать городничему, что у Хлестакова двѣ подорожныя, два вида, изъ коихъ настоящій будетъ предъявленъ, когда нужно?

Тутъ нѣтъ никакой натяжки въ предположеніи автора: все натурально. Дѣйствіе, производимое столичнымъ жителемъ въ глуши уѣзднаго городка, откуда, по словамъ городничаго, хоть три года скачи, ни до какого государства не доѣдешь, представляетъ комику обширное поприще для сбыточныхъ невѣроятностей. Самохвальство, ложь, пустословіе столичныя обдаютъ трепетомъ и легковѣріемъ людей и благоразумныхъ, но необразованныхъ: — подобная мистификація сбыточна вездѣ. Свѣтскіе самозванцы, пройдохи, шарлатаны являются и во Франціи и въ Англіи, и обманываютъ народъ. Въ одной изъ нашихъ губерній, и не отдаленной, былъ дѣйствительно случай подобный опи-

санному въ *Ревизорѣ*. По сходству фамилій приняли одного молодаго проѣзжаго за извѣстнаго государственнаго чиновника. Все городское начальство засуетилось и пріѣхало къ молодому человѣку *являться*. Не знаемъ, случилась ли ему тогда нужда въ деньгахъ, какъ проигравшемуся Хлестакову, но вѣроятно нашлись-бы заимодавцы. Все это въ порядкѣ вещей, не только въ порядкѣ комедіи.

Есть критики, которые недовольны языкомъ комедіи, ужасаются простонародности его, забывая, что подобный языкъ свойственъ выведеннымъ лицамъ. Тутъ авторъ не суфлёръ дѣйствующихъ лицъ, не онъ подсказываетъ имъ свои выраженія: авторъ стенографъ. Вѣроятно, можно найти нѣкоторыя неисправности, сорвавшіяся съ пера писателя; но смѣшно же грамматически ловить слова въ комедіи. Главное въ писателѣ есть слогъ: если онъ имѣетъ выразительную физіономію, на коей отражаются мысль и чувство писателя, то сочувствіе читателей живо отзывается на голосъ его. Можетъ быть, словоловы и правы, и языкъ г. Гоголя не всегда безошибоченъ; но слогъ его вездѣ замѣчательно живъ. Впрочемъ, трудно и угодить на литературныхъ словолововъ. У котораго-то изъ нихъ уши покраснѣли отъ выраженія: *сунъ воняетъ, чай воняетъ рыбою*. Онъ увѣряетъ, что теперь и порядочный лакей того не скажетъ. Да мало ли того, что скажетъ и чего не скажетъ лакей? Не ужъ-ли писателю ходить въ лакейскія справляться, какія слова тамъ въ чести и какія не въ употребленіи. Такъ, если онъ описываетъ лакейскую сцену; но иначе къ чему же? Напримѣръ, Осипъ въ *Ревизорѣ* говоритъ чисто лакейскимъ языкомъ, лакея въ немъ слышимъ деревенскаго, который прожилъ нѣсколько времени въ столицѣ: это дѣло другое. Впрочемъ критикъ можетъ быть и правъ; въ этомъ случаѣ мы спорить съ нимъ не будемъ. Порядочный лакей, то-есть что называется—*un laquais endimanché*, точно можетъ быть постыдится сказать: *воняетъ*, но *порядочный человѣкъ*, то-есть благовоспитанный, смѣло скажетъ это слово и въ великосвѣтской гостиной и передъ дамами. Извѣстно, что люди высшаго общества гораздо свободнѣе другихъ въ употребленіи *собственныхъ слова*:

жеманство, чопорность, щепетильность, оговорки, отличительные признаки людей, не живущихъ въ хорошемъ обществѣ, но желающихъ корчить хорошее общество. Человѣкъ, въ свѣтской средѣ рожденный, въ салонѣ-ли, у себя-ли дома, садится въ кресла, какъ въ свои кресла; заговоритъ-ли,—онъ не боится проговориться. Посмотрите на провинціала, на пришлаго, на ворону, залетѣвшую въ высокія хоромы, онъ не смѣетъ присѣсть иначе, какъ на кончикѣ стула; шевелитъ краемъ губъ, кобенясь, извиняется вычурными фразами нашихъ нравоучительныхъ романовъ, не скажетъ слова, безъ прилагательнаго, безъ „смѣю доложить". Вотъ отчего многіе критики наши, добровольно подвизаясь на защиту хорошаго общества и ненарушимости законовъ его, попадаютъ въ такіе смѣшные промахи, когда говорятъ что такое-то слово неприлично, такое-то выраженіе невѣжливо. Охота имъ мѣшаться не въ свои дѣла! Пускай говорятъ они о томъ, что знаютъ: рѣдко будетъ имъ случай говорить, — это правда, но за то могутъ говорить дѣльнѣе. Можно быть очень добрымъ и разсудительнымъ человѣкомъ, но не имѣть доступа въ высшее общество. Смѣшно хвастаться тѣмъ, что судьба, что рожденіе приписала васъ къ этой области; но не менѣе смѣшно, если не смѣшнѣе, не уроженцу, или не получившему права гражданства въ ней, толковать о нравахъ, обычаяхъ и условіяхъ ея. Что вамъ за нея рыцарствовать? Эта область сама умѣетъ приводить въ дѣйствіе законы своего покровительства и остракизма. Все это не журнальное дѣло. У васъ уши вянутъ отъ языка *Ревизора*, а лучшее общество сидитъ въ ложахъ и креслахъ, когда его играютъ; брошюрка *Ревизора* лежитъ на модныхъ столикахъ изъ мастерской Гамса. Не смѣшно-ли, не жалко ли съ желудкомъ на-тощакъ гнѣваться на повара, который позволилъ себѣ поставить не довольно утопченное кушанье на столъ, за коимъ нѣтъ намъ прибора?..

Въ понятіяхъ о нравственности книги, или человѣка, казалось бы спорить не о чемъ и не съ кѣмъ. Нравственность, нравственное чувство, нравственная совѣсть должны быть одинаковы у всѣхъ нравственныхъ и добросовѣстныхъ людей. Такъ!

но въ этомъ отношеніи рѣчь идетъ болѣе о *нравоученіи*, нежели о нравственности, болѣе о средствахъ преподавать ее и дѣйствовать именемъ ея на умы и сердца людей. Тутъ можетъ быть разногласіе. Напримѣръ, говорятъ, что *Ревизоръ* — комедія безнравственная, потому, что въ ней выведены одни пороки и глупости людскія, что уму и сердцу не на комъ отдохнуть отъ негодованія и отвращенія, нѣтъ свѣтлой стороны человѣчества для примиренія зрителей съ человѣчествомъ, для назиданія ихъ, и проч. О нравственности или нравоученіи литературныхъ произведеній много было говорено. Кажется, Баратынскій въ предисловіи къ поэмѣ *Цыганка* изслѣдовалъ сей вопросъ самымъ удовлетворительнымъ и убѣдительнымъ образомъ. Съ нашей стороны, совершенно съ нимъ соглашаясь, мы признаемъ безнравственнымъ сочиненіемъ только то, которое вводитъ въ соблазнъ и въ искушеніе. Равнодушное, безпристрастное изложеніе самаго соблазна можетъ не быть безнравственно. Авторъ, слѣдуя въ этомъ случаѣ Провидѣнію, допускаетъ зло, предоставляя внутренней волѣ и совѣсти читателя и зрителя пользоваться представленнымъ урокомъ по своимъ чувствамъ и понятіямъ. Не должно забывать, что есть литература взрослыхъ людей и литература малолѣтнихъ: каждый возрастъ имѣетъ свою пищу. Конечно, между людьми взрослыми бываютъ и такіе, которые любятъ быть до старости подъ указкою учителя; говорите имъ внятно: вотъ это дѣлайте, а того не дѣлайте! за это скажутъ вамъ: пай дитя; погладятъ по головкѣ и дадутъ сахарцу. За другое: тьфу дитя, выдерутъ за ухо, и поставятъ въ уголъ! Но какъ же требовать, чтобы каждый художникъ посвятилъ себя на должность школьнаго учителя или дядьки? На что вамъ честные люди въ комедіи, если они не входили въ планъ комическаго писателя? Онъ въ извѣстную минуту, въ данномъ положеніи взглянулъ на нѣсколько лицъ — и нарисовалъ ихъ въ томъ видѣ, съ тѣми оттѣнками свѣта, безобразіями, какими они представились взору его. Комедія не всеобщая исторія, не всеобщая картина человѣчества, или общества, даже не романъ, не біографія. Комедія — отрывокъ; а вы въ отрывкѣ требуете многосложнаго и полнаго объема! Не

ужъ-ли изъ того, что комикъ не вывелъ ни одного честнаго человѣка, слѣдуетъ заключить, что авторъ имѣлъ цѣлью доказать, что честныхъ людей вовсе нѣтъ? Живописецъ представляетъ вамъ сцену разбойниковъ и убійцъ, вамъ этого не довольно для нравственной симметріи, вы требуете, чтобы на первомъ же планѣ былъ выведенъ человѣкъ, который отдастъ полный кошелекъ свой нищему, иначе зрѣлище слишкомъ прискорбно и тяжело дѣйствуетъ на нервы ваши. Вы и въ театрѣ не можете просидѣть двухъ часовъ безъ того, чтобы не явился вамъ хотя одинъ честный человѣкъ, одинъ герой добродѣтели, именно герой; ибо въ представленіи просто добраго человѣка, который былъ бы тутъ только для показа, лицомъ безстрастнымъ и бездѣйствующимъ не было бы никакой цѣли; нѣтъ, вамъ нужна супротивная сила для отпора и сокрушенія порочныхъ, вамъ нуженъ весь міръ, перенесенный цѣликомъ на театръ: „Барыня публика требуетъ весь туалетъ!“ Да, помилуйте, въ жизни и въ свѣтѣ не два часа, а много долѣе просидишь иногда безъ благороднаго утѣшительнаго сочувствія. Автору не мудрено вывести вамъ цѣлый легіонъ честныхъ людей, имѣющихъ патентованное право на премію добродѣтели, установленную филантропомъ Монтіономъ: да что будетъ вамъ отъ нихъ пользы? Въ театрѣ досыта негодуйте надъ негодными и смѣйтесь надъ глупцами, если они выведены вамъ на глаза. Добрыхъ и порядочныхъ людей ищите для себя, вышедши изъ театра, тогда они будутъ вамъ нужнѣе, и еще пріятнѣе послѣ впечатлѣній оставленныхъ въ васъ сценическими лицами. Кто изъ зрителей *Ревизора* пожелалъ бы быть Хлестаковымъ, Земляникою, Шпекинымъ, или даже невинными Петрами Ивановичами, Добчинскимъ и Бобчинскимъ? Вѣрно, никто! Слѣдовательно, въ дѣйствіи, производимомъ комедіею, нѣтъ ничего безнравственнаго. Можетъ быть, дѣйствіе, впечатлѣніе непріятно, производимое надъ вами какъ во всякой сатирѣ, изображающей недуги общества: это дѣло другое и слѣдствіе неминуемое, но это непріятное дѣйствіе умѣрено и, такъ сказать, раскрашено смѣхомъ. Слѣдовательно, условія искусства выдержаны, комикъ правъ.

Сущность *общественныхъ* замѣчаній, слышанныхъ нами о *Ревизорѣ*, сбивается во многомъ на вышеприведенныя замѣчанія. Говорятъ, что эта комедія, это изображеніе нравовъ, поклепъ на Русское общество, что нѣтъ ни одного уѣзднаго города въ Россіи, который могъ бы представить подобное жалкое сборище людей: перебираютъ въ Зябловскомъ и Арсеньевѣ всѣ уѣзды Великороссійскихъ, Малороссійскихъ, Западныхъ и Восточныхъ губерній и заключаютъ, что нѣтъ такого города въ государствѣ. Слѣдовательно, комедія—ложь, клевета, несбыточный и недозволительный вымыселъ, едва-ли не пасквиль! Опять статистическія требованія отъ комика, опять жалобы на драматическаго публициста. Да кто же сказалъ вамъ, что авторъ мѣтилъ на такой-то городъ? что за пристрастный допросъ, повальный обыскъ таланту? Зачѣмъ искать оскорбленія народному честолюбію въ шуточномъ вымыслѣ автора? Есть ли на бѣломъ свѣтѣ люди, похожіе на тѣхъ, которые выведены въ комедіи? Безспорно, есть. Довольно этого! Что за дѣло, что комикъ подмѣтилъ одного изъ нихъ на берегу Волги, другаго на Днѣпрѣ, третьяго на Двинѣ и собралъ ихъ во едино, какъ живописецъ собралъ черты и прелести многихъ красавицъ въ одну свою Веперу? Не уже-ли слѣдовало автору гнать зрителей своихъ на почтовыхъ изъ губерніи въ губернію, чтобы не ввести васъ въ недоумѣніе и пощадить щекотливость вашу? Между тѣмъ зачѣмъ же увеличивать и вымышленное зло? Зачѣмъ клепать и на сценическія лица? Они болѣе смѣшны, нежели гнусны: въ нихъ болѣе невѣжества, необразованности, нежели порочности. Хлестаковъ—вѣтрепникъ, а впрочемъ можетъ быть и добрый малый; онъ не взяточникъ, а заемщикъ, нѣсколько легкій на руку, это правда, но однако же не нечистый на руку! Различіе это ясно обозначено въ лицѣ его. Прочія лица даютъ ему деньги, потому что онъ денегъ отъ нихъ проситъ. Гдѣ же видано, чтобъ люди отказывались услужить человѣку въ нуждѣ, когда этотъ человѣкъ можетъ быть имъ полезенъ,—все это натурально; все это такъ водится, не только въ глуши Русскаго уѣзднаго городка, но и вездѣ, гдѣ живутъ люди. Баснь *Ревизора* не утверждена на какомъ-нибудь

отвратительномъ и преступномъ дѣйствіи: тутъ нѣтъ утѣсненія невинности въ пользу сильнаго порока, нѣтъ продажи правосудія, какъ, напримѣръ, въ комедіи Капниста: *Ябеда*. Войдя здѣсь въ разговоръ и въ разсужденіе не съ журналистами и письменными людьми, а съ тѣми, которые, можетъ быть, и не твердо помнятъ твореніе Капниста, приведемъ нѣсколько выписокъ изъ *Ябеды* для подтвержденія мнѣнія нашего.—Вотъ, напримѣръ, первая сцена. У Пряничкова тяжба; дѣло разсматривается въ гражданской палатѣ; встрѣтясь съ Добровымъ, знакомымъ ему повытчикомъ, онъ спрашиваетъ его:

«Чѣмъ такъ соперникъ мой мнѣ страшенъ?

ДОБРОВЪ.

Господи! что за вопросъ такой!
Онъ ябедникъ — вотъ все ужъ этимъ вамъ сказалъ.
Но чтобъ его, сударь, получше вы узнали,
То я здѣсь коротко его вамъ очерчу:
Въ дѣлахъ, сударь, ему самъ чортъ не по плечу.
Въ гражданской ужъ давно веду я протоколы:
Такъ видны всѣ его тутъ шашни и крамолы,
Которы, зеркалу судебной правоты
Представъ, невинности явили въ немъ черты;
А сверхъ того еще — гласъ Божій, гласъ народа.
Подлоги, грабежи, разбои разна рода,
Фальшивы рядныя, уступки, векселя;
Тамъ отмежеванна вдругъ вырosла земля;
Тутъ верхни мельницы всѣ нижни потопили;
Тамъ двѣсти десятинъ два борова перыли;
Здѣсь вымороченыхъ селъ наслѣдничекъ воскресъ;
Тамъ на гумнѣ его дремучій срубленъ лѣсъ;
На брата искъ за брань и за безчестье взносятъ,
А пожилыхъ съ того и за умершихъ просятъ;
Тамъ люди пойманы его на воровствѣ,
Окраденнымъ купцамъ сыскалися въ родствѣ,
И брали то, что имъ лишь по наслѣдству должно...
Но всѣхъ его проказъ пересказать не можно;
Довольно и того, что вамъ слегка сказалъ.
При томъ, какъ знаетъ онъ всѣхъ стряпчихъ напоилъ!
Какъ Регламентъ загнуть, какъ вывернуть указы;
Какъ всѣ подьячески онъ вѣдаетъ пролазы!
Какъ заблѣжать къ судьѣ съ котораго крыльца;
Кому бумажекъ пукъ, кому пудъ серебреца;
Шестерку проиграть, четверку гдѣ, пль тройку;
Какъ залучить кого въ пирушку, на попойку,

И словомъ: дивное онъ знаетъ ремесло,
Неправду врачую такъ чиститъ, какъ стекло.
Такъ вамъ возможно-ли съ онымъ колодцемъ тягаться?

ПРЯМИКОВЪ.

И подлинно его мнѣ должно опасаться.
Но дѣло вѣдь мое такъ право, ясно такъ!..

ДОВРОВЪ.

Какъ солнце ясно будь, то будетъ акт кривъ.

ПРЯМИКОВЪ.

Но на судей ужъ-ли не можно положиться?
Хозяинъ здѣшній?..

ДОВРОВЪ *(самодовольная улыбка)*.

Ахъ, боюсь проговориться;
Но вы не скажете, не слышитъ насъ никто,
Извольте-жъ про себя, сударь, вы вѣдать то,
Что дому господинъ, гражданскій предсѣдатель,
Есть существ истины Іюда и предатель,
Что и ошибкой дѣлъ онъ прямо не вершилъ,
Что съ кривды пошлиной карманы начинилъ,
Что онъ законами лишь беззаконье удитъ
(Показывает, будто считает деньги)
И безъ наличнаго довода дѣлъ не судитъ;
Однако, хоть и самъ всей пятерней беретъ,
Но вящшую его супруга дань деретъ;
Съѣстное, питейцо, — предъ нею нѣтъ чужаго,
И только-что твердитъ: даянье всяко благо.

ПРЯМИКОВЪ.

Вотъ на! возможно-ль быть? А члены?...

ДОВРОВЪ.

Все одно;
У нихъ все на одинъ салтыкъ заведено:
Одинъ членъ вѣчно пьянъ и протрезвенья нѣту,
Такъ тутъ какому быть ужъ путному совѣту?
Товарищъ же его до травли русаковъ
Охотникъ страстный: съ нимъ со сворой добрыхъ псовъ
И сшедшую съ небесъ доѣхать правду можно...

ПРЯМИКОВЪ.

А засѣдатели?

ДОБРОВЪ.

Когда сказать не ложно,
Въ одномъ изъ нихъ души хотя немножко знать.
Такъ что-жъ? Лихъ та бѣда, что не горазъ читать;
Писать-то и готовъ, а на словахъ запка:
И такъ хотя-бъ и радъ, помѣха лишь велика.
Другой себя къ игрѣ такъ страстно пристрастилъ,
Что душу бы свою на карту посадилъ.
Въ судѣ по Черному съ нимъ Фараонъ гуляетъ,
И у журналовъ онъ углы лишь загибаетъ.

ПРЯМИКОВЪ.

А прокуроръ? Ужъ-ли и онъ?

ДОБРОВЪ.

О! прокуроръ,
Чтобъ въ рифму мнѣ сказать, существеннѣйшій воръ.
Вотъ прямо въ точности всевидящее око:
Гдѣ плохо что̀ лежитъ, тамъ мѣтитъ онъ далеко,
Не цапнетъ лишь того, чего не досягнетъ.
За праведный допосъ, за ложный онъ беретъ;
Щечитъ за пропускъ дѣлъ, за голосъ, предложенья,
За перѣшеніе рѣшимаго сомнѣнья,
За поздній въ судъ приходъ, за пропущенный срокъ,
И даже онъ деретъ съ колодниковъ оброкъ.

ПРЯМИКОВЪ.

А о Секретарѣ?...

ДОБРОВЪ.

Дуракъ, кто слово тратитъ,
Хоть голъ бы какъ ладонь, онъ что-нибудь да схватитъ.
Указы знаетъ всѣ, какъ пальцевъ пять своихъ.
Экстрактецъ сочинитъ безъ точекъ, запятыхъ,
Подчиститъ протоколъ, иль листъ прибавитъ смѣло,
Иль стибритъ документъ — его все это дѣло;
И съ Праволовымъ онъ запазушны друзья.
Онъ вамъ накаверзитъ, весьма увѣренъ я.
И дѣльцо знать къ себѣ онъ прибралъ по секрету;
По крайности, его въ моемъ повытьѣ нѣту.

ПРЯМИКОВЪ.

Изрядно эту мнѣ ты шайку описалъ!
Какая сволочь!

ДОВРОВЪ.

Я вамъ истину сказалъ.

Далѣе деньги тутъ даются не въ займы, а въ явный подкупъ. Предсѣдатель гражданской палаты, члены, прокуроръ поютъ хоромъ:

Бери, большой тутъ нѣтъ науки;
Бери, что только можно взять.
На что-жъ привѣшаны намъ руки.
Какъ не на то, чтобъ брать, брать, брать?

Всѣ возможныя сатурналіи и вакханаліи Ѳемиды, во всей наготѣ, во всемъ безчинствѣ своемъ раскрываются тутъ на сценѣ гласно и торжественно. Гражданская палата засѣдаетъ, слушаетъ и судитъ дѣла въ той же комнатѣ, гдѣ за нѣсколько часовъ предъ тѣмъ бушевала оргія; вчерашнія бутылки валяются подъ присутственнымъ столомъ, прикрытымъ краснымъ сукномъ, которое, по мнѣнію повытчика,

«Множество привыкло покрывать.
И не такихъ грѣховъ»!

Вѣроятно и въ то время находились люди, которые говорили, что въ самомъ дѣлѣ не могутъ существовать въ Россіи и нигдѣ такіе нравы, что это клевета, и проч. Между тѣмъ Капнистъ, посвящая свою комедію Императору Павлу I, отвѣчалъ на сіи обвиненія, обращаясь къ Его высокому имени:

Ты знаешь разные людей строптивыхъ нравы,
Ипымъ не страшна казнь, а злой боятся славы.
Я кистью Талія порокъ изобразилъ;
Мздоимства, ябеды, всю гнусность обнажилъ,
И отдаю теперь на посмѣяніе свѣта.
Не мстительна отъ нихъ страшуся я навѣта,
Подъ Павловымъ щитомъ почію непредимъ;
Но былъ по мѣрѣ силъ споспѣшникомъ Твоимъ,
Сей слабый трудъ Тебѣ я посвятить дерзаю,
Да имепемъ Твоимъ успѣхъ его вѣнчаю.

Благородныя чувства и благородный языкъ поэта были доступны къ просвѣщенному великодушію Государя. Онъ изъявилъ согласіе свое на просьбу его и статсъ-секретарь Нелединскій написалъ къ нему слѣдующее письмо:

Милостивый государь мой,
Василій Васильевичъ!

Его Императорское Величество, снисходя на желаніе ваше, Всемилостивѣйше дозволяетъ сочиненную вами комедію, подъ названіемъ: *Ябеда*, напечатать съ надписаніемъ о посвященіи онаго сочиненія Августѣйшему имени Его Величества.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностью, честь имѣю пребыть вашимъ, милостивый государь мой, покорнѣйшимъ слугою
Юрій Нелединскій-Мелецкій.

Въ Павловскѣ,
Іюня 29 дня 1798 года.

Конечно чувство патріотической щекотливости благородно: народное достоинство есть святыня, оскорбляющаяся малѣйшимъ прикосновеніемъ. Но при этихъ чувствахъ не должно быть односторонними въ понятіяхъ своихъ. При излишней щекотливости вы стѣсняете талантъ и искусство, стѣсняете самое нравственное дѣйствіе благонамѣренной литературы. Комедія, сатира, романъ правовъ исключаются изъ нея при допущеніи подобнаго чувства въ безусловное и непреложное правило. Послѣ того ни одно злоупотребленіе не можетъ подлежать кисти, или клейму писателя; ни одинъ писатель не можетъ быть, по мѣрѣ силъ, споспѣшникомъ общаго блага, по выраженію Каннста. Личность, званіе, національность, а наконецъ и человѣколюбіе будутъ ограждать злоупотребителей опасеніемъ нарушить улыкою въ злоупотребленіи уваженіе къ тому, что подъ нимъ скрывается достойнаго уваженія и неприкосновеннаго. Но міръ нравственный и міръ гражданскій имѣютъ свои противорѣчія, свои прискорбныя уклоненія отъ законовъ общаго благоустройства. Совершенство есть цѣль недостижимая, но совершенствованіе есть не менѣе того обязанность и свойство природы человѣческой. Говорятъ, что въ комедіи Гоголя не видно ни од-

ного умнаго человѣка; неправда: уменъ авторъ. Говорятъ, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного честнаго и благомыслящаго лица; неправда: честное и благомыслящее лицо есть правительство, которое, силою закона поражая злоупотребленія, позволяетъ и таланту исправлять ихъ оружіемъ насмѣшки. Въ 1783 году оно допустило представленіе *Недоросля*, въ 1799 *Ябеды*, а въ 1836 *Ревизора*.

Приписка. При появленіи *Ревизора* было, какъ сказано выше, много толковъ и сужденій въ обществѣ и въ журналахъ. Кромѣ самаго литературнаго достоинства ея, входила въ разпорѣчивыя соображенія о ней и задняя, затаенная мысль. Комедія была признана многими либеральнымъ заявленіемъ, въ родѣ, напримѣръ, комедіи Бомарше: *Севильскій цирюльникъ*, признана за какой-то политическій брандскугель, брошенный въ общество подъ видомъ комедіи. Это впечатлѣніе, это предубѣжденіе, разумѣется, должно было раздѣлить публику на двѣ противоположныя стороны, на два лагеря. Одни привѣтствовали ее, радовались ей какъ смѣлому, хотя и прикрытому нападенію на предержащія власти. По ихъ мнѣнію, Гоголь, выбравъ полемъ битвы своей уѣздный городокъ, мѣтилъ выше. Извѣстно до какой степени бываютъ легковѣрны такъ-называемые либералы. При малѣйшемъ движеніи, при самой неосновательной надеждѣ, они готовы заключить, что прибываетъ къ ихъ полку и простодушно радуются побѣдѣ своей. Не возможно исчислить, сколько глупостей совершается у насъ во имя и ради пошлаго либерализма. Жалко смотрѣть на молодыхъ людей, рожденныхъ не безъ способностей; и нѣкотораго дарованія они могли бы оказать пользу литературѣ нашей, но сбиваются съ дороги своей и съ толку, потому что прежде всего хочется имъ показать, что они не отстаютъ отъ либераловъ.

Съ этой точки зрѣнія другіе, разумѣется, смотрѣли на комедію какъ на государственное покушеніе: были имъ взволнованы, напуганы и въ несчастномъ, или счастливомъ комикѣ видѣли едва ли не опаснаго бунтовщика. Дѣло въ томъ, что тѣ и другіе ошибались. Либералы напрасно встрѣчали въ Гоголѣ единомышленника и союзника себѣ, другіе напрасно откреща-

вались отъ него, какъ отъ страшилища, какъ отъ нечистой силы. Въ замыслѣ Гоголя не было ничего политическаго. Онъ написалъ *Ревизора*, какъ послѣ написалъ *Шинель*, *Носъ* и другія свои юмористическія произведенія. У либераловъ глаза были обольщены собственнымъ обольщеніемъ; у консерваторовъ они были велики. Помню первое чтеніе этой комедіи у Жуковскаго на вечерѣ, при довольно многолюдномъ обществѣ. Всѣ внимательно слушали и заслушивались; всѣ хохотали отъ доброй души; никому въ голову не приходило, что въ комедіи есть тайный умыселъ. Тайный умыселъ открыли уже послѣ слишкомъ зоркіе, но вполнѣ ошибочные глаза. Много было написано и много еще пишется о Гоголѣ; но кстати здѣсь сказать: во многоглаголіи ни спасенія, ни истины нѣтъ.

1876.

LIX.

КРУШЕНІЕ ЦАРСКОСЕЛЬСКАГО ПОѢЗДА.

1840.

Нечего и спрашивать: разумѣется и я былъ въ несчастномъ Царскосельскомъ поѣздѣ на желѣзной дорогѣ въ ночи съ 11-го на 12-е августа, — я непремѣнный членъ всѣхъ крушеній на водѣ и на сушѣ. Горитъ-ли пароходъ? я на немъ. Сшибаются-ли паровозы? я тутъ. Люди меня губятъ, но Богъ милуетъ. Благодареніе Богу, съ этимъ жить еще можно. Должно только замѣтить одно: хотя то и другое несчастіе были слѣдствіемъ оплошности человѣческой, но въ первомъ случаѣ несчастіе сбыточное и предвидимое по разсчетамъ вѣроятности. Тамъ, гдѣ все дѣлается огнемъ, не мудрено, что огонь когда-нибудь и надѣлаетъ бѣды. Но послѣдній случай—изъятіе изъ общаго итога возможныхъ случайностей и сбыточныхъ вѣроятностей. На первый случай есть объясненіе и оправданіе; на второй нѣтъ ни малѣйшихъ. Лопнулъ бы котелъ, повредилось бы что въ рельсахъ, и будь жертвами этой бѣды еще бо́льшее число страдальцевъ, нежели въ настоящемъ случаѣ, то все-таки былъ бы поводъ къ снисхожденію и была бы возможность для оправданія. Всѣмъ извѣстно, что есть случаи, не подлежащіе разсчетамъ человѣческой прозорливости и науки, ускользающіе отъ всѣхъ мѣръ предосторожности и обдуманной заботливости. Но здѣсь это не просто случай, а преступленіе, смертоубійство! Тутъ виновна не судьба: виновны люди! и, слѣдовательно, подлежатъ они стро-

жайшей отвѣтственности предъ обществомъ, предъ человѣчествомъ. Виновенъ не одинъ человѣкъ, не отдѣльное лицо, виновны хозяева, распорядители предпріятія, которое беретъ ежедневно на добровольную отвѣтственность свою и для своей пользы участь и жизнь нѣсколькихъ тысячъ людей. При такой отвѣтственности они должны быть глубоко, постоянно, исключительно проникнуты и озабочены святостью сей страшной обязанности. Въ полной-ли мѣрѣ чувствуютъ они сію обязанность? Оправдываютъ-ли они довѣренность, которою облечены? Нѣтъ! съ прискорбіемъ, но съ убѣжденіемъ повторимъ: нѣтъ! иначе несчастіе, постигшее нынѣ многія семейства, не могло бы совершиться.

Графъ Бобринскій постоянствомъ, усиліями своими, безпримѣрною дѣятельностію, достигнулъ важной цѣли, которая утверждаетъ за нимъ нынѣ и на будущее время признательность согражданъ. Онъ доказалъ физическую, матеріальную возможность устройства у насъ желѣзной дороги. Онъ открылъ этимъ богатое поприще будущимъ успѣхамъ промышленной и торговой Россіи. Заслуга незабвенная! Не знаю, кто бы у насъ, кромѣ его, одержалъ сію побѣду съ такимъ благороднымъ упорствомъ, самоотверженіемъ и пожертвованіями, покоряя на каждомъ шагу затрудненія и препятствія всякаго рода. Такъ, матеріальная возможность Русской желѣзной дороги безпрекословно доказана. Это фактъ! Если и не мы имъ вполнѣ воспользуемся, такъ воспользуется другое поколѣніе. Все равно! Но нравственная возможность Русской желѣзной дороги равно-ли доказана, какъ вещественная? Нисколько! Она должна бы основана быть на гласной отвѣтственности общества, которое завѣдываетъ желѣзною дорогою, и не на одной общей отвѣтственности предъ правительствомъ, но и на частной — предъ частными лицами. На сей отвѣтственности опиралась бы общественная довѣренность, и взаимная сдѣлка имѣла бы нравственную законную силу, которой теперь нѣтъ и въ поминѣ.

Обратимся къ послѣднему событію, чтобы объяснить и подтвердить наше строгое сужденіе и примемъ въ руководство извѣщеніе, публикованное *Сѣверною Пчелою* о случившемся несчастіи.

„Для успокоенія публики касательно происшествія, случившагося въ ночи съ 11-го на 12-е августа на Царскосельской желѣзной дорогѣ, сообщаются объ опомъ слѣдующія, достовѣрныя извѣстія".

Если это не пасмѣшка, что̀ и допустить не можно, то есть-ли здравый смыслъ въ этой фразѣ? что можетъ быть *успокоительнаго* для публики въ извѣщеніи, что погибло нѣсколько людей отъ оплошности и нерадѣнія, нигдѣ и никогда неслыханныхъ! При томъ же, какъ, объявляя о подобномъ несчастіи, не выразить изъ состраданія, хотя бы изъ приличія, ни слова сожалѣнія, прискорбія о многихъ жертвахъ безпримѣрнаго происшествія. Напротивъ, сухо и какъ-будто ни въ чемъ не бывало разсказываютъ о немъ, какъ о ничтожномъ, ежедневномъ случаѣ, словно гдѣ-бы-нибудь выкинуло изъ трубы, или вода разлилась и затопила нѣсколько саженей земли. Публика, глубоко встревоженная и пораженная случившимся бѣдствіемъ, скорбитъ, негодуетъ, призываетъ бдительность правосудія на истинныхъ виновниковъ несчастія, а ей говорятъ: господа, вы напрасно безпокоитесь, вы слишкомъ легковѣрны!! Богъ знаетъ, съ чего вы вздумали, что̀ случилось несчастіе! это ничего: мы васъ сейчасъ успокоимъ. Вотъ въ чемъ дѣло: англичанинъ Масквель имѣлъ, правду сказать, минуту забывчивости, которая многимъ стоила жизни, но и только!

И не говорите, что несообразность этого извѣщенія заключается въ одной худой редакціи, въ отсутствіи чувства приличія. Это бы еще не бѣда! но вижу тутъ другое: вижу покушеніе, умышленное усиліе устранить отвѣтственность общества, сбить съ толку встревоженное вниманіе публики и мнимымъ равнодушіемъ заглушить общій ропотъ и сѣтованія. Далѣе, въ изложеніи помянутаго извѣщенія найдемъ другія доказательства, подкрѣпляющія наше обвиненіе.

Тутъ же сказано, что поѣздъ изъ Царскаго Села двинулся въ путь въ 11-ть часовъ, равно какъ и С.-Петербургскій! Не правда! мы пошли изъ Царскаго Села не ранѣе 11-ти часовъ съ половиною, а вѣроятно и нѣсколько позднѣе за разными остановками, отцѣпленіемъ одного вагона, высаживаніемъ изъ

него уже сидѣвшихъ пассажировъ, и другими замедленіями. Слѣдовательно, и С.-Петербургскій не тронулся съ мѣста въ означенный часъ. Иначе мы, отправившись позднѣе, нашли бы его уже на станціи у Московскаго шоссе. Вмѣсто того, мы съѣхались, или, по несчастію, ударились съ нимъ лбами на восьмой верстѣ отъ Петербурга, что̀ неоспоримо доказываетъ, что онъ пошелъ въ путь еще позднѣе нашего. Обстоятельство поздняго отправленія нашего тѣмъ для меня памятнѣе, что, недолго спустя послѣ случившагося несчастія, я посмотрѣлъ на часы и было уже около половины перваго часа. Вышедши изъ вагоновъ и стоя на желѣзной дорогѣ, я и другіе спутники подумали, судя по времени, что мѣсто наше не совершенно безопасно, ибо вскорѣ могъ подъѣхать другой поѣздъ, назначенный къ отправленію изъ Царскаго Села въ 12-ть часовъ, и не дать намъ возможности, толпою собравшимся на дорогѣ, заблаговременно посторониться, особенно по темнотѣ туманной ночи. Конечно, обстоятельство позднѣйшаго, противъ назначеннаго часа, отправленія паровозовъ не было достаточною причиною послѣдовавшаго несчастія, ибо одинъ изъ двухъ поѣздовъ все-таки обязанъ былъ ожидать на станціи прибытія другаго. Но не менѣе того оно важно, ибо доказываетъ безпорядокъ отправленій и недостатокъ распорядительности въ дѣлѣ, гдѣ нужна строжайшая точность. Не хорошо также и не кстати и неуваженіе къ публикѣ въ неосновательномъ отчетѣ предъ нею о подробностяхъ событія, въ коемъ была она, по несчастію, слишкомъ очевидною и страдальческою участницею.

По отчету вся вина сваливается на Англичанина Масквеля. Конечно, онъ непосредственный виновникъ, или вѣрнѣе непосредственное орудіе случившагося несчастія, но въ самомъ дѣлѣ отвѣтственность падаетъ не на него одного, а восходитъ выше. По отзыву его, онъ *забылъ* о данномъ ему приказаніи остановиться на станціи. Дѣло невозможное! Онъ или не зналъ порядочно, что долженъ встрѣтиться съ другимъ поѣздомъ, или былъ такъ пьянъ, что не зналъ, что дѣлалъ. Въ такомъ случаѣ забывчивость не вѣроподобна, тѣмъ болѣе, что онъ самъ шелъ на вѣрную гибель. Какъ бы то ни было, но виновно управленіе.

Если онъ былъ пьянъ, то чего же смотрѣли начальство и дежурные директоры? Не обязаны ли они при каждомъ отправленіи освидѣтельствовать, въ какомъ состояніи находится человѣкъ, въ руки коего ввѣряется жизнь нѣсколькихъ сотъ человѣкъ. Не обязаны ли директоры, особенно въ подобные экстренные случаи, когда стеченіе народа бываетъ необыкновенное и безпорядки сбыточнѣе, находиться тутъ и личностію своею отвѣчать за личность другихъ, или, по крайней-мѣрѣ, раздѣлять съ ними возможность опасности. Знакомымъ и друзьямъ директоровъ, конечно, должно быть очень пріятно встрѣчаться съ ними въ Павловскомъ вокзалѣ, согласенъ, но не одною же этою прогулкою ограничивается обязанность ихъ? Если былъ на сей случай одинъ изъ директоровъ съ нами, то зналъ ли онъ, что мы должны съѣхаться съ другимъ паровозомъ? если не зналъ, какъ могъ не знать? Если зналъ, какъ могъ не дать приказанія остановиться видя, что станцію миновали, не остановившись? Чего же смотрѣли комиссары, сторожа, стоящіе при маякахъ, кондукторы? Неужели все должно вертѣться на одномъ человѣкѣ! и если машинисту случится умереть скоропостижно, пасть въ обморокъ, или обезумѣть, то неужели не должно быть ни единаго средства къ спасенію? Быть не можетъ! Быть не должно.

Далѣе сказано: по распоряженію правленія желѣзной дороги, англичанинъ Робертъ Масквель отданъ въ полицію, до окончанія имѣющаго произвестись слѣдствія.

Опять таже уловка, тоже покушеніе заслонить главную, высшую отвѣтственность отвѣтственностью второстепенною, ничтожною, одною изъ тѣхъ подставныхъ отвѣтственностей, которыя обыкновенно хранятся въ запасѣ на подобные случаи. Но уловка безуспѣшная! Она никого не увлечетъ. Всѣ голоса, слившіеся въ одинъ общій голосъ на самомъ мѣстѣ несчастія, и сливающіеся нынѣ въ сужденіяхъ о случившемся, обвиняли и обвиняютъ не машиниста. Публикѣ до машиниста нѣтъ дѣла. Не ему довѣряетъ она жизнь свою. Положимъ, что онъ и будетъ наказанъ, строго наказанъ, но это удовлетвореніе не дастъ нравственной силы обществу желѣзной дороги, никого не успо-

контъ, ничего не обезпечитъ. Довѣренность публики, глубоко потрясённая, едва ли не до основанія рушенная несчастнымъ событіемъ, не ободрится снова. Если общество хочетъ оправдать себя предъ публикою, облечь себя довѣренностію, которая необходима въ подобныхъ предпріятіяхъ, гдѣ жизнь человѣческая, гдѣ благосостояніе семействъ, какъ на карту, ставится на билетъ, выпадающій изъ кассы, то ему предстоитъ другая важнѣйшая обязанность. Оно должно дѣйствовать прямѣе, откровеннѣе. Пусть испроситъ оно у правительства, чтобы наряжено было полное, гласное слѣдствіе, а не слѣдствіе домашнее, келейное, гдѣ подсудимые одни разбираются между собою и гдѣ настоящіе истцы, то есть мы, то есть публика, мы, страждущее лице, не допущены. Пусть вызваны будутъ къ сему слѣдствію для необходимыхъ показаній и улики свидѣтели и участники того, что случилось. Пусть несчастныя жертвы, мужья, жены, дѣти, оплакивающіе ближнихъ своихъ, семейства лишившіяся домашняго счастія, а многія и вещественнаго благосостоянія утратою тѣхъ, которые доставляли имъ хлѣбъ насущный, пусть они всѣ будутъ выслушаны. Пусть тѣ изъ нихъ, которые потребуютъ отъ общества законнаго удовлетворенія за убытки, претерпѣнные ими, будутъ вполнѣ и справедливо вознаграждены, потому что въ этомъ случаѣ, если и есть утраты не оцѣненныя, то есть и такія, которыя могутъ быть по крайней-мѣрѣ отчасти оцѣнены на деньги: иной отецъ семейства, иная рука, нога ремесленника, увѣчья, лишающія средства навсегда, или на время зарабатывать пропитаніе свое,—все это должно имѣть денежное вознагражденіе. Мы видимъ тому частые примѣры въ другихъ государствахъ. Между прочимъ укажемъ на штрафъ взысканія съ директоровъ желѣзной дороги въ Англіи, послѣ недавняго несчастнаго случая, о которомъ упоминала и *Сѣверная Пчела*, въ слѣдъ за нашимъ происшествіемъ. По приговору суда, директоры присуждены были заплатить около 14.000 рублей (смотри Journal des Dćbats, 19 августа). Отъ подобнаго гласнаго слѣдствія и общество познаетъ лучше свои обязанности, и публика ободрится довѣренностью, которой теперь она не имѣетъ и имѣть не можетъ.

LX.

КНЯЗЬ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧЪ ВЯЗЕМСКІЙ.

1840.

Князь Андрей Ивановичъ (родился около 1750 года, скончался 1807 г.), дѣйствительный тайный совѣтникъ, сенаторъ, св. Анны и св. Александра кавалеръ, началъ военною службою, гдѣ и дослужился до чина генералъ-поручика; командовалъ Вологодскимъ полкомъ; былъ въ Турецкой кампаніи, но не имѣлъ никакихъ знаковъ воинскаго отличія, кажется, по недоброжелательству къ нему князя Потемкина. Незадолго до кончины Императрицы Екатерины назначенъ былъ Нижегородскимъ и Пензенскимъ намѣстникомъ, и въ семъ званіи оставилъ по себѣ въ томъ краю прекрасную память, сохранившуюся и по нынѣ въ преданіяхъ старожиловъ.—По восшествіи на престолъ Императора Павла и по уничтоженіи намѣстничествъ, онъ переименованъ былъ въ чинъ тайнаго совѣтника и назначенъ сенаторомъ въ Москву. До кончины Павла I уволенъ въ отставку, по прошенію. Императоръ всегда къ нему особенно благоволилъ и лично зналъ его. Въ молодости своей онъ объѣхалъ всю Европу отъ Швеціи до Испаніи; за границею женился на Ирландкѣ, изъ фамиліи Орейли (княгиня Евгенія Ивановна).

Князь Андрей Ивановичъ былъ извѣстенъ твердымъ и благороднымъ характеромъ, острымъ умомъ, образованностію и любезностію необыкновенными. Онъ въ превосходной степени обладалъ даромъ слова: любилъ словесныя препія; слылъ въ свое

время упорнымъ спорщикомъ, но утонченною вѣжливостію умѣлъ умѣрять непріязненность противорѣчія, а діалектикою живою и сжатою придавать мнѣніямъ своимъ увлекательность и силу. Домъ его въ Москвѣ, въ продолженіе многихъ лѣтъ, былъ однимъ изъ пріятнѣйшихъ, и ежедневно открытымъ для друзей и многочисленныхъ посѣтителей. Въ двухъ маленькихъ комнатахъ тѣснилось отборное Московское общество, а когда ограниченное пространство переполнялось неожиданно многолюдіемъ, то открывалась другая половина въ домѣ. Тутъ молодежь импровизировала балъ подъ одушевленіемъ импровизированнаго оркестра, состоявшаго изъ флейты-самоучки и доморощенной скрипки. Юрій Александровичъ Нелединскій-Мелецкій, ежедневный гость и другъ дома, слушая музыкальныя размолвки домашнихъ виртуозовъ, говаривалъ при этомъ: „странное дѣло, кажется, эти люди всегда живутъ вмѣстѣ, а нѣтъ въ нихъ никакого согласія“. Сей домъ, у Колымажнаго двора, окруженный обширнымъ и тѣнистымъ садомъ, уцѣлѣлъ въ Московскомъ пожарѣ 1812 года. Неизвѣстны новыя судьбы его, но въ то время онъ былъ средоточіемъ жизни и всѣхъ удовольствій просвѣщеннаго общества. Какъ и самый образъ жизни хозяевъ его, онъ былъ чуждъ всякой роскоши и не блисталъ убранствомъ. Но въ тотъ вѣкъ матеріальныя требованія и прихоти были не столь взыскательны, какъ нынѣ. Единственное богатство дома сего была обширная и разнообразная библіотека; но и та служила не предметомъ роскоши, а необходимаго потребленія. Князь Вяземскій посвящалъ ежедневно, до поздняго вечера, то есть до времени обыкновеннаго съѣзда гостей, нѣсколько часовъ на чтеніе книгъ историческихъ, философическихъ и путешествій. Неизмѣнно, первый вечерній посѣтитель, могъ быть увѣренъ, что найдетъ его дома, у камина, въ большихъ вольтеровскихъ креслахъ, съ книгою въ рукѣ. Къ имени Нелединскаго должно причислить имена: Ханыкова (Французскаго поэта и бывшаго посланника нашего въ Дрезденѣ), князя Бѣлосельскаго, князя Якова Ивановича Лобанова-Ростовскаго, Петра Васильевича Мятлева, И. И. Дмитріева, Карамзина, которые были домашними въ его кругу. Всѣ путешественники (особенно Англичане), ученые, художники,

находили въ этомъ домѣ Русское гостепріимство и прелести Европейской разговорчивости. Нѣкоторые изъ нихъ, въ изданныхъ ими путевыхъ запискахъ, упомянули о томъ съ благодарнымъ воспоминаніемъ. Любезныя женщины, красавицы той эпохи, которая была золотымъ вѣкомъ свѣтской образованности и утонченности, по-очередно, а иногда и совмѣстно, въ сей избранной и мирной области царствовали:

Et par droit de conquête et par droit de naissance!

Упомянемъ между прочими имена: А. П. Хвостовой, Деденевой, Пестель, княгини Тюфякиной, Обрѣзковой (нынѣ княгиня Хилкова). Молодые люди, вступавшіе на сцену большаго свѣта, добивались въ семъ обществѣ извѣстности и дипломовъ своихъ на любезность и свѣтскіе успѣхи. Хотя ума степеннаго и строгаго, князь Вяземскій любилъ молодость и умѣлъ сочувствовать ей. Онъ руководствовалъ ее совѣтами своего разсудка, соучастія и опытности, нерѣдко покровительствовалъ ей своимъ вліяніемъ, хотя и частнымъ, но не менѣе того дѣйствительнымъ по дружескимъ связямъ своимъ, совершенно безкорыстнымъ, со многими государственными людьми царствованій Императоровъ Павла и Александра. Въ числѣ ихъ назовемъ князя П. В. Лопухина, Николая Семеновича Мордвинова, графа Александра Романовича Воронцова; особенно съ симъ послѣднимъ былъ онъ въ продолжительной и постоянной перепискѣ, довольно затруднительной для того и другого, ибо невозможно, не только найти, но едва ли и вообразить почеркъ болѣе связный и печеткій почерка обоихъ корреспондентовъ.

LXI.

КНЯЗЬ ПЕТРЪ БОРИСОВИЧЪ КОЗЛОВСКІЙ.

1840.

На дняхъ получено здѣсь печальное извѣстіе изъ Бадена о смерти [1]) князя Петра Борисовича Козловскаго, въ то самое время, когда пріятели его, ободренные слухами о благопріятныхъ успѣхахъ леченія его, надѣялись на скорое и совершенное его выздоровленіе. Сія утрата не изъ числа тѣхъ, которыя внезапно пресѣкаютъ и поглощаютъ въ себѣ непосредственное дѣйствіе на современныя событія, на лица и отношенія окружающаго міра. Смерть его оставляетъ все и всѣхъ въ томъ же видѣ и положеніи, какъ и при жизни его. Ни въ сферѣ государственной дѣятельности, ни въ литературѣ, ни на какомъ другомъ гласномъ общественномъ поприщѣ онъ не занималъ высшаго мѣста, мѣста ему особенно присвоеннаго Никакія обязанности, никакая отвѣтственность собственно на немъ не лежали. Отъ него ничего не ожидали, ничего не надѣялись. Онъ жилъ, такъ сказать, въ себѣ и для себя, жизнью личною, отдѣльною, которая отражалась, такъ-сказать, въ одномъ тѣсномъ очеркѣ, обведенномъ собственною его тѣнью, тѣнью частнаго и обыкновеннаго человѣка. Но не менѣе того смерть его есть утрата незабвенная и невозвратимая. Дѣло въ томъ, что хотя и не былъ онъ дѣйствительнымъ членомъ общества, а только почетнымъ, что лица и событія шли мимо его и безъ него, что онъ ничего не

[1]) Князь Козловскій умеръ въ Баденъ-Баденѣ 14 (26) октября 1840 года.

совершилъ вполнѣ, не посвятилъ себя ни одному изъ тѣхъ общественныхъ и нравственныхъ служеній, которыя даютъ извѣстность, почетность, власть и славу, но въ одномъ отношеніи былъ онъ полнымъ представителемъ одного яснаго и высокаго понятія: онъ былъ вполнѣ человѣкомъ необыкновенно умнымъ, необыкновенно просвѣщеннымъ, необыкновенно добрымъ. Сего довольно, чтобы имѣть вѣрное, неотъемлемое мѣсто, въ частной современной, если не во всеобщей исторіи человѣчества, и вѣрное и неотъемлемое право на любовь и уваженіе ближнихъ, на слезы и скорбь благодарной памяти. Кто можетъ изслѣдовать пути Провидѣнія и пружины, коими оно дѣйствуетъ для направленія насъ къ предназначенной цѣли? Но если средства сокрыты отъ нашего близорукаго зрѣнія, то самая цѣль сія ясна для нашего внутренняго убѣжденія и сознанія. И какъ же не быть убѣжденнымъ, что жизнь, подобная жизни князя Козловскаго, одаренная такими прекрасными свойствами, способностями и силою, хотя впрочемъ и не призванная къ явному и плодовитому дѣйствію, но все же не могла она быть вотще брошена Провидѣніемъ на землю и не отозваться благимъ сочувствіемъ въ чемъ-нибудь и въ комъ-нибудь. Слѣдъ этой жизни не отразился въ лѣтописяхъ общества, отмѣченный особеннымъ именемъ и заглавіемъ; но дѣйствіе ея темное, безъименное не менѣе того существуетъ и выразилось гдѣ-нибудь и когда-нибудь во всей своей полнотѣ и силѣ. Кто скажетъ, который именно лишній изъ числа безвѣстныхъ и подземныхъ родниковъ, которые сливаются во-едино своими струями и образуютъ одно изъ тѣхъ величественныхъ и живописныхъ озеръ, коими славится окрестность и любуются прохожіе?

Нѣтъ, князь Козловскій жилъ не даромъ.

Частью шутя, но частью и съ твердымъ убѣжденіемъ онъ увѣрялъ, что ему опредѣлено на землѣ одно назначеніе, что онъ облеченъ однимъ призваніемъ, что онъ посланъ былъ Провидѣніемъ: говорить. И въ самомъ дѣлѣ, кто имѣлъ случай слушать его, кто имѣлъ счастіе испытать сколько было силы, увлекательности и прелести въ рѣчи его, тотъ готовъ согласиться съ нимъ, что онъ точно угадалъ призваніе свое. Даръ слова былъ

въ немъ такое же орудіе, такое же могущество, какъ даръ поэзіи въ поэтѣ, даръ творчества въ художникѣ. Ораторъ, не изъ тѣхъ, кому нужна трибуна, приготовленная сцена, приготовленная публика, которые, ораторствуя, играютъ роль, или несутъ повинность, онъ былъ ораторомъ ежедневнымъ, ежеминутнымъ, всегда готовымъ, всегда послушнымъ внутреннему или внѣшнему призванію, всегда повелительнымъ надъ вниманіемъ своихъ собесѣдниковъ. Вопросы исторіи, политики современной, науки и литтературы, общежитія, нравственности равно отзывались въ немъ, равно потрясали тонкія и раздражительныя фибры его интеллектуальности и разрѣшались внезапными, свѣтлыми и живыми импровизаціями. Все соединилось, чтобы дать слову его жизнь, силу и краску. Умъ его былъ проницательный и воспріимчивый. Онъ могъ и углубляться въ предметы и вмѣстѣ съ тѣмъ слегка и пріятно скользить по одной ихъ опушкѣ. Въ словахъ его были и достоинство цѣнности, и красивость отдѣлки: то есть мысль и выраженіе. Вспомогательныя средства были также обильны: большая начитанность, тѣсное знакомство со всѣми европейскими знаменитостями, и память удивительная. Ко всему этому прибавьте: смѣлость своихъ мнѣній; вопреки отзыву Талейрана, что слово есть маска мысли, въ немъ слово было живой, горячій отпечатокъ мысли его, какая ни была бы сія мысль. При всѣхъ этихъ блестящихъ качествахъ ума, или правильнѣе, отъ этихъ качествъ преобладательныхъ, бесѣда его могла бы быть иногда тяжела и угнетательна. Въ яркомъ, рѣзкомъ умѣ, особенно словоохотливомъ, есть часто что-то деспотическое, навязчивое, оскорбительное для самолюбія слушателя. Мы рады признавать чужое превосходство и владычество, но не хотимъ собственнаго уничиженія. Въ князѣ Козловскомъ были другія нравственныя качества, благопріятно противодѣйствовавшія властолюбію ума. Необыкновенная доброта, простодушіе, мягкость въ пріемахъ, вѣжливость аттическая и совершенно аристократическая, всегда умѣряли рѣчь его пламенную, своевольную, только-что не заносчивую. Самое противорѣчіе его берегло самолюбіе противника. Споръ съ нимъ былъ честный, рыцарскій поединокъ. Еще владѣлъ онъ одною способностью,

рѣдкою въ томъ, который любилъ и мастеръ говорить: онъ умѣлъ слушать. Какая отличительная черта благовоспитаннаго человѣка? спросили однажды г-жу Сталь.—Умѣнье слушать, отвѣчала она. Сей отвѣтъ, цитованный княземъ Козловскимъ, оправдывался и подкрѣплялся примѣромъ его.

Въ первый разъ сошелся я съ княземъ Козловскимъ въ 1834 г. Мы были другъ другу извѣстны по общимъ нашимъ пріятелямъ, но знакомы не были. Я тогда жилъ въ Ганау. Въ проѣздъ свой въ Россію чрезъ этотъ городъ зашелъ онъ ко мнѣ. Съ первой встрѣчи, съ первыхъ минутъ разговора нашего мы уже были будто старые пріятели. Простое обхожденіе его, искренность замѣнили дѣйствіе лѣтъ и давали настоящему свычку небывалаго прошедшаго. До поздней ночи проговорили мы, или, лучше сказать, прослушалъ я его, и тогда же записалъ въ памятную книжку свою впечатлѣнія моего новаго знакомства и многое, что слышалъ отъ него. Жаль, что эти замѣтки безвозвратно пропали въ пожарѣ парохода „*Николай I-ый*“. На другой день рано по утру явился я къ нему. Онъ собирался уже ѣхать. Я проводилъ и посадилъ его въ коляску фурмана, который долженъ былъ везти его чрезъ Лейпцигъ въ Варшаву. Въ этой же колескѣ взято было мѣсто и какою-то дамою, или женщиною средняго званія, и NB. не молодою и не красавицею. Лучшее мѣсто принадлежало князю Козловскому, но онъ никакъ не согласился воспользоваться имъ, и послѣ долгихъ преній обоюднаго великодушія уступилъ его своей спутницѣ и самъ сѣлъ на узкой передней приладочкѣ. Знавшимъ его, легко понять, что, при непомѣрной тучности его, подобное рыцарское самоотверженіе было вмѣстѣ съ тѣмъ и добровольное мученичество на нѣсколько дней. Для тѣхъ же, которые не знали его, эта черта, какъ она ни маловажна, можетъ служить характеристикою. Эта черта не нашего времени; тутъ есть что-то *старосвѣтское*, въ хорошемъ значеніи сего слова, искаженномъ спѣсью новаго поколѣнія, которое ругается старостью. Она рисуетъ физіономію. И въ самомъ дѣлѣ, при образованности въ высшей степени современной, при направленіи мыслей не только нынѣшнихъ, но часто и завтрашнихъ, князь Козловскій имѣлъ во многихъ обы-

чаяхъ своихъ и правилахъ что-то Версальское, что-то 70-хъ годовъ. Женщина была въ глазахъ и понятіяхъ его не просто женщина, но и одна изъ предержащихъ властей въ чиноположеніи общежитія, а потому и предметъ уваженія. Онъ во всей силѣ принадлежалъ еще классической школѣ Расина, а не школѣ Бальзака. Женщина для него не перерождалась въ Жоржъ Зандъ: она оставалась ла-Вальеръ. Такъ точно онъ былъ классикъ по многимъ убѣжденіямъ своимъ, правиламъ, сочувствіямъ и вѣрованіямъ, и особенно строгій классикъ въ литературномъ отношеніи. Латинскій языкъ, Латинскіе писатели были ему свои. Особенно любилъ онъ Ювенала. Когда въ Варшавѣ скоропостижно сошелъ съ ума кучеръ, который везъ его въ колескѣ и, направивъ лошадей прямо на край обвала, опрокинулся съ ними со всѣми въ яму на нѣсколько саженей глубины, князь Козловскій, вытащенный оттуда, разбитый, привѣтствовалъ прибывшаго къ нему на помощь лекаря стихами изъ Ювеналовой сатиры — рѣдкая и замѣчательная черта присутствія ума, памяти и литературности въ такую непріятную минуту.

Въ отношеніи литературныхъ мнѣній онъ былъ не только строгій классикъ, но едва ли и не закоснѣлый старовѣръ. За исключеніемъ сочиненій историческихъ, политическихъ и сочиненій до точныхъ наукъ относящихся, мало того, что онъ не уважалъ литературы новѣйшей, но и отказывался отъ нея и не признавалъ ея, развѣ только два изъ новѣйшихъ поэтовъ были изъяты имъ изъ сего остракизма: Байронъ и Пушкинъ. Слѣдующимъ образомъ изъяснилъ онъ свое мнѣніе по этому предмету: „Всѣмъ мнѣніямъ нужно освященіе времени. До него каждое мнѣніе только частный голосъ, предположеніе, прихоть. Я люблю Виргилія и Расина, потому, что они мнѣ нравятся, и могу признать любовь мою основательною и благоразумною, потому, что большинство, время и опытъ оправдываютъ ее. Современнымъ склонностямъ и мнѣніямъ не достаетъ давности, и право сколько было обмолвокъ, ошибокъ въ сужденіяхъ, которыя на извѣстное время казались непреложными. Нужно имѣть непомѣрное самолюбіе, чтобы противопоставить свой частный, единовременный голосъ голосамъ народовъ и столѣтій".

Въ подобномъ разсужденіи есть истина, но есть что то и парадоксальное, которое, впрочемъ, встрѣчалось иногда въ умѣ князя Козловскаго, какъ и въ каждомъ умѣ, легко подвижномъ и раздражительномъ, особенно въ умѣ тѣхъ, которые избрали предпочтительно орудіемъ своимъ изустное слово, дѣйствуя и играя имъ постоянно. Умъ слишкомъ положительный, такъ сказать скованный въ нѣкоторыхъ опредѣленныхъ истинахъ не имѣлъ бы того движенія, тѣхъ страстей и печалностей, которыя особенно увлекаютъ насъ и господствуютъ надъ нами силою сочувствій и противорѣчій. Такой умъ не живое существо, а книга, книга единожды и навсегда написанная.

Несчастное приключеніе, постигшее князя Козловскаго въ Варшавѣ, долго продержало его тамъ больнымъ и почти безногимъ. Въ концѣ 1836 года или въ началѣ 1837, наконецъ, явился онъ въ Петербургскихъ салонахъ на костыляхъ. Появленіе его произвело въ нихъ сильное движеніе: онъ занялъ въ нихъ мѣсто до него вакантное: мѣсто говоруна, разговорщика. У насъ нѣтъ и слова для именованія подобнаго лица. Это лицо какой-то имя рекъ, что-то безъименное. Давно замѣчаютъ, что тайна и прелесть разговорчивости, коей послѣдніе отголоски привѣтствовали насъ во дни нашей молодости, нынѣ уже преданы забвенію со многими другими тайнами и прелестями, упраздненными волею и новыми требованіями господствующей дѣйствительности. Не говоримъ въ особенности о нашемъ обществѣ, но и о всемъ Европейскомъ обществѣ. Болтуновъ найдешь, но говоруны перевелись. Единственные говоруны нашей эпохи: журналы. На дипломатическихъ обѣдахъ, на вечеринкахъ литературныхъ, въ блестящихъ многолюдныхъ собраніяхъ, въ отдѣльномъ и немногимъ доступномъ избранномъ и высшемъ обществѣ, голосъ князя Козловскаго раздавался неумолкно. Жадно собирались около него и наслаждались доселѣ невѣдомымъ удовольствіемъ. Употребляя пошлое сравненіе и чисто Русскую поговорку, можно сказать, что тогда „звали на князя Козловскаго“, какъ въ старину Московскіе бригадиры звали на жирную стерлядь; даже карточные столы, сіи четверомѣстные омнибусы нашего общества, получасомъ позже обыкновеннаго заселялись

своими привычными и присяжными засѣдателями. Казалось, что вдругъ, неожиданно сдѣлано новое открытіе: открытіе дара слова, и всѣ спѣшили хотя мимоходомъ полюбоваться симъ новымъ изобрѣтеніемъ. Но истинное торжество князя Козловскаго, лучшая сцена для него была пріятельская простая бесѣда. Тутъ, разрѣшившись отъ удушливаго нга, то-есть развязавъ галстухъ свой, съ умомъ и одеждою на распашку, развалившись на покойныхъ креслахъ, которыя служили ему треножникомъ Пиѳіи, и съ неугасимою сигаркою во рту, давалъ онъ волю своей обильной и разнообразной импровизаціи.

Въ послѣдніе годы жизни своей не могъ онъ однакоже постоянно ходить въ общество, которое любилъ, можно сказать, до малодушія. Здоровье его болѣе и болѣе разстроивалось. Ноги худо служили ему, тяжкое удушье день и ночь давило и мучило его. Сіе болѣзненное состояніе наводило на него минутами облако уныніи. Но онъ скоро разсѣивался, когда онъ имѣлъ случай разговориться; можно сказать, что онъ имѣлъ вѣрное средство *заговаривать* свои боли. Онъ любилъ жизнь и боялся смерти, какъ страшнаго и конечнаго таинства. Онъ жадно, ребячески прилѣпился къ надеждамъ и испытаніямъ, которыя обѣщали ему отсрочки отъ роковой необходимости, но между тѣмъ въ страданіяхъ своихъ имѣлъ онъ много христіанской покорности и философической бодрости. Вообще въ характерѣ его была смѣсь рѣзкихъ противоположностей. Но онѣ такъ мягко и стройно сливались оттѣнками своими, что пестрота частей не разрушала гармоніи цѣлаго. Онъ былъ простосердеченъ, довѣрчивъ до легковѣрности, но вмѣстѣ съ тѣмъ зналъ людей и свѣтъ, судилъ ихъ строго, остроумно и часто приговоры его были колкія эпиграммы. Сердцемъ былъ онъ ребенокъ, часто малодушный; умомъ—мужъ испытанной людьми и судьбою. Въ самомъ интеллектуальномъ образованіи его перемѣшивались странныя сцѣпленія. Поэтъ чувствомъ и воображеніемъ, дипломатъ по склонности и обычаю, жадный собиратель кабинетныхъ тайнъ до сплетней включительно, былъ онъ вмѣстѣ съ тѣмъ страстенъ и къ наукамъ естественнымъ, точнымъ и особенно математическимъ, которыя составляли значи-

тельнѣйшій капиталъ его познаній и были до конца любимымъ предметомъ его ученыхъ занятій и глубокихъ изслѣдованій, особенно въ болѣзненныя и безсонныя ночи. Въ немъ было что-то Даламберта, Гумбольта и принца де-Линья, но изъ всѣхъ этихъ личностей пробивалась рѣзко и ярко собственная и самобытная природа его. Въ Петербургѣ познакомился онъ съ Пушкинымъ и тотчасъ полюбилъ его. Тогда возникалъ *Современникъ*. Съ участіемъ живымъ, точно рѣдкимъ въ дѣлѣ совершенно посторонняемъ, мысленно и сердечно заботился онъ объ успѣхѣ сего предпріятія. Въ то время получилъ я изъ Парижа *Annuaire du bureau des longitudes*, издаваемый подъ особеннымъ надзоромъ ученаго Араго. Я предложилъ князю Козловскому написать на эту книгу рецензію для *Современника*. Охотно и горячо ухватившись за мое предложеніе, продиктовалъ онъ нѣсколько страницъ, которыя, безъ сомнѣнія, памятны читателямъ *Современника*. Это была первая попытка его на Русскомъ языкѣ, и попытка самая блистательная. Должно замѣтить при томъ, что онъ до того провелъ постоянныхъ лѣтъ 20 и болѣе за границей и могъ бы легко отвыкнуть отъ Русскаго языка, которому, впрочемъ, никогда не учился основательно. Но выраженіе было такою обычною и послушною способностью ума его, что съ первыхъ пріемовъ примѣнился онъ, приметался къ новому орудію, какъ искусный боецъ ловко и мѣтко дѣйствуетъ тѣмъ орудіемъ, которое въ первый разъ въ рукахъ его. Новый писатель съ перваго раза умѣлъ найти и присвоить себѣ слогъ, что часто не дается и писателямъ, долго упражняющимся въ письменномъ дѣлѣ. Ясность, краткость, живость были отличительными чертами сего слога. Нѣтъ сомнѣнія, что Пушкину со временемъ удалось бы завербовать князя Козловскаго въ постоянные писатели и сотрудники себѣ. — Жаль, что это не сбылось, онъ одарилъ бы насъ писателемъ именно въ томъ родѣ, въ которомъ у насъ недостатокъ: писателемъ мыслящимъ, практическимъ, переносящимъ въ литтературу впечатлѣнія, опытность, такъ сказать нравы и живое выраженіе общежитія, писателемъ сочувствующимъ и соотвѣтствующимъ обществу. Въ нашей литтературѣ почти вовсе нѣтъ того, что у Французовъ въ изящне-

ствѣ. Ихъ литература не только животрепещущая, но и грозноволнуемая; она стихія, бурями и напастью подвизаемая; наша — такое пристанище жизни созерцательной, гдѣ прежія, битвы, страсти, голоса житейскіе или не отзываются, или замираютъ въ глухихъ отголоскахъ. Воспоминанія, записки, наблюденія, сужденія такого автора были бы драгоцѣнны, какъ въ отношеніи къ исторіи современной, такъ и въ отношеніи къ собственной исповѣди, къ личному выраженію человѣка, который если и не былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ актеровъ своей эпохи, то рѣшительно однимъ изъ внимательнѣйшихъ и остроумнѣйшихъ зрителей ея. Самая личность его тѣмъ болѣе сохранилась бы въ самомъ авторствѣ, что онъ писать не любилъ, а всегда диктовалъ. „Pour moi c'est une affaire faite, писалъ онъ мнѣ однажды, je ne sais pas écrire, je ne sais que parler. Le matériel des lettres de l'alphabet m'embrouille les idées. Въ томъ же письмѣ увѣдомляетъ онъ меня о статьѣ, которую составилъ, такъ сказать, по завѣщанію Пушкина: *Теорія паровъ*, напечатанная въ *Современникѣ*. Слова его доказываютъ, съ какою добросовѣстностью и охотою заботился онъ о своемъ трудѣ: „Ma théorie de la vapeur est toute faite, elle se copie et aussitôt que cet ennuyeux travail sera fait, le *Современникъ* l'aura avec un soupir. Elle m'a couté beaucoup de travail, une lecture de plusieurs volumes de physique, de chimie et de mécanique. C'est vraiment un coup de maître que d'avoir réduit l'essence de tant de choses dans 3 ou 4 feuilles d'impression. Quiconque l'aura lue saura tout ce qu'on sait la dessus en Angletterre et en France, et le comment et le pourquoi. Je vous engage, cher prince, d'être vous même le prote de mon article, et de songer que dans un ouvrage ou il y a un tel enchaînement d'idées, la moindre faute d'impression peut rendre toute la machine incompréhensible. Je vous dis au reste d'avance que c'est une bonne pièce et qu'elle a été écrite *con amore*".

Въ литературныхъ бесѣдахъ своихъ съ Пушкинымъ настоятельно требовалъ онъ отъ него перевода любимой своей сатиры Ювенала: *Желанія*. И Пушкинъ передъ концемъ своимъ готовился къ этому труду; помню даже, что при этомъ случаѣ Пушкинъ перечитывалъ образцы нашей дидактической поэзіи и

между прочимъ переводъ Ювеналовой сатиры Дмитріева и любовался симъ переводомъ какъ нечаянною находкою. Это было родъ примиренія и литературнаго покаянія. Пушкинъ бывалъ прежде нѣсколько несправедливъ во мнѣніи своемъ о достоинствѣ и заслугахъ поэзіи Дмитріева, будто уже устарѣвшей. Онъ, разумѣется, не принадлежалъ къ разряду литераторовъ и критиковъ нашихъ, которые, бѣгая въ запуски съ духомъ времени, никогда не оглядываются обратно и не берутъ съ собою ничего въ запасъ изъ прошедшаго, чтобы легче быть на ходу: по мнѣнію ихъ литература должна обновляться каждые пять лѣтъ. На умъ и дарованіе есть у нихъ года, какъ на вина у охотниковъ и знатоковъ. Шампанское такого-то года ужъ устарѣло и не годится: съ авторами тоже. Но не менѣе того Пушкинъ силою обстоятельствъ и обольщеніемъ извинительнаго самолюбія принадлежалъ нѣкогда сему протестующему поколѣнію, тѣмъ болѣе, что долго протестовало оно именемъ его и его славою хотѣло уничтожить всѣ прежнія заслуги. Съ лѣтами однакоже нѣсколько измѣнились, то-есть созрѣли понятія его, умирились предубѣжденія и еще болѣе успѣлся свѣтлый и вѣрный умъ его. Въ послѣдствіи времени онъ самъ словомъ и дѣломъ протестовалъ противъ своихъ слѣпыхъ и неблагоразумныхъ поклонниковъ.

Послѣ смерти Пушкина настойчивый князь Козловскій передалъ Жуковскому исполненіе любимой задачи своей, обѣщаясь написать комментаріи и примѣчанія къ сему творенію. Мы выставили это маловажное обстоятельство потому, что оно показываетъ, какъ онъ заботился о Русской литературѣ и каковы были его литературныя понятія. *Нынѣшнимъ* людямъ, то-есть людямъ не *вчерашнимъ* и во всякомъ случаѣ уже не *завтрашнимъ*, покажется невѣроятнымъ, какъ могъ умный человѣкъ такъ дорожить опоздавшимъ выраженіемъ классической старины; но дѣло въ томъ, что въ хорошо образованной головѣ истинно умнаго человѣка есть мѣсто всему: и теплой и признательной любви къ прошедшему, и требованіямъ отъ настоящаго и упованіямъ на будущее.

LXII.

О НОВОМЪ ФРАНЦУЗСКОМЪ ПОЭТѢ.

1842.

Въ Парижѣ напечатаны на-дняхъ стихотворенія Ахилла дю-Клезьё (Achille du Clésieux) съ замѣчательнымъ предисловіемъ знаменитаго Балланша. Предлагаемъ читателямъ *Современника* нѣсколько выписокъ изъ него.

„Г. дю-Клезьё одинъ изъ современныхъ поэтовъ, на котораго глаза мои обращены съ нѣкоторымъ особеннымъ вниманіемъ и участіемъ. Легко объяснить причины тому. Голосъ его сливается съ пѣніемъ, которое исходитъ изъ Ѳиваиды, совершенно чуждой шуму и голосамъ свѣта нашего. Въ виду сего общества, столь всемогущаго надъ вещественностію, надъ временемъ феноменальнымъ, которое оно сокращаетъ, надъ пространствомъ, которое уничтожается предъ его властію; въ виду сего общества, столь страстнаго, когда дѣло идетъ о земныхъ выгодахъ фортуны, уютности и довольствѣ общежитія, о личномъ уваженіи, возникаетъ другое общество, мыслящее и умозрительное: оно требуетъ выгодъ, болѣе возвышенныхъ, власти, болѣе самобытной надъ своими склонностями и направленіями, сберегаетъ часы досуга своего на созерцаніе судебъ человѣческихъ, на тайныя и душевныя соотношенія съ Создателемъ. Сіе общество вѣритъ, что наше пребываніе на землѣ не что иное, какъ подобіе весьма несовершенное пребыванія, ожидаемаго нами и намъ обѣтованнаго въ другомъ отечествѣ, которое есть на-

стоящая наша родина; сему обществу, наконецъ, и самыя возвышенныя и законныя чувства любви его и самыя благороднѣйшія стремленія его казались бы весьма недостаточными и скоротечными безъ проявленія въ нихъ понятія и чувства о Богѣ.

„Сіе общество, гонимое во времена первобытной Церкви и во времена уныніи и утомленія доблести (de la défaillance de la vertu), господствующее надъ всѣми понятіями среднихъ вѣковъ, торжествующее и побѣдоносное въ великія эпохи исторіи религіозной, сіе общество, по видимому, малолюдное, но всегда сильное по самому свойству своихъ желаній, своихъ упованій и убѣжденій, сіе общество, которое умѣетъ проявлять неотвергаемыя назиданія для направленія и самыхъ человѣческихъ дѣйствій и событій, и свѣтозарные лучи для освѣщенія глубокихъ тайниковъ вѣры, нынѣ, общество сіе только въ изліяніяхъ поэзіи одинокой можетъ выражать тоску и сѣтованія изгнанія.

„И сія поэзія, которая отъ времени до времени вполнѣ отдается въ избранныхъ душахъ, забрасываетъ и въ другія души нѣсколько звуковъ, которые ихъ поражаютъ изумленіемъ.

„Между-тѣмъ она дѣйствуетъ невѣдомо отъ нихъ самихъ на умы гордые и упоенные, дабы ихъ нѣсколько покорить: они упорствуютъ, но они поколеблены.

„Безпрестанно нѣсколько человѣкъ пробуждаются отъ своихъ ежедневныхъ и житейскихъ попеченій и говорятъ другъ-другу евангельскія слова: „*не о единомъ хлѣбѣ живъ человѣкъ*“. Они говорятъ еще: И такъ, въ нѣдрахъ человѣческихъ таятся страданія, которыя не принадлежатъ ни тѣлу, ни страстямъ раздражительнымъ или пресыщеннымъ.

„И сія одинокая поэзія Оивандъ, невѣдомыхъ міромъ, болѣе и болѣе исходитъ изъ своей пустыни. Она также любитъ и воспѣваетъ природу, но любитъ и воспѣваетъ ее какъ выраженіе благости безконечной. Скорби изгнанія и радости небесной отчизны безпрерывно повторяются въ пѣсняхъ г. дю-Клезьё, какъ смѣняющіеся припѣвы.

„Другое свойство поэзіи его знаменуется тѣмъ, что она прямо обращается къ душѣ, почти вовсе минуя воображеніе: она отличается тѣмъ отъ музыки, хотя, впрочемъ, облечена ея сладко-

звучіемъ мечтательнымъ и идеальнымъ. Сверхъ того, она сострадательна и милостива какъ любовь.

„Я имѣлъ намѣреніе истолковать смыслъ трехъ частей, изъ коихъ составлена сія книга; но онѣ совершенно выражены особымъ заглавіемъ, придаппымъ каждой части, и эпиграфомъ, выставленнымъ передъ каждою частью; эпиграфы въ нѣкоторомъ отношеніи печать, которая наложена на самую книгу, и самая книга, такъ сказать, сжатое и нераздѣльное выраженіе сихъ эпиграфовъ. Они извлечены изъ книги: *О подражаніи Іисусу Христу*, которая объемлетъ всю христіанскую жизнь въ высшемъ ей значеніи.

„Считаю однако же необходимымъ предостеречь, что не должно строго взыскивать за изліяніе нѣкоторыхъ звуковъ, подобныхъ тѣмъ, которые вырвались изъ груди Іова. Скорбь не можетъ совершенно подавить голосъ свой посреди ликованій упованія, посреди убѣжденій, посланныхъ и при жизни сей малому числу душъ, предызбранныхъ и одаренныхъ особою благодатью. Не должно также строго взыскивать за излишнее изобиліе и плодовитость нѣкоторыхъ стихотвореній. Тутъ является родъ борьбы Іакова съ Ангеломъ; но Ангелъ былъ слишкомъ опасный и грозный боецъ — и Іаковъ остался уязвленнымъ".

Чтобы познакомить нашихъ читателей съ самымъ талантомъ поэта, который нашелъ въ Балланшѣ столь краснорѣчиваго и убѣдительнаго ходатая, сообщаемъ имъ выписки изъ одного его стихотворенія, надписаннаго къ В. Гюго, въ отвѣтъ или въ опроверженія на нѣкоторыя нерелигіозныя выраженія, вкравшіяся въ поэму его на перенесеніе смертныхъ остатковъ Наполеона. Читатели, хотя нѣсколько знакомые съ новѣйшею школою Французской литтературы, не разъ замѣчали безъ сомнѣнія, съ какимъ неприличнымъ и святотатственнымъ легкомысліемъ она, кстати и не кстати, къ-рѣчи и нѣтъ, заимствуетъ часто уподобленія свои изъ предметовъ и понятій, доступныхъ одному нѣмому благоговѣнію и молитвамъ, и огражденныхъ святынею отъ общаго и житейскаго употребленія. Приводимое здѣсь стихотвореніе одушевлено негодованіемъ противъ сего своеволія мысли и поэзіи.

Le Christ déraciné tremble sur le Calvaire[a].
Cette parole impie a besoin d'un pardon;
Non, ce mot n'ira pas, furtif et funéraire,
Dans ta tombe, o Napoleon!

Peut-être, en dédaignant ce deuil qui t'environne,
O grande ombre éblouie à bien d'autres splendeurs!
Tu n'as bien retenu, de ces chants qu'on te donne,
Que ces seuls mots profanateurs?

Peut-être quand l'orgueil évoque tant de gloire,
Tandis qu'avec le Christ tu comptes seul à seul —
Les voyant oublier ta plus belle victoire,
Tu tressailles dans ton linceul?

Il ne se souvient pas, le barde du génie,
Des dernières lueurs qui dorèrent ton front;
De ta main qui pressait la croix dans l'agonie —
Il n'eut pas vomi cet affront.

Oh! pourquoi, tout à coup, par la vertu divine,
Ne te dresses tu pas debout dans ton cercueil,
Les bras croisés encore sur ta vaste poitrine
Et dardant l'éclair de ton oeil?

Silence! Il se ferait un effrayant silence...
Les innombrables voix se glaceraient soudain...
Mais Dieu n'a pas voulu de cette scène immense,
Il t'a couché froid sous sa main.

Cadavre aussi néant que la poussière immonde...
Mais qu'il doit réveiller au jour de ses décrets;
Soleil éteint déjà par delà notre monde,
Qui projette encore des reflets.

Et l'Océan nous rend la tombe impériale...
Le siècle la reçoit pour prier et bénir...
Et c'est alors, poète à la lyre fatale,
Que tu doutes de l'avenir!

C'est alors qu'à tes yeux la croix divine tremble;
Mais lève donc le front... Regarde, que vois tu?
Un temple étincelant où Napoleon semble
Etre attaché comme un vaincu.

Un pontife à l'autel, de l'encens qui s'allume,
Des hymnes éperdus, de joie et de douleur;
Un peuple haletant comme un coursier qui fume
Et s'abat au char du vainqueur.

Le vainqueur!... Ce n'est pas l'illustre capitaine:
Tu nous montres le ver prêt à le devorer;
L'éternité l'étreint de sa main souveraine;
C'est pour lui qu'il faut implorer.

C'est pour lui que la gloire incline avec la France
Ces armes, ces drapeaux tachés de tant de sang;
C'est pour lui que les coeurs, inondés d'espérance,
Disent au Christ: „Toi seul es grand!"

LXIII.

Н. М. КАРАМЗИНЪ.

(Письмо къ редактору С.-Петербургскихъ Вѣдомостей).

1846—1847.

I.

Прочитавъ вчера въ 111-мъ № *Вѣдомостей С.-Петербургской Полиціи* статью о Н. М. Карамзинѣ, считаю обязанностью сообщить вамъ нѣкоторыя на нее замѣчанія, покорнѣйше прося дать имъ мѣсто въ издаваемой вами газетѣ. Упоминая о лицахъ, которыя были близки къ нему и находились при кончинѣ его, написавшій эту статью забылъ упомянуть о тѣхъ, которыя ближе всѣхъ были къ сердцу его: о семействѣ, о женѣ, на рукахъ коей онъ умеръ, о дѣтяхъ, изъ коихъ двѣ дочери, уже тогда взрослыя, раздѣляли вмѣстѣ съ матерью нѣжныя и безпрерывныя о немъ попеченія Памятникъ, возвышающійся надъ прахомъ его, поставленъ его вдовою. Она обсадила кустами приготовленное ею для себя мѣсто подлѣ супруга, чтобы и послѣ смерти своей не разлучаться съ тѣмъ, съ коимъ провела она въ мирѣ и любви болѣе двадцати лѣтъ жизни своей и коего память, преданно и свято хранимая, почила Божьимъ благословеніемъ на семействѣ, такъ нѣжно и заботливо имъ любимое.

В. А. Жуковскаго не было при кончинѣ его: онъ въ то время былъ за границею, по причинѣ разстроеннаго здоровья. Меня также тогда не было въ Петербургѣ, куда пріѣхалъ я

изъ Москвы только на другой день кончины его, о коей узналъ дорогою, въ Царскомъ Селѣ, отъ А. А. Бестужевой. Въ числѣ близкихъ пріятелей Н. М. Карамзина, бывшихъ при немъ въ послѣдніе дни жизни его, должно, вмѣстѣ съ А. И. Тургеневымъ, именовать: графа Блудова и Д. П. Сѣверина, нынѣ находящагося посланникомъ при Баварскомъ дворѣ. Н. М. Карамзинъ умеръ на 60-мъ году жизни своей, а не на 59-мъ, какъ сказано въ статьѣ, по невѣрному исчисленію лѣтъ, ибо онъ родился 1 декабря 1766, а скончался 22 мая 1826 года. Для полноты свѣдѣній о кончинѣ незабвеннаго нашего исторіографа, не излишнимъ будетъ упомянуть, что онъ умеръ въ Таврическомъ дворцѣ, гдѣ, по приказанію Государя Императора, были отведены ему комнаты, дабы онъ, во время болѣзни своей, могъ пользоваться чистымъ воздухомъ и тишиною уединеннаго мѣста.

II.

(Письмо къ редактору Московскаго Городскаго Листка).

Біографическая часть, которая придастъ литературѣ такъ много красокъ, движенія и личности, была долго у насъ въ совершенномъ забвеніи. Можно было думать, что книги наши писаны какими-то жителями луны, о коихъ ни малѣйшихъ свѣдѣній не имѣемъ. Нынѣ біографическая любознательность пробудилась. Мы не довольствуемся знать печатнаго автора, но хотимъ узнать рукописнаго, неизданнаго человѣка. Вопрошаемъ не одни гласныя свидѣтельства, оставленныя намъ литтературною дѣятельностію его, но подслушиваемъ и келейный голосъ его, съ позволительною нескромностію шаримъ въ письменномъ столѣ его, перебираемъ частную переписку, прокрадываемся въ домашній бытъ его. И прекрасно! Конечно, главное въ жизни хорошаго писателя, это письменныя творенія его, но для полнаго изученія его самого, для извлеченія изъ нихъ всей возможной пользы, нужно иногда провѣрить его съ ними. Да къ тому же, кромѣ ожидаемой пользы, можно принять здѣсь въ соображеніе и ожидаемое удовольствіе. Любопытство, даже нѣко-

тораго рода нескромность, впрочемъ въ границахъ благонамѣренности и приличія, служатъ намъ побужденіемъ къ пріобрѣтенію истинныхъ наслажденій: что ни говори, а мы всѣ правнуки Еввы. Мы всѣ причастны грѣху любопытства. Кто изъ насъ по врожденной слабости не любитъ, но не всѣ признаются, что любятъ, подслушивать сплетни городскія, благопріобрѣтать чужія тайны?

Сплетни, это всеобщая исторія человѣка и человѣчества въ маломъ видѣ. Чѣмъ человѣкъ извѣстнѣе и замѣчательнѣе, тѣмъ болѣе дорожимъ и маловажными указаніями и дополнительными о немъ подробностями. Но здѣсь должны мы руководствоваться нѣкоторыми правилами общежитія, осторожности и добросовѣстности. Бываютъ нескромности позволительныя, по есть и такія, которыя предосудительны. Есть сплетни невинныя и даже благонамѣренныя, есть сплетни и вредныя. Есть пересказы, но есть и паговоры. Не всякому слуху вѣрь, твердитъ народная поговорка. Тѣмъ болѣе не всякій слухъ передавай, а особенно не всякій слухъ печатай. Тамъ, гдѣ тысячеручная и тысячегласная печать вертится въ вѣчномъ движеніи, тамъ хватаетъ она и ловитъ на лету все, что̀ ни попадется ей для насыщенія ея алчной и безостановочной дѣятельности. Тамъ отъ злоупотребленій гласности, отъ предосудительныхъ нескромностей, отъ умышленныхъ и неумышленныхъ, вольныхъ и невольныхъ выдумокъ, отъ всякой неправды и кривды не убережешься.

Въ подобныхъ случаяхъ мы не имѣемъ подобнаго оправданія. Мы можемъ и должны быть осмотрительнѣе и строже и принимать только то, что̀ носитъ на себѣ печать достовѣрности. Гласность не погоняетъ насъ, не кричитъ вамъ безпрестанно, какъ на Западѣ: иди! иди! давай! давай! Особенно обязаны мы держаться осторожности, когда рѣчь идетъ о людяхъ знаменитыхъ и тѣмъ болѣе о людяхъ, всею жизнію оправдавшихъ свою знаменитость. Всѣ эти мысли родились во мнѣ при чтеніи статьи, помѣщенной въ 24 № *Московскаго городскаго листка*, о пребываніи Карамзина въ Москвѣ. Авторъ ея передалъ намъ нѣсколько вѣрныхъ замѣтокъ о добродушіи и врожденной сердечной ласковости Карамзина. И въ этомъ отношеніи замѣтки

эти имѣютъ цѣну. Но всѣ прочія подробности о домашней жизни его или ничтожны, или вовсе ошибочны; другія при ошибочности своей даже и неприличны. Читая ихъ, можно даже заключить, что онѣ переданы были автору кѣмъ-нибудь на обумъ и лицомъ, которое не имѣло никакихъ личныхъ сношеній съ Карамзинымъ. Иначе, какъ объяснить, что человѣкъ, который дѣлаетъ вамъ подробную опись дома Карамзина, знаетъ, гдѣ и за чѣмъ, въ 1814 — 1815 гг., вбитъ былъ такой-то гвоздь въ стѣну кабинета его, не знаетъ между тѣмъ, что онъ въ тоже самое время былъ не вдовъ, а вторымъ бракомъ женатъ съ 1804 года и имѣлъ уже нѣсколько дѣтей отъ второй жены. Какъ не знать того о Карамзинѣ, который велъ всегда семейную жизнь и всегда окруженъ былъ семействомъ своимъ? Непонятно, какъ человѣкъ, который имѣетъ до высшей степени способность мѣстной наблюдательности, который помнитъ счетомъ всю прислугу Карамзина, не знаетъ, что въ то время были у него камердинерами (здравствующіе и нынѣ) Матвѣй и Лука, и что никогда никакая Наталья, ни Наташа не была и никогда не могла быть у него въ подобной должности.

Всѣ тѣ ошибки тѣмъ страннѣе и прискорбнѣе, что онѣ передаются за достовѣрныя свѣдѣнія въ Москвѣ, гдѣ воспоминаніе о пребываніи Карамзина такъ еще должно быть свѣжо въ памяти многихъ и гдѣ такъ много еще найдется людей, бывшихъ съ нимъ въ пріятельскихъ и короткихъ сношеніяхъ. Авторъ упоминаемой статьи говоритъ, что онъ за эти свѣдѣнія обязанъ одному *изъ просвѣщенныхъ почитателей Карамзина*. О просвѣщеніи его судить не могу, но во всякомъ случаѣ могу сказать утвердительно, что этотъ почитатель вовсе не свѣдущъ въ томъ, что относится лично до Карамзина. Тутъ же сказано, что эти свѣдѣнія должны послужить автору въ дополненіе къ собираемымъ имъ матеріаламъ для полнаго жизнеописанія исторіографа. Осмѣливаемся совѣтовать будущему біографу и убѣдительнѣйше просимъ его быть впредь менѣе легковѣрнымъ и болѣе осмотрительнымъ и строгимъ въ выборѣ матеріаловъ и тѣхъ источниковъ, къ которымъ онъ будетъ прибѣгать.

LXIV.

ЯЗЫКОВЪ И ГОГОЛЬ.

1847.

I.

Кто только не совершенно чуждъ событіямъ Русскаго литературнаго міра, тотъ могъ встрѣтить здѣсь наступившій годъ съ двумя впечатлѣніями разнородными, но равно рѣзко означившимися. Одно изъ нихъ порождало въ насъ печальное и безнадежное сочувствіе, подъ которымъ потрясается и изнемогаетъ душа при утратѣ, на которую смерть положила свою печать несокрушимую. Другое отзывалось въ насъ звучнымъ выраженіемъ жизни и открывало предъ нами въ области мышленія свѣтлые просѣки, пробуждало въ насъ новыя понятія, новыя ожиданія. Въ первый день 1847 года пронеслась въ Петербургѣ скорбная вѣсть о кончинѣ поэта Языкова, и появилась новая книга Гоголя. По крайней мѣрѣ я въ этотъ день узналъ, что не стало Языкова, и прочелъ нѣсколько страницъ изъ *Переписки съ друзьями*, гдѣ между прочимъ начертана вѣрная оцѣнка дарованію Языкова. Эти строки обратились какъ бы въ надгробное слово о немъ, въ свѣтлыя и умилительныя о немъ помышки. Это извѣстіе, это чтеніе, эти два событія слились во мнѣ въ одно нераздѣльное чувство. Здѣсь настоящее открываетъ предъ нами новое будущее; тамъ оно навсегдо замыкаетъ прошедшее, намъ милое и родное. Тамъ событіе совершившееся и высказавшее намъ свое послѣднее слово, поприще опустѣв-

шее и внезапно заглохшее непробуднымъ молчаніемъ. Здѣсь событіе возникающее, поприще, озаренное неожиданнымъ разсвѣтомъ. На немъ пробуждается новое движеніе, новая жизнь; слышатся новые глаголы, еще смутные, отрывчивые; но уже сознаемъ, что, когда настанетъ время, симъ глаголамъ суждено слиться въ стройное и выразительное согласіе созрѣвшаго и полнаго убѣжденія.

II.

Смертью Языкова Русская поэзія понесла чувствительный и незабвенный уронъ. Въ немъ угасла послѣдняя звѣзда Пушкинскаго созвѣздія, съ нимъ навсегда умолкли послѣдніе отголоски Пушкинской лиры. Пушкинъ, Дельвигъ, Баратынскій, Языковъ, не только современностью, но и поэтическимъ соотношеніемъ, какимъ-то семейнымъ общимъ выраженіемъ образуютъ у насъ нераздѣльное явленіе. Ими олицетворяется послѣдній періодъ поэзіи нашей; ими, по крайней мѣрѣ донынѣ, замыкается постепенное развитіе ея, означенное первопачальпо именами: Ломоносова, Петрова, Державина, послѣ Карамзина и Дмитріева, позднѣе Жуковскаго и Батюшкова. Въ сихъ именахъ сосредоточивается отличительное выраженіе поэзіи Русской; это ея краеугольныя, заглавныя, родопачальныя имена. Каждое изъ нихъ имѣетъ свое особенное значеніе. Нельзя сравнивать одно съ другимъ, ни по степени дарованія, ни по сочувствію и одушевленію, которымъ общество отозвалось на голосъ каждаго. Отблески славы, которые отсвѣчиваются на каждомъ изъ нихъ, имѣютъ также свою отличительную игру и яркость. Многія другія дарованія проявлялись съ успѣхомъ на поприщѣ поэзіи и запечатлѣли па немъ слѣды, драгоцѣнные для памяти народной; многія и нынѣ пробуждаютъ благодарное вниманіе наше, по крайней мѣрѣ тѣхъ изъ насъ, которые въ нашъ положительный вѣкъ вѣрятъ еще въ баснословную Музу и не охладѣли въ служеніи ея; но, повторяемъ, впѣ именъ, исчисленныхъ нами, нѣтъ именъ, олицетворяющихъ, характеризующихъ эпоху.

Крыловъ, напримѣръ, какъ ни многозначительно имя это, не

подходитъ ни подъ одно изъ выведенныхъ нами подраздѣленій. Онъ не принадлежитъ школѣ Дмитріева, хотя и началъ писать басни послѣ него; еще менѣе участвовалъ онъ въ направленіи, которое далъ Жуковскій. Крыловъ—явленіе совершенно отдѣльное. Онъ ничего не продолжалъ и ничего не зачалъ. Онъ ничей не преемникъ и никому не родоначальникъ. Онъ совершилъ свое и только, но это только образуетъ отдѣльный и цѣльный міръ поэзіи. Опредѣливъ такимъ образомъ мѣсто Языкова, мы достаточно оцѣнили значеніе, которое, по мнѣнію нашему, принадлежитъ ему, и важность утраты, понесенную нами преждевременною кончиною его. Эта потеря тѣмъ для насъ чувствительнѣе, что мы должны оплакивать въ Языковѣ не только поэта, котораго уже имѣли, но еще болѣе поэта, котораго онъ намъ обѣщалъ. Дарованіе его въ послѣднее время замѣчательно созрѣло, прояснилось, уравновѣсилось и возмужало. Первые и довольно долго, можетъ быть слишкомъ долго, продолжавшіеся опыты студенческой музы его выказывали только самобытность поэтической природы, которая выражалась необыкновенно бойкимъ и звучнымъ стихомъ. Видѣнъ былъ смѣлый художникъ, мастеръ въ рѣзьбѣ стиха, обильнаго красками и звуками, но поэтъ въ полномъ значеніи, по творческая, по духовная сила развѣ изрѣдка, и то мелькомъ, проявлялась въ немъ. Опасно было застояться на мѣстѣ: нужно было движеніе впередъ. Движеніе это могло бы совершиться спокойно и постепеннымъ развитіемъ внутреннихъ силъ; но Провидѣніе судило ему воспрянуть изъ недуга и страданія, внезапно постигнувшихъ юношу. Муза его на нѣсколько лѣтъ умолкла и вышла изъ этого искуса молчальнаго перерожденная и окрѣпшая. Однообразіе, которымъ нѣкоторые, и, можетъ быть, не безъ основанія, упрекали талантъ его, имѣло, впрочемъ, естественную причину. Языковъ и по характеру своему, и по обстоятельствамъ жилъ болѣе внутреннею, нежели внѣшнею жизнью. За исключеніемъ нѣкоторыхъ пріятелей, онъ мало водился съ людьми, былъ не разговорчивъ и не общежителенъ. Слова: свѣтскость, общественность—не имѣли для него полнаго и живаго значенія. Долго жилъ онъ въ Дерптѣ веселымъ отшельникомъ, то-есть сту-

дентомъ, кажется, даже и вышедши изъ студентовъ. Изъ Дерпта переѣхалъ онъ въ Симбирскую деревню и только изрѣдка — и то на короткое время — являлся въ Москву. Въ подобной жизни мало разнообразія во впечатлѣніяхъ, мало побужденій и вызововъ на дѣятельность. Понятія, ощущенія переработываются, измѣняются въ частомъ и тѣсномъ столкновеніи съ людьми и событіями. Геній можетъ созрѣвать и расти въ созерцаніи одиночества; способностямъ, дарованію нужны движеніе и зрѣлище болѣе разнообразное. Конечно, врожденная лѣнь была одна изъ преобладательныхъ стихій духовнаго образованія поэта нашего, но надобно признаться, что и судьба его была лѣнива. Поэтическое дарованіе его, особенно въ первую половину, не являетъ признаковъ этой роскошной и разнообразной произрастительности, которою отличается почва болѣе согрѣтая, болѣе благорастворенная вліяніемъ живительной силы, ее окружающей. Но за то все, что взростила муза его въ тѣсной лощинѣ своей, имѣетъ необыкновенную силу, свѣжесть и сочность. Не въ дарованіи его мало было гибкости и разносторонности, а въ умѣ его и въ привычкахъ жизни. Разнообразныя явленія дѣйствительности не могли отражаться въ его вымыслахъ потому, что поэтическое зеркало его обращено было ясною и воспріимчивою стороною своею къ внутреннему и личному міру поэта, а тусклою и непроницаемою ко внѣшнимъ впечатлѣніямъ. Ему лѣнь было переворачивать это зеркало. По этому стихъ его мало вызывалъ любопытство, мало касался современности, не возбуждалъ и не ласкалъ современныхъ вѣрованій и легкораздражительныхъ сочувствій. Стихъ его не кидался въ боевую жизнь, не кипѣлъ общими страстями, не отвѣчалъ на всѣ упованія и сѣтованія современнаго человѣка, какъ стихъ Байрона или Пушкина. Поэзія его не имѣла драматическихъ свойствъ вѣчно измѣняющейся жизни человѣка и общества съ ея противорѣчіями, междоусобными, враждующими силами, битвами и печалями. Поэзія его была лично и внутренно лирическая. Въ ней отзывались первобытные и вѣковѣчные глаголы природы, всегда единой и неизмѣнной, но всегда новой и глубоко вамъ сочувственной въ проявленіяхъ

своей однообразной и неистощимой расточительности; за то и стихъ его часто западалъ глубоко въ душу своимъ многозначительнымъ и огненнымъ выраженіемъ. Чувства его не прорывались на поверхность, а сосредоточились въ глубину. Поэзія его подземный, темный родникъ, изъ коего онъ въ минуту волненія и жажды почерпалъ сильно-біющую и свѣжую струю. Дальные горизонты, широкое теченіе рѣки, орошающей красивые и живописные берега, не были даны ему въ удѣлъ. И въ жизни своей, и въ талантѣ онъ почти заперся въ заколдованномъ кругѣ, который поэтически обвелъ около себя. Такъ прошли многіе годы въ пѣснѣ мирныхъ и созерцательныхъ досуговъ. Но нельзя же цѣлой жизни выразиться въ одномъ свѣтломъ и безмятежномъ сновидѣніи. Рано или поздно дѣйствительность отмѣтитъ его своимъ жесткимъ словомъ. Языковъ, не вмѣшавшійся въ толпу и сѣчу, не могъ опасаться нападеній отъ людей и событій. Но, за неимѣніемъ внѣшнихъ противодѣйствій, Провидѣніе наслало на него внутренняго и неотвратимаго врага. Многосложная, несступчивая, изнурительная болѣзнь вдругъ вызываетъ жизнь его на подвигъ долготерпѣнія и страданія. Прости поэзія и тихія радости лѣни и самозабвенія! Черствая и язвительная проза не даетъ поэту забыться, напоминая ему, что и онъ сынъ земли, то-есть труженикъ. Всѣ средства исцѣленія истощаются безуспѣшно. Наконецъ, врачи прибѣгаютъ къ обыкновенному крайнему средству, когда, не съумѣвъ избавить больнаго отъ болѣзни, они избавляются, по крайней мѣрѣ, отъ больнаго. Языкова отправляютъ за-границу. И бѣдный нашъ поэтъ покидаетъ домашній кровъ и вступаетъ въ обширный Божій міръ не Чайльдъ-Гарольдомъ, съ лирою въ рукахъ, за ловлею новыхъ впечатлѣній, не съ тѣмъ, чтобы благорастворить душу свою свѣжими и плодоносными вдохновеніями; нѣтъ, его просто отправляютъ за-границу, какъ въ общественную лечебницу, за неимѣніемъ средствъ вылечить дома. Въ 1838 году встрѣтился я съ Языковымъ въ Ганау. Я зналъ его въ Москвѣ полнымъ, румянымъ, что называется—кровь съ молокомъ. Тутъ ужаснулся я перемѣнѣ, которую нашелъ. Передо мною былъ старикъ согбенный, изсохшій; съ трудомъ передвигалъ онъ

ноги, съ трудомъ переводилъ дыханіе. Тѣло изнемогало подъ бременемъ страданій, но духомъ былъ онъ покоренъ и бодръ, хотя и скучалъ. Чистая, кровная славянская порода его не могла ужиться въ Нѣметчинѣ. Мало прислушиваясь къ движенію Нѣмецкой и Западной умственной дѣятельности, онъ въ Германіи окруженъ былъ Русскими книгами, жилъ Русскою жизнью, которую носилъ въ груди своей, въ чувствахъ, привычкахъ и помышленіяхъ. Поздпѣе, когда отлегло ему и въ промежуткахъ страданій пытался онъ извлекать звуки изъ лиры своей, долго молчавшей въ виду новой, гостепріимной природы, радушно привѣтствовавшей оживающаго страдальца, онъ все тосковалъ по матушкѣ-Волгѣ и бесѣдовалъ о ней съ зелеными волнами Рейна и съ голубыми разливами Средиземнаго моря. Тоска по отчизнѣ пробудила вдохновеніе его; съ нею сквозь слезы улыбнулась ему его задушевная муза. Россія, любовь къ родинѣ, Русское чувство сильно и почти исключительно отразились съ того времени въ его послѣдовавшихъ пѣснопѣніяхъ. Здѣсь опять преобладательное вдохновеніе, направленіе односторонпее. Здѣсь также недостатокъ вымысла, мало воображенія: творческая игра и прихоть поэта сжаты въ означенныхъ предѣлахъ, но за то здѣсь же сила, вѣрность, глубокій отголосокъ въ выраженіи страсти, которая не развлекается, не дробится радужными отблесками, но сосредоточивается въ одинъ чистый и сіяющій пламенникъ. Въ нѣкоторомъ отношеніи Языковъ сближается съ Державинымъ. Въ томъ и въ другомъ: мысли, чувства, звуки, краски преимущественно, если не исключительно, Русскіе; налетные отголоски, чужеземные образы не отражаются, не отзываются въ ихъ родовой поэзіи. Не столько предубѣжденія, ненависть къ чужбинѣ оградили ихъ отъ соприкосновенія съ инозсмными началами, сколько равнодушіе ко всему, что не Русское, самобытное, врожденное чувство и сознаніе собственной силы. Не знаю, вѣрно ли передамъ мою мысль, но я назвалъ бы ихъ жителями не общаго всѣмъ поэтамъ поэтическаго материка, а поэтами какого-то неприступнаго острова, отдѣленнаго отъ остальнаго міра океаномъ собственной, имъ однимъ принадлежащей поэзіи. Большая часть поэтовъ, какъ и племенъ твердой

земли, болѣе или менѣе сбиваются другъ на друга. Они соединены общественными и международными сношеніями и условіями, породнились взаимными, порубежными переселеніями. Но другіе — самобытные островитяне, поэтическіе самородки. Въ нихъ, въ ихъ поэзіи, нѣтъ ни капли иноплеменной крови. Спѣшу прибавить, что не говорю того ни въ похвалу имъ и не въ осужденіе, а просто такимъ очеркомъ опредѣляю ихъ характеристику. Въ наше время такъ много толкуютъ о народности въ литературѣ, такъ во зло употребляютъ это выраженіе, что я остерегаюсь его какъ слова, которое имѣетъ произвольное и сбивчивое значеніе. Во всякомъ случаѣ есть много неопредѣленности въ изложеніи настоящаго вопроса, въ требованіяхъ на разрѣшеніе онаго. Оно, по моему мнѣнію, темно и безсознательно вездѣ, а особенно у насъ. Прежде нежели ввести это требованіе, это правило въ литературное уложеніе, нужно бы ясно и положительно опредѣлить: что́ признается народностью въ литературѣ? Изъ какихъ стихій должна она образоваться? На какихъ эпохахъ нашей народной жизни должны утвердиться начала и основанія ея? Нельзя не спросить учителей и законодателей новой школы: куда и до какихъ граней намъ возвратиться, или, по крайней мѣрѣ, куда и какими путями намъ идти? Разрѣшенія этихъ вопросовъ не найдемъ нигдѣ. Наши нео-и староучители отвлеченнымъ языкомъ, общими мѣстоименіями намекаютъ о томъ, что должно бы выразить существительными собственными, личными словами, такъ, чтобы не было ни недоумѣнія, ни сбивчивости. У иныхъ, по странному противорѣчію, притязанія на Русскую народность облекаются въ зыбкіе призраки туманной Нѣмецкой философіи, такъ что добрый Русакъ, не посвященный въ таинство Гегелевскаго ученія, и въ толкъ не возьметъ, какъ ему надлежитъ окончательно обрусѣть. У другихъ эти притязанія высказываются въ напряженной и пошлой восторженности. У третьихъ въ неумѣстной поддѣлкѣ простонароднаго языка, въ прибауткахъ, въ поговоркахъ, которыя очень живы и мѣтки, когда онѣ срываются съ языка, но когда онѣ на досугѣ навязываются въ тишинѣ кабинета, а оттуда переходятъ въ оффиціальную область печатной гласности, онѣ притупляются и становятся приторными.

Вообще же эти притязанія болѣе всего безсознательный отголосокъ современнаго Европейскаго лозунга. За нѣсколько лѣтъ предъ симъ толковали у насъ о романтизмѣ; это также были напосные толки. Мы очень любимъ вмѣшиваться въ чужія рѣчи, чтобы показать, что и мы что-нибудь да смыслимъ по этой части и по прочимъ частямъ. Позвольте же, милостивые государи, спросить васъ: чѣмъ же были мы допынѣ, если не были Русскими, и если ими не были, то гдѣ взять персть и духъ, чтобы создать Русскаго писателя? Выдумать народность трудно. Между тѣмъ то, что̀ есть существеннаго и живаго въ нашей народности, то-есть въ духовной и нравственной личности народа, то само собою пробивалось въ общественныхъ явленіяхъ и въ поэтическахъ созданіяхъ тѣхъ самыхъ лицъ, въ которыхъ вы не признаете началъ народности. По мнѣ все, что̀ хорошо сказано по Русски, есть чисто Русское, чисто народное. Каждое теплое чувство, каждая свѣтлая мысль, облеченныя живымъ и стройнымъ Русскимъ словомъ, есть выраженіе и достояніе народности: будь это стихъ Дмитрієва, котораго отлучаютъ отъ народности, будь стихъ Крылова, въ которомъ она будто олицетворилась, будь передо мною любая страница Карамзина, будь одна изъ хорошихъ страницъ Гоголя. Неужели Жуковскій, который намъ передаетъ Гомера и еще Греческимъ гекзаметромъ, а не размѣромъ пѣсни Кирши Даниловича, долженъ по части народности уступить ему въ отношеніи къ формѣ, а, напримѣръ, Хераскову, творцу *Россіады*, въ отношеніи къ содержанію. Въ такомъ случаѣ первымъ изъ нашихъ поэтовъ былъ бы стихотворецъ Грамматинъ, который и по формѣ и по содержанію не уклонялся отъ строгой и непогрѣшительной народности, ибо, воспѣвая событія 1812 года, онъ заставлялъ Наполеона держать такую рѣчь: „ой, ты гой еси, добрый маршалъ Ней!“ и такъ далѣе. Тотъ же Жуковскій и Пушкинъ подарили насъ нѣсколькими чисто народными сказками; онѣ прекрасны. Но если бы намъ суждено было отказаться отъ части написаннаго ими, на этихъ-ли сказкахъ остановился бы выборъ нашъ, или даже вашъ, господа поборники народности въ поэзіи? Развѣ Шекспиръ не тотъ же народный поэтъ въ Англіи, не та же литтератур-

ная плоть и кровь ея въ *Отелло* и въ *Ромео*, какъ и въ другихъ драмахъ своихъ чисто народныхъ и туземно-историческихъ? Сомнѣнія по этимъ вопросамъ не могутъ быть приняты къ дѣлу. Отъ нихъ отказались бы навѣрно и ревностнѣйшіе провозглашатели новаго ученія. Но не къ такимъ-ли заключеніямъ ведетъ послѣдовательная и логическая связь примѣненій теоріи, нѣсколько произвольной и заносчивой. Что въ каждомъ народѣ есть ему свойственныя стихія народности, это неоспоримо; что должно ими пользоваться, это такъ же неоспоримо, какъ и то, что нельзя отказаться отъ нихъ, хотя бы паче чаянія кому-нибудь и хотѣлось переродиться въ иностранца. Но дѣло въ томъ, что не должно и, слава Богу, невозможно отдѣлить, отрубить чисто-научное отъ обще-человѣческаго. Первоначально мы люди, а потомъ уже земляки, то-есть областные жители. Что ни дѣлай, а въ каждомъ землякѣ отыскивается человѣкъ, какъ въ каждомъ человѣкѣ пробивается землякъ. Всѣ люди созданы по одному образцу, а между тѣмъ у каждаго изъ нихъ своя особенная физіономія, физическая и нравственная. Всѣ писатели одного народа пишутъ однимъ языкомъ, тѣ же слова служатъ имъ орудіями; а у каждаго писателя, то-есть не пошлаго и не дюжиннаго, есть свой особенный слогъ. Какъ же литературѣ, которая тоже физіономія и слогъ народа, не имѣть только у насъ своей личности, своего характера? Люблю народность какъ чувство, но не признаю ея какъ систему. Ненавижу исключительность, не только безпрекословную и повелительную, но и условную и двусмысленную. Можетъ быть, эту ненавижу еще болѣе. Христіанское ученіе, эта высшая образованность, есть предвѣчное и земное просвѣщеніе,—другая образованность временная и мимоидущая,—породнила народы между собою и все и всѣхъ соединила взаимною любовью и пользою. Мнѣ не входитъ ни въ голову, ни въ сердце, что можно положить себѣ за правило и обязанность предпочитать Русскую Волгу Нѣмецкому Рейну. Не понимаю Языкова, но сочувствую ему, умиляюсь и увлекаюсь чувствомъ его, когда вижу, что онъ остается Волжанпномъ въ виду краснваго Рейнъ-Гау, или грознаго водопада. Языковъ былъ влюбленъ въ Россію. Онъ воспѣвалъ ее,

какъ пламенный любовникъ воспѣваетъ свою красавицу, ненаглядную, несравненную. Когда онъ говоритъ о ней, слово его возгарается, становится огнедышущимъ, и потому глубоко и горячо отзывается оно въ душѣ каждаго изъ насъ. Тѣ же, которые не сочувствуютъ искреннему выраженію страсти его, изъ опасенія уронить тѣмъ свою независимость и возвышенность умозрѣнія, доказываютъ, что они уклоняются отъ народнаго потому, что превратно и ограниченно понимаютъ обще-человѣческое.

III.

Прежде нежели начнемъ подробный разборъ книги Гоголя, спѣшимъ сказать о ней наше мнѣніе вообще. Оно будетъ заимствовано изъ словъ самого автора: она была нужна. Это лучшая похвала книгѣ. Такъ нуженъ былъ переломъ. Переломъ этотъ тѣмъ полезнѣе, что противодѣйствіе истекло изъ той же силы, которая невольно, но не менѣе того всеувлекательнымъ стремленіемъ, дала пагубное направленіе. Объяснимъ свою мысль. На авторѣ лежала обязанность не двусмысленно, не сомнительно, а гласно и, такъ сказать, торжественно разорвать съ частью своего прошлаго, то есть не столько своего собственнаго прошедшаго, сколько того, которое ему придали съ одной стороны безусловные и чрезмѣрные поклонники, а съ другой— многочисленные и неудачные подражатели. Тѣ и другіе сильно опутали и оговорили отвѣтственность его. Я всегда былъ того мнѣнія, что Гоголь самъ по себѣ и самъ за себя дарованіе необыкновенное, что онъ занимаетъ свѣтлое и высокое мѣсто въ литературѣ нашей; но вмѣстѣ съ тѣмъ, что какъ родоначальникъ школы, во что хотѣли возвести его, онъ былъ не только не у мѣста, но даже вреденъ. Отдѣльный голосъ его имѣлъ прекрасное и полезное значеніе. Но на бѣду сто голосовъ подтянули ему, и все дѣло испортили. Рано или поздно Гоголь съ своимъ мѣткимъ и разсудительнымъ умомъ долженъ былъ это почувствовать и опомниться. Нѣтъ сомнѣнія, что на крутой поворотъ его, который такъ всѣхъ удивилъ и многихъ сбилъ съ

толку, подѣйствовали не столько озлобленные противники, сколько бѣшеные приверженцы его. Чему могъ научиться онъ отъ хулителей своихъ? ровно ничему. Выдавая себя за бѣлоручекъ и недотрогъ, они только тупорыло возмущались и брезгали картинами его, не довольно опрятными для ихъ цѣломудренной взыскательности. Изъ творенія Гоголя испарялись запахи, которые тревожили ихъ изнѣженные нервы. Эти господа, какъ городничиха въ *Ревизорѣ*, хотятъ, „чтобы у нихъ въ комнатѣ все было *амбре*“. Тогда зажмуря глаза и нюхая, они говорятъ: „какъ хорошо!“ Забавно было видѣть, какъ они учили Гоголя свѣтской вѣжливости и утонченнымъ пріемамъ своего избраннаго круга. Здѣсь кстати вспомнить то, что Пушкинъ давно уже сказалъ о нихъ: „что за нѣжный и разборчивый языкъ должны употребить господа сіи съ дамами! Гдѣ-бы, какъ бы послушать? — То-то и бѣда, что нашему брату негдѣ“. Разумѣется всѣ эти упреки и требованія нашихъ журнальныхъ маркизовъ и мирлифлеровъ мало озабочивали смиренную и опростонародившуюся натуру Гоголя. Стало быть ученіе ихъ пошло не въ прокъ. Но что сдѣлать не могли непріятели, то предоставлено было дѣлать друзьямъ. Пошлая брань и неосновательныя придирки могли и должны были проскользнуть мимо вниманія его. Но чрезмѣрныя, часто ложныя похвалы, приторные гимны усердныхъ поклонниковъ не могли не навесть уныніе на человѣка съ умомъ свѣтлымъ и высокимъ. Тутъ и самолюбіе не могло помочь. Самое ненасытное самолюбіе не устояло бы противъ такого пресыщенія. Въ нѣкоторыхъ журналахъ имя Гоголя сдѣлалось альфою и омегою всякаго литературнаго разсужденія. Въ духовной нищетѣ своей, многіе непризванные писатели кормились этимъ именемъ какъ единымъ насущнымъ хлѣбомъ своимъ. Я очень понимаю, что наконецъ Гоголю должны были опротивѣть и самое имя его и творенія, имъ написанныя. Для умнаго человѣка, сознающаго свое достоинство, нѣтъ ничего тошнѣе и оскорбительнѣе похвалы не въ попадъ и неуклюжей. Другой, одаренный веселостью болѣе безпечною и насмѣшливою, дружески и радушно подшутилъ бы надъ своими назойливыми хвалителями. Онъ попросилъ бы ихъ оставить его въ покоѣ и, пожа-

луй, смѣшить благоразумныхъ людей, если имъ того хочется, но по крайней-мѣрѣ не его именемъ, не его авторскою личностью. Но смѣшное, то-есть безобразное, не всегда возбуждаетъ въ Гоголѣ чистую веселость. Она не всегда выражается у него простосердечнымъ смѣхомъ. Часто въ насмѣшливости его отзывается горечь и глубокая скорбь. Посмотрите на многія карикатуры его: смѣшно и больно. Отъ смѣха тяжело на сердцѣ. Онъ въ нѣкоторомъ отношеніи Гольбейнъ и, напримѣръ, *Мертвыя Души* его сбиваются на пляску мертвецовъ. Это почти трагическія карикатуры. Таковое замѣчательное и странное свойство его отозвалось и въ этомъ случаѣ. Идолопоклонство, котораго онъ сдѣлался цѣлью, показалось ему такъ смѣшно, что ему стало до нестерпимости грустно. Смѣшное смѣшнымъ само по себѣ, но въ этихъ похвалахъ было и такое, которое немипуемо должно было растревожить и напугать его здравый умъ и добросовѣстность; его хотѣли поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить въ немъ какое-то черное литературное знамя. Такимъ образомъ съ больныхъ головъ на здоровую складывали всѣ несообразности, всѣ нелѣпости, провозглашаемыя нѣкоторыми журналами. На его душу и отвѣтственность обращали всѣ грѣхи, коими ознаменовались послѣдніе годы нашего литературнаго паденія. Какъ тутъ было не одуматься, не оглядѣться? Какъ писателю честному не осыпать головы своей пепломъ и не отказаться съ досадою отъ торжества, устроеннаго непризванными и непризнанными руками? Всѣ эти ликторы и глашатаи, которые шли около него и за нимъ съ своими хвалебными восклицаніями и праздничными факелами, именно и озарили въ глазахъ его опасность и ложность избраннаго имъ пути. Съ благородною рѣшимостью и откровенностью онъ тутъ же круто своротилъ съ торжественнаго пути своего и спиною обратился къ своимъ поклонникамъ. Теперь, оторопѣвъ, они не знаютъ за что и приняться. Конечно, положеніе ихъ непріятно и забавно. Но что же дѣлать? Сами накликали и накричали они бѣду на себя. Но впрочемъ, въ утѣшеніе свое, если вырвался изъ рукъ ихъ живой, могутъ они удержать за собою мертвыхъ. Пушкинъ, Лермонтовъ, Гри-

бѣдовъ, и этотъ бѣдный, неповинный Кольцовъ, который Богъ знаетъ какъ сюда попалъ, не могутъ уже вступиться за себя. Надъ ними безнаказанно могутъ они продолжать опыты своей гальванической критики. Такъ безжалостно и погоняютъ они ихъ на своемъ журнальномъ заколдованномъ колесѣ, которое безконечно у нихъ вертится, не подвигаясь ни на шагъ впередъ.

Впрочемъ, что Гоголь попалъ въ руки шарлатановъ, это не мудрено: имъ нужны блестящіе ярлыки, чтобы сбывать свои ничтожныя снадобья. Но странно, что умные и добросовѣстные судіи, едва ли не за одно съ ними, сбились со стези умѣренности и благоразумія въ оцѣнкѣ трудовъ Гоголя. Это самое доказываетъ, что тутъ было какое-то недоразумѣніе. Каждый видѣлъ въ немъ то, что̀ хотѣлось видѣть, а не то, что̀ дѣйствительно есть. Иначе какъ объяснить, что умъ и пошлость, разсудительность и пустословіе, понятія совершенно разнородныя, мнѣнія противоположныя, сошлись заодно въ сужденіи о достоинствѣ, полезности и многозначительности одного и того же явленія. Что люди, провозглашающіе наобумъ какое-то ученіе западныхъ началъ, искали въ Гоголѣ союзника и оправдателя себѣ, это еще понятно. Онъ былъ для нихъ живописецъ и обличитель народныхъ недостатковъ и недуговъ общественныхъ. Эти обличенія нѣсколько напоминали имъ болѣзненное, лихорадочное волненіе Французскихъ романистовъ. Это было какое-то противодѣйствіе прежнимъ, кореннымъ литературнымъ началамъ. Они не понимали Гоголя, но по крайней мѣрѣ такъ могли въ свою пользу перетолковать созданія его вымысловъ. Но что тѣ, которые отказываются и предохраняютъ насъ отъ вліянія чужеземнаго, что тѣ, которые хотятъ, чтобы мы шли къ усовершенствованію своимъ путемъ, росли и крѣпли въ собственныхъ началахъ, чтобы тѣ самые радовались картинамъ Гоголя, это для меня непостижимо. Въ картинахъ его, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ однородныхъ картинахъ, которыя начинаются *Ревизоромъ* и кончаются *Мертвыми Душами*,—все мрачно и грустно. Онъ преслѣдуетъ, онъ за живое задираетъ не одни наружныя и прививныя болячки; нѣтъ, онъ проникаетъ въ глубь, онъ выворачиваетъ всю природу, всю душу и не находитъ ни

одного здороваго мѣста. Жестокій врачъ, онъ растравляетъ раны, но не придаетъ больному ни бодрости, ни упованія. Нѣтъ, онъ приводитъ къ безнадежной скорби, къ страшному сознанію. Повторяемъ сказанное нами: этотъ взглядъ автора, какъ отдѣльный, какъ принадлежность личности его, могъ имѣть достоинство свое и нѣкоторую вѣрность, хотя условную и односторонюю. Но обратить этотъ частный взглядъ въ общее воззрѣніе, по извлечь изъ него общее убѣжденіе и на этомъ убѣжденіи основать начала новаго направленія, новой литтературной школы, все это приводитъ къ хаосу противорѣчій, заблужденій, ложныхъ выводовъ, изъ коихъ выпутаться невозможно.

IV.

Теперь обратимся къ новой книгѣ Гоголя. Мы уже сказали, что, согласно съ мнѣніемъ автора, признаемъ ее полезною и нужною. Она именно кстати потому, что такъ противорѣчитъ современнымъ произведеніямъ, не могу рѣшиться сказать—литературы, а развѣ книгопрядильной промышленности нашей. Она есть выраженіе нынѣшняго образа мыслей автора, родъ суда его надъ самимъ собою и, слѣдовательно, суда надъ многими, потому что онъ отразился во многихъ. Какъ ни оцѣнивай этой книги, съ какой точки зрѣнія ни смотри на нее, а все придешь къ тому заключенію, что книга въ высшей степени замѣчательна. Она событіе литтературное и психологическое. А у насъ эти событія рѣдки. Мы истратились на мелочи, мы растерялись въ дневныхъ пустякахъ. Дѣйствіе, произведенное этою книгою, доказываетъ, что она не проскользнула по общему вниманію, а запечатлѣлась на немъ, по крайней мѣрѣ на нѣсколько недѣль. И это уже много, судя по легкомыслію, а частію и равнодушію нашего общества. Что всѣ журналы о ней отозвались, кто какъ могъ, кто какъ умѣлъ, это еще ничего. Но о ней много было словесныхъ толковъ, преній, разговоровъ. Это гораздо важнѣе. Давно замѣчено, что толки у насъ гораздо умнѣе и дѣльнѣе перьевъ. У насъ, и слава Богу, общественный умъ самъ по себѣ, а журналы сами по

себѣ. Приводя слышанные словесные толки къ общему итогу, или по крайней мѣрѣ къ выраженію большинства, спрашивается: для вѣрнѣйшаго достиженія цѣли своей, для надежнѣйшей пользы, въ такомъ ли видѣ долженъ былъ явиться передъ обществомъ обратившійся, или преобразовавшійся авторъ? Этотъ вопросъ, кажется, разрѣшается не совершенно благопріятно для него, не столько по существенному достоинству книги, сколько по ея внѣшнимъ формамъ. Переломъ былъ нуженъ, но, можетъ быть, не такой внезапный, крутой. Самая истина, если хочетъ доходить до насъ, должна подчинять себя нѣкоторымъ условіямъ, соразмѣрять дѣйствіе свое съ ограниченностью нашей воспріимчивости, щадить наше упрямство, наши слабости и дурныя привычки. Въ созданіяхъ художественныхъ (а всякая книга, какого бы содержанія она ни была, принадлежитъ имъ) есть свой узаконенный обманъ. Въ картинахъ есть тайны оптики, перспективы; соблюденіе этихъ тайнъ приводитъ въ стройность предметы и оттѣнки ихъ, уравновѣшиваетъ впечатлѣнія. Для книгъ есть также свои тайны. Въ твореніяхъ Гоголя, какъ, впрочемъ, ни сильно и ни глубоко въ немъ художественное начало, вообще замѣтенъ недостатокъ въ хозяйственной распорядительности, въ размѣщеніи, въ домостроительствѣ книжнаго зданія. Не лукавствуя предъ собою, прямо и смѣло вглядываясь въ душу свою и въ душу ближняго, онъ не довольно лукавствуетъ передъ зрителемъ, то есть передъ читателемъ. Всегда преобладаемый одною мыслью, однимъ чувствомъ или убѣжденіемъ, онъ кидаетъ ихъ на бумагу, цѣликомъ, такъ сказать въ необработанномъ, сыромъ видѣ, обѣщая себѣ и читателю своему привести ихъ послѣ въ надлежащую отдѣлку и стройность. Такъ въ *Мертвыхъ Душахъ* казалось ему очень натурально сложить въ одну часть всю домашнюю черноту человѣка, весь хламъ и нечистоту общества, предоставляя себѣ въ послѣдующихъ частяхъ ввести читателя въ свѣтлые и праздничные покои. Подобное распредѣленіе грѣшитъ и противъ художественности и противъ нравственной истины. Въ отношеніи къ первой картина отъ того слишкомъ одноцвѣтна; все выдается изъ нея слишкомъ рѣзко, обрублено и грубо. Въ дру-

гомъ отношеніи наблюденіе и благоразуміе научаютъ насъ, что въ нравственномъ мірѣ не только многосложное общество, но и отдѣльный человѣкъ не изсѣченъ изъ цѣльнаго камня. Какъ общество, такъ и человѣкъ образуются изъ составныхъ частей. Нашъ свѣтъ не рай, но и не адъ. Не все въ немъ благоразуміе и чистота, но не все же безобразность и порча. Въ каждомъ человѣкѣ, порочномъ и зломъ, можно доискаться чувства совѣстливости, можно пробудить или преданіе, или надежду лучшихъ дней; въ обществѣ, хотя и болѣзненномъ,—и подавно. Во всякомъ случаѣ добро и зло, свѣтъ и тьма переливаются переходными отблесками и сумерками. Въ настоящей книгѣ авторъ также мало заботится о томъ, какъ примутъ ее читатели. Передъ нами былъ остроумный, забавный, хотя иногда и безжалостный разсказчикъ. Мы заслушивались его съ веселостью и вниманіемъ. Вдругъ ни съ того, ни съ другого, такъ сказать не перерывая рѣчи, заговорилъ онъ совсѣмъ другое. Вышло по пословицѣ: началъ за здравіе, а свелъ на упокой. Многимъ не вѣрится, что предъ ними тотъ же человѣкъ, что слышатъ они тотъ же знакомый и любимый голосъ. Другіе гнѣваются, думая, что авторъ морочитъ ихъ, ломаютъ голову себѣ, чтобы взять въ толкъ, за чѣмъ онъ такъ заговорилъ, хотя все, что онъ говоритъ, само по себѣ толково, благоразумно и дѣльно. Но они не того ожидали. Отъ того со стороны публики обчеты и недочеты, недоразумѣнія, нѣкотораго рода оборонительное противодѣйствіе. Положимъ, что авторъ мало по малу измѣнилъ бы свое направленіе, что онъ, до оглашенія полной исповѣди своей, постепенно выказался бы въ предварительныхъ твореніяхъ, слегка проникнутыхъ чувствомъ религіознымъ, болѣе благоволительнымъ и миролюбивымъ, нежели въ прежнихъ своихъ сочиненіяхъ, и нынѣшняя книга не подняла бы такой тревоги, не озадачила, не ошеломила бы многихъ. Не подготовленные, не задобренные заранѣе маленькимъ прологомъ, многіе читатели, изъ опасенія обмолвиться, рѣшились лучше осуждать, нежели хвалить: ибо, по мнѣнію многихъ, извинительнѣе прорваться излишнею и несправедливою строгостью, нежели неосновательнымъ, добрымъ отзывомъ. Впрочемъ и то надобно сказать, въ

оправданіе автору: книга его написана не въ одинъ присѣстъ. Не то, чтобы онъ легъ спать авторомъ *Ревизора* и *Мертвыхъ Душъ*, а проснулся авторомъ книги: *Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями*. Самое заглавіе изъясняетъ исторію книги, а письма съ означеніемъ годовъ, когда они были писаны, исторію внутренняго и постепеннаго перелома въ понятіяхъ человѣка. Уже за нѣсколько лѣтъ предъ симъ началось въ немъ духовное преображеніе. Объ этомъ знали только нѣкоторые пріятели, повѣренные его сердечныхъ исповѣдей. Для нихъ и появленіе книги Гоголя—совершеніе ожиданнаго событія. Но публика не была сообщницею въ этой тайнѣ, и вотъ что многихъ сердитъ, потому что мы не любимъ, когда насъ застаютъ въ расплохъ. Вообще журнальная критика по поводу новой книги Гоголя явила странныя требованія. Казалось ей, будто она и мы всѣ имѣемъ какое-то крѣпостное право надъ нимъ, какъ будто онъ приписанъ къ такому-то участку земли, съ котораго онъ не воленъ былъ сойти. На эту книгу смотрѣли какъ на возмущеніе, на предательство, на неблагодарность. Нѣкоторые поступили въ этомъ случаѣ, какъ поступилъ бы иной помѣщикъ, хозяинъ доморощеннаго театра, если главный актеръ, разыгрывающій у него первыя комическія роли, вдругъ, по уязвленію совѣсти и неодолимому призванію, отказался бы отъ скоморошества, изъявивъ желаніе посвятить себя пощенію и отшельнической жизни. Разгнѣванный Тряжиринъ и слушать не хочетъ о спасеніи души его. Онъ грозитъ ему; подъ опасеніемъ наказанія требуетъ отъ него, чтобы онъ пустяковъ въ голову не забиралъ, не въ свои дѣла не вмѣшивался, а продолжалъ потѣшать барина, разыгрывая роли Хлестакова, Чичикова и тому подобныя. Можно было надѣяться, что важность и духовное направленіе книги нѣсколько образумятъ и критику нашу. Надежда не сбылась. Все написанное о ней было болѣе или менѣе неприлично. Кто по заведенному обычаю вытаскивалъ изъ нея на удочку критики слова и отдѣльныя фразы; рядилъ и судилъ о нихъ съ важностью школьнаго учителя, который самъ знаетъ грамоту свою съ грѣхомъ пополамъ. Кто изъ „уставщиковъ кавыкъ и строчныхъ препинаній“ углубляется

въ перетасовку запятыхъ, щеголяя своими особенными познаніями по этой части. Это все еще бы ничего. Мы привыкли къ объему и дѣлопроизводству нашей журнальной критики. Нельзя же требовать отповѣди мысли на мысль отъ людей, для которыхъ литтература мертвая буква, а не живое слово. Но худо и оскорбительно поступили тѣ, которые оказывали сомнѣніе въ искренности убѣжденій автора. Можно не сочувствовать имъ, но и тогда должно ихъ уважить. Ни въ какомъ случаѣ не подлежатъ они разбору критики холодной, суетной, человѣчески гордой и потому человѣчески шаткой и ограниченной. Да и какъ намъ понять другъ друга при совершенной противоположности мнѣній, задушевныхъ вѣрованій и основныхъ началъ? Одинъ смотритъ на жизнь съ житейской стороны, снизу вверхъ; другой со стороны духовной, сверху внизъ. Одинъ признаетъ власть разума и все подчиняетъ ей; другой покланяется умничженію разума передъ иною неразъяснимою, но сладостно и плодотворно тяготѣющею надъ нимъ силою. И точка исхода, и цѣль направленія, и путь и попутныя средства—все различно. Гдѣ же сойдутся противники и гдѣ бы могли они сойтись? Страшно присвоить себѣ право дѣлать надъ живымъ тѣломъ анатомическіе опыты, разсѣкать живое сердце, какъ безчувственное. Передъ нами не вымышленное лицо, которому авторъ, по произволу своему, придаетъ убѣжденія, чувства, страданія. Нѣтъ, здѣсь человѣкъ, плоть и кровь, страдалецъ, братъ нашъ. Онъ изливаетъ передъ нами сокровеннѣйшія тайны свои; съ духомъ сокрушеннымъ, испитаннымъ, онъ повѣряетъ намъ все, что выстрадалъ, въ надеждѣ, что исповѣдь его можетъ принести нѣкоторую пользу ближнему. А вы строго и самопроизвольно судите, разбираете, такъ ли онъ плачетъ, какъ слѣдуетъ, не притворяется ли онъ, не малодушничаетъ ли? Вы подмѣчаете, ловите каждый стонъ его. Вы съ жестокою радостью нападаете на него, когда вамъ кажется, что онъ промолвился, что онъ противорѣчитъ себѣ, какъ будто скорбь можетъ всегда разсчитывать слова свои. Разумѣется, что все это говорю не о той критикѣ и не о тѣхъ критикахъ, о которыхъ говорить нечего. Съ упреками своими обращаюсь я къ той части судей

изустныхъ, или письменныхъ, которыхъ голосъ долженъ быть принятъ въ соображеніе и во вниманіе. Между ними нѣкоторые погрѣшили недостаткомъ доброжелательства, терпимости, братской любви, даже свѣтскаго общежительства, на которыя имѣетъ полное право писатель, каковъ Гоголь; погрѣшили и недостаткомъ законной, необходимой справедливости, на которую имѣетъ право каждый изъ насъ. Русскій человѣкъ даже и обидѣвшему его говоритъ: Богъ проститъ! а Гоголь только тѣмъ предъ вами и виноватъ, что вы не такъ мыслите, какъ онъ. Мы чувствуемъ и толкуемъ о независимости понятій, а въ насъ нѣтъ даже и терпимости. Кто только мало мальски не совершенный намъ единомышленникъ, мы того считаемъ паріемъ, какимъ-то чудовищнымъ исключеніемъ. Мы готовы закидать его каменьями. Конечно, все это у насъ еще ребячество. Дѣти обезьянствуютъ, корча взрослыхъ людей; но худо, когда они заимствуютъ и погрѣшности ихъ. Есть пороки наслѣдственные, неминуемыя злоупотребленія, сродившіеся съ установленнымъ порядкомъ вещей и событій. Но есть пороки преждевременные, прививные. Они хуже всѣхъ другихъ и болѣе всего безобразятъ. Это ранніе морщины на лицѣ юноши. На молодой нашей литературѣ много наведено такихъ насильственныхъ морщинъ.

V.

Выше было уже замѣчено, что книга Гоголя не сочиненіе, а сборникъ писемъ и отдѣльныхъ отрывковъ. Онъ собралъ и напечаталъ ихъ за тѣмъ, что хотѣлъ искупить будто безполезность всего, доселѣ имъ напечатаннаго, потому что въ письмахъ его, по признанію тѣхъ, къ которымъ они были писаны, находится болѣе нужнаго для человѣка, нежели въ его сочиненіяхъ. Это собственныя слова его. Далѣе говоритъ онъ: „Я писатель, а долгъ писателя не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу; строго взыщется съ него, если отъ сочиненій его не распространится какая-нибудь польза душѣ и не останется отъ него ничего въ поученье людямъ“. Еще далѣе прибавляетъ онъ: „въ этихъ письмахъ было кое-что послужив-

шее въ пользу тѣхъ, къ которымъ они были писаны. Богъ милостивъ, можетъ быть послужатъ онѣ и въ пользу и другимъ, и снимется чрезъ то съ души моей часть суровой отвѣтственности за безполезность прежде писаннаго". Цѣль, которая была у автора въ виду при напечатаніи книги своей, ясно и убѣдительно обнаруживается. Цѣль благонамѣренная, прекрасная, братская. Нельзя благороднѣе и лучше понять важность и святость своего авторскаго званія. Уму безпристрастному, неотуманенному предубѣжденіями, нельзя не согласиться съ этимъ. Исполненіе соотвѣтствуетъ ли благому намѣренію? И здѣсь безпристрастный, добросовѣстный судъ совершенно оправдаетъ автора. Можно быть болѣе или менѣе довольнымъ пріемами, изложеніемъ, которыхъ держался авторъ въ выраженіи мыслей, сужденій и вѣрованій. Но нѣтъ сомнѣнія, что чтеніе книги его ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть безплоднымъ. Многое въ ней, если не все, обращаетъ вниманіе человѣка на самого себя, заставляетъ его невольно заглянуть въ душу, осмотрѣться, допросить, ощупать себя. Не только въ тѣхъ, которые ей сочувствуютъ, но и въ другихъ должна она неминуемо пробудить вниманіе къ вопросамъ, остающимся въ сторонѣ и въ совершенномъ забвеніи при движеніи текущей и безполезно-уплывающей литтературы нашей. А между тѣмъ въ этихъ вопросахъ таятся загадка нашей жизни и возможное объясненіе оной. Авторъ, соглашаясь съ мнѣніемъ Пушкина, сознается, что преимущественное авторское свойство его есть умѣніе подмѣчать и выражать пошлость пошлыхъ людей. Можно прибавить, что силою художества онъ облекъ эту пошлость въ яркія краски и возвелъ ее до совершенства въ своемъ родѣ. Стало-быть онъ правъ: онъ честно и похвально заплатилъ дань свою искусству. Но худо то, что съ его легкой руки эта пошлость разлилась по всей литтературѣ нашей и сдѣлалась ея общимъ и окончательнымъ выраженіемъ. Честь и признательность автору, который, хотя и противъ воли, далъ ложное и прискорбное направленіе, но за то нынѣ первый подаетъ предостерегательный голосъ и зоветъ собратій своихъ въ область болѣе обширную и возвышенную. Миръ и забвеніе бѣднымъ коллежскимъ реги-

страторамъ и другимъ канцелярскимъ служителямъ! Пора оставить ихъ въ покоѣ. Они до послѣдней нитки переплатились съ литературою нашей, которая взяла ихъ на откупъ. Гоголь до послѣдняго колоса перекосилъ низменныя жатвы нашего общества. Мудрено, какъ другіе не догадались, что послѣ него не осталось ни одного живаго зерна, и голодные бросились на поле, опустошенное сильнымъ и ловкимъ жнецомъ. Нынѣ авторъ призываетъ на свой судъ не мелкаго чиновника, а себя и человѣка. Онъ расширяетъ и облагораживаетъ кругъ своего дѣйствія. Онъ изъ уѣзда переходитъ въ открытый Божій міръ. Посмотримъ, будетъ ли нынѣшній примѣръ такъ увлекателенъ и дѣйствителенъ, какъ прежній. Если полагать, что настоящая книга его не заслуживаетъ пристальнаго вниманія общества, то должно бы заключить съ прискорбіемъ, что пошлость, о которой говорено выше, заразила не только поверхность нашей литературы, но прокралась и въ глубину нашихъ духовныхъ потребностей, что она отучила насъ отъ всего, что̀ составляетъ нравственное достоинство человѣка.

Письма эти первоначально предназначены были къ напечатанію по смерти автора. Разумѣется, многое въ нихъ получило бы тогда особенное значеніе и силу. Загробный голосъ имѣетъ какую-то непреложность и святость, которыхъ лишено слово суетное, еще живущее и потому подверженное измѣненію. Иному въ этой книгѣ, какъ, напримѣръ, завѣщанію, не слѣдовало бы войти въ составъ ея. Что̀ разрѣшается мертвому, то можетъ быть превратно перетолковано въ живомъ. А ближняго вводить въ искушеніе и въ кривые толки не должно. Проповѣдывая даже истину, нужно соразмѣрять ее силамъ и понятіямъ слушателей. Люди легковѣрны тамъ, гдѣ можно подозрѣвать зло. Они недовѣрчивы и остерегаются, когда проявляется предъ ними добро, нѣсколько необычное и не легко доступное. Смиреніе можетъ казаться скрытою гордостью. На это у людей есть извѣстное изреченіе: уничиженіе паче гордости. А люди очень охотно осуждаютъ ближняго готовыми поговорками. Это облегчаетъ совѣсть ихъ: не они обвиняютъ, а только примѣняютъ обвиненіе. Можетъ-быть, оно и придется кстати.

Впрочемъ въ частностяхъ мало ли что можно подвергнуть замѣчанію и въ чемъ можно поспорить съ авторомъ каждой книги. И въ этой не все можетъ быть принято безпрекословно. Случается автору передавать намъ желанія свои, упованія за выводы и заключенія непреложные. Въ общности, въ отношеніи умозрительномъ, онъ почти всегда правъ. Въ частныхъ примѣненіяхъ, въ дѣйствительности, онъ иногда ошибается. Вездѣ видѣнъ человѣкъ, который духовными изслѣдованіями надъ собою и жизнью до искался многаго и дошелъ далеко. Но практическій человѣкъ отсталъ. Взглядъ его не всегда свѣтелъ и вѣренъ. Когда дѣло идетъ о житейскомъ, онъ не всегда прямо глядитъ ему въ лицо, а съ угла умозрительной точки, какъ, напримѣръ, въ письмахъ: *Русскій помѣщикъ*, *Сельскій судъ и расправа*, а частью и въ другихъ письмахъ. Не все то сбыточно, что желательно. Недостаточно написать прекрасныя идилліи и мечтательные проекты о неразрывномъ мирѣ, чтобы возвратить золотой вѣкъ на землю. Въ письмѣ объ *Одиссеѣ* есть тоже слишкомъ много поэзіи, но не въ художественной оцѣнкѣ подлинника и перевода; тутъ поэзія у себя, дома. Все въ этомъ отношеніи сказанное авторомъ и поэтически-прекрасно и критически-вѣрно. Но за то, когда онъ опредѣляетъ дѣйствіе, которое появленіе этого творенія произведетъ на Россію, нельзя не признать, что авторъ слишкомъ далеко заносится въ область благонамѣренныхъ мечтаній: тутъ воображеніе критика строитъ воздушные замки и срываетъ золотыя яблоки съ небывалыхъ деревъ. Странно, что люди и сильные, болѣе прочихъ противодѣйствующіе вліянію и господству заразительныхъ понятій и укоренившихся привычекъ, часто сами подчиняются имъ и невольно падаютъ въ общія злоупотребленія. Нѣтъ сомнѣнія, что главный недугъ нашего времени есть неувѣренность и преувеличеніе. Всѣ натягиваютъ все до нельзя. Всѣ силятся набить цѣну на истину, какъ будто настоящая, внутренняя цѣна недостаточна. Въ наше время не довольствуются тѣмъ, что дважды два четыре: всѣ ищутъ какой нибудь придачи. Въ политикѣ, въ литературѣ, въ нравственныхъ и общественныхъ вопросахъ, въ художествахъ, въ промышленности всѣ силы, всѣ стремле-

нія настроены, направлены къ тому, чтобы удивить выведеннымъ итогомъ такъ, чтобы дважды два было по крайней мѣрѣ пять. Иначе и не стóитъ за дѣло приниматься. Это входитъ въ понятія о прогрессѣ. Время идетъ впередъ, а съ нимъ должно погонять и самую истину. Въ свою очередь, Гоголь очень забавно и вѣрно осмѣиваетъ эту общую кичливость, которая вездѣ открываетъ Америку и каждое найденное зернышко раздуваетъ въ рѣпу. А между тѣмъ иногда и онъ сбивается на тоже и видитъ новый міръ тамъ, гдѣ просто явленіе отрадное, но отдѣльное. Впрочемъ, въ немъ это не кичливость, а развѣ излишняя воспріимчивость воображенія, которое преувеличиваетъ видимые предметы и пересоздаетъ ихъ по своему. Разсказывали о Дидеротѣ, что онъ въ книгахъ не всегда читалъ то, что̀ было въ нихъ напечатано, а какимъ-то междустрочнымъ чтеніемъ то, что́ умъ его прибавлялъ отъ себя. Взглядъ Гоголя на вещи часто имѣетъ одинаковое съ этимъ свойство. Между тѣмъ тутъ дѣйствуетъ еще и другое прекрасное начало: любовь къ ближнему и къ добру. Воплощенное и, такъ сказать, согрѣтое на огнѣ этой любви, всякое благое желаніе въ глазахъ его уже осуществляется въ событіе. Когда авторъ преслѣдовалъ порокъ, онъ уже ничего въ человѣческой природѣ кромѣ порока не видалъ. Такъ сильно было его негодованіе. Когда онъ мысль свою устремляетъ на благую цѣль, онъ не видитъ препятствій и силою любви хотѣлъ бы творить чудеса, въ которыя онъ вѣруетъ. Найдутся, вѣроятно, и другіе недостатки въ книгѣ его, но они выкупаются общимъ достоинствомъ ея. По прочтеніи ея нельзя не полюбить автора, не исполниться къ нему уваженіемъ. Нельзя человѣку, не исключительно преданному житейскимъ потребностямъ, не позавидовать духовному состоянію его. Чувствуешь, что это состояніе завоевано цѣною многихъ бореній, высокихъ страданій, цѣною многихъ безсонницъ, тѣлесныхъ и духовныхъ, въ которыя проявлялись ему истины, имъ передаваемыя живою и проникающею рѣчью. Все это заставляетъ каждаго призадуматься о себѣ самомъ. Все это зрѣлище трогательное и поучительное. Книга Гоголя напоминаетъ книгу Сельвіо Пеллико: *Объ обязанно-*

стлтъ человѣка. Знаменитый узникъ тоже выстрадалъ ее и вынесъ изъ стѣнъ своего заточенія, какъ лучшій и созрѣвшій плодъ многолѣтнихъ испытаній. Въ ней также нѣтъ, по видимому, ничего новаго, изумляющаго; она не раскрываетъ новой системы, новаго ученія. Вѣроятно, не одинъ журналистъ, не одинъ такъ-называемый глубокій мыслитель съ высоты ходулей свой отозвался съ презрѣніемъ о пошлости и ребячествѣ преподаваемыхъ въ ней нравоученій, давнымъ давно всѣмъ извѣстныхъ. Дѣло въ томъ, что истинъ не изобрѣтаютъ, а только умѣніемъ и трудомъ добываютъ какъ золото. Оно искони существуетъ, но сокрытое въ нѣдрахъ земли; другія также предвѣчно таятся въ началахъ и законахъ вещественнаго и духовнаго міра. Одни алхимики думаютъ, что можно сочинить золото. Одни малоумные и софисты воображаютъ себѣ и хотятъ увѣрить другихъ, что они сочиняютъ истины. Посмотрите, съ какимъ глубокимъ уваженіемъ Пушкинъ упоминаетъ о книгѣ Сильвіо Пеллико, какъ вѣрно и умилительно характеризуетъ онъ ее въ нѣсколькихъ строкахъ. Между тѣмъ взглядъ Пушкина на жизнь—не взглядъ Сильвіо Пеллико. По видимому, въ нихъ мало духовныхъ соотношеній и сродства. Но Пушкинъ, какъ всякій избранный, питалъ сочувствіе ко всему прекрасному, искреннему, возвышенному. Онъ въ данное время постигалъ его даже и тутъ, гдѣ не былъ единомышленникомъ. Сравнивая Русскую книгу съ Итальянскою, мы преимущественно имѣли въ виду духъ, напитавшій обѣ книги, и путь, на который онѣ указываютъ. Въ книгѣ Итальянскаго писателя отсвѣчивается болѣе мягкости и нѣжности сердечной. Гоголь и въ смиреніи и въ братолюбіи своемъ сохранятъ еще нѣкоторую жесткость прежнихъ своихъ пріемовъ. Но при всей односторонности направленія книги Гоголя, она имѣетъ болѣе разнообразія и движенія, нежели та. Она касается болѣе или менѣе всѣхъ современныхъ и животрепещущихъ вопросовъ, и на каждомъ вопросѣ авторъ зарубаетъ отмѣтку свою рѣзкимъ и яркимъ словомъ. Многія страницы въ сей книгѣ исполнены одушевленія и краснорѣчія, какъ напримѣръ въ письмѣ: *Женщина въ свѣтѣ*, въ которомъ такъ много свѣжести, прелести и глубокаго вѣро-

ванія въ назначеніе женщины въ обществѣ. Нужно имѣть большую независимость во мнѣніяхъ и не тронутую чистоту въ понятіяхъ и въ чувствѣ, чтобы облечь женщину въ подобныя краски, когда на литературномъ поприщѣ женщины сами клеплютъ на себя, чтобы поддѣлаться къ мужчинамъ. Письма: *О нашей церкви и духовенствѣ*, *О лиризмѣ нашихъ поэтовъ*, *Христіанинъ идетъ впередъ*, *Свѣтлое воскресеніе*, нѣкоторые изъ литературныхъ портретовъ его и оцѣнокъ и многія другія мѣста, здѣсь и тамъ разбросанныя въ книгѣ, могутъ стать на ряду съ лучшими образцами нашей прозы. Вообще языкъ и слогъ автора имѣютъ здѣсь болѣе стройности и зрѣлости, нежели въ прежнихъ его произведеніяхъ. Иногда, но гораздо рѣже, вырываются звуки слишкомъ рѣзкіе, выраженія, какъ будто ошибкою попавшія сюда, изъ старыхъ его рукописей. Тамъ они были болѣе или менѣе у мѣста, но здѣсь бросаются въ глаза, какъ соринки, про которыя авторъ упоминаетъ въ письмѣ *Объ Одиссеѣ*. Вообще все, на чемъ можетъ въ этой книгѣ остановиться строгій взоръ безпристрастной и добросовѣстной критики, не что иное какъ соринки, которыя автору легко смести однимъ движеніемъ пера. Но цѣлое есть чистая, свѣтлая храмина. Строгое и стройное убранство ея успокоиваетъ зрѣніе и душу. Въ ней протрезвляются чувства и утихаютъ волненія, подъятыя тревожными и раздражительными впечатлѣніями, которыя отовсюду осаждаютъ насъ. Она призываетъ къ тихому размышленію, втѣсняетъ насъ, сосредоточиваетъ въ самихъ себѣ. Изъ нея выходишь съ духомъ умиленнымъ, съ сознательностію и съ чувствомъ любви и благодарности къ ея строителю и хозяину.

Послѣ всего сказаннаго здѣсь, если спросятъ меня: хочу ли, чтобы Гоголь оставилъ навсегда прежніе пути свои и шелъ исключительно по новому, который онъ проложилъ послѣднею книгою своею? скажу, не запинаясь: нѣтъ! я увѣренъ, что между прежнимъ Гоголемъ и нынѣшнимъ можетъ послѣдовать и послѣдуетъ прекрасная сдѣлка, полезная мировая. Онъ умѣрилъ и умирялъ въ себѣ человѣка; теперь пусть умѣритъ и умиритъ въ себѣ автора. Пускай передастъ онъ намъ все нажитое имъ въ эти послѣдніе годы въ сочиненіяхъ повѣствова-

тельныхъ, или драматическихъ, но чуждый этой исключительности, этого ожесточенія, съ которымъ онъ донынѣ преслѣдовалъ пороки и смѣшныя слабости людей, не оставляя нигдѣ добраго слова на миръ, нигдѣ не видя ничего отраднаго и одобрительнаго. Гоголь во многихъ мѣстахъ книги своей кается въ безполезности всего написаннаго имъ,—это невѣрно. Писанное имъ не безполезно, а напротивъ принесло свою пользу; но оно частью вредно, потому что многими было худо понято и употреблено во зло. Онъ первый *Мертвыми Душами* далъ осѣдлость у насъ литературѣ укорительной, желчной и между-тѣмъ мелко-придирчивой. Всѣ за нимъ, подбавляя за подлинникомъ, бросились унижать, безобразить человѣка и общество, злословить ихъ, доносить на нихъ. Всѣ лица, выводимыя на сцену послѣдователями его, подлежали на повѣрку или уголовному суду, или, по крайней мѣрѣ, расправѣ съѣзжаго дома. Особенно на эти послѣднія лица былъ большой расходъ, потому что они были болѣе по силамъ многихъ. Что Французскіе повѣствователи ищутъ вдохновенія болѣе въ судебной газетѣ, нежели въ общей исторіи человѣчества и въ сердцѣ человѣка, это, хотя прискорбно, но однако же понятно. Французское общество потрясено было ужасными переворотами; оно прошло сквозь огонь и кровь. Въ литературѣ его неминуемо должны отзываться волненіе и броженіе, заброшенныя въ нее событіями и дѣйствительностію. Но на насъ, благодаря Бога! не были еще посланы жестокіе уроки. Отъ чего же нашей литературѣ быть лихорадочной и судорожной? Можно сказать, что ее не корчатъ внутреннія, истинно болѣзненныя судороги, а она корчитъ судороги. Здоровая, она прикидывается больной. По природѣ своей по способностямъ миролюбивая и даже довольно простодушная, она сама щиплетъ, царапаетъ себя, чтобы имѣть случай искосить глаза и ротъ, взъерошить волоса на дыбы и казаться сердитою и страшною. Все это смѣшно, но все это можетъ быть и жалко въ послѣдствіяхъ своихъ. Обращаться съ словомъ нужно честно, сказалъ Гоголь. Можно прибавить: и любовно. По словамъ одного изъ Святыхъ Наставниковъ: *любовь долго терпитъ, милосердствуетъ, не завидуетъ, не превозносится, не*

гордится, не раздражается, не мыслитъ зла, не радуется о неправдѣ, радуется же о истинѣ, все прикрываетъ, всему вѣру емлетъ, все уповаетъ, все терпитъ. Не только въ проповѣдяхъ и духовныхъ размышленіяхъ, но и въ вымыслахъ воображенія, въ романѣ, въ драмѣ, въ сатирѣ, слово можетъ быть проникнуто, пропитано духомъ примиренія и любовью. Этого слова, въ какихъ объемахъ ни было бы оно — вольному воля! — ожидаемъ отъ Гоголя, и болѣе чѣмъ когда-нибудь мы въ правѣ ожидать отъ него.

Приписка. У насъ во имя Гоголя *подняли вопросъ*, не только литтературный, но едва-ли не политическій. Мы большіе охотники до возбужденія вопросовъ, особенно тамъ, гдѣ вопрошать нечего. Но такъ уже суждено. Мы неутомимые и неугомонные вопросители. На лбу нашемъ, въ видѣ родимаго пятна, выставленъ вопросительный знакъ. Разумѣется, на всѣ эти вопросы каждый отвѣчаетъ по своему: съ точки воззрѣнія своего, сочувствій своихъ, мнѣній, предразсудковъ, и такъ далѣе. А кто, и этотъ *кто* многочисленъ, отвѣчаетъ просто на-обумъ, такъ, здорово живешь. Изъ всѣхъ этихъ отвѣтовъ рождается ужасная безтолковщина и путаница. Мы и это любимъ. Кто видитъ въ Гоголѣ либерала, а потомъ — отступника; кто какое-то загадочное лицо, которое трудно разгадать. Ларчикъ, кажется, проще раскрывается. Гоголь писатель съ отмѣннымъ и высокимъ дарованіемъ, но онъ не во главѣ и не изъ числа тѣхъ писателей, которые пробуждаютъ вопросы политическіе и соціальные. Онъ самъ не думалъ и не мечталъ о такомъ положеніи: на это положеніе натолкнули его. Онъ великій живописецъ, живописецъ яркихъ красокъ, кисти смѣлой и свободной, но не глубоко проникающей въ полотно. Мастерски и удачно схватывалъ онъ нѣкоторыя черты человѣческой физіономіи, но именно нѣкоторыя, а не всѣ. У него болѣе частныя, отдѣльныя лица; но всего человѣчества, всей человѣческой природы нѣтъ. Онъ не философъ, не моралистъ, какъ великіе комики и великіе повѣствователи Запада! Творенія сихъ послѣднихъ — школа для всѣхъ народовъ. Мудрые уроки ихъ переживутъ много поколѣній. Гоголь болѣе мѣстный живописецъ и живописецъ

опредѣленнаго времени. Многое въ современной ему Россіи выразилъ онъ, такъ сказать, живьемъ. Основательное образованіе, которое даетъ школа, и образованіе, которое позднѣе дается жизнью, недостаточно были въ немъ развиты и выработаны. Отъ того и встрѣчаются у него неровность, противорѣчія, недостатокъ полноты и стройности. Внѣшніе, благопріобрѣтенные запасы его были довольно скудны и въ совершенной несоразмѣрности съ богатствомъ, съ стремленіями и, такъ-сказать, неутолимою жаждою дарованія его. Онъ это чувствовалъ, сознавалъ; онъ этимъ внутренно страдалъ, и страданіе это дѣлаетъ честь ему. Была съ нимъ еще бѣда. Друзья и поклонники задушили его лаврами, которыми закидали его; съ другой стороны недоброжелатели и противники чуть не забросали его каменьями. Это не пугало его, но смущало, а вѣроятно и раздражало его. Онъ былъ натуры первой, впечатлительной, легко воспріимчивой. Онъ слушался Жуковскаго и Пушкина, но не хотѣлъ бы огорчить и Бѣлинскаго и школу его, если можно назвать ее школою. Непризванные хвалители, непризванные противники не умѣли спокойно оцѣнить дарованіе его по достоинству. Все это доказываетъ не богатство литтературы нашей, а совершенную бѣдность нашей критики. Уровень литтературы нашей, разумѣется за нѣкоторыми исключеніями, такъ не высокъ, что новое явленіе, въ расплохъ поражающее насъ чѣмъ-то еще небывалымъ, необыкновеннымъ, сбиваетъ насъ съ толку: при немъ не соберемся мы ни съ мыслями, ни съ [illegible]. Этого не бываетъ съ Западными литтературами. Тамъ замѣчательныя явленія бываютъ чаще, уровень выше. Всѣ, болѣе или менѣе, успѣли присмотрѣться, научились и могутъ сравнивать. И тамъ бываютъ ошибочныя впечатлѣнія; но они случаются рѣдко, скорѣе приводятся въ ясность и выпрямляются. Въ мнѣніяхъ современныхъ о немъ, бѣдный Гоголь самъ запутался. Онъ былъ самолюбивъ, скажемъ откровенно, былъ или бывалъ иногда [illegible]; но кто-же не имѣетъ грѣха этого на совѣсти въ большей или меньшей долѣ? Вмѣстѣ съ тѣмъ, при своей [illegible], имѣлъ онъ качество, которое имѣютъ не всѣ: недовѣріе къ себѣ и къ таланту своему, по крайней мѣрѣ

въ той степени, на которую хотѣлъ онъ возвысить дарованіе свое. Эта черта его трогательна и возбуждаетъ особенное сочувствіе къ нему. Онъ и при успѣхахъ своихъ все еще былъ не удовлетворенъ; онъ все стремился къ чему-то, по чемъ-то тосковалъ, искалъ идеальнаго совершенства, не хорошо сознавая въ чемъ именно оно состоитъ. Если не слишкомъ смѣло, позволю себѣ сказать, голова его, и послѣ благополучныхъ родовъ, все еще мучилась какими-то вымышленными и ожидаемыми имъ родами, которые не давались ему. Онъ чувствовалъ, что пріятели слишкомъ захвалили его, и хотѣлъ оправдать ихъ непомѣрное хваленіе; хотѣлъ того и для себя, потому что внѣшнее восхваленіе, разумѣется, кончилось тѣмъ, что немного отозвалось и въ немъ, во внутреннихъ тайникахъ сердца его; хотѣлъ онъ оправдать себя и передъ самимъ собою. Въ этой борьбѣ, въ этихъ перемежающихся припадкахъ самодовольствія гордости и смиренія, доходящаго до уныпія, должно, по мнѣнію моему, искать ключъ ко многимъ странностямъ характера его, къ литтературнымъ и другимъ непормальностямъ, однимъ словомъ правдивую повѣсть во многихъ отношеніяхъ печальной участи его и самой преждевременной и загадочной кончины. Кажется, мы уже намекали о нѣкоторомъ сходствѣ его съ Ж. Ж. Руссо, разумѣется не въ могуществѣ и обширности таланта, но болѣе съ точки зрѣнія психической. Смерть Гоголя, какъ и смерть Руссо, имѣютъ также что-то общее: роковое, мрачное, неизъяснепное. И тотъ и другой были люди болѣзненные; подобная физическая немощь не могла непмѣть вліянія и на духовное пастроеніе ихъ. Руссо идеологъ; въ болѣе тѣсномъ объемѣ былъ идеологомъ и Гоголь. Еще одно сравненіе, болѣе литтературное и касающееся до авторства. И тотъ и другой, каждый въ сферѣ своей, сильный боецъ противъ недуговъ общественныхъ, язвъ человѣка и общества; тотъ и другой возмущаются всѣми порочными явленіями, карають ихъ безпощадно; но придется ли лечить эти недуги, научать что́ должно предпринять, чтобы замѣнить ихъ правильною гигіепою, нпчѣмъ непомутимымъ здоровьемъ, и тотъ и другой оказываются несостоятельными: они діагностики, а не цѣлители, одинъ

въ сферѣ политической, другой въ сферѣ общежитія. Тотъ и другой бываютъ иногда декламаторы. Посмотрите, напримѣръ, въ *Письмахъ къ друзьямъ* все, что̀ выводитъ Гоголь изъ перевода *Одиссеи* на Русскій языкъ Жуковскимъ. Переводъ, разумѣется, литературное событіе, но онъ возводитъ его въ общественное, соціальное, чуть не государственное. Онъ ожидаетъ отъ него совершеннаго, цѣлаго переворота въ Русской жизни. Это ребячество. Такія ребячества встрѣчаются и у Руссо. Въ знаменитомъ письмѣ къ Даламберу онъ сильно, краснорѣчиво, но часто парадоксально и декламаторски возстаетъ противъ устройства въ Женевѣ постояннаго театра; въ театрѣ видитъ онъ гибель Женевы, развращеніе и паденіе чистыхъ ея республиканскихъ нравовъ. Это все еще ничего; но онъ въ томъ же письмѣ предлагаетъ замѣнить спектакли какими-то домашними посидѣлками, что̀ выходитъ у него довольно смѣшно, а на дѣлѣ вышло бы, вѣроятно, очень скучно.

Въ нѣкоторой печати нашей были пущены намеки на опеку, подъ которой будто бы держали Гоголя нѣкоторые изъ его друзей. Отъ этой опеки будто бы и вышли всѣ литературныя невзгоды, отступничества, ренегатства его. Тутъ, видимымъ образомъ, особенно разумѣется Жуковскій. Нечего и говорить, что попытки на подобную опеку не бывало. Все это выдумка и вздоръ. Но нѣтъ сомнѣнія, что Пушкинъ и Жуковскій, хотя были искреннѣе цѣнители дарованія Гоголя, но вмѣстѣ съ тѣмъ были и строгіе судьи: они руководствовали его не въ выборѣ предметовъ, подлежащихъ его вдохновенію, не въ направленіи, а часто въ изложеніи мыслей его, въ слогѣ, въ правильности языка. Они поощряли его къ новымъ трудамъ, къ новымъ успѣхамъ, могли поддерживать, ободрять его въ минуты унынія; но не туманили глаза его излишнимъ ѳиміамомъ; видѣли въ немъ равнаго себѣ, и такъ съ нимъ и обходились; видѣли въ немъ брата, но не полубога. Однажды Гоголь обѣщалъ прочесть у меня новую главу *Мертвыхъ Душъ*. Съѣхалось нѣсколько пріятелей. Былъ ли онъ не въ духѣ, не нравился ли ему одинъ изъ присутствующихъ, не знаю, но Гоголь заупрямился и не хотѣлъ читать. Жуковскій болѣе всѣхъ

приставалъ къ нему, чтобы онъ читалъ; наконецъ, съ свойственнымъ ему юморомъ, сказалъ онъ: „ну, что ты кобенишься, старая кокетка; вѣдь самому смерть хочется прочесть, а только напускаешь на себя причуды". Будь Пушкинъ еще живъ, не будь Жуковскій за-границею по болѣзни своей и жены, и Гоголь, вѣроятно, подъ этою дружескою охраною, лучше и миролюбивѣе устроилъ бы участь свою литературную и житейскую. При нихъ, какъ они довольствовались мирнымъ совершеніемъ подвига своего, такъ и онъ довольствовался бы дарованіемъ, которое далъ ему Богъ, не гоняясь за призраками какой-то далекой славы, которою точно будто дразнили его слишкомъ усердные поклонники. Какъ бы то ни было печать наша, какъ хвалебная, такъ и порицательная, вѣроятно, имѣетъ на совѣсти своей многое изъ того, что заволокло тучами послѣдніе годы жизни Гоголя, а можетъ быть и послѣдній день ея.

На этотъ разъ написалъ я *Приписку* до прочтенія и провѣрки статьи именно съ тѣмъ, чтобы какъ-нибудь и невольно не поддаться вліянію прежнихъ впечатлѣній и приговоровъ. Поступилъ я, кажется, хорошо. Сужденія или, правильнѣе, толки о Гоголѣ не подвинулись съ того времени ни на шагъ. Много было о немъ писано, но ничего не сказано. Что же до меня касается, въ новыхъ сужденіяхъ моихъ, кажется, не ушелъ я впередъ и не отступилъ. Часто встрѣчаюсь съ самимъ собою, даже нѣсколько повторяю себя, но право не напзусть. Признаюсь, это меня радуетъ. Помнится мнѣ, что статья моя, особенно въ томъ, гдѣ идетъ рѣчь о Гоголѣ, никому не угодила, начиная съ него самого. Но я и не думалъ угождать ему; хотѣлось мнѣ выразить мысли и мнѣніе мое, вотъ и все. Еще менѣе искалъ я угодить хвалебникамъ или порицателямъ Гоголя. Неудача моя едва ли не успѣхъ. Она можетъ служить указаніемъ, что я попалъ на правду, что между двумя окраинами сталъ я посреди нѣ вопроса, если уже непремѣнно нужно сдѣлать изъ Гоголя вопросъ.

Югенгеймъ.
Іюнь 1876.

LXV.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ ГЛИНКА.

1847.

Благонамѣреннымъ литераторамъ и вообще всѣмъ добрымъ людямъ предстоитъ случай легко сдѣлать доброе дѣло. Смѣемъ надѣяться, что они имъ воспользуются.

Недавно жилъ среди насъ Русскій писатель, который во время оно проливалъ слезы, слушая *Семиру* Сумарокова, и смѣялся вчера, слушая *Ревизора* Гоголя. Онъ былъ современникомъ и ученикомъ Княжнина и однимъ изъ литературныхъ сподвижниковъ въ эпоху Карамзина. Онъ бесѣдовалъ съ Пушкинымъ, и многими годами пережилъ его. Онъ извѣстенъ съ 1784 года и кончилъ свое земное и литературное поприще въ 1847 году. Во все теченіе этихъ долгихъ годовъ онъ былъ преимущественно, безпрерывно и почти исключительно писатель и болѣе ничего. У насъ и особенно въ наше время, когда литературная дѣятельность такъ скоро остываетъ, или развлекается и сбивается съ дороги разнородными дѣятельностями, подобный примѣръ постояннаго труженичества и долголѣтія уже самъ по себѣ явленіе довольно замѣчательное. Къ тому можно еще прибавить и сказать утвердительно, что, въ продолженіе этого свыше пятидесятилѣтняго періода, писатель сей съ добросовѣстною и неутомимою дѣятельностью, по мѣрѣ силъ и способностей своихъ, служилъ и содѣйствовалъ общей пользѣ. Умирая, могъ онъ, себѣ въ отраду, другимъ въ назиданіе, ска-

зать, что въ оставшихся по немъ твореніяхъ онъ ни единою строкою не измѣнилъ священнѣйшей обязанности писателя: искренно и честно обращаться со словомъ, по прекрасному выраженію Гоголя.

Писатель сей Сергѣй Николаевичъ Глинка.

Онъ одинъ, если не первый, изъ плодовитѣйшихъ нашихъ писателей. Во всѣхъ отрасляхъ литтературы оставилъ онъ слѣды свои. Русская сцена оживлялась въ свое время его трагедіями, операми, драмами; въ томъ числѣ *Сумбека*, *Наталья, боярская дочь*, *Михаилъ, князь Черниговскій*, памятны и попынѣ театральнымъ старожиламъ. Онъ писалъ историческія сочиненія, и между прочими Русскую Исторію въ 14 частяхъ; выдавалъ жизнеописанія, повѣсти стихами и прозою, поэмы, и въ числѣ ихъ переводъ *Южныхъ ночей*, нѣсколько книгъ по части воспитанія и, съ 1808 года по 1824, былъ издателемъ ежемѣсячнаго журнала: *Русскій Вѣстникъ*. Сей послѣдній выдавалъ онъ съ такою точностью и предупредительностью, что въ концѣ года обыкновенно забѣгалъ онъ книжками своими въ будущій годъ. Мелкимъ стихотвореніямъ его и прозаическимъ статьямъ, разбросаннымъ по журналамъ и сборникамъ, или изданнымъ летучими листками, мудрено было бы подвести полный итогъ. Въ 1820 году выпущено было въ свѣтъ собраніе сочиненій его въ 12 частяхъ. Нынѣ полное собраніе составило бы сто частей и болѣе. И все это въ свое время имѣло значеніе и возбуждало сочувствіе въ обществѣ, слѣдовательно заслуживаетъ болѣе или менѣе вниманіе и нынѣ. Литтературный вкусъ измѣняется съ теченіемъ времени; онъ часто своенравенъ и подверженъ вліянію современныхъ предубѣжденій и прихотей, какъ и всѣ движенія любви и неблагосклонности ума и сердца человѣческаго. Но все, что было, есть, если не въ дѣйствительности, то въ послѣдствіяхъ своихъ и преданіяхъ исторіи, народная память, или исторія, безпричастное хранилище всего, что дѣйствовало и приносило плодъ въ свое время, неумолкный отголосокъ всего, что нѣкогда имѣло голосъ. Онѣ пріемлютъ въ блюстительныя нѣдра свои не одни громкія и безсмертныя событія, но удѣляютъ уголокъ и частнымъ дѣяніямъ,

которыя отжили, и даже тѣмъ, которыя пережили въ данной эпохѣ свое временное вліяніе на ту или другую часть общественной жизни. Жизнь и труды Глинки имѣютъ свое неотъемлемое мѣсто въ Исторіи Русской литтературы. Общее и главное свойство письменныхъ трудовъ его, и свойство это вводило его въ живое и близкое соотношеніе съ публикою, было чувство, которое всегда воспламеняло его, и цѣль, къ которой онъ стремился. Чувства и цѣль его были общія съ народнымъ чувствомъ и съ народною потребностью: чувство любви къ отечеству и стремленіе болѣе и болѣе знакомить Русскихъ съ Россіею. Время, въ которое онъ началъ дѣйствовать, очень благопріятствовало ему. Тогда Россія не была еще отыскана: Исторія Карамзина не была еще обнародована. Къ стыду и къ сожалѣнію, должно намъ признаться, что мы всѣ худо знали отечество свое и его исторію. Любовь къ отечеству была у насъ, такъ сказать, отвлеченная, умозрительная, а не сознательная, не убѣжденіе. Въ дѣлѣ, подобномъ тому, какое предпринялъ Глинка, можно явить болѣе или менѣе искусства и дарованія, стяжать успѣхи болѣе или менѣе блестящіе; но если оно приводится въ дѣйствіе съ искренностью, добросовѣстностью и достоинствомъ, то во всякомъ случаѣ укрѣпляетъ оно за дѣйствующимъ лицомъ общее уваженіе и признательность. Въ святомъ ополченіи за честь и права отечества не каждый можетъ быть полководцемъ, не каждому присуждено присвоить себѣ рѣшительную побѣду. Но каждый ратникъ, съ любовью и мужествомъ исполнившій свою обязанность, стоявшій всегда подъ ружьемъ, въ передовой дружинѣ, не даромъ посвятилъ себя на благое дѣло. Пускай счастливѣйшіе стоятъ выше его въ памяти народной и сіяютъ избраннѣйшею славою, но и его удѣлъ почетенъ. Имя его также должно быть произносимо съ сочувствіемъ въ общихъ помиповеніяхъ о усердныхъ дѣятеляхъ на стезѣ истины и пользы. „Вашъ *Русскій Вѣстникъ* 1808 г., съ портретами царя Алексѣя Михайловича, Дмитрія Донскаго и Зотова—писалъ Погодинъ къ Глинкѣ — возбудилъ во мнѣ первое чувство любви къ отечеству, Русское чувство, и я благодаренъ вамъ во вѣки вѣковъ".

Въ ученомъ профессорѣ брошенныя сѣмена развились и созрѣли богатою жатвою; но нѣтъ сомнѣнія, что и во многихъ другихъ не остались они безплодными, хотя и менѣе гласными.

Полезнѣйшею эпохою литтературной дѣятельности нашего автора было восемнадцатилѣтіе, въ которое издавалъ онъ *Русскій Вѣстникъ*. По всей Россіи, особенно въ провинціяхъ, читали его съ жадностью и вѣрою; столицы вообще всѣ, болѣе или менѣе, придерживаются космополитизма. Преимущественно въ первые года существованія своего журналъ имѣлъ историческое и политическое значеніе. Одно заглавіе его было уже знамя. Въ то время властолюбіе и побѣды Наполеона, постепенно порабощая Европу, грозили независимости всѣхъ государствъ. Нужно было поддерживать и воспламенять духъ народный; пробуждать силы его, напоминая о доблестяхъ предковъ, которые также сражались за честь и цѣлость отечества. Духъ чужеземства могъ быть тогда въ самомъ дѣлѣ опасенъ. Нужно было противодѣйствовать ему всѣми силами и средствами. Въ такихъ обстоятельствахъ даже излишества и крайность убѣжденій были у мѣста. Укорительныя слова: галломанія, французолюбцы, бывшія тогда въ употребленіи, имѣли полное значеніе. Ими стрѣляли не на воздухъ, а въ прямую цѣль. Надлежало драться не только на поляхъ битвы, но воевать и противъ нравовъ, предубѣжденій, малодушныхъ привычекъ. Европа онаполеонилась. Россіи, прижатой къ своимъ степямъ, предлежалъ вопросъ: быть или не быть, то-есть слѣдовать за общимъ потокомъ и поглотиться въ немъ, или упорствовать до смерти или до побѣды? Перо Глинки первое на Руси начало перестрѣливаться съ непріятелемъ. Онъ не заключалъ перемирія даже и въ тѣ роздыхи, когда Русскіе штыки отмыкались, уступая силѣ обстоятельствъ и выжидая новаго вызова къ дѣйствію. Въ одной изъ книжекъ *Русскаго Вѣстника* было напечатано между прочимъ: „одно великодушіе Императора Александра остановило потоки крови въ 1807 г., и если по неисповѣдимымъ судьбамъ Провидѣнія снова возгорится война между Франціею и Россіею, Россія найдетъ новыя силы“. — Она ихъ нашла и пророчество Глинки сбылось.

Мнѣнія, имъ оглашаемыя, и отзывъ, который они встрѣчали въ массахъ читателей, не могли ускользнуть отъ неусыпнаго, безпокойнаго и ревниваго деспотизма Наполеона. Глинка, подобно г-жѣ Сталь, имѣлъ честь обратить на себя вниманіе его и негодованіе. Французскій посолъ, Коленкуръ, жаловался нашему правительству на непріязненный духъ *Русскаго Вѣстника*. Вообще въ литтературѣ нашей проявлялись воинственное направленіе и противодѣйствіе силѣ событій. Гроза двѣнадцатаго года и дымъ Московскаго пожара чуялись уже въ воздухѣ. Въ трагедіяхъ Озерова и Крюковскаго были намеки на Наполеона. Рѣчь Дмитрія Донскаго:

«О дерзостный посолъ надменнѣйшаго хана!»

была написана прямо къ лицу Французскаго посла. Графъ Ростопчинъ бросалъ въ публику свои бойкіе и одушевленные памфлеты, *Мысли въ слухъ на Красномъ крыльцѣ*, комедію: *Вѣсти, или живой убитый*. Жуковскій отъ *Сельскаго кладбища*, на которомъ мечталъ съ Греемъ, переходилъ къ полю, усѣянному костями древнихъ Славянъ. Въ Бардѣ слышался уже могучій голосъ Пѣвца во станѣ Русскихъ воиновъ. Онъ говорилъ:

«Такъ палъ съ побѣдой Россъ! паденье—страхъ врагамъ.

Еще прежде того Карамзинъ, покидая на минуту перо историка, принимался за боевую лиру и взывалъ къ Наполеону:

Ищи на Югѣ робкихъ слугъ.
Сынъ сѣвера, въ стрѣлѣ желѣзной,
Живетъ съ свободою самъ-другъ
И Царь ему отецъ любезной.
. . . . . .
За Галла весь ужасный адъ,
За насъ же Богъ и добродѣтель!

Позднѣе князь С. А. Шихматовъ своими твердыми стихами и безглагольными рѣчами воспѣвалъ доблестныхъ предковъ и преслѣдовалъ въ современникахъ употребленіе Французскаго языка.

Обращаясь къ Шишкову, родоначальнику славянофиловъ, онъ не въ шутку, а съ добросовѣстною страстью, говорилъ ему между прочимъ:

И знай, что звуковъ чужеземныхъ
Твой Русскій не произнесъ слухъ.
А если бы кого изъ званныхъ
(Находитъ зло и на избранныхъ)
Лукавый врагъ и соблазнилъ
Гнушать Французомъ при сосѣдахъ,
То, вспомнивъ о твоихъ побѣдахъ,
Языка Русскаго Ахиллъ!
Узрѣвъ лицо твое сурово,
Онъ дрожь почувствуетъ и страхъ,
И Галловъ дерзостное слово
Умретъ на трепетныхъ устахъ.

Самъ Шишковъ не отставалъ отъ прочихъ, и предводительствомъ и ополченіемъ противъ иноплеменнической силы поджигалъ молодую рать. Начавъ войну походомъ противъ новаго слога, онъ продолжалъ вести ее противъ новыхъ нравовъ, новыхъ понятій. Онъ учреждалъ Бесѣду Любителей Русскаго слова, разбиралъ басни Сумарокова и ставилъ его выше Лафонтена и Русскій языкъ выше всѣхъ другихъ языковъ, и такъ далѣе. Все это нынѣ почти забыто. Новому поколѣнію нѣкогда оглядываться назадъ; оно, сбросивъ съ себя по дорогѣ всѣ наслѣдственные доспѣхи, бѣжитъ налегкѣ кажется впередъ, а можетъ быть и въ сторону. Но всѣ эти подробности, какъ онѣ ни могутъ казаться маловажными, взятыя отдѣльно, имѣли въ свое время единоплеменное значеніе. Нынѣ онѣ дополняютъ картину тогдашней эпохи и кидаютъ на нее объяснительный свѣтъ. Наконецъ загорѣлся 1812 годъ. Наполеонъ съ своими полчищами „двунадесяти языковъ", какъ говорили тогда, свирѣпствовалъ уже въ нѣдрахъ Россіи. Тогда литература Глинки обратилась въ общее дѣйствіе. *Русскій Вѣстникъ* облекся въ плоть и кровь. Графъ Ростопчинъ былъ назначенъ главнокомандующимъ въ Москвѣ. Обладая въ высшей степени Русскимъ чувствомъ и умѣньемъ дѣйствовать на массы, онъ хорошо понялъ значеніе Глинки въ подобныхъ обстоятельствахъ. Въ слѣдствіе представленія его, Глинка былъ пожалованъ кавалеромъ ордена св. Владиміра четвертой степени. „Любовь ваша къ отечеству, доказанная сочиненіями и дѣйствіями вашими, обратила на васъ Наше вниманіе", писалъ ему Императоръ Александръ въ высочайшемъ рескриптѣ своемъ. Вручая ему награду, графъ Ростопчинъ ска-

залъ ему: „священнымъ именемъ Государя развязываю вашъ языкъ на все полезное для отечества, а руки на триста тысячъ рублей экстраординарной суммы". Деньги отданы были въ его распоряженіе. Зная его словоохотливость, всегда восторженную и полную движенія рѣчь, мы не сомнѣваемся, что онъ языка своего не щадилъ; но сумма, предоставленная ему, осталась въ цѣлости и возвращена была казнѣ. Онъ удовольствовался тѣмъ, что, записавшись первый въ ратники Московскаго ополченія, внесъ въ приношеніе на триста рублей серебра изъ скромнаго своего имущества. Съ того дня Глинка перенесъ литтературу свою на площадь; онъ попалъ на свою колею. Глинка былъ рожденъ народнымъ трибуномъ, но трибуномъ законнымъ, трибуномъ правительства. Онъ умѣлъ по православному говорить съ народомъ православнымъ. Рѣчами своими онъ успокоивалъ и ободрялъ народъ. И то и другое по обстоятельствамъ было нужно. Было уныніе, но было и волненіе. Не вѣря, чтобы непріятель могъ подойти къ Москвѣ, не имѣя тайныхъ сношеній въ городѣ, народъ вездѣ искалъ предателей и шпіоновъ. Онъ ловилъ на улицахъ людей, которыхъ подозрѣвалъ быть подозрительными. Русскій дворянинъ, нѣмой отъ рожденія, былъ схваченъ толпою потому, что, подойдя къ лавкѣ, объяснялся знаками. Это показалось подозрительно. Я самъ былъ свидѣтелемъ такого случая. Можетъ быть за мѣсяцъ до сдачи Москвы, сидѣлъ я съ двумя или тремя пріятелями на терассѣ дома, занимаемаго мною на Кисловкѣ; вдругъ услышали мы на улицѣ шумъ и жалобные крики. Едва успѣли мы перескочить черезъ стѣну, чтобы выручить изъ рукъ толпы Нѣмца, съ которымъ она готова была раздѣлаться потому, что Нѣмецъ на вопросъ ея отвѣчалъ худымъ и ломанымъ Русскимъ языкомъ. Чтобы успокоить народъ, отдали мы Нѣмца на руки полицейскому чиновнику. Нѣмецъ оказался совершенно невиннымъ.

Графъ Ростопчинъ имѣлъ вѣроятно и дальнѣйшіе виды на Глинку. За нѣсколько дней до Бородинскаго сраженія былъ я вечеромъ у графа Ростопчина, на дачѣ котораго жилъ тогда Карамзинъ. Сдача Москвы непріятелю казалась тогда только возможностью, но не вѣроятностью. По крайней мѣрѣ графъ

не допускалъ ея. Говоря о мѣрахъ, которыя, въ случаѣ крайности, должно будетъ предпринять, сказалъ онъ между прочимъ: что если Французы подступятъ къ Москвѣ, то онъ намѣренъ поголовно поднять весь народъ Московскій и ночью вооруженною рукою напасть въ расплохъ на непріятельскій станъ и предать его огню и истребленію. Можно сомнѣваться въ успѣхѣ подобной попытки, но если бы она была приведена въ исполненіе, то нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ случаѣ Глинка содѣйствовалъ бы графу кликнуть кличъ и не отсталъ бы отъ охотниковъ.

Событія развивались и, наконецъ, достигли цѣли. Изъ Французскихъ войскъ, нагрянувшихъ на Русскую землю, остались между живыми одни плѣнники. Русскіе два раза входили въ Парижъ. Наполеонъ заключенъ на островѣ Св. Елены. Съ Наполеономъ вмѣстѣ пало и властолюбіе Франціи. Русскіе не злопамятны. Значеніе *Русскаго Вѣстника* утратило свою силу. Изданіе его продолжалось еще нѣсколько лѣтъ, но не имѣло уже прежняго вліянія. По горячимъ слѣдамъ онъ еще нѣсколько времени возглашалъ о подвигахъ новыхъ Дмитріевъ Донскихъ и Пожарскихъ. Имена Кутузова, Платова и другихъ сподвижниковъ освобожденія Россіи и Европы озаряли и согрѣвали страницы журнала, но всему есть предѣлъ и свое время. Русскіе не только не злопамятны, но и не хвастливы. Довольствуясь тѣмъ, что исполнили свою обязанность, что сдѣлали свое дѣло, они не имѣютъ нужды, просто не любятъ, чтобы имъ часто и безпрерывно напоминали объ ихъ подвигахъ. Патріотически водевильные куплеты, памятныя книжки, *Что день, то побѣда* (Une victoire par jour—Французское сочиненіе) не могли бы имѣть у насъ продолжительный успѣхъ. Мы предоставляемъ это Французамъ, которые послѣ пораженій своихъ хотѣли перомъ вознаградить себя за неудачи, понесенныя оружіемъ. И нынѣ послѣ тридцатилѣтняго мира не притупилось еще ихъ воинственное и побѣдоносное перо. Задними числомъ передѣлываютъ они событія. Не довольствуясь многими одержанными побѣдами, они за письменнымъ столомъ, сдавъ себѣ всѣ козыри, перегрываютъ сраженія, однажды уже проигранныя на полѣ

битвы. Глинка обратился тогда къ другимъ литературнымъ трудамъ, все въ томъ же чисто-народномъ и Русскомъ направленіи, но уже такъ сказать не вооруженною рукою. Книга его о Русской Исторіи имѣла три изданія. Нашъ Историографъ ходатайствовалъ о наградѣ сочинителю оной у тогдашняго министра просвѣщенія Шишкова, свидѣтельствуя о ней, что она достойна быть введенною во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ. Эта черта не удивительна и не замѣчательна въ жизни Карамзина. Но слѣдуетъ сохранить ее въ исторіи литературы. Нужно иногда освѣжать и услаждать память свою подобными преданіями. Они утѣшительны и назидательны.

Между тѣмъ, для полноты картины, нельзя не замѣтить, что литературное направленіе Глинки и его единомышленниковъ встрѣчало и нѣкоторое противодѣйствіе. Разумѣется дѣло шло не объ основныхъ началахъ и убѣжденіяхъ, которыя въ ней проявлялись. Тутъ между всѣми честными и благонамѣренными людьми не могло быть разногласія; но всякое исключительное убѣжденіе, мнѣніе, доведенное до крайности, въ прикосновеніи съ убѣжденіемъ не столь самовластнымъ, съ мнѣніемъ, не столь порывистымъ, неминуемо возбуждаютъ противорѣчіе и состязаніе. Таковъ уже умъ человѣческій. Нѣкоторые литераторы смѣялись надъ литературнымъ старообрядствомъ Глинки, но смѣялись безъ озлобленія, добросовѣстно. Не питая предосудительнаго чувства, не полагали они нужнымъ соблюдать и воздержность. Тогда все было какъ-то молодо и опрометчиво: такъ много было веселости и остроумія, что не знали какъ сбывать ихъ. Стрѣляли ими зря въ противниковъ и непріятелей, какъ ни попало. Батюшковъ, тогда еще на первыхъ шагахъ своего блистательнаго поприща, написалъ замысловатую и прелестную шутку: *Видѣніе на берегахъ Леты*. Русскіе поэты и прозаики на берегу рѣки являются предъ судомъ Миноса. Тогда миѳологія не была еще изгнана изъ области литературной. Умнымъ людямъ не ставилось въ осужденіе, когда они съ искусствомъ пользовались поэтическими вымыслами умнѣйшаго народа въ мірѣ, Грековъ. Въ поэмѣ Батюшкова между прочими является и Глинка:

Уфъ! я усталъ! подайте стулъ!
Позвольте мнѣ, я очень славенъ!
Безсмертенъ я, — пока забавенъ!
Кто-жъ ты? — Я Русскій и поэтъ!
Бѣгомъ бѣгу, лечу за славой;
Мнѣ врагъ чужой разсудокъ здравый;
Для Русскихъ нравъ мой толкъ кривой...
И въ томъ клянусь моей сумой.
— Да кто же ты?—Жанъ-Жакъ я Русскій...
Расинъ, и Юнгъ, и Локкъ я Русскій,
Три драмы Русскихъ сочинилъ
Для Русскихъ; нѣтъ ужъ силъ
Писать для Русскихъ драмы слезны,
Труды мои всѣ безполезны;
Вина тому развратъ умовъ,
Сказалъ: — въ рѣку, — и былъ таковъ!

Воейковъ въ посланіи своемъ къ Д. В. Дашкову говорилъ:

Станевичъ пишетъ безъ конца,
А нынѣ Глинка безъ начала.

Онъ же, устроивъ желтый домъ для литературной братіи своей, отвелъ въ немъ гостепріимный уголокъ и для издателя *Русскаго Вѣстника*.

Нумеръ третій — на лежанкѣ
Истый Глинка возсѣлъ:
Передъ нимъ духъ Русскій въ склянкѣ
Не откупоренъ стоитъ;
Книга Кормчая отверзта,
А уста отворены,
Сложены десной два перста,
Очи вверхъ устремлены.
«О, Расинъ! откуда слава!
Я тебя, дружка, поймалъ!
Изъ Россійскаго Стоглава
Ты Гооолію укралъ!
Чувствъ возвышенныхъ сіянье,
Выраженій красота
Въ Андромахѣ — подражанье
Погребенію кота».

Глинка первый смѣялся всѣмъ этимъ шуткамъ и продолжалъ свое дѣло. Впрочемъ сердиться было и не за что. Да къ тому же литературныхъ сердцовъ, литературныхъ страстей тогда и не знали. Литература и барышничество тогда шли еще противоположными путями. Литераторы составляли общину, а не междоусобицу, раздѣленную на акціяхъ. Каждый могъ имѣть

свое мнѣніе, но въ каждомъ писателѣ видѣлъ брата и уважалъ его, уважая себя. Иной держался болѣе Карамзина, другой — болѣе Шишкова, но и Шишковъ былъ честный и благородный человѣкъ. Всѣхъ перетопивъ и не пощадивъ эпиграммами своими и его въ Летѣ, вотъ что̀ сказалъ о немъ Батюшковъ:

Одинъ, одинъ славянофилъ,
И то, повыбившись изъ силъ,
За всю трудовъ своихъ громаду,
За твердый умъ и за дѣла —
Вкусилъ безсмертія награду.

Такимъ образомъ понимали въ то время шутку и сатиру. Такъ дѣйствовали въ благородныхъ поединкахъ, нападая и на самаго запальчиваго и сильнаго противника. Должно отдать справедливость Глинкѣ. Онъ никогда не отдавалъ себя въ кабалу никакимъ литературнымъ партіямъ. Онъ прошелъ безпристрастно и миролюбиво сквозь нѣсколько поколѣній литературы и литераторовъ нашихъ. Ко всѣмъ питалъ онъ сочувствіе и радушіе. Рожденіемъ своимъ, воспитаніемъ и воспоминаніями лучшей поры въ жизни, молодости, принадлежалъ онъ вѣку отжившему, но съ любовью и уваженіемъ привѣтствовалъ знаменитости и надежды другихъ поколѣній. Не забывая стиховъ Княжнина и Сумарокова и высказывая ихъ на память цѣлыми тирадами, онъ зналъ наизусть и цѣлыя страницы изъ прозаическихъ сочиненій Карамзина и стихи Жуковскаго, Пушкина и Языкова. Для него свято и дорого было Русское слово, во всѣхъ его возрастахъ и измѣненіяхъ. Одаренный памятью обширною, изумительною, онъ присвоилъ ей не только все то, что̀ прочиталъ по-Русски, но зналъ также твердо и Французскихъ писателей, особенно принадлежавшихъ ко второму пятидесятилѣтію XVIII вѣка. Въ послѣднее время жизни своей, когда, изнуренный недугами и пораженный слѣпотою, онъ не могъ уже самъ читать и писать, а слушалъ и диктовалъ,—онъ въ минуты отдыха перечитывалъ наизусть краснорѣчивыя страницы любимыхъ своихъ авторовъ. Онъ помнилъ и Руссо, который имѣлъ такое сильное и очаровательное вліяніе на воображеніе своихъ современниковъ, и рѣчи Мирабо, которыя такъ сильно волновали умы, еще довѣрчивые и самонадѣянные. И здѣсь кстати повто-

рять и еще съ бо́льшимъ значеніемъ: все было тогда молодо и опрометчиво!

Но прошла молодость съ своими вѣрованіями и заблужденіями, сочувствіями и превословіями, страстями и неуступчивостью. Наступили другія молодости, которыя также отрезвились или отрезвятся въ свою очередь. Жизнь Глинки протекла среди разнообразныхъ, великихъ и поучительныхъ явленій. Въ долголѣтнемъ теченіи сошлась она на пути своемъ со многими событіями, которыя то ниспровергали, то вновь устраивали политическій, внѣшній и внутренній бытъ государствъ и общества. Онъ на вѣку своемъ прожилъ нѣсколько вѣковъ, то посторонній зритель, то, силою обстоятельствъ и отраженія, иногда и участникъ въ событіяхъ, по мѣрѣ способностей своихъ и назначенія своего въ обществѣ. Съ умомъ воспріимчивымъ, съ чувствомъ пылкимъ, съ любовью ко всему человѣчеству, онъ никогда не былъ ни зрителемъ равнодушнымъ, ни своекорыстнымъ, лѣнивымъ дѣятелемъ. Во всю жизнь былъ онъ въ полномъ значеніи слова: человѣкомъ, гражданиномъ, христіаниномъ. Въ духовномъ отношеніи этого довольно Въ житейскомъ все это можетъ быть условно. Успѣхъ, счастіе, не что иное какъ случайности въ жизни. Самыя дарованія, которыя даются намъ отъ Бога, не всегда могутъ быть мѣриломъ внутренняго достоинства человѣка. Внѣ житейскихъ оцѣнокъ есть другое воздаяніе. Виноградари одиннадцатаго часа получаютъ также свою мзду. Много званныхъ, но кто будетъ избранъ, намъ неизвѣстно.

Глинкѣ на долю выпали свѣтлые дни, но и пасмурные. Послѣднихъ болѣе. Первые встрѣчалъ онъ безъ самозабвенія, но съ умиленіемъ и благодарностью къ Промыслу; другіе—съ покорностью и молитвою. Наконецъ, что осталось изъ всей этой долгой жизни, болѣе или менѣе примыкавшей къ безпрерывному ряду замѣчательныхъ и великихъ событій, на которыя отвѣчалъ онъ частью сочувствіемъ, частью посильною дѣятельностью? Почти всѣ первостатейные дѣйствователи сихъ исполинскихъ переворотовъ и самыя событія перешли уже въ исторію. Въ тишинѣ и въ тѣни вотъ и самъ Глинка сошелъ въ могилу. Что же осталось по немъ? Нѣсколько добросовѣстныхъ и полезныхъ

трудовъ, нѣсколько частныхъ, добрыхъ дѣлъ, которыхъ слѣди можетъ быть давно уже остыли на землѣ, но которымъ счетъ ведется въ своемъ мѣстѣ. Вотъ и все! Нѣтъ остается еще одно, которое онъ послѣ отечества, или наравнѣ съ нимъ, любилъ болѣе всего въ мірѣ, ибо оно въ отечествѣ было для него священнѣйшею его собственностью, тѣснѣйшею связью между имъ и родиною. Осталось еще по немъ многочисленное семейство, которому онъ былъ вождемъ, другомъ и опорою. Имущества за нимъ не было никакого. Еще въ молодости своей отказался онъ въ пользу сестры своей отъ маленькаго наслѣдства, полученнаго имъ по кончинѣ отца. Съ той поры до конца дней своихъ жилъ онъ и содержалъ себя и семейство трудами своими и монаршими щедротами, которыя также были наградою за полезную его дѣятельность.

Въ числѣ написаннаго имъ въ послѣднее время жизни его есть книга: *Русское чтеніе*. Изданіе опой не окупилось. Нѣсколько сотъ экземпляровъ этой книги лежатъ еще въ типографіи по неимѣнію средствъ выкупить ихъ. Съ полною довѣрчивостью призываемъ всѣхъ добрыхъ людей принести дань памяти Сергѣя Николаевича Глинки и почтить ее свидѣтельствомъ сочувствія къ участи тѣхъ, которыхъ онъ любилъ и для которыхъ постоянно трудился. Во всякомъ случаѣ, каждому покупщику книга окупится наслажденіемъ, неминуемо слѣдующимъ за содѣяніемъ добраго дѣла.

LXVI.

ВЗГЛЯДЪ НА ЛИТТЕРАТУРУ НАШУ ВЪ ДЕСЯТИЛѢТІЕ ПОСЛѢ СМЕРТИ ПУШКИНА.

1847.

I.

Одинъ изъ главныхъ недостатковъ нашей литтературы заключается въ томъ, что наши грамотные люди часто мало образованы, а образованные часто мало грамотны. У насъ такой сложился порядокъ, что образованность сама по себѣ, и грамотность сама по себѣ. Можно къ этому еще прибавить, что нерѣдко встрѣчается дарованіе, при которомъ нѣтъ ума, и умъ, при которомъ нѣтъ дарованія. У насъ вообще всего труднѣе сводить концы съ концами. Концы такъ врозь и такъ напряженно разрослись, что они расползаются, если захочешь ихъ приглать. По большей части пишутъ у насъ тѣ, которымъ писать нечего и не о чемъ. Тѣ, которымъ писать было бы о чемъ, не имѣютъ привычки или дичатся писать. Люди, не принадлежащіе къ разряду присяжныхъ писателей, боятся выставить себя на показъ, боятся причислить себя къ извѣстному ремеслу и вписаться въ извѣстный цехъ сочинительства. Сочинитель у насъ такая же отдѣльная личность, какъ напримѣръ зубной врачъ. Не достаетъ только вывѣски на мѣстѣ жительства, но подразумѣваемая вывѣска не менѣе того бросается всѣмъ въ глаза. Сочинитель не въ силахъ скидывать ее съ себя ни дома, ни на улицѣ, ни въ гостяхъ. Онъ какъ то и въ семьѣ своей сперва

сочинитель, а тамъ уже мужъ и отецъ. Это какой-то несмываемый первородный грѣхъ. Вообще многіе не любятъ чтобы именовали ихъ по званію, а не по настоящей ихъ личности. Каждый хочетъ непремѣнно быть Василіемъ Ивановичемъ, или Иваномъ Кузьмичомъ, а и того лучше его высокоблагородіемъ и его превосходительствомъ, но ужъ никакъ не господиномъ докторомъ, не господиномъ профессоромъ и т. д. Помню, напримѣръ, какъ князь Иванъ Михайловичъ Долгоруковъ жаловался мнѣ на покойнаго отца моего, который въ разговорѣ обыкновенно именовалъ его: господинъ вице-губернаторъ, когда онъ занималъ эту должность въ Пензѣ, а мой отецъ былъ генералъ-губернаторомъ Нижегородскимъ и Пензенскимъ. Видно, что это неудовольствіе крѣпко засѣло въ память и душу его; ибо оно отозвалось по минованіи многихъ лѣтъ. Пушкинъ также не любилъ слыть въ обществѣ стихотворцемъ и сочинителемъ. Таковымъ охотно являлся онъ въ кабинетѣ Жуковскаго или Крылова. Но въ обществѣ хотѣлъ онъ быть принимаемъ какъ Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Понимаю это. Но если уже и онъ, достигнувшій славы *сочинительствомъ*, какъ бы чуждался патента на нее, то каково же другимъ второстепеннымъ сочинителямъ, но людямъ разсудительнымъ, навязывать на себя эту цеховую бляху, только-что не подъ нумеромъ. Что-то похожее было и со мною. Однажды, лѣтомъ, заѣхалъ я на дачу къ графу Кутайсову, который жилъ тогда у тестя своего, свѣтлѣйшаго князя Лопухина. Пока я ожидалъ въ передней, чтобы доложили обо мнѣ, слышу, какъ старый и дребезжавшій голосъ хозяина дома спрашиваетъ: кто это пріѣхалъ? Какой-то женскій голосъ отвѣчаетъ громко, потому что князь Лопухинъ уже худо слышалъ: Вяземскій.—Какой Вяземскій? спрашиваетъ тотъ же старческій голосъ. И та же женская рѣчь раздается громогласно: сочинитель. Тутъ хотѣлось мнѣ ворваться въ комнату и также въ свою очередь прокричать: не сочинитель, ваша свѣтлость, а сынъ покойнаго пріятеля вашего, князя Андрея Ивановича Вяземскаго.

Сюда напрашивается еще слѣдующій разсказъ. Одинъ военный начальникъ строго выговаривалъ молодому подчиненному своему за то, что онъ занимается сочиненіями и печатаетъ себя

въ журналахъ. Что это вздумалось тебѣ, говоритъ онъ: на это есть сочинители, а ты гвардейскій офицеръ. Выговоръ можетъ, разумѣется, показаться довольно странным, но онъ не лишенъ нѣкотораго основанія, и по общимъ принятымъ понятіямъ объясняется, если не вполнѣ оправдывается. Знаменитый Манзони былъ почти того же мнѣнія, но въ другомъ отношеніи. Онъ говорилъ мнѣ въ Миланѣ, въ 1835 году, что со временемъ званіе писателя совершенно упраздпится и сольется со всѣми другими званіями, потому что способность писать и привычка отдавать себя въ печать, когда нужно будетъ, общія принадлежности всѣхъ образованныхъ людей. А надѣяться должно, что со временемъ всѣ люди будутъ болѣе или менѣе образованны. Изъ того, разумѣется, не слѣдуетъ, что всѣ будутъ поголовно поэты и отличные прозаики, какъ и нынѣ въ числѣ словесныхъ тварей не всѣ Демосѳены и Цицероны. Дѣло только въ томъ, что авторство и письменность не будутъ особенностію и почетнымъ исключеніемъ. Мы уже видимъ, что на Западѣ многіе, не принадлежащіе къ кастѣ такъ-называемыхъ литераторовъ, пишутъ и печатаютъ свои записки (mémoires), путевыя впечатлѣнія, письма и такъ далѣе. Они литературою такъ-сказать не промышляютъ и не живутъ, но все-таки они сподвижники въ дѣлѣ книгопечатанія и признаютъ Гуттенберга своимъ предкомъ. Дѣло въ томъ, что они просто люди грамотные и пользуются грамотою, какъ общимъ человѣческимъ достояніемъ и домашнимъ орудіемъ.

Между тѣмъ когда на Западѣ грамотность или письменность вообще распространяется, творенія собственно литературныя падаютъ болѣе и болѣе. Въ то самое время, когда литераторы перерождаются въ публицистовъ и въ политическія лица, выдѣлывая изъ литературы, то-есть изъ журналистики, ступень для достиженія парламентской трибуны, а отъ нея префектуры или министерскаго кресла, политическія лица, депутаты, министры силою обстоятельствъ и общаго давленія втягиваются въ журнальную и письменную дѣятельность. Тамъ рѣдко найти литератора, который былъ бы не что иное какъ литераторъ и довольствовался бы этимъ званіемъ. Исключеній такъ мало,

что они въ счетъ не входятъ. Изъ извѣстныхъ мнѣ во Франціи можетъ быть и есть только одно исключеніе, достойное особенной отмѣтки—это Сентъ-Бевъ [1]). Едва-ли не онъ одинъ остался вѣренъ свободному, безкорыстному и наслѣдственному служенію Еще назвать могу одно исключеніе, которое встрѣчалъ я въ Парижѣ и въ Римѣ, а именно поэта булочника Ребуля (Reboul). Это замѣчательная личность и по дарованію, и по добродушію и нравственнымъ качествамъ. Впрочемъ, позднѣе и онъ былъ оторванъ отъ хлѣба насущнаго и отъ хлѣба духовнаго, но не на долго: онъ былъ въ округѣ своемъ избранъ въ члены представительнаго собранія. Впрочемъ, куда ни посмотри, въ Англіи, въ Германіи, а въ особенности во Франціи литература нынѣ не что иное, какъ средство и орудіе. Нѣкогда могучая и самобытная Республика письменъ (la république des lettres) занимаетъ въ настоящее время въ статистикѣ всемірной мѣсто едва ли не уступающее въ значеніи и силѣ республикѣ Санъ-Марино, которую не замѣтилъ и слѣдовательно не проглотилъ и самъ Наполеонъ I. Все, что нынѣ читается съ жадностію, развѣ это литература въ прежнемъ смыслѣ этого слова? Священнослуженіе обратилось болѣе или менѣе въ спекуляцію и промышленность. Кто нынѣ пишетъ поэмы? Куда дѣвалась трагедія? Сколько различныхъ родовъ піитики и статей литературнаго уложенія пропало безъ вѣсти! Историческія творенія, какъ пишутъ ихъ нынѣ Тьеръ, Ламартинъ, Луи-Бланъ, Мишле, даже литературные курсы, какіе преподаются, напримѣръ, Парижскими профессорами, развѣ все это чистая и безкорыстная литература? Вездѣ изъ подъ литературной оболочки проглядываютъ политика,

---

[1]) Эти строки были написаны тому четверть вѣка и болѣе. Въ то время зналъ я Сентъ-Бева въ салонѣ г-жи Рекамье. Тогда былъ онъ между прочимъ поклонникомъ, послушникомъ и почти прислужникомъ Шатобріана. По смерти г-жи Рекамье и его, онъ измѣнилъ своему чистому призванію и своимъ вѣрованіямъ. Онъ издалъ большую книгу о Шатобріанѣ, или скорѣе противъ Шатобріана Онъ сжегъ то, что прежде обожалъ. Во время второй имперіи онъ назначенъ былъ сенаторомъ; но впрочемъ и тутъ, надобно сказать правду, умѣлъ онъ при всемъ этомъ сохранить нѣкоторую независимость, оставался литераторомъ и написалъ нѣсколько превосходныхъ критическихъ и біографическихъ статей.

Позднѣйшее примѣчаніе Автора.

духъ партій, задніе мысли, гражданскія и соціальныя утопіи и прочее вовсе не литературное. Тутъ вспомнишь Крылова:

Сосѣдъ сосѣда звалъ откушать,
Но умыселъ другой тутъ былъ,

И прибавишь:

Сосѣдъ политику любилъ
И звалъ политики послушать.

Исторія, романъ, поэзія, все это перегорѣло въ политическій памфлетъ разныхъ видовъ, цѣлей и размѣровъ. Все это можетъ быть и потребность или прихоть времени. Вовсе не слушать этихъ потребностей и прихотей — неумѣстно и невозможно. Вполнѣ побѣдить ихъ трудно, но слѣпо прислуживать имъ и рабски повиноваться не слѣдуетъ. Во Франціи о литературѣ даже почти не упоминается. Это слово вытѣснено другимъ: la presse, т. е. *печатность*. Выраженіе матеріальнаго значенія замѣнило выраженіе, имѣвшее болѣе нравственное значеніе. Это не случайность, а полный смысла признакъ настоящаго времени. Вещественность поборола духовность и побѣжденная не иначе можетъ проявляться, какъ подъ знаменемъ своей побѣдительницы. Еще за двадцать-пять лѣтъ тому Вальтеръ-Скоттъ, Байронъ, Манзони были явленія возможныя. Голосъ ихъ раздавался во всѣхъ концахъ образованнаго міра. Новый романъ — и замѣтьте романъ не политическій, не соціальный, — новая поэма, новая драма были событія въ общественной жизни. Они возбуждали повсемѣстное вниманіе и сочувствіе. Старикъ Гёте читалъ и изучалъ мелодію Байрона, Байронъ изучалъ Гёте; о публикѣ, о большинствѣ образованныхъ читателей и говорить нечего. Великіе художники держали въ рукѣ своей умы и сердца очарованнаго ими поколѣнія. Нынѣ очарованія нѣтъ. Времена чародѣевъ минули Сила и владычество вымысла и художественности отжили свой вѣкъ. Ремесленники слова этому радуются и празднуютъ паденіе идеальныхъ предшественниковъ. Капища опустѣли, говорятъ они: теперь на нашей улицѣ праздникъ. Спросимъ: многіе-ли нынѣ пишутъ потому, что въ груди ихъ волнуются и роятся образы, созвучія, которые невольно и побѣдительно просятся въ формы, въ картину, въ жизнь искус-

ства, въ отвлеченное, но живое возсозданіе міра, жизни духовной и вмѣстѣ съ тѣмъ жизни дѣйствительной? Кто нашетъ для того, что ему въ силу воли и закона природы необходимо и сладостно разрѣшиться отъ бремени таящагося и зрѣющаго въ груди его? Гете, Шиллеръ были бы очень неумѣстны въ нынѣшней Германіи. Имъ было бы неловко и какъ-то совѣстно. Можно предположить сбыточность всѣхъ возможныхъ преобразованій въ Италіи, но есть ли возможность предположить, что въ ней явятся новый Тассо, новый Аріосто? Тотъ же Манзони, написавъ одинъ превосходный романъ, заперся въ молчаніи своемъ. Вольтеръ, Ж. Ж. Руссо и другія знаменитости, старшая вѣтвь литтературнаго дома, безсознательно подготовившіе нынѣшнюю Францію, возвратись они на землю, не признали бы законными наслѣдниками своими младшую вѣтвь, воцарившуюся во Французской литтературѣ. Вольтеръ и Руссо отреклись бы отъ потомковъ своихъ.

Мы видимъ, что желѣзныя дороги частью уже упразднили, а со временемъ и окончательно упразднятъ бывшія путевыя сообщенія. Другія силы, другіе пары давно уже уволили огнекрылатаго коня, который ударомъ копыта высѣкалъ животворные потоки, утолявшіе благородную и поэтическую жажду многихъ поколѣній. Нынѣ Пегасъ — таже кляча Росинантъ, на которой разъѣзжалъ рыцарь печальнаго образа, и поэтъ въ наше время едва-ли не тотъ-же Донъ-Кихотъ.

II.

Мы по привычкѣ своей нѣсколько уклонились отъ предназначеннаго себѣ пути. Увлекаясь проселочными дорожками, мы невольно и незамѣтно для себя забрались въ чужія отъѣзжія поля. Что́ же дѣлать, если эти сосѣднія поля болѣе заманчивы чѣмъ наши? Тамъ есть гдѣ разгуляться, гдѣ поохотиться. Тамъ болѣе простора, болѣе поживы. А впрочемъ сказанное нами о литтературахъ иностранныхъ можно приблизительно примѣнить и къ нашей. Разница между ними въ оттѣнкахъ и во времени. Если сходство не вполнѣ обозначается сегодня, оно можетъ

обозначиться завтра. Атмосферическіе токи сообщаются и переносятся повсюду съ неотразимою силою. Литтература наша сбивается немножко на провинціальную щеголиху, которая обновляетъ на себѣ моды, въ столицахъ уже нѣсколько изношенныя.

Теперь возвратимся къ своимъ рубежамъ, или *острогамъ* (охотничье выраженіе). Мнѣніе Мапзони, нами вышеприведенное, о переходѣ литтературы изъ частной среды въ общій разливъ, такъ что уже трудно будетъ размежевать чрезполосныя угодья и обозначить столбами гдѣ кончается литтература и гдѣ начинается жизнь, или обратно, если это мнѣніе вполнѣ и осуществится, когда-нибудь и гдѣ-нибудь, то во всякомъ случаѣ у насъ гораздо позднѣе, нежели у другихъ. На это много очевидныхъ причинъ. У насъ литтература не слишкомъ разнообразна и богата. Какъ же надѣяться, чтобы она могла скоро разлиться чрезъ край и оросить дальнія окрестности и оплодотворить новыя жатвы. Жизнь наша пока еще мало жизненна. Писатели наши, за рѣдкими исключеніями, не только по старымъ предразсудкамъ общества, но и по собственнымъ предубѣжденіямъ живутъ черезъ-чуръ особнякомъ. По какимъ то стремленіямъ къ худо понимаемой независимости, по какой-то ложной гордости, многіе изъ нихъ не хотятъ повиноваться условіямъ того, что называется, и впрочемъ того, что есть въ самомъ дѣлѣ, высшимъ обществомъ. Что же выходитъ изъ этого горделиваго отщепенства? Послѣдствія прискорбныя! Писатели остаются въ сторонѣ. Литтература, живая сила, относится ими на второй, или нерѣдко и задній планъ, а потому и передаютъ намъ они наблюденія, впечатлѣнія такъ-сказать изъ вторыхъ и третьихъ рукъ. Пожалуй иное иногда сказано и красиво, и ловко, по нѣтъ жизни, потому что между писателями и жизнью углубилась бездна Жизнь дѣйствуетъ, волнуется, совершенствуется, ошибается мимо тѣснаго ихъ горизонта. Никогда не бываютъ они съ жизнію въ одномъ и равномъ діапазонѣ. Ученымъ изыскателямъ таинствъ науки и природы удаленіе отъ шума и столкновеній событій можетъ быть благопріятно, хотя, впрочемъ, оно и не есть необходимо. Мы видимъ, что Гумбольдтъ утренній труженикъ вмѣстѣ съ тѣмъ и вечерній, салонный и любезнѣйшій собесѣдникъ.

Писатель свѣтскій долженъ и самъ быть на полѣ дѣйствія и битвы. Онъ долженъ быть въ одно время и соглядатаемъ и бойцомъ. Онъ долженъ провѣрять умозрѣнія свои опытами дѣйствительности, и покорять дѣйствительность изслѣдованіямъ и разложенію своихъ умозрѣній.

Ничего нѣтъ забавнѣе доктринерскаго высокомѣрія нѣкоторыхъ писателей нашихъ, когда они съ жалостью и презрѣніемъ отзываются о легкомысліи, пустотѣ и недостаткѣ нравственныхъ началъ нашего высшаго или аристократическаго общества. Во-первыхъ, хочется спросить многихъ изъ нихъ: а вы почему это знаете? Во-вторыхъ, просить ихъ указать намъ на этихъ стоиковъ и квакеровъ нашего средняго общества, которые мужествомъ, и доблестью и смиреннымъ благочестіемъ могли бы пристыдить слабодушіе и предосудительныя поползновенія грѣшниковъ высшаго общества? Гдѣ же эти литтературные труженики, эти бенедиктинцы, святые отцы науки, которые посвятили себя исключительно подвижничеству мысли и слова, собрали сокровища науки и, мимо высшаго общества, одни, сами собою, облагодѣтельствовали и просвѣтили Русскій міръ? Гдѣ они? Укажите, Бога ради. А пока не слѣдовало бы намъ ни въ какомъ случаѣ забрасывать другъ друга укоризнами и каменьями. Всѣ мы болѣе или менѣе грѣшны; но грѣхъ въ высшемъ обществѣ болѣе вѣжливъ, благообразенъ, сдержанъ. Притворство, ханжество (hypocrisie), сказалъ кто-то, есть дань порока, платимая добродѣтели. Спасибо и за это! Загляните у насъ въ литтературную жизнь: вы найдете тѣже уклоненія немощи, свихнутія, что и въ высшемъ обществѣ, потому что слабости и и страсти людскія искони тѣже и тѣже. Только въ высшемъ кругу эти изъяны, эти пятна прикрыты аттическимъ блескомъ, смягчены аттическою вѣжливостью. Молодая аристократія отправляется кутить къ Кулону, или Дюссо; молодая Русская грамотность забирается съ тою же цѣлью въ трактиръ Палкина, или въ какой-нибудь *Лиссабонъ* [1]). Одинъ суровый литтературный раскольникъ пенялъ молодому ученику, что онъ пробирается

[1]) Примѣчаніе. *Лиссабонъ*, говоритъ Мятлевъ въ описаніи Петергофскаго праздника, *не на бонъ*.

въ враждебный станъ и поклоняется чужому знамени; что же дѣлать, отвѣчалъ онъ: тамъ лучше кормятъ, послѣ обѣда предлагаютъ отличную сигарку, да и дамы какъ-то опрятнѣе.

Аристократическіе салоны не помѣшали Карамзину написать 12 томовъ Исторіи; Пушкину написать въ короткое время нѣсколько превосходныхъ произведеній. Напротивъ, можетъ быть — о ужасъ! — эти салоны способствовали развитію, разнообразію, окрѣпленію ихъ дарованія. Исключительный духъ товарищества, что-то въ родѣ замкнутаго заведенія, съуживаетъ понятія: тутъ не себя переносишь въ среду жизни, а жизнь переносишь въ свой заколдованный кругъ, окорочиваешь и заключаешь ее въ тѣсныхъ границахъ. Я былъ въ сношеніяхъ со многими, едва ли не со всѣми современными литераторами нашими. Изъ впечатлѣній и слѣдовъ, оставшихся на мнѣ отъ разговоровъ съ ними, глубже и плодоноснѣе врѣзалось слышанное мною отъ Карамзина, Дмитріева, Пушкина, Баратынскаго.

Писатель вездѣ болѣе или менѣе, а у насъ рѣшительно *болѣе*, ремесленникъ или волшебникъ, наемникъ или повелитель. Средняго мѣста ему въ обществѣ еще нѣтъ. Онъ стоитъ или выше или ниже другихъ. На него смотрятъ или съ чувствомъ снисходительнаго участія, похожаго на жалость, или съ какимъ-то слѣпымъ суевѣріемъ.

При такихъ условіяхъ и въ такомъ положеніи дѣла, Русская литература имѣетъ особенное значеніе и ей исключительно свойственный характеръ. Она не достигла еще того возраста, который пережила, или переживаетъ литература другихъ народовъ. Тамъ она во многихъ частяхъ, такъ сказать, перезрѣла; у насъ во всѣхъ частяхъ еще не дозрѣла. Тамъ она сила ветшающая; у насъ возрастающая. Тамъ она живетъ болѣе минувшимъ, привычками и сочувствіями, перешедшими къ ней въ видѣ преданій; у насъ живетъ она болѣе залогами и упованіями на будущее. Такъ и чувствуешь, что у нея еще многое впереди. Чѣмъ дѣйствія ея ограниченнѣе, тѣмъ болѣе должна она сосредоточиваться. Въ литературѣ нашей еще должно господствовать единодержавіе, или, по крайней мѣрѣ, литературная власть должна быть при-

надлежностью сильной и умной олигархіи. Литературная демократія, безначальство у насъ никуда не годится.

Власть, разбитая по многимъ рукамъ, власть, сошедшая съ вершинъ на плоскости, не умножаетъ внутренней силы литературы, а только роняетъ достоинство ея. Власть большинства рождаетъ посредственность. Плодущіе роды не всегда обозначаютъ сильную организацію. А изъ явившихся на свѣтъ иные оказываются мертворожденными, многіе не живучими. Власть должна оставаться достояніемъ немногихъ, но только была бы она зиждительна и законно устроена. Таковъ законъ природы и Провидѣнія. Великіе умы, высокія дарованія никогда и нигдѣ не родятся сплошь да рядомъ. Свѣтлыя историческія и литературныя эпохи имѣли всегда во главѣ своей немного избранныхъ и предназначенныхъ къ дѣлу представителей.

Великія истины воплощаются и проявляются всегда въ одномъ лицѣ, а отъ него уже развиваются по общинамъ поколѣній. Наши предки очень благоразумно выразили пословицу: Vox populi — vox Dei: гласъ Божій—гласъ народа. Оно тоже, да не тоже. Гласъ Божій передается изъ вѣка въ вѣкъ устамъ избранныхъ, и тогда глаголы ихъ усвояются народомъ. Но гласъ народа, то-есть толпы, не только не всегда бываетъ выраженіемъ вѣчной истины, но бо́льшею частію онъ голосъ предубѣжденій, голосъ лжи и слѣпыхъ страстей. Это не глаголы, а *слухи*. Многіе радуются, что развелись литографы и дагеротипы. Но, кажется, при этомъ можно бы пожалѣть о томъ, что не родятся давно Рафаэли и Корреджіо. Въ лучшія эпохи и у насъ литературная держава переходила какъ будто наслѣдственно изъ рукъ въ руки. На нашемъ вѣку литературное первенство долго означалось въ лицѣ Карамзина. Послѣ него олицетворилось оно въ Пушкинѣ. Въ настоящую минуту верховное мѣсто въ литературѣ нашей праздно. Наша эпоха отвѣчаетъ исторической эпохѣ нашего междуцарствія, смутъ и самозванцевъ. Въ этомъ безначаліи заключается второй важный недостатокъ нашей современной литературы. Разумѣется, есть и теперь дарованія блестящія, добросовѣстныя, но нигдѣ не выглядываетъ хотя бы литературный Пожарскій, который былъ бы такъ-сказать

предтечею и поборникомъ водворенія законной власти. Силы раздробленныя, второстепенныя не могутъ замѣнить силу полную и сосредоточенную. Нѣтъ направленія, нѣтъ стройнаго законнаго развитія. Направленіе къ разстройству, къ безпорядку мы не можемъ назвать направленіемъ; это развѣ уклоненіе. Владычество противозаконное не есть владычество, а насиліе. Куда ни посмотри, все болѣе или менѣе значительныя дроби. Нигдѣ нѣтъ самостоятельныхъ числительныхъ силъ, клонящихся къ одному общему и богатому итогу. Въ этомъ разумѣется никого винить нельзя. Никто при всемъ усердіи своемъ, никакая академія, никакое министерство просвѣщенія не можетъ выработать великаго поэта, великаго писателя, если нѣтъ на то воли Божіей. Но не менѣе того можно жалѣть о томъ,—и не безполезно принять это къ свѣдѣнію. Правду сказать, есть еще и въ наше время живая слава, которою мы гордиться можемъ. Есть поэтъ, который державствовалъ вмѣстѣ съ сильными владыками Русскаго слова. Онъ и теперь не утратилъ своего превосходства, но онъ имъ какъ будто не пользуется. Голосъ его раздается рѣдко, и то развѣ въ высшихъ поэтическихъ слояхъ литтературы. Въ общественную жизнь, въ ея ежедневное движеніе онъ всегда мало вмѣшивался. Нынѣ онъ и вовсе не вмѣшивается. Это Ахиллъ, который уединился въ свою ставку. Но отсутствіе его изъ стана нашего не останется для насъ безплоднымъ. Это должно служить намъ утѣшеніемъ.

III.

Въ послѣднее десятилѣтіе литтература наша какъ будто оскудѣла.

Лермонтовъ имѣлъ великое дарованіе, но онъ не успѣлъ, а можетъ быть и не умѣлъ вполнѣ обозначить себя. Лермонтовъ держался до конца поэтическихъ пріемовъ, которыми Пушкинъ ознаменовалъ себя при началѣ своемъ и которыми увлекалъ за собою толпу, всегда впечатлительную и всегда легкомысленную. Онъ не шелъ впередъ. Лира его не звучала новыми струнами. Поэтическій горизонтъ его не расширялся.

Лермонтовъ остался Русскимъ и слабымъ осколкомъ Байрона. Пушкинъ умѣлъ выродить изъ себя самобытнаго и настоящаго Пушкина.

Пушкинъ могъ иногда увлекаться суетными побужденіями, страстями, болѣе привитыми, чѣмъ, такъ сказать, самородными; но умъ его, въ нормальномъ положеніи, былъ чрезвычайно ясенъ, трезвъ и здравъ. При всѣхъ своихъ уклоненіяхъ, онъ хорошо понималъ истину и выражалъ ее. Съ этой точки зрѣнія онъ могъ уподобляться тѣмъ днямъ, въ которые, при сильныхъ порывахъ вѣтра и при волненіи въ нижнихъ слояхъ атмосферы, безоблачное небо остается спокойнымъ и свѣтлымъ. Въ Лермонтовѣ не было, или еще не было, этой невозмутимой ясности, которая способствуетъ поэту вѣрно воспринимать внѣшнія впечатлѣнія и также вѣрно отражать ихъ на другихъ. Бури Пушкина были бури внутреннія, бури Лермонтова—болѣе внѣшнія, театральныя, заимствованныя и такъ-сказать заказныя, то-есть онъ самъ заказывалъ ихъ себѣ. Въ природѣ Лермонтова не было всеобъемлемости и разнообразія природы Пушкина. Въ томъ и другомъ была въ высшей степени развита поэтическая впечатлительность, воспріимчивость и раздражительность, доходящая до болѣзненности; можетъ быть, сближались они и въ высокомъ художественномъ чувствѣ. Но въ одномъ изъ нихъ не было той творческой силы, того глубокаго и проницательнаго взгляда, безстрастія и равновѣсія, которые такъ сильно выказались въ нѣкоторыхъ изъ твореній другаго поэта. Въ созданіяхъ Пушкина отражается живой и цѣлый міръ. Въ созданіяхъ Лермонтова красуется предъ вами міръ театральный съ своими кулисами и суфлеромъ, который сидитъ въ будкѣ своей и подсказываетъ рѣчь, благозвучно и увлекательно повторяемую мастерскимъ художникомъ.

Какъ бы то ни было, преждевременный конецъ Лермонтова оставляетъ не разрѣшеннымъ вопросъ: могъ ли бы онъ со временемъ замѣстить Пушкина вполнѣ? По моему мнѣнію: вѣроятно нѣтъ. Оно можетъ быть и ошибочно,—не спорю; но, по крайнему разумѣнію моему, я указалъ на причины, которыя никогда не дали бы Лермонтову достигнуть высоты, занятой Пушкинымъ.

IV.

Не позволю себѣ и вовсе не желаю оскорбить ничье самолюбіе. Охотно и съ полнымъ сознаніемъ скажу, что и послѣ Пушкина встрѣчаются у насъ дарованія: святое мѣсто не совсѣмъ опустѣло. Но ссылаюсь на добросовѣстное рѣшеніе и единомышленниковъ, и противниковъ нашихъ въ дѣлѣ литературномъ и спрошу ихъ: выдается ли въ наше время личность, облеченная, по высокому дарованію своему, властью законною и, такъ сказать, державною, предъ которою преклоняются и соискатели власти и большинство грамотнаго народонаселенія? Единогласнымъ отвѣтомъ будетъ: нѣтъ! О властяхъ незаконныхъ, о самозванцахъ, какъ-бы они удачно и блистательно ни разыгрывали роли своей, мы пока говорить не будемъ.

Нынѣ болѣе заботятся о переломкѣ стараго, нежели о воздвиженіи новаго: на это силъ не хватаетъ. Переломки, перестройки могутъ быть иногда допущены, даже иногда полезны. Но при этомъ нужны зодчіе, которые сооружали бы новыя зданія на мѣсто разрушенныхъ. Однимъ ломомъ въ рукѣ можно повалить Кремлевскую стѣну, но не выстроишь ни одной лачуги. На развалинахъ завестись домикомъ и хозяйничать трудно. При этой литературной ломкѣ мы словно кочуемъ, а осѣдлости не имѣемъ. Нынѣ ученіе, правила, образцы, созданные авторитетами, частью ниспровергнуты, а сами авторитеты поколеблены и сбиты съ мѣста. Анархія вторглась даже въ установленное правописаніе. Кто раньше всталъ да перо взялъ, тотъ и коверкаетъ все по-своему. А на всякое коверканье сыщется много подражателей и помощниковъ. Каждый хочетъ отличиться своею импровизированною наугадъ орѳографіею. Каждый спѣшитъ внести свой кирпичикъ въ это новое Вавилонское столпотвореніе. Русскій языкъ, правописаніе его пестрятъ такъ, что въ глазахъ зарябитъ. Какъ-будто коренныя начала, основы языка уже не положены и не освящены именами: Ломоносова, Карамзина, Пушкина. Они писали не наобумъ, а обдумывали, взвѣшивали каждое слово, чуть ли не каждую букву, отдавая себѣ ясный отчетъ въ каждомъ движеніи пера.

Когда Карамзинъ писалъ свое послѣднее стихотвореніе: *Освобожденіе Европы, 1814 г.*, онъ прочелъ мнѣ слѣдующіе стихи:

Какъ трудно общество создать!
Оно устроилось вѣками;
Гораздо легче разрушать
Безумцу съ дерзкими руками.

и спросилъ меня, какъ по-моему лучше сказать: „Безумцу дерзкими руками", или „съ дерзкими руками"? Я указалъ на первый оборотъ. Нѣтъ, — отвѣчалъ онъ, — второе выраженіе живѣе и изобразительнѣе. — Такъ оно и есть. Частица *съ* олицетворяетъ безумца. Вообще, за весьма рѣдкими исключеніями, нововведенія въ правописаніе признакъ или тщеславія, гоньбы за пустымъ отличіемъ, или, что́ почти тоже, признакъ умничанья, чтобы не сказать глупости. Благоразумнѣе держаться обычая, если онъ даже и не совершенно правиленъ. Новая рѣчь наша также испещряется нерѣдко заимствованіемъ чужеязычныхъ словъ, вовсе непужныхъ намъ и имѣющихъ на нашемъ языкѣ слова имъ соотвѣтственныя. Карамзина упрекали въ излишествѣ галлицизмовъ. Но въ сравненіи съ нынѣшними галломанами, онъ едва ли не другой Шишковъ, старовѣръ стараго слога. Дмитріевъ говоритъ, что новые писатели учатся Русскому языку у лабазниковъ. Въ этомъ отношеніи виноватъ немного и Пушкинъ. Онъ совѣтовалъ прислушиваться рѣчи просвирней и старыхъ нянекъ. Конечно, отъ нихъ можно позаимствовать нѣкоторые народные обороты и выраженія, выведенные изъ употребленія въ письменномъ языкѣ къ ущербу языка; но притомъ наслушаешься и много безграмотности. Нужно имѣть тонкое и разборчивое ухо Пушкина, чтобы удержать то, что́ слѣдуетъ, и пропустить мимо то, что́ не годится. Но не каждый одаренъ, какъ онъ, подобнымъ слухомъ. Впрочемъ, онъ самъ мало пользовался преподаваемымъ имъ совѣтомъ. Онъ не любилъ щеголять во что бы ни стало простонароднымъ нарѣчіемъ. Умѣнье употреблять слова въ прямомъ и вѣрномъ значеніи ихъ, такъ, а не иначе, кстати, а не такъ, какъ попало, умѣнье, по видимому, очень не головоломное, есть тайна, извѣстная однимъ избраннымъ писателямъ: иныя прилагательныя слова вовсе не идутъ къ инымъ суще-

ственнымъ. Французы говорятъ про эти дикія сочетанія: des mots qui hurlent de se trouver ensemble, — слова, которыя воютъ при совокупленіи ихъ. У насъ съ нѣкотораго времени раздается этотъ вой.

V.

Пора сдѣлать намъ нужную оговорку. Мы доселѣ судили о чистой, такъ-называемой изящной литературѣ. На нее одну падаютъ наши замѣчанія. Между тѣмъ по справедливости должно сказать, что по другимъ отдѣленіямъ письменная дѣятельность оказываетъ у насъ несомнѣнные успѣхи. Собственно наука идетъ впередъ. По разнымъ отраслямъ ея издаются книги весьма замѣчательныя. Духовная словесность, которая донынѣ принимала слабое участіе въ общемъ движеніи, пробудила современное вниманіе многими трудами не только въ отношеніи нравственно-религіозномъ, но и въ отношеніи историческомъ и богословскомъ. Оффиціальная, правительственная литтература никогда не была такъ полна жизни, какъ нынѣ. Правительство раскрываетъ любознанію свои богатые запасы. Статистика, политическая экономія, дипломатика выходятъ на Божій свѣтъ изъ государственныхъ тайниковъ, въ которыхъ онѣ долго скрывались. Отечественная исторія обогатилась многими изслѣдованіями и отдѣльными сочиненіями. Ихъ такъ много, мнѣнія такъ различны и противоположны, что можно развѣ опасаться одного, чтобы излишними поясненіями не затемнили дѣла. Можно опасаться, чтобы грудами матеріаловъ не загромоздили уже пробитой дороги. Много представлено новыхъ смѣтъ и плановъ. Въ ожиданіи устройства новой дороги отвлекаютъ отъ прежней. За спорами дѣло стало. Карамзинъ, *не мудрствуя лукаво*, провелъ Русскую исторію широкими путями Провидѣнія. Многіе, которымъ показалось, что этотъ способъ слишкомъ простъ, силятся провести ее сквозь иглиныя уши особыхъ системъ. Въ молодежи эти попытки понятны. Самонадѣянность и алчность новизны непзмѣнныя, а въ нѣкоторомъ отношеніи и похвальныя свойства молодаго поколѣнія въ дѣлѣ жизни и науки. Узнавъ, что Пушкинъ пишетъ въ

деревнѣ своей трагедію: *Борисъ Годуновъ*, я просилъ его сказать мнѣ нѣсколько словъ о планѣ, который онъ предначерталъ себѣ. „Мой планъ,—отвѣчалъ онъ,—весь находится въ X и XI томахъ Исторіи Карамзина". Почти тоже сказалъ онъ и въ посвященіи труда своего памяти Исторіографа. Нѣкоторые критики ставятъ ему это въ порокъ. Мы находимъ въ этомъ новое свидѣтельство зрѣлости и ясности поэтическихъ понятій Пушкина. Если кто спросилъ бы Карамзина, когда готовился онъ писать Исторію: какому плану намѣренъ онъ слѣдовать? онъ могъ бы отвѣчать съ такимъ же чистосердечіемъ и глубокою мудростью: „мой планъ весь въ событіяхъ". Нынѣ пользуются событіями, чтобы изнасильничать ихъ: такъ поступаютъ, особенно, Французскіе новѣйшіе историки. Эта школа закладывается и у насъ. Разумѣется, исполненіе простаго плана не можетъ удовлетворить всѣмъ требованіямъ. Иные хотятъ, чтобы чрезъ всю исторію протянута была одна мысль, слышанъ былъ одинъ лозунгъ, на который откликались всѣ событія. И точно есть историки, которые сбиваются на водевильныхъ пѣвцовъ. Все клонится, натягивается на одинъ извѣстный припѣвъ. Они начинаютъ съ того, что приберутъ окончательный стихъ, а тамъ уже направляютъ мысли и выраженія къ заданному себѣ напѣву. Нѣтъ сомнѣнія, что и этотъ способъ можетъ имѣть и въ поэзіи и въ исторіи свое достоинство, но достоинство относительное, условное и особенно же *мѣстное* и *единовременное*. Беранже—великій поэтъ, даромъ, что тащитъ за собою неминуемый напѣвъ, какъ каторжникъ колодку, къ которой онъ прикованъ. Исторія въ родѣ Тьера и нѣкоторыхъ другихъ Французскихъ историковъ имѣетъ свою занимательность. Эти краснорѣчивыя адвокатскія записки въ пользу одного или другого рѣшенія политической задачи. Этотъ способъ можетъ еще быть употребляемъ въ историческомъ изложеніи извѣстной и опредѣленной эпохи. Тутъ какъ-нибудь можно еще, пополамъ съ грѣхомъ, насильно натягивать концы съ концами. Но въ Исторіи Россіи, и особенно же въ трудѣ Карамзина, который долженъ былъ начать съ того, чтобы изъ-подъ праха отыскать и возстановить событія, всякая натяжка, всякое заданное себѣ напередъ направле-

ніе лишили бы его возможности представить полную картину того, что́ было и какъ было.

Нѣкоторые обвиняютъ Исторію Карамзина въ томъ, что она не философическая; нужно бы напередъ ясно и внятно опредѣлить, что́ должно признавать философіею исторіи. Если подъ этимъ выраженіемъ должно подразумѣвать систему и обязанность съ заданной точки зрѣнія смотрѣть на событія, то его твореніе въ самомъ дѣлѣ не философическое. Но между тѣмъ должно приписать это не тому, что Карамзинъ не зналъ подобнаго требованія новѣйшихъ критиковъ, но тому, что, въ сознаніи яснаго и самобытнаго ума, онъ былъ выше этихъ требованій. Если же принять философію въ болѣе обширномъ и общечеловѣческомъ смыслѣ, т.-е. въ смыслѣ безстрастной и нелицепріятной мудрости, любви къ истинѣ и къ человѣчеству, возвышенной покорности предъ Промысломъ, то исторія его глубоко проникнута и одушевлена выраженіемъ этой философіи. Одна есть философія частнаго ума и опредѣленной эпохи, другая — выраженіе души безсмертной, опытности и мудрости вѣковъ. Политическій характеръ Исторіи Карамзина также вѣрно обозначенъ. Онъ можетъ не всѣмъ нравиться — это другое дѣло. Возлюбивъ Россію, Карамзинъ долженъ былъ полюбить и пути, которыми Провидѣніе привело ее къ той степени величія и могущества, которую нынѣ она занимаетъ. Карамзинъ не могъ не быть монархическимъ писателемъ въ высшемъ и безкорыстномъ смыслѣ этого слова, потому что Россія развилась, окрѣпла и сосредоточилась въ силу монархическаго начала. По этому пути нѣтъ у него нигдѣ ни натяжки, ни отступленія отъ добросовѣстности. Умъ его былъ ясенъ, сердце было чисто. Одинъ былъ чуждъ предубѣжденій и систематической односторонности, другое было чуждо лукавства и лести. Не опасаясь поколебать вѣрованіе въ правила, коихъ истина и святость были для него несомнѣнны, онъ нигдѣ не утаиваетъ ошибокъ, погрѣшностей и предосудительныхъ уклоненій власти, когда подлежатъ они суду историка.

Карамзинъ сдѣлалъ многое, но, разумѣется, не все историческое поле имъ прослѣдовано и прочищено. Оно еще не окончательно разработано. Еще много трудовъ впереди. Въ предисло-

вій въ Исторіи Карамзинъ сказалъ, что болѣе всего поддерживало его въ трудѣ: «надежда быть полезнымъ, то-есть сдѣлать Россійскую исторію извѣстнѣе для многихъ, даже и для *строгихъ его судей*". Надежда его вполнѣ сбылась. Хорошо дѣлаютъ *строгіе судіи* его, что, не слѣпо довѣряя ему, стараются новыми изысканіями и поясненіями отдѣльныхъ вопросовъ дополнить трудъ его и сдѣлать отечественную Исторію еще извѣстнѣе. Худо поступаютъ тѣ, которые, принимаясь за это дѣло, увлекаются излишнею самонадѣянностію и запосятъ оскорбительную руку на твореніе, которое все же пока остается у насъ единственнымъ памятникомъ и маякомъ въ области отечественной Исторіи. Нельзя безъ жалости и негодованія встрѣчать часто легкомысленные и даже презрительные отзывы, которыми оцѣнивается многолѣтній и добросовѣстный трудъ великаго писателя. Со стороны нѣкоторыхъ критиковъ эти отзывы не заслуживаютъ вниманія. Они теряются въ ничтожности обыкновеннаго ихъ пустословія. Но прискорбно видѣть, что въ этомъ отношеніи несовершенно безгрѣшны даже нѣкоторые изъ малаго числа нашихъ историческихъ дѣлателей, которыхъ заслуги не подлежатъ сомнѣнію. По крайней мѣрѣ имъ надлежало бы быть умѣреннѣе и признательнѣе. Ихъ любовь къ наукѣ, ихъ ученость и умъ не только давали имъ на это право, но ставили имъ это и въ обязанность. Кажется, Пушкинымъ было сказано о нѣкоторыхъ критикахъ Карамзина-историка: „они младенцы, которые кусаютъ грудь кормилицы своей".

Впрочемъ, какъ бы то ни было, всѣ эти розысканія, споры противоположныхъ мнѣній, гипотезы, разрѣшенія частныхъ вопросовъ, какъ они ни будь относительно полезны, все не даютъ же исторіи. Возвращаясь, послѣ долгаго отступленія, къ основному началу нашей статьи, намъ все-таки остается замѣтить и сожалѣть, что какъ послѣ Пушкина не было у насъ великаго поэта, такъ послѣ Карамзина не было у насъ историка. Собиратели матеріаловъ, камнепосѣки — люди очень полезные и необходимые, но для сооруженія зданія нужны зодчіе, а зодчаго у насъ нѣтъ. Еще одно замѣчаніе: нынѣшніе исторические труды окажутъ свою дѣйствительную пользу въ будущемъ. И въ этомъ

отношеніи они драгоцѣнны. Нынѣ они, по сухости и частности своей, вообще недоступны и безплодны для большинства читателей. Спеціяльные люди занимаются разработкою нашей исторіи, но публика не въ состояніи вникать въ эти труды и слѣдовать за ними. Публикѣ нужны не догадки, не гипотезы, не матеріалы, а нужно что-нибудь цѣлое, стройное, художественное. Нѣтъ сомнѣнія, и нельзя о томъ не соболѣзновать, что съ того времени, какъ самыя начала исторіи нашей снова приведены въ спорную статью, что довѣріе къ труду Карамзина потрясено разнородными требованіями, новое поколѣніе читателей—не говорю производителей—хуже знаетъ нашу исторію, нежели знали ее за двадцать лѣтъ тому.

Распространившись здѣсь о Карамзинѣ, мы, впрочемъ, не отступили отъ первоначальной мысли нашей и отъ задачи, которую себѣ положили. Отсутствіе Карамзина и Пушкина живо обозначаютъ нашу нынѣшнюю литтературную эпоху, эпоху переходную, какъ мы надѣемся. Какъ ни были разнообразны между собою дарованія обоихъ писателей, а равно и направленія ихъ, нерѣдко даже и противоположны, но Пушкинъ едва ли не болѣе всѣхъ другихъ писателей нашихъ родственно примыкаетъ къ Карамзину и является прямымъ и законнымъ наслѣдникомъ его. Какъ тотъ, такъ и другой были наиболѣе вліятельными и господствующими писателями своихъ эпохъ. Въ нихъ сосредоточивались литтературная сила и власть. А что ни говори, и *въ республикѣ письменъ* (république des lettres) нужна глава, нуженъ президентъ. У многихъ нянекъ дитя безъ глаза, а здѣсь, пожалуй, безъ языка. Избранный писатель, увлекая дѣятельностью и производительностью своею, вмѣстѣ съ тѣмъ нечувствительно и неосязательно налагаетъ примѣръ свой на другихъ. Онъ, кажется, одаренъ одною прелестью, но эта прелесть оказывается могуществомъ, неотразимымъ завоеваніемъ. Великій писатель, на зло выдуманной Тьеромъ политической аксіомѣ: le roi règne et ne gouverne pas, въ одно время и царствуетъ и управляетъ: онъ царствуетъ потому, что управляетъ, и управляетъ потому, что царствуетъ.

VI.

Въ это послѣднее время литтература переродилась въ журналистику. Уже давно сатирикъ князь Горчаковъ сказалъ:

„И наконецъ я зрю въ странѣ моей родной
Журналовъ тысячу, а книги ни одной".

Что же сказалъ бы онъ нынѣ?

Литтература, эта нѣкогда блестящая и богатая барыня, была, вслѣдствіе несчастныхъ обстоятельствъ, выжита изъ наслѣдственныхъ и роскошныхъ своихъ палатъ; волею-неволею вынуждена она перебраться въ заѣзжій домъ, въ шамбръ-гарни, и тамъ пробавлялась на мѣщанскомъ положеніи: обѣдать съ жильцами дома за общимъ столомъ, не слишкомъ опрятнымъ, а часто и малосытнымъ. Sic transit gloria mundi, сказалъ бы я, если хотѣлъ пощеголять дешевымъ знаніемъ Латинскаго языка. Но, къ прискорбію моему, я по латынѣ не знаю, хотя во время оно и усердно учился ей у знаменитаго профессора Буле и сохранилъ, въ старыхъ бумагахъ своихъ, цѣлыя тетради, писанныя мною съ молоду на Латинскомъ языкѣ. Дивлюсь имъ и не вѣрю глазамъ своимъ, гляжу на нихъ и узнаю свой почеркъ. Жизнь, послѣдствія ея и практическія, насущныя потребности жизни выбили изъ головы и памяти моей всю эту Латинскую премудрость.

Толстые журналы начали появляться и при Пушкинѣ. Но послѣ него они, не скажу подобрѣли, а, кажется, еще пожирѣли. Журналы—дѣло хорошее и полезное, но при соблюденіи нѣкоторыхъ условій. Журналы должны быть дополненіемъ къ литтературѣ, а не могутъ быть замѣною ея. Надобно начать литтературою и кончить журналистикою. У насъ журналистика стала впереди. Это безсмысленное завладѣніе чужою собственностью. Это самозванство. Журналы умѣстны и пригодны въ обществѣ уже образованномъ, зрѣло воспитанномъ на почвѣ свѣдѣній и науки. Тамъ служатъ они справочными листками, вѣдомостями не о самой наукѣ, но о движеніи различныхъ отраслей ея, о новыхъ примѣненіяхъ ея къ дѣлу жизни, къ дѣлу дѣйствительности. Тамъ никто не учится по журналамъ, а на-

сущно доучивается, потому что каждый день, каждый шагъ чему-нибудь дополнительно доучитъ и къ чему-нибудь новому поведетъ. Въ обществѣ, еще мало образованномъ, исключительное, всепоглощающее господство журналистики имѣетъ свою вредную сторону. Журналы кое какъ бросаютъ сѣмена въ неприготовленную, неразработанную почву, даютъ огнестрѣльныя оружія въ руки, непаученныя какъ ими пользоваться. Нѣтъ книгъ, которыя требуютъ усидчиваго вниманія и труда и, такъ сказать, правильнаго и медленнаго пищеваренія. Жадности читателей кидаютъ статьи, которыя въ одинъ присѣстъ, въ одинъ глотокъ проглатываютъ. Молодежь, которая сама ничего не читала, кромѣ текущихъ журналовъ, пускается тоже въ журнальный коловоротъ, пишетъ статьи и учитъ тому, чему сама не училась, по той простой и естественной причинѣ, что она не училась ничему. Можно представить себѣ какіе слои, какіе пласты ошибочныхъ, ложныхъ и превратныхъ понятій и свѣдѣній, какая гуща невѣжества окончательно ложатся на умы молодыхъ поколѣній, которыя образуютъ себя на этой нездоровой почвѣ и питаются этими смѣшанными и мутными подонками.

Журналы пріобрѣли у насъ въ послѣдніе годы такое вліяніе, что стоитъ о нихъ поговорить еще обстоятельнѣе и пространнѣе. Во-первыхъ, замѣтимъ, что эта журналомапія, какъ въ отношеніи къ самимъ журналамъ, такъ и въ отношеніи къ порабощенію читателей, закабалившихъ себя съ своими понятіями, вѣрованіями, правилами тому или другому журналу, явленіе у насъ вовсе не самородное, а болѣе заимствованное и усвоенное по нашей привычкѣ и ловкости къ подражанію. Русская газета, Русскій журналъ пожалуй тоже, да совсѣмъ не то, что газета и журналъ, напримѣръ, Французскіе и Англійскіе. Журналистика на Западѣ, а особенно во Франціи, которая намъ болѣе извѣстна, есть въ самомъ дѣлѣ сила, общественное учрежденіе, истекающія изъ цѣлаго общественнаго и гражданскаго строя. Да и самая матеріальная, экономическая сторона журнала вовсе не та, что у насъ. Тамъ журналъ, газета—не единоличный органъ или проводникъ мнѣній. Они явленія и плоды товарищества умственнаго и денежнаго. Тѣмъ самымъ они пред-

ставители чего-то положительнаго и существеннаго, какъ въ теоріи и умозрѣніи, такъ и въ дѣйствительности и на практикѣ. Тамъ подобное товарищество, какъ и всякое другое, подчинено условіямъ и законамъ взаимной пользы, взаимнаго единомыслія. Тамъ оно связано выгодами или невыгодами предпріятія, дивидендами нравственнаго успѣха и успѣха денежнаго. Главные участники въ періодическомъ изданіи, вкладчики въ журнальный капиталъ, въ журнальную кассу имѣютъ непосредственный, или побочный голосъ въ дѣлахъ журнала, въ направленіи его, въ поддержкѣ и распространеніи тѣхъ или другихъ мнѣній и воззрѣній и въ ратоборствѣ съ мнѣніями и стремленіями противоположныхъ лагерей. Тамъ газета и журналъ водружаютъ политическое или литтературное знамя своего цвѣта, своего ополченія, потому что тамъ есть организованныя враждебныя силы, есть литтература болѣе или менѣе дѣятельная и воинственная (militante). Подъ этими знаменами вербуются новые рекруты, будущіе сподвижники, укрѣпляются во мнѣніи и служеніи своемъ старые бойцы и сослуживцы. Съ подобными журналами, отголосками общества, то есть того или другого большинства этого общества, и само общество и правительство могутъ и должны справляться, должны слѣдовать за движеніями и указаніями этихъ барометровъ. У насъ журналъ не можетъ имѣть ни того значенія, ни той важности. У насъ журналъ — не коллективная сила. У насъ первый Петръ Ивановичъ Добчинскій или первый Петръ Ивановичъ Бобчинскій можетъ завести журналъ, какъ завелъ бы онъ табачную лавочку. Разница только въ томъ, что для заведенія табачной или другой лавочки нужно предварительно имѣть все-таки какой-нибудь запасной капиталъ; а здѣсь сами потребители, покупщики-подписчики вносятъ заранѣе и на кредитъ деньги въ открывающуюся лавочку въ надеждѣ на товаръ и на будущія блага. Нельзя не замѣтить еще, что журналистъ Бобчинскій, до облаченія себя въ званіе журналиста, былъ или вовсе не извѣстенъ въ уѣздѣ своемъ, или не пользовался въ немъ никакимъ авторитетомъ, а только „пѣтушкомъ, пѣтушкомъ бѣгалъ за дрожками городничаго“ (*Ревизора* Гоголя). Никому,

разумѣется, не приходило въ голову обращаться къ нему за совѣтомъ, за руководствомъ въ томъ, или другомъ недоумѣніи, за сужденіемъ о правительственномъ или общественномъ вопросѣ. Но Бобчинскій-Добчинскій сдѣлался журналистомъ, и весь уѣздъ обращается къ нему съ благоговѣніемъ или страхомъ. Онъ переродился въ наставника, проповѣдника, пророка. Уѣздъ въ него вѣруетъ, имъ мыслитъ, имъ любитъ и ненавидитъ, имъ смотритъ и видитъ, имъ слушаетъ и слышитъ.

Благо, что заплатилъ я деньги, говоритъ подписчикъ, и теперь освобожденъ отъ труда и неволи ломать себѣ голову надъ разрѣшеніемъ того или другаго вопроса. Это дѣло журналиста отправлять черную работу, а мнѣ подавай онъ уже готовыя разрѣшенія.

И въ самомъ дѣлѣ умъ многихъ подписчиковъ такъ сказать на хлѣбахъ у журналиста. Стоитъ только присѣсть къ журналу и кушать.

Иная книга, и умно и дѣльно написанная, все же стоячая вода. Она и сама не двигается и другихъ не приводитъ въ движеніе. Журналъ и газета, источники, которые безпрерывнымъ цѣженіемъ, капля за каплею, пробиваютъ камень, или голову читателя, который подставилъ ее подъ ихъ подмывающее дѣйствіе.

Пушкинъ и самъ одно время, очень непродолжительное, былъ журналистомъ. Онъ на вѣку своемъ написалъ нѣсколько острыхъ и бойкихъ журнальныхъ статей; но журнальное дѣло не было его дѣломъ. Онъ не имѣлъ ни достойныхъ качествъ, ни погрѣшностей, свойственныхъ и даже нужныхъ присяжному журналисту. Онъ по крайней мѣрѣ во второмъ періодѣ жизни и дарованія своего не искалъ популярности. Онъ отрезвился и позналъ всю суетность ея, можно сказать, горечь этого упоенія. Журналистъ—поставщикъ и слуга публики. А Пушкинъ не могъ быть ничьимъ слугою. Срочная работа была не по немъ. Онъ принялся за журналъ вовсе не изъ литературныхъ видовъ, а изъ экономическихъ. Ему нужны были деньги, и онъ думалъ, что найдетъ ихъ въ журналѣ. Думалъ онъ, что совладаетъ съ журнальнымъ предпріятіемъ не хуже другаго. Не боги же об-

жигаютъ горшки. Нѣтъ, не боги, а горшечники; но онъ именно не былъ горшечникомъ. Такимъ образомъ онъ ошибся и обчелся и въ литтературномъ и въ денежномъ отношеніи. Пушкинъ тогда не былъ уже повелителемъ и кумиромъ двадцатыхъ годовъ. По мѣрѣ созрѣванія и усиливающейся мужественности таланта своего, онъ соразмѣрно утрачивалъ чары, коими опаивалъ молодыя поколѣнія и нашу безсознательную и слабоголовную критику. Подобное явленіе нерѣдко и въ другихъ литературахъ, а у насъ оно почти естественно. По этому предмету говорилъ Гнѣдичъ: „представьте себѣ на рынкѣ двухъ торговцевъ съѣстными припасами: одинъ на чистомъ столикѣ разложилъ слоеные, вкусные, гастрономическіе пирожки; другой на грязномъ лоткѣ предлагаетъ гречневики, облитые вонючимъ масломъ. Къ кому изъ нихъ обратится большинство покупщиковъ? Разумѣется, къ послѣднему“.

Пушкинъ не только не заботился о своемъ журналѣ съ родительскою нѣжностью, онъ почти пренебрегалъ имъ. Однажды прочелъ онъ мнѣ свое новое поэтическое произведеніе. Что же, спросилъ я, ты напечатаешь его въ слѣдующей книжкѣ? Да, какъ бы не такъ, отвѣчалъ онъ, pas si bête: подписчиковъ баловать нечего. Нѣтъ, я приберегу стихотвореніе для новаго тома сочиненій своихъ. Онъ въ послѣдствіи, когда запрягъ себя въ журнальную упряжъ, сердился на меня, что я навязалъ ему названіе *Современника*, при недоумѣніи его какъ окрестить журналъ. Обозрѣвая положеніе литтературы нашей по кончинѣ Пушкина, нельзя не замѣтить что съ развитіемъ журналистики народилась и быстро и сильно развелась у насъ литтература скороспѣлая, литтература и особенно критика на авось, на катайвалай, на à la diable m'emporte, на знай нашихъ, а ничего другаго и никакихъ другихъ мы знать не хотимъ. Любопытно было бы знать и опредѣлить, могла ли бы эта разпузданная, междуцарственная литтература и порожденная ею критика достигнуть при Пушкинѣ тѣхъ крайностей, которыхъ дошла она послѣ Пушкина. Едва ли. Самые ярые паѣздники наши, вѣроятно, побоялись бы, или постыдились его.

Въ этомъ предположеніи заключается сожалѣніе о томъ, чего

не могъ онъ додѣлать самъ, и о томъ, что было сдѣлано послѣ него и потому, что его уже не было.

VII.

А что сдѣлалъ бы онъ еще, если смерть не прекратила-бы такъ скоропостижно дѣятельность его? Грустно о томъ подумать. Его не стало въ самой порѣ зрѣлости и силы жизни его и дарованія. Сложенія былъ онъ крѣпкаго и живучаго. По всѣмъ вѣроятностямъ, онъ могъ бы прожить еще столько же, если не не болѣе, сколько прожилъ. Дарованіе его было также сложенія живучаго и плодовитаго. Неблагопріятныя обстоятельства, раздражавшія его по временамъ, могли бы улечься, и улеглись бы безъ сомнѣнія. Очистилось бы и небо его. Впрочемъ, не изъ тучи грянулъ и громъ, сразившій его. Въ Пушкинѣ и близкой средѣ, окружающей его, были залоги будущаго спокойствія и домашняго счастія. Жизнь своими самовластительными условіями и неожиданными превратностями нерѣдко такъ усложняетъ и перепутываетъ обстоятельства, что не каждому дается во-время и побѣдоносно справиться съ ними. Кто тутъ виноватъ? Что тутъ виновато? Не скоро доберешься до разрѣшенія этой темной и таинственной задачи.

Теперь не настала еще пора подробно изслѣдовать и ясно разоблачить тайны, окружающія несчастный конецъ Пушкина. Но во всякомъ случаѣ, зная ходъ дѣла, можемъ сказать положительно, что злорадству и злорѣчію будетъ мало поживы отъ безпристрастнаго изслѣдованія и раскрытія существенныхъ обстоятельствъ этого печальнаго событія.

Повторяемъ: Пушкинъ могъ бы еще долго предаваться любимымъ занятіямъ своимъ и содѣйствовать славѣ отечественной литтературы, и слѣдовательно самаго отечества. Движимый, часто волнуемый мелочами жизни, а еще болѣе внутренними колебаніями не совсѣмъ еще установившагося равновѣсія внутреннихъ силъ, столь необходимаго для правильнаго руководства своего, онъ могъ увлекаться, или уклоняться отъ цѣли, которую имѣлъ всегда въ виду и къ которой постоянно возвращался по-

слѣ переходныхъ заблужденій. Но при немъ, но въ немъ глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще въ разгарѣ самой заносчивой и треволненной молодости, въ вихрѣ и разливѣ разнородныхъ страстей, онъ нерѣдко отрезвлялся и успокоивался на лонѣ этой спасительной силы. Эта сила была любовь къ труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытѣснить изъ себя ощущенія, образы, чувства, которые изъ груди его просились на свѣтъ Божій и облекались въ звуки, краски, въ глаголы очаровательные и поучительные. Трудъ былъ для него святыня, купель, въ которой исцѣлялись язвы, обрѣтали бодрость и свѣжесть немощь унынія, возстановлялись разслабленныя силы. Когда чуялъ онъ палетъ вдохновенія, когда принимался за работу, онъ успокоивался, мужалъ, перерождался. Эта живительная, плодотворная дѣятельность иногда притаивалась въ немъ, но не на долго. Она опять пробуждалась съ новою свѣжестью и новымъ могуществомъ. Она никогда не могла бы совершенно остыть и онѣмѣть. Ни года, ни жизнь, съ испытаніями своими, не могли бы пересилить ее.

VIII.

Въ послѣднее время работа, состоящая у него на очереди, или на ферстакѣ (верстакѣ), какъ говаривалъ графъ Канкринъ, была исторія Петра Великаго.

Трудъ многосложный, многообъемлющій, почти всеобъемлющій. Это цѣлый міръ! Въ Пушкинѣ было вѣрное пониманье исторіи; свойство, которымъ одарены не всѣ историки. Принадлежностями ума его были: ясность, проницательность и трезвость. Онъ былъ чуждъ всѣхъ систематическихъ, искусственно составленныхъ руководствъ; не только былъ онъ имъ чуждъ, онъ былъ имъ враждебенъ. Онъ не писалъ бы картинъ по мѣркѣ и объему рамъ, заранѣе изготовленныхъ, какъ то часто дѣлаютъ новѣйшіе историки, для удобнаго вложенія въ нихъ событій и лицъ, предстоящихъ изображенію. Онъ не исторію воплощалъ-бы въ себя и въ свою современность, а себя

перенесъ бы въ исторію и въ минувшее. Онъ не задалъ бы себѣ урокомъ и обязанностію, во что бы то ни стало, либеральничать въ исторіи и философничать умозрительными анахронизмами. Пушкинъ былъ впечатлителенъ и чутокъ на впечатлѣнія; онъ былъ одаренъ воображеніемъ и, такъ-сказать, самоотверженіемъ личности своей, настолько, что могъ отрѣшать себя отъ присущаго и возсоздавать минувшее, уживаться съ нимъ, породниться съ лицами, событіями, нравами, порядками, давнымъ давно замѣненными новыми поколѣніями, новыми порядками, новымъ общественнымъ и гражданскимъ строемъ. Все это качества необходимыя для историка, и Пушкинъ обладалъ ими въ достаточной мѣрѣ. Исторія прежде всего должна быть такъ-сказать разумнымъ зеркаломъ минувшаго, а не переложеніемъ того, что̀ есть. Въ старину переводились у насъ иностранныя драмы *съ переложеніемъ на Русскіе нравы*, такъ что все выходило ложно: былъ искаженъ и подлинникъ, были искажены и изпаскулены нравы. Тоже бываетъ и съ исторіями, выкроенными по послѣднему образцу и по послѣднему вкусу, то-есть переложенными на новые либеральные нравы. Съ Пушкинымъ опасаться того было нечего. Онъ перенесъ бы себя во времена Петра и былъ бы его живымъ современникомъ; но былъ ли бы онъ законнымъ и полномочнымъ судіею Петра и всего, что̀ онъ создалъ? Это другой вопросъ. Не берусь рѣшить его ни въ утвердительномъ, ни въ отрицательномъ отношеніи. Замѣчу только, что нужно почти всевѣдѣніе, чтобы критически изслѣдовать всѣ преобразованія, совершенныя Петромъ, оцѣнить ихъ каждое особо и всѣ въ сложности ихъ и во взаимной ихъ совокупности. Живописецъ пишетъ картину съ природы и поражаетъ васъ естественною и художественною вѣрностью. Геологъ изучаетъ и возсоздаетъ ту же мѣстность что живописецъ; но онъ не довольствуется внѣшнею стороною почвы, и проникаетъ въ подспудныя таинства ея и выводитъ, опредѣляетъ непреложные законы природы. Историкъ долженъ быть живописецъ и геологъ. Одно изъ этихъ свойствъ было въ Пушкинѣ до высшей степени. Пушкинъ былъ великій живописецъ, но могъ ли онъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ историкомъ-геологомъ, другимъ историкомъ Кювье.

Тотъ изучилъ перевороты, перерожденія земнаго шара (des révolutions du globe) и едва ли не съ математическою вѣрностью опредѣлилъ ихъ свойства и значенія. Царствованіе Петра заключаетъ въ себѣ нѣсколько революцій, измѣнившихъ старый складъ и такъ-сказать ветхій Русскій міръ.

Пушкинъ оставилъ по себѣ опытъ историческаго пера въ своей исторіи Пугачевскаго бунта. Но это произведеніе одно эпизодическое повѣствованіе данной эпохи, можно сказать даннаго событія. Но и въ этомъ отношеніи трудъ его не столько исторія Пугачевскаго бунта, сколько военная исторія этого бунта. Авторъ свелъ въ одно стройное цѣлое военныя реляціи, военные дневники и матеріалы. Изъ нихъ составилъ онъ боевую картину свою. Но въ исторію событія, но въ глубь его онъ почти не вникнулъ, не хотѣлъ вникнуть, или, можетъ быть, что вѣроятнѣе, не могъ вникнуть, по внѣшнимъ причинамъ, ограничившимъ дѣйствіе его. Авторъ въ предисловіи своемъ говоритъ: „сей историческій отрывокъ составлялъ часть труда, мною составленнаго". Этими словами онъ почти опровергаетъ или, по крайней мѣрѣ, значительно ослабляетъ болѣе обширный смыслъ заглавія книги своей. Какъ отрывокъ, съ предназначенною цѣлью, онъ совершенно достигаетъ ея. При чтеніи убѣждаешься, что событія стройно и ясно вкладывались въ понятіе его и также стройно и ясно передаются читателю. Разсказъ вездѣ живой, но обдуманный и спокойный, можетъ быть, слишкомъ спокойный. Сдается, что Пушкинъ будто сторожилъ себя; наложенною на себя трезвостью, онъ будто силился отклонить отъ себя и малѣйшее подозрѣніе въ употребленіи поэтическаго напитка. Прозаикъ крѣпко на крѣпко заперъ себя въ прозѣ, такъ чтобы поэтъ не могъ и заглянуть къ нему. Впрочемъ такое хладнокровіе, такая мѣрность были естественными свойствами дарованія его, особенно когда выражалось оно прозою. Онъ не любилъ бить на *эффектъ*, des phrases, des mots à effet, какъ говорятъ и дѣлаютъ Французы. Можетъ быть, доводилъ это правило почти до педантизма.

У Пушкина, окромѣ Пугачевскаго бунта, найдутся еще другія произведенія, въ которыя исторія входитъ и вноситъ

свои вспомогательныя силы. Возьмите напримѣръ главы къ сожалѣнью не конченнаго романа: *Арапъ Петра Великаго*. Какъ живо и вѣрно обрисованы легкіе очерки Петра и современнаго и, такъ-сказать, насильственно создаваемаго имъ общества. Какъ увлекательно и могущественно переносятъ они читателя въ эту эпоху. Исторіи прагматической, исторіи политической, учебной исторіи здѣсь нѣтъ. Здѣсь мимоходомъ только, такъ-сказать, случайныя прикосновенія къ исторіи. Но сколько нравственной, художественной истины въ этихъ прикосновеніяхъ.—Это дополнительныя и объяснительныя картины къ тексту исторіи. Петръ выглядываетъ, выходитъ изъ нихъ живой. Встрѣча его съ любимымъ Ибрагимомъ въ Красномъ-Селѣ, гдѣ, увѣдомленный о пріѣздѣ его, ждетъ его *со вчерашняю дня*, можетъ быть, и даже вѣроятно, не исторически вѣрна, но—что важнѣе того—она характеристически вѣрна. Этого не было, но оно могло быть; оно согласно съ характеромъ Петра. съ петерпѣливостью и пылкостью его, съ простотою его обычаевъ и нрава. Тоже можно сказать объ аудіенціи, которую Петръ *на мачтѣ* новаго корабля даетъ пріѣзжему изъ Парижа молодому К.

Тутъ нѣтъ ни одной черты, которая измѣнила бы очертанію и краскамъ современнаго быта; нѣтъ ни единаго слова, которое звучало бы неумѣстно и фальшивою нотою. Вездѣ вѣрный колоритъ, вездѣ вѣрный діапазонъ. А неожиданный пріѣздъ Петра къ Гаврилѣ во время самаго обѣда и въ самый разгаръ сѣтованій о старомъ времени и укоризнъ на новые порядки. Сватовство дочери хозяина за любимаго имъ Араша, которое онъ принялъ на себя: все это живыя картины, а потому и вѣрныя. Гдѣ нѣтъ вѣрности, тамъ нѣтъ и жизни, а одна поддѣлка подъ жизнь, то есть именно то, что часто встрѣчается въ новѣйшихъ романахъ, за исключеніемъ Англійскихъ. Англичане такой практическій народъ, что и романы ихъ практическіе. Даже и въ вымыслѣ держатся они того, что есть или быть можетъ.

Оставляемъ въ сторонѣ прелесть романическаго разсказа, также живаго отголоска того, что есть и быть могло. Здѣсь имѣемъ въ виду одни свойства будущаго историка, одни по-

пытки, въ которыя онъ умѣлъ схватить, такъ сказать мимоходомъ, несомнѣнныя приметы историческаго лица, что, впрочемъ, доказалъ онъ и прежде въ изображеніяхъ своихъ Бориса Годунова, Димитрія Самозванца, Марины, Шуйскаго.

Въ *Капитанской дочкѣ* исторія Пугачевскаго бунта или подробности о немъ какъ-то живѣе нежели въ самой исторіи. Въ этой повѣсти коротко знакомишься съ положеніемъ Россіи въ эту странную и страшную годину. Самъ Пугачевъ обрисованъ мѣтко и впечатлительно. Его видишь, его слышишь. Можетъ быть, въ нѣкоторыхъ чертахъ авторъ нѣсколько *идеализировалъ* его. Въ его—странно сказать, а иначе сказать нельзя—простодушіи, которое въ немъ по временамъ оказывается, въ его *искренности* относительно Гринева, предъ которымъ онъ готовъ не выдаваться за Петра III, есть что-то напоминающее очеркъ Димитрія Самозванца, начертанный тѣмъ же Пушкинымъ. Но если нѣкоторыя подробности встрѣчаешь съ недоумѣніемъ, то основа цѣлаго и басня, на ней изложенная, вѣрны. Скажемъ опять: если оно было и не такъ, то могло такъ быть. Отъ крѣпости Бѣлогорской вплоть до Царскаго Села картина сжатая, но полная и мастерски воспроизведенная. Императрица Екатерина также удачно и вѣрно схвачена кистью мастера, какъ и комендантша Василиса Егоровна

А что за прелесть Марія! Какъ бы ни было, она принадлежитъ Русской былинѣ о Пугачевѣ. Она воплотилась съ нею, и отсвѣчивается на ней отраднымъ и свѣтлымъ оттѣнкомъ. Она другая Татьяна того же поэта. Какъ далеки эти два разнородные типа Русской женщины отъ Софіи Павловны, которую самъ Грибоѣдовъ назвалъ *негодяйкою*, и отъ другихъ *героинь-негодяекъ*, которыхъ многіе изъ повѣствователей нашихъ воспроизводятъ съ такою любовью, по образу и подобію привидѣній, посѣщающихъ ихъ разстроенное воображеніе. Разница между лицами, вымышленными фантазіею писателя съ дарованіемъ, и лицами, можетъ быть иногда и дѣйствительными, которыхъ писатели другаго разряда выводятъ на сценѣ или на страницахъ романа, заключается въ слѣдующемъ: первыя лица, небывалыя, безплотныя, мимолетныя, намъ съ первыхъ поръ кажутся знакомыми

и съ родни; мы тотчасъ входимъ съ ними въ сочувственныя отношенія; ихъ радость—наша радость, ихъ горе—наше горе. А другія лица, хотя и патентованныя, взятыя изъ живой среды, не только воплощенныя, но и плотныя, не прикасаются до насъ подъ кистью неумѣлаго живописца. Чѣмъ болѣе, чѣмъ далѣе мы въ нихъ всматриваемся, тѣмъ болѣе кажутся намъ они незнакомыми и несбыточными. Дѣло въ томъ, что въ лицахъ перваго разряда, то есть вымышленныхъ, есть истина, то есть художественная реальность; а въ лицахъ другаго разряда, домогающихся казаться реальными, есть ложь или отсутствіе дарованія, какъ не воспроизводи живописецъ каждую бородавку, каждое родимое пятнышко, каждую морщинку на лицѣ избраннаго имъ подлинника; въ подробностяхъ есть утомительная отчетливость, но въ цѣломъ нѣтъ оригиналовъ, нѣтъ жизни...

....Чѣмъ болѣе вникаешь въ изученіе Пушкина, тѣмъ болѣе убѣждаешься въ ясности и трезвости взгляда и слова его. Въ лирическихъ твореніяхъ своихъ поэтъ не прячется, не утаиваетъ, не переодѣваетъ личности своей. Напротивъ онъ какъ будто невольно, какъ будто безсознательно, весь себя высказываетъ съ своими завѣтными и потаенными думами, съ своими страстными порывами и изнеможеніями, съ своими сочувствіями и ненавистями. Тамъ, гдѣ онъ лице постороннее, а дѣйствующія лица его должны жить собственною жизнію своею, а не только отпечатками автора, авторъ и самъ держится въ сторонѣ. Тутъ онъ только соглядатай и сердцеиспытатель; онъ просто разсказчикъ и передаетъ не свои наблюденія, умствованія и впечатлѣнія. Часто повѣствователи держатся неотлучно при своихъ герояхъ, то есть при школьникахъ своихъ. Они передъ публикою подсказываютъ имъ понятія и чувства свои. Имъ все хочется проговориться и сказать публикѣ: это я такъ говорю, такъ мыслю, такъ дѣйствую, такъ люблю, такъ ненавижу, и проч. Ищите меня въ приводимыхъ мною лицахъ, а въ нихъ ничего не ищите. Они нули и только при моей всепоглощающей единицѣ они составляютъ какое-нибудь число. Отъ того повѣствованіе и при количествѣ лицъ, нагнанныхъ ими на

сцену, выходятъ однообразны и одноголосны, а слѣдовательно протяжны и скучны.

Если позволено нѣсколько опоэтизировать прозу дѣйствительности, то можно было бы сказать, что литтература наша обрекла себя на десятилѣтній трауръ по кончинѣ Пушкина. Вдова вся сосредоточилась и сама погребла себя въ утратѣ и скорби своей. Она уже не показывается въ праздничныхъ и яркаго цвѣта платьяхъ. Она ходитъ въ черной рясѣ, чуть ли не въ власяницѣ. Домъ ея затихъ и почти опустѣлъ. Новыхъ гостей не видать въ немъ. Изрѣдка посѣщаютъ его одни старые пріятели дома. Такъ и чуешь, такъ и видишь, что хозяина нѣтъ.

Теперь, какъ въ домѣ опустѣломъ,
Все въ немъ и тихо, и темно,
Замолкло навсегда оно:
Закрыты ставни, окна мѣломъ
Забѣлены.

Оно такъ, но надѣемся не *навсегда*. Срокъ продолжительнаго траура минуетъ. Домъ опять оживится. Вдова скинетъ траурную одежду свою. Можетъ-быть около входа въ домъ уже заглядываютъ въ него молодые посѣтители, можетъ быть и будущіе новые соперники оплакиваемаго властителя. Не будемъ предаваться унынію и безнадежному отчаянію. Посмотримъ, что скажетъ, что покажетъ намъ новое десятилѣтіе.

LXVII.

Ю. А. НЕЛЕДИНСКІЙ-МЕЛЕЦКІЙ.

1848 г.

I.

Воспоминанія мои о Ю. А. Нелединскомъ сливаются во мнѣ съ первыми воспоминаніями жизни моей. Онъ былъ однимъ изъ ближайшихъ друзей отца моего.

Мнѣ было тогда можетъ быть лѣтъ 10-ть или 11. Однажды вошелъ я неожиданно въ кабинетъ отца моего, который разговаривалъ съ Нелединскимъ. Вѣроятно разговоръ ихъ былъ на этотъ разъ мало назидательный и такого содержанія, что отецъ мой не желалъ, чтобы я могъ его подслушать; по крайней мѣрѣ таковымъ представилось мнѣ опасенье его, когда послѣ, въ лѣтахъ уже болѣе смышленыхъ, возобновились въ памяти моей слова, имъ тогда мнѣ сказанныя: „Послушай, Петруха, сказалъ онъ мнѣ, если уже тебѣ суждено быть повѣсой, то будь и имъ, какъ Нелединскій. Я знаю проказы его, но если при смерти моей нужно было бы мнѣ повѣрить кому-нибудь сестру твою, то я охотно и съ полнымъ убѣжденьемъ ему бы ввѣрилъ ее".

Отецъ мой былъ человѣкъ великаго ума и благороднѣйшихъ правилъ. Имѣю грустное право говорить о немъ съ искренностію, какъ о человѣкѣ постороннемъ. Въ моихъ словахъ нѣтъ ни сыновняго самохвальства, ни сыновняго пристрастія. Я лишился его въ такомъ возрастѣ, въ которомъ почти не

имѣлъ возможности вполнѣ оцѣнить его. Сужденье мое о немъ есть отголосокъ дошедшаго до меня преданья и заимствованное изъ сужденій многихъ людей замѣчательныхъ и почтенныхъ, коротко знавшихъ отца моего и съ которыми позднѣе случилось мнѣ сближаться въ жизни. Поэтому и мнѣніе его о Нелединскомъ, мнѣніе, сказанное, такъ сказать, мимоходомъ, запечатлѣно глубокимъ убѣжденьемъ и кидаетъ яркій свѣтъ на нравственныя качества припоминаемаго мною лица, и поэтому показалось мнѣ характеристикою замѣчательною и достойною сохраненія.

Нелединскій и отецъ мой сблизились въ молодости. Тогда вѣроятно, кромѣ взаимнаго сочувствія, нѣкотораго согласія въ правилахъ, во вкусахъ и наклонностяхъ къ умственнымъ занятіямъ, сблизили ихъ и случайности общественной жизни. Такія связи, тѣсно соединяющія молодыхъ людей, часто разрываются съ теченіемъ времени и силою обстоятельствъ. Но эта связь не была случайная и мимолетная. Она укрѣпилась временемъ и расторгнута была только смертью одного изъ нихъ. Отецъ мой скончался въ Москвѣ 20 апрѣля 1806 года. Нелединскій тогда жилъ также въ Москвѣ. Въ продолженіе болѣзни друга своего онъ не покидалъ его; въ предсмертные дни его не отлучался онъ отъ постели больнаго ни днемъ, ни ночью; подавалъ ему лекарства, ухаживалъ за нимъ съ нѣжною заботливостью и дружескими рѣчами своими успоконвалъ и услаждалъ предсмертныя страданія; во время отнѣванія тѣла усопшаго стоялъ онъ въ церкви близъ гроба его, смотрѣлъ съ любовію на трупъ и съ необычайною лаской руку, уже остывшую и онѣмѣвшую, жалъ въ рукѣ своей, какъ руку еще живую, которая могла бы нѣжнымъ сочувствіемъ отвѣчать на прикосновенія дружбы.

Слова, сказанныя мнѣ отцомъ моимъ, были отчасти оправданы. Въ послѣдствіи Нелединскій былъ назначенъ душеприкащикомъ его и опекуномъ надъ малолѣтными дѣтьми его.

Спустя нѣсколько лѣтъ, когда изъ возраста дѣтскаго переходилъ въ юношескій, я былъ свидѣтелемъ зрѣлища, которое такъ сильно врѣзалось въ памяти моей. Нелединскій былъ у

асъ вечеромъ. Мы тогда жили вмѣстѣ съ семействомъ Ка-
ихина, и жили открытымъ домомъ, куда по вечерамъ съѣз-
алось многочисленное общество, привыкнувшее къ гостепріим-
ому дому отца моего. Нелединскій разговаривалъ съ нами у
амина; вдругъ сдѣлалось ему дурно, но еще довольно тверд-
ымъ шагомъ перешелъ онъ первую комнату, такъ что не обратилъ
а себя вниманія прочихъ гостей. Я вышелъ за нимъ. Въ дру-
ой сосѣдней комнатѣ началъ уже онъ шататься. У меня такъ
ѣснило сердце и я такъ сробѣлъ, что не пришло мнѣ въ
олову подойти къ нему и поддерживать его. Дошедши до две-
ей онъ схватился за нихъ обѣими руками и тихо спустился
ъ полъ, развязалъ себѣ галстукъ, велѣлъ подать графинъ воды
вылилъ его себѣ на голову. Его постигъ ударъ паралича.
нъ не имѣлъ уже силъ встать и ходить; его перенесли ко
нѣ въ комнату, положили на диванъ и тутъ провелъ онъ у
съ двое сутокъ. Это была та самая комната и то самое мѣ-
о, на которомъ за нѣсколько лѣтъ передъ симъ скончался мой
ецъ. Не знаю, пришло ли ему на память это воспоминаніе, но
лова его осталась свѣжа и духъ остался бодръ. Онъ гово-
илъ, что ожидаетъ смерти и не страшится ея. Кромѣ легкаго
мѣшенья въ рукѣ и подверженности головокруженьямъ не
талось въ немъ вредныхъ послѣдствій болѣзни его и чрезъ
которое время онъ совершенно оправился.

Въ 1812 году, послѣ Бородинскаго сраженія, состояніе здо-
овья моего выпудило меня возвратиться въ Москву, но не на
олго. Наполеонъ выжилъ меня изъ нея. Судьба забросила меня
ъ Вологду. Туда же забросила она и Нелединскаго, который
акже держался въ Москвѣ до пельзя. Мы тамъ съ семей-
твами своими прожили нѣсколько мѣсяцевъ. Эта изгнаннича-
кая жизнь еще болѣе сблизила меня съ нимъ. Разность лѣтъ
ашихъ могла-бы служить препятствіемъ къ совершенному сбли-
енію. Но родовая пріязнь, обстоятельства, общее бѣдствіе, со-
ершенное отсутствіе развлеченія могли достаточно сгладить
ту неравность. Къ тому же въ свойствахъ Нелединскаго было
ного сочувственнаго молодости. Въ монхъ, судя по многимъ
пытамъ, и въ молодомъ моемъ возрастѣ, должно было быть

какое-то особенное сочувствіе съ лѣтами зрѣлыми. Это свойство уравнительности и уживчивости при противоположностяхъ сохранилось во мнѣ, примѣняясь къ ходу времени. Сочувствія мои и связи ни тогда, ни послѣ, ни нынѣ не справлялись и не справляются съ метрикою. Въ молодости моей я не скучалъ съ стариками и былъ въ пріятельскихъ связяхъ съ людьми гораздо меня старѣе. Нынѣ я не одичалъ для молодости. Не условныя и временныя соотношенія управляютъ моими личными чувствами и сближеніемъ съ людьми. У меня есть своя внутренняя и независимая оцѣнка. Изъ вещественнаго наслѣдства, оставленнаго мнѣ родителемъ моимъ, молодость и увлеченіе иное унесли. Но драгоцѣннѣйшую часть этого наслѣдства имѣлъ я счастье сохранить свято и ненарушимо. Со всѣми друзьями отца моего, его пережившими и знавшими меня въ дѣтствѣ, остался я въ пріязненныхъ отношеніяхъ. Многія изъ этимъ отношеній, перешедшихъ ко мнѣ, сдѣлались вдвойнѣ крѣпкими, т.-е. и наслѣдственными и благопріобрѣтенными. Сближеніе мое съ Нелединскимъ имѣло особенно это двоякое свойство.

Къ тому же, какъ поэтъ и страстно любившій стихи, онъ всегда сочувствовалъ новичкамъ на поэтическомъ поприщѣ. Онъ изъ первыхъ одобрилъ мои первые опыты, и, разумѣется, тѣмъ пріобрѣлъ довѣренность мою. Стихи мои, которые первоначально таплъ я отъ Карамзина, какъ дѣтскія шалости отъ строгаго наставника и какъ юношескія проказы отъ взыскательнаго судіи, встрѣчали въ Нелединскомъ благосклоннаго слушателя. Позднѣе отплачивалъ онъ мнѣ такою же довѣренностію. Въ Вологдѣ, когда онъ на досугѣ занимался пересмотромъ и переправленіемъ своихъ стихотворческихъ рукописей, онъ иногда требовалъ моего мнѣнія. Третьимъ литературнымъ посредникомъ между нами былъ въ это время преосвященный Евгеній. Часто собирались мы у него по вечерамъ. Умъ его разносторонній, многія и обширныя свѣдѣнія, рѣдкое добродушіе придавали этимъ бесѣдамъ особенную прелесть. Вообще литература была любимымъ развлеченіемъ нашимъ въ тяжкую осень 1812 года. Особенно, когда военныя дѣйствія приняли лучшій

оборотъ и съ освобожденіемъ Москвы отъ непріятеля сердце у насъ отлегло и чувство уныпія замѣнилось чувствомъ какого-то самодовольствія и торжественности, прежнія испытанія были забыты, а безопасность и слава отечества просвѣчивалась намъ въ несомнѣнномъ и близкомъ будущемъ. Вологодскій поэтъ Остолоповъ, заимствовавъ тогда счастливое и пророческое выраженіе изъ письма ко мнѣ А. И. Тургенева, заключилъ одно патріотическое стихотвореніе слѣдующимъ стихомъ:

Намъ зарево Москвы освѣтитъ путь къ Парижу.

Такимъ образомъ въ нашемъ Вологодскомъ захолустьѣ выведенъ былъ ясно и непогрѣшительно вопросъ, который въ то время могъ казаться еще весьма сомнительнымъ и въ глазахъ отважнѣйшихъ полководцевъ и въ глазахъ дальновидныхъ политиковъ. Не даромъ говорятъ, что поэтъ есть вѣщій. Могъ ли Наполеонъ вообразить, что онъ имѣлъ въ Остолоповѣ своего злаго вѣщаго и что отреченіе, подписанное имъ въ Фонтенебло въ 1814 году, было еще въ 1812 г. дѣло уже порѣшенное губернскимъ прокуроромъ въ Вологдѣ. Утромъ Нелединскій исправлялъ свои рукописи. Я читалъ Латинскихъ классиковъ подъ руководствомъ Московскаго профессора Шлецера, котораго Московская буря закинула также въ Вологду. Вечеромъ въ домѣ Нелединскаго читали мы или его стихи, или другихъ поэтовъ, которые попадались намъ подъ руку. За неимѣніемъ лучшаго, дошла очередь и до старика Николева. Помню однажды читали мы оду его въ честь любви, или женщинъ, на-вѣрное сказать не могу, и напали на стихъ: *Безъ женщинъ — мужчина скотъ.* „Ахъ! Боже мой“, забавно вскричалъ Нелединскій, прервавъ чтенье: „да за что же онъ ругается!“.. И въ самомъ дѣлѣ мы были тогда только двое въ комнатѣ, и оскорбительный приговоръ поэта неотвратимо падалъ на каждаго изъ насъ.

Послѣ пребыванія нашего въ Вологдѣ я уже рѣже встрѣчался съ Нелединскимъ. Онъ переѣхалъ въ Петербургъ, а я возвратился на пепелище родимой Москвы. Только изрѣдка и то на короткое время видался я съ нимъ, когда наѣзжалъ въ Петербургъ. И тогда находилъ я всегда въ немъ по прежнему

неизмѣнную память объ отцѣ моемъ и ласковое доброжелательство къ сыну его, но уже не могло быть привычной прелести прежняго сожительства.

Въ связи сношеній моихъ съ нимъ особенно памятны мнѣ три выставленныя мною эпохи. Потому и сблизилъ я ихъ въ одинъ вступительный разсказъ. Другія подробности о немъ и другія воспоминанія приведу далѣе, а можетъ быть возвращусь мимоходомъ и къ тѣмъ же эпохамъ, смотря по обстоятельствамъ и по расположенію начатой моей статьи.

II.

Нелединскій былъ особенно замѣчательный человѣкъ не столько дѣятельностію и событіями гласной жизни своей, сколько умственными и психическими явленіями жизни своей внутренней. Личность его можетъ быть болѣе предметомъ наблюденія и изученія, нежели разсказа и живописнаго изображенія. Въ умѣ его таилось много различныхъ способностей и призваній; въ душевныхъ свойствахъ обнаруживалось много силы, но и много противоположностей, со включеніемъ слабостей, которыя также при его пылкости облекались въ какую-то силу господства.

Это еще одна изъ тѣхъ многозначительныхъ и разносторонніхъ Русскихъ личностей, которой, при другихъ обстоятельствахъ и болѣе строгой распредѣлительности способностей, стало бы на образованіе нѣсколькихъ отличныхъ людей по отдѣльнымъ отраслямъ духовной дѣятельности. Въ немъ были зародыши и стихіи замѣчательнаго поэта, отличнаго воина, математика, возвышеннаго и мудраго государственнаго человѣка. Впрочемъ, всѣ эти зародыши и получили въ немъ до нѣкоторой степени развитіе и проявились въ дѣйствительности.

Онъ былъ нѣкогда военнымъ, не только именемъ, но и трудами. Какъ поэтъ онъ обратилъ на себя вниманіе современниковъ своихъ. Особенно пѣсни его пріобрѣли общенародную извѣстность. Пѣсня его: *Выйду я на рѣченьку* пѣта была и красавицами высшаго общества, и поселянками посреди полевыхъ трудовъ.

Нѣкоторыя изъ пѣсней его по вѣрности и страсти выраженнаго въ нихъ глубокаго, задушевнаго чувства остаются и понынѣ образцовыми въ своемъ родѣ, не смотря на прихотливыя измѣненія, послѣдовавшія въ нашемъ языкѣ. Онъ съ честью засѣдалъ въ правительствующемъ сенатѣ. Нѣкоторые изъ сужденій его и голосовъ, поданныхъ имъ при рѣшеніи замѣчательныхъ тяжебъ и уголовныхъ дѣлъ, памятны и нынѣ въ преданіяхъ судебнаго производства. Онъ любилъ науку и занимался ею, но болѣе про себя и для собственной отрады; особенно къ наукѣ чиселъ имѣлъ онъ природное влеченіе. Въ немъ была врожденная способность къ вычисленію. Она иногда проявлялась въ немъ и дѣйствовала, такъ-сказать, сама собою и безъ участія воли его и вѣдома. Въ минуты развлеченія, среди живаго разговора, онъ, напримѣръ, на балѣ невольно высчитывалъ, сколько всего въ залѣ горитъ свѣчей. Проѣзжая по улицамъ и думая совсѣмъ о другомъ, пересчитывалъ онъ число окопъ каждаго дома, мимо котораго проѣзжалъ. Ариѳметическія задачи рѣшалъ онъ мысленно или, лучше сказать, на-обумъ, но съ математическою непогрѣшительною вѣрностью. Это безсознательное, внутреннее производство, эту умственную механику примѣнялъ онъ даже къ самому стихотворству. Въ лѣта молодости его женщина, которую онъ страстно любилъ, Темира, имя, которое прославилъ онъ во многихъ стихотвореніяхъ своихъ, пѣла предъ нимъ однажды вечеромъ, знаменитый въ оное время, романсъ Колордо:

Lise, entends-tu l'orage etc.

Подали ужинать. Когда онъ велъ ее къ столу, она сказала ему, что пріятно было бы пропѣть этотъ романсъ на Русскомъ языкѣ. Сидя возлѣ нея за столомъ, онъ въ продолженіе всего ужина разговаривалъ и шутилъ съ нею. Между тѣмъ внутренняя механика тихомолкомъ дѣйствовала въ немъ. Вставъ изъ-за стола, продиктовалъ онъ ей Русскій переводъ:

Гроза насъ, Лиза, гонитъ и т. д.

Читатели найдутъ эту пѣсню въ полномъ собраніи стихотвореній его и должны будутъ признаться, что эта механическая поэзія довольно замѣчательна въ своемъ родѣ. Это нельзя назвать импровизаціею. Импровизація требуетъ вдохновенья, а

вдохновенье полновластно обладаетъ тѣмъ лицомъ, на которое снисходитъ. Здѣсь, напротивъ, поэта не было дома; онъ совсѣмъ другимъ занятъ былъ на сторонѣ.

Между тѣмъ, со всѣми этими способностями и дарованіями, Нелединскій едва ли означилъ себѣ блестящее и неотъемлемое мѣсто въ памяти народной; едва ли упрочилъ онъ себѣ одну строку въ исторіи. Развѣ только исторія Русской литтературы упомянетъ о немъ въ поголовномъ исчисленіи, и то не между первостепенными дѣлателями. Дѣло въ томъ, что онъ ни одной изъ своихъ способностей не преслѣдовалъ до конца, ни одной изъ нихъ не избралъ онъ исключительно орудіемъ и цѣлью своей нѣсколько распущенной дѣятельности. Дарованіе его не было упорнымъ трудомъ возвышено до самобытности творчества и художества. Умственныя способности не были имъ подчинены системѣ науки. Онъ не могъ, или не хотѣлъ приписаться, прикрѣпить себя исключительно къ опредѣленному званію. Природа была къ нему расточительна, и самъ расточалъ онъ дары ея. Какъ благодѣтельная фея, она приноситъ иногда разнообразные дары къ колыбели любимца своего, но на выборъ и подъ тѣмъ условіемъ, что только одно изъ нихъ можетъ сдѣлаться залогомъ будущей его силы и благополучія. Многоразличье даровъ нейтрализируетъ особенное могущество каждаго изъ нихъ. Можетъ быть образъ жизни, обстоятельства препятствовали ему предать себя исключительно развитію и исполненію одной изъ тѣхъ задачъ, которыя природа ему на разрѣшеніе предложила. Но, разсматривая вопросъ ближе и безпристрастнѣе и отдѣляя отъ него то, что̀ въ немъ есть условное, отъ того, что̀ есть существенное, мы должны сознаться, что образъ жизни, что обстоятельства, насъ окружающія, за рѣдкими исключеніями, это все еще мы: мы, отрекшіеся отъ воли своей, мы, жертвующіе *внутреннимъ мы — мы внѣшнему*. Во всякомъ случаѣ не буду винить Нелединскаго. По мнѣ, примѣръ его подтверждаетъ еще новымъ убѣдительнымъ доказательствомъ особенное Русское свойство. Еще отличительнѣе это природное, мѣстное свойство ознаменовывается въ высшемъ слоѣ нашего общества. Въ насъ сила не единичная, а собирательная: Извѣстныя въ исторіи нашей

великія событія совершались не отдѣльными лицами, а единодушіемъ общины. Мы не богаты великими именами, а богаты великими подвигами. Сила единичная, отдѣлившаяся у насъ, въ законной, державной власти сосредоточиваетъ въ себѣ разрозненныя силы сословій и лицъ. Въ этомъ отсутствіи цѣльныхъ и яркихъ личностей видѣть ли намъ явленіе случайное, или особое предопредѣленіе высшаго Промысла, указывающее намъ на наше народное значеніе? Таже исторія разрѣшаетъ сей вопросъ, и видимо въ пользу послѣдняго предположенія. Раздѣленіе работы не есть Русское соображеніе; оно должно было родиться тамъ, гдѣ устарѣвшимъ обществомъ много уже было пережито и прожито, тамъ, гдѣ поземельное и духовно-общественное достояніе отъ дѣйствій времени и переворотовъ разбито на мелкіе участки. У насъ, благодаря Бога, еще много простора. Спеціальность есть вынужденный плодъ необходимости, или страсти, которая также есть духовная неволя. Нужды у насъ еще нѣтъ потому, что ничего еще не истощено. Страсть тоже не нашего возраста. Она сосредоточиваетъ всѣ силы мысли и души въ одну пружину, въ одну всепоглощающую точку. А у насъ глаза, чувства и дѣятельность разбѣгаются по всѣмъ направленіямъ четырехъ вѣтровъ. Что есть спеціальный человѣкъ? Это тотъ, который отъ восхода солнца до заката сидитъ неподвижно на берегу моря и, закидывая въ него удочку, съ неразвлекаемымъ вниманіемъ, съ ненарушимымъ терпѣніемъ медленно и по одиночкѣ вытаскиваетъ себѣ рыбку за рыбкою. А между тѣмъ море разстилается предъ нимъ необозримою далью. Игрою и разливомъ волнъ своихъ оно искушаетъ его, вызываетъ на свое широкое и разгульное пространство. Тамъ плавай онъ себѣ вдоль и поперекъ, закидывай неводы свои, гдѣ и сколько душѣ угодно; ни неводами, ни глазами своими онъ всего пространства не захватитъ. Таковъ Русскій міръ. Какъ присудить приморскаго жителя ограничить себя желаніями и дѣятельностью поселенца, у котораго только тѣсное озеро подъ рукою? Въ какую сторону онъ ни посмотритъ, вездѣ глазомъ своимъ наткнется онъ на берегъ. А мы привыкли къ безбрежности.

Если исключительность не есть свойство Русскаго человѣка

вообще, то еще болѣе не есть она и не можетъ быть принадлежностью людей, рожденныхъ въ высшемъ слоѣ общества. Они еще менѣе могутъ подчинить себя правилу раздѣленія работъ, послѣдней и искусственной силѣ ослабѣвающаго общества. Для нихъ еще болѣе всѣ дороги открыты и съ каждой дороги *приносится* на нихъ зазывной голосъ, полный прелести и искушенія. Разумѣется, встрѣтятся и у насъ исключенія изъ общаго правила, встрѣтятся люди, которые явили въ себѣ отдѣльныя, цѣльныя личности, образовали собою, такъ сказать, школу на поприщѣ военномъ, или литтературномъ; но эти исключенія весьма рѣдки. Напримѣръ, Суворовъ есть лицо типическое въ своемъ родѣ. Но между частными людьми много ли у насъ этихъ лицъ?

Все предъ этимъ сказанное можетъ привести насъ къ общему и высшему заключенію. Смиреніе есть безспорно одно изъ отличительныхъ свойствъ Русскаго характера. Нѣтъ сомнѣній, что оно имѣетъ начало свое въ глубокомъ христіанскомъ чувствѣ и въ преданіи Евангельскомъ, еще свѣжо и животворно сохранившемся въ Русскомъ народѣ. Въ народныхъ бѣдствіяхъ и въ народныхъ торжествахъ мы переносимъ первыя съ мужественною покорностью къ Промыслу Божіему, а вторыя пріемлемъ съ благоговѣніемъ и признательностью. На бѣдствія смотримъ какъ на спасительныя наказанія; на успѣхи и неудачи — какъ на дѣйствіе высшей благодати. Ни въ томъ, ни въ другомъ отношеніи нѣтъ мѣста ни роптанію, ни ожесточенію, ни упоенію самодовольной личной гордости.

Все, и скорбь, и радость, сливается въ насъ въ одно высшее понятіе, приносится нами къ подножію единаго алтаря. Въ счастіи не сотворяемъ мы себѣ кумировъ и не приписываемъ человѣческой силѣ, человѣческой мудрости то, что принадлежитъ иной силѣ и мудрости иной.

Когда Александръ I послѣ счастливаго окончанія отечественной войны сказалъ: не намъ, не намъ, а Имени Твоему, онъ вѣрно выразилъ и душевное чувство своего народа, и великую истину, заключающуюся въ исторіи его. Тутъ нѣтъ отреченья отъ самобытности своей, отъ подвиговъ личной воли, но

есть отреченіе отъ внѣшней силы, которую человѣкъ приписываетъ себѣ исключительно, когда признаетъ надъ собою и надъ дѣлами міра единое владычество разума и воли своей. Передъ глазами нашими совершаются гибельныя злоупотребленія этого обуміротворенія личности. Никто не станетъ оспаривать того, что во Франціи нѣтъ недостатка въ рѣзко означенныхъ и знаменитыхъ личностяхъ. Но содѣйствуютъ ли онѣ согласію и мирному охраненію и укрѣпленію цѣлаго? Напротивъ. Тамъ цѣлое приносится въ жертву тиранін и междоусобію личностей. Возьмемъ въ примѣръ Ламартина. Онъ сдѣлался сперва извѣстнымъ намъ поэтомъ нѣсколькими плавными и звучными стихами. Отъ поэта перешелъ онъ къ политикѣ; ораторъ, нѣсколькими рѣчами своими, имѣвшими грохотный отголосовъ въ политическихъ страстяхъ народа, вдругъ въ одно утро владычнымъ голосомъ личности своей разорвалъ онъ всѣ связи, скрѣплявшія Францію съ ея прошедшимъ, и рванулъ ее на неизвѣстную стезю новыхъ испытаній и бѣдствій. Великое торжество для личнаго самолюбія! Исторія не можетъ отказать ему въ мѣстѣ, которое онъ взялъ приступомъ; исторіею завладѣлъ онъ насильственною рукою. Ни поэзія, ни гражданская дѣятельность Нелединскаго не займутъ подобнаго мѣста. Личность его мало выдалась впередъ. Но въ свое время, но въ свою мѣру она содѣйствовала общей пользѣ. Онъ не потерянъ для Россіи. Исторія не отдѣлитъ образа его и не поставитъ на особомъ подножіи; но изыскательное чувство вниманія и благодарности отыщетъ и замѣтитъ слѣдъ его, хотя и не глубоко въ почву врѣзанный, знакомясь съ эпохою нашею, которая однимъ краемъ захватываетъ царствованіе Екатерины Великой, а другимъ замыкаетъ царствованіе Александра Благословеннаго.

III.

Мы замѣтили выше, что въ умѣ Нелединскаго была какая-то механическая способность дѣйствовать въ одно и тоже время отдѣльно и многосложно. Въ сердцѣ его было такое же многостороннее свойство. Однажды, дама, разговарнвая съ нимъ о

случайности женскаго сердца, сказала ему, что она за свое не боится, потому что оно уже полно. Что за сравненіе, отвѣчалъ онъ ей, сердца съ стаканомъ! По мнѣнію его, или, вѣрнѣе, согласно съ организаціею его, въ сердцѣ есть всегда запасное мѣсто для принятія новаго впечатлѣнія, новаго образа, новой страсти. Способность любить была въ немъ безпредѣльная. Онъ нѣжно любилъ жену свою и во многихъ отношеніяхъ былъ примѣрный мужъ и чадолюбивый семьянинъ. Жена его была существо кроткое, преданное, малосильное и болѣзненное. Кто видалъ Нелединскаго въ домашнемъ быту, тотъ знаетъ съ какою постоянною и нѣжною попечительностію ухаживалъ онъ за нею, лелѣялъ, берегъ ее, какъ больное и многолюбимое дитя. Кто имѣлъ случай читать его пріятельскую переписку, тотъ знаетъ, какъ онъ всегда былъ глубоко озабоченъ состояніемъ здоровья ея, какъ слѣдилъ за измѣненьемъ его, какъ вездѣ проглядывало въ немъ желаніе отстранить отъ нея все, что могло растревожить ее. У него въ этомъ отношеніи составленъ былъ цѣлый планъ охранительныхъ мѣръ для огражденія ея отъ всякаго внѣшняго неблагопріятнаго соприкосновенія, и онъ нигдѣ и никогда не отступалъ отъ этого плана. Въ этомъ отношеніи онъ держалъ ее безпрестанно въ какой-то атмосферѣ благодѣтельной лжи, которая образовала кругомъ нея непроницаемый міръ безопасности и спокойствія. Никакой вѣроломный царедворецъ такъ не озабочивался о томъ, чтобы скрывать отъ владыки истину, для него полезную, какъ озабочивался онъ о сокрытіи отъ своей подруги всякой истины и маловажной, но которая могла бы привести въ сотрясеніе ея слабые и разстроенные нервы. Въ такихъ случаяхъ онъ не жалѣлъ себя ни физически, ни морально. Когда вслѣдствіе постигшаго его паралича пролежалъ онъ двое сутокъ въ нашемъ домѣ, онъ такъ устроилъ, что отсутствіе его не могло испугать ее. Могла бы она, можетъ быть, посѣтовать на безпорядокъ жизни его; но онъ зналъ, что, съ врожденною кротостью и безпредѣльною преданностію къ нему, она легко покорится, но не могла бы вынесть опасенія за его жизнь. Лежа у насъ, онъ кое-какъ написалъ ей, что заигрался въ карты съ вечера до поздняго утра и долженъ былъ съ игры ѣхать прямо въ сенатъ, а изъ

сената опять прямо на игру, еще не конченную. На другой день даже уловка. Добрая жена, привыкшая вѣрить мужу, который въ такихъ случаяхъ ее *постоянно* и *благодѣтельно обманывалъ*, не имѣла въ продолженіи этихъ двухъ сутокъ ни минуты безпокойства. Даже до конца жизни своей она не догадывалась о болѣзненномъ припадкѣ, который былъ бы ей невыносимо тяжелымъ въ настоящемъ и неотступнымъ страшилищемъ въ будущемъ. Однажды страдала она сильною зубною болью и не могла рѣшиться отдать себя въ руки зубнаго врача. Чтобы ободрить ее Нелединскій притворился, что у него болитъ зубъ и въ глазахъ ея отдалъ на жертву зубнаго врача свой, вѣроятно не совершенно здоровый, зубъ, но который еще могъ бы долго оставаться на мѣстѣ. Кажется, при такихъ нѣжныхъ и постоянныхъ сердечныхъ попеченіяхъ, при сердечномъ и напряженномъ вниманіи и сосредоточеніи чувствъ на одинъ любимый предметъ, можно было бы обыкновенному сердцу и довольствоваться этимъ назначеніемъ. Но сердце Нелединскаго, но его способность любить не могли сосредоточить себя. Въ немъ эта способность раскидывалась многими вѣтвями. Сердцу его нужно было любить: жену, женщину и женщинъ, и первую любилъ онъ съ нѣжностію и преданностію, какъ залогъ, Промысломъ вѣренный его попеченію. Онъ дорожилъ ею какъ сердечною обязанностію, а добровольно принятая обязанность имѣетъ высокое значеніе въ глазахъ честнаго человѣка. Не знаемъ никакихъ подробностей о женитьбѣ Нелединскаго и что могло вынудить его вступить въ бракъ и подчинить себя, независимаго и пылкаго, строгимъ взыскательностямъ семейной жизни. Но знаемъ по крайней мѣрѣ, что онъ въ этомъ случаѣ не принесъ никакой жертвы свѣтскимъ разсчетамъ или положительнымъ выгодамъ. Онъ не обручилъ себя ни деньгамъ, ни честолюбію. Вѣроятно одна сердечная склонность рѣшила выборъ его. Но если жена была постоянною заботою его домашней жизни, то не менѣе того женщина, въ многообразныхъ видахъ своихъ, подъ разными именами, но одаренная общимъ значеніемъ, общимъ владычествомъ красоты и прелести, была постоянною страстью его жизни внутренней, поэтической и заду-

шевной. Въ душѣ его горѣлъ неугасимый жертвенный пламень предъ избраннымъ кумиромъ, къ которому онъ съ благоговѣніемъ прикасался только мыслью и чувствомъ. Кумиры смѣнялись, но служеніе каждому изъ нихъ въ свое время было также безкорыстно, чисто и пламенно. Разница между Нелединскимъ и Петраркою заключалась въ томъ, что у него была не одна Лаура, а нѣсколько Лауръ на вѣку его.

Имя третьей любви его было: легіонъ. О ней говорить не станемъ, потому что она должна была бы войти въ составъ покаянной исповѣди, а исповѣдь за ближняго присвоить себѣ нельзя. Тутъ не можетъ быть никакой передачи права, да и собственныя, слишкомъ искреннія исповѣди не всегда должны быть гласны: тутъ смиреніе легко сбивается на соблазнъ. Бѣдный Ж. Ж. Руссо тому поучительный примѣръ.

IV.

....Нѣтъ сомнѣнія что вся эта атмосфера, въ которой я еще внутренно не жилъ, но которая окружала меня нечувствительно и почти незамѣтно, должна была заронить въ меня зародыши, развившіеся въ послѣдствіи времени. Я вынесъ изъ этой атмосферы какое-то благоуханье, какую-то внутреннюю теплоту, которая послѣ образовала нѣкоторыя изъ моихъ свойствъ, сочувствій и наклонностей. Когда я началъ жить самобытно, я уже почти не засталъ этого міра, только нашелъ кое-гдѣ одни разбросанные обломки его. Домъ отца моего былъ одна ли не послѣднимъ въ Москвѣ домомъ, устроеннымъ на этотъ ладъ. Едва ли не былъ онъ послѣднимъ и въ мірѣ Европейскаго общежитія. Во Франціи революція 89 года и послѣдующихъ годовъ все перевернула вверхъ дномъ, вмѣстѣ съ прочимъ и ниспровергла красивое и уютное зданіе вѣковаго общежитія. У насъ не было такого крутаго переворота. Но вскорѣ послѣ смерти отца моего, 1812 годъ временно разсѣялъ общество изъ Москвы и оно послѣ на старомъ пепелищѣ своемъ никакъ не могло возродиться на прежній ладъ. Многіе изъ жителей Москвы не возвратились: кто умеръ, кто переѣхалъ на житье въ Петербургъ, кто посе-

лился въ деревнѣ. Вообще другія требованія, другіе обычаи и въ Москвѣ и вездѣ установили новый порядокъ. Мнѣ иногда сдается, что все видѣнное мною было только игрою и обманомъ сновидѣнья, или что за тридесять вѣковъ и въ тридесятомъ царствѣ жилъ я когда-то и гдѣ-то и нынѣ перенесенъ въ совершенно другой міръ.

Можетъ быть замѣтятъ, и не безъ основанія, что я въ моемъ разсказѣ слишкомъ увлекся сыновнимъ чувствомъ и что въ далекихъ странствованіяхъ памяти моей оставилъ я на дорогѣ Нелединскаго и какъ будто забылъ про него. Не стану и не хочу оправдывать себя. Если я и согрѣшилъ, то каюсь: люблю мой грѣхъ и съ наслажденіемъ поддался ему вольно и невольно. Впрочемъ, при набрасываніи этихъ очерковъ я вовсе не забывалъ Нелединскаго. Онъ былъ постоянно въ глазахъ моихъ. Образъ его сливался предо мною съ образомъ друга его и съ оттѣнками начертанной мною картины. Какъ романистъ я увлекся изображеніемъ мѣстностей и природы, которыя рамою своею обставили героя разсказа моего. Тутъ люблю воображать его, отыскивать его соотношенія съ міромъ, его окружающимъ. Упомянутая мною эпоха почти принадлежитъ уже къ эпохамъ допотопнымъ; лица въ ней дѣйствовавшія на сценѣ, если не публично, то по крайней мѣрѣ на блестящей сценѣ домашняго театра, едва ли не баснословныя лица для новаго поколѣнія. Хотя Нелединскій дожилъ до нашего времени, но и онъ цвѣтущими, лучшими годами своими принадлежалъ той эпохѣ давноминувшей. Преданіе, воспоминаніе мое связываютъ и меня съ нею. Я пріостановился на перепутьи и окинулъ глазами отдаленный край, нынѣ опустѣвшій, но въ которомъ Нелединскій нѣкогда жилъ и былъ душою пріятельскаго общества [1].....

---

[1]) Статья эта найдена въ бумагахъ автора въ неоконченномъ видѣ.

LXVIII.

15-Е ІЮЛЯ 1849 ГОДА ВЪ ВУЮКДЕРЕ.

Въ числѣ праздниковъ, установленныхъ Русскою Церковью въ память и честь святымъ, день святаго и равноапостольнаго князя Владиміра имѣетъ для насъ особенное значеніе и особенную важность. Этотъ день есть для насъ не только праздникъ христіанскій и церковный, но вмѣстѣ съ тѣмъ и праздникъ гражданскій и государственный. Онъ принадлежитъ равно и Церкви и исторіи народной. Пріобщивъ себя и свой народъ къ Церкви православной, Владиміръ указалъ путь Россіи. Съ перваго слѣда, на немъ означеннаго, положилъ онъ незыблемое начало ея историческихъ судебъ. Всѣ наши событія, все что образуетъ нашу народную личность, нашу силу духовную, нравственную и политическую, всѣ наши успѣхи и пріобрѣтенія, всѣ очистительныя и многоплодныя испытанія, чрезъ которыя Промыслъ цѣлебно и спасительно провелъ насъ по пути бореній, жертвъ, преуспѣянія и славы, все истекаетъ изъ свѣтлой и святой купели, въ которую Владиміръ погрузилъ съ собою младенческую Россію. Отъ него зачалось и окрѣпло наше духовное воспитаніе и гражданское образованіе. Имъ опредѣлено наше мѣсто въ исторіи человѣчества. Событія нашей старины, событія нашей новѣйшей исторіи, явленія настоящаго времени и, безъ сомнѣнія, событія будущаго связаны и будутъ связаны союзомъ нашимъ съ восточною Церковью. Здѣсь должно искать и точку

исхода нашего, и цѣль, къ которой направляетъ насъ Провидѣніе темными, но вѣрными путями. Направленія, данныя обществамъ по соображеніямъ человѣческой мудрости и разсчетамъ политическаго честолюбія,—и свидѣтелемъ тому служитъ исторія—часто бываютъ подвержены измѣненіямъ, обличая въ слѣпотѣ человѣческую предусмотрительность. Но начала, въ которыхъ явно знаменуется вмѣшательство Божія Провидѣнія, пребываютъ незыблемы и твердо переносятъ напоры и потрясенія житейскихъ волненій и бурь. Лѣтописи наши выставляютъ въ яркомъ свѣтѣ непреложность сей истины. Имъ же, безъ сомнѣнія, предстоитъ въ будущемъ подтвердить ее новыми и убѣдительнѣйшими доказательствами. Многое у насъ измѣнилось и многое можетъ измѣниться въ частностяхъ нашего народнаго быта; но призваніе и судьба Россіи преимущественно заключаются въ святынѣ ея православія. Въ прошедшемъ—оно нашъ основный, краеугольный камень; въ настоящемъ—наша опора и сила; въ будущемъ—нашъ свѣтильникъ и двигатель.

Эти мысли промелькнули въ умѣ моемъ при слушаніи святой литургіи въ день 15-го Іюля, въ церкви посольскаго дома нашего въ Буюкдере. Чувство духовнаго благоговѣнія предъ совершеніемъ святыхъ таинствъ и обычныхъ обрядовъ церкви нашей невольно сливалось съ историческими воспоминаніями, которыя пробуждаетъ этотъ праздникъ. Эти воспоминанія, если и не совершенно чуждыя житейскимъ попеченіямъ, имѣли однакожъ свою торжественность. Они не отвлекали ни мысли, ни чувства молящагося отъ чистой и святой цѣли, предназначенной молитвѣ. Они не смущали, не охлаждали умиленія; напротивъ, эти воспоминанія придавали настоящему священнодѣйствію новое значеніе, болѣе доступное слабымъ понятіямъ нашимъ: они яснѣе выражали на языкѣ человѣческомъ дѣло Божія Промысла на Русской землѣ. Особенно на берегу Босфора, вблизи источника, откуда брызнула на предковъ нашихъ живописная и спасительная струя, давно уже изсякшая на родинѣ и нынѣ у насъ однихъ сохранившая свою первобытную и независимую чистоту, нельзя безъ тайнаго умиленія внимать словамъ пѣснопѣнія, которымъ Церковь наша славословитъ святаго Владиміра.

„Уподобился еси купцу, имущему добраго бисера, славнодержавный Владиміре, на высотѣ стола сѣдя матере градовъ, богоспасаемаго Кіева, испытуя же и посылая къ царскому граду увѣдѣти православную вѣру, и обрѣлъ еси безцѣнный бисеръ Христа, избравшаго тя, яко втораго Павла, и отгрясшаго слѣпоту во святой купели, душевную вкупѣ и тѣлесную". Первобытная, благочестивая и поэтическая простота этихъ выраженій вездѣ трогательна и умилительна; но здѣсь она проникаетъ въ душу съ особенною прелестью и силою. Давнопрошедшее живо въ глазахъ олицетворяется. Нить этого *добраго бисера*, безпрерывно и цѣльно протянутая сквозь многія и многія столѣтія, очевидно, ощутительно связываетъ прошедшее съ настоящимъ. Здѣсь священное преданіе возвратилось къ мѣсту колыбели своей. Возрожденное, оживленное воздухомъ родины своей, оно облекается первобытною свѣжестію. Слова обветшавшія юнѣютъ и звучатъ крѣпче и знаменательнѣе: въ нихъ слышится и святая память прошедшаго, и какое-то пророческое предчувствіе будущаго.

Для насъ, Русскихъ, случайныхъ и временныхъ переселенцевъ на берега Босфора, заброшенныхъ сюда стеченіемъ разныхъ обстоятельствъ, общій праздникъ имѣлъ еще на этотъ разъ особенный, частный оттѣнокъ. Мы въ этотъ день праздновали именины нашего посланника Владиміра Павловича Титова. По Русскому обычаю, онъ угостилъ единоземцевъ своихъ радушнымъ обѣдомъ въ Русскихъ палатахъ, красиво устроенныхъ между обширнымъ садомъ, живописно расположеннымъ по уступамъ высокой горы, и роскошнымъ, величественнымъ Босфоромъ. За обѣдомъ пропѣты были, въ честь именинника, нѣкоторыя изъ собесѣдниковъ и собесѣдницъ, слѣдующіе стихи, положенные на музыку маэстро Моріони:

Предъ минаретами Пророка,
Здѣсь, гдѣ объятый цѣпью горъ,
Подъ небомъ голубымъ Востока,
Свѣтлѣетъ голубой Босфоръ,
Мы, дѣти Руси православной,
Единодушною семьей
Поемъ тебѣ привѣтъ заздравный,
Нашъ именинникъ дорогой.

Въ дому твоемъ—для насъ Россія!
Здѣсь все, чѣмъ намъ она мила:
Креста преданія святыя,
И слава Русскаго орла,
И языка роднаго звуки,
Чтобъ сердцу сердца вѣсть подать,
И Русскія сердца и руки,
Чтобъ брата съ нѣжностью обнять.

Вечеръ кончился, какъ обыкновенно кончаются Буюкдерскіе вечера, многолюднымъ *раутомъ* подъ открытымъ небомъ на Буюкдерской набережной. Послѣ знойнаго, душнаго дня, недостаточно прохлаждаемаго павѣваніями Чернаго моря, теплая, прозрачная ночь вызываетъ всѣхъ жителей изъ домовъ и угощаетъ зрѣлищемъ и негою наслажденій, невыразимо-сладостныхъ. Небо, воздухъ, вода, земля, каждая часть отдѣльно красуется свойственною ей прелестью и все вмѣстѣ сливается въ одну стройную и чудную картину. Извилистый Босфоръ широкими, лазурными отраслями раскидывается въ разныя стороны. Суда, стоящія на якоряхъ, темными оттѣнками рисуются на его поверхности. Легкіе, продолговатые *каики* скользятъ по немъ, какъ будто безплотные призраки, не возмущая тишины его, ни движеніемъ своимъ, едва замѣтнымъ, ни плескомъ веселъ, безъ шума въ воду опускающихся. Передъ домомъ посланника Русскій тендеръ праздничпо свѣтится веселыми огнями. На противоположномъ, Азіятскомъ берегу, перерѣзанныя глубокими долинами, возвышаются горы, образуя величественную раму обширной и роскошной картины. Здѣсь гора, *могила великана*, увѣнчанная развалинами зданія, въ которомъ гнѣздятся дервиши. Недалеко отъ нея мѣста, уже заочно намъ знакомыя памятнымъ для насъ событіемъ. Тутъ въ 1833 г. расположенъ былъ Русскій станъ и прозваніе *ункѣаръ-скелесси* внесено въ страницы нашей современной исторіи. Вправо выглядываетъ изъ сумрака *Терапія* съ красивыми домами посольствъ Англійскаго и Французскаго. Здѣсь на набережной пестрѣетъ и кишитъ настоящій Венеціянскій карнавалъ. Мимо насъ проходитъ, свивается и развивается разноплеменная толпа въ разнообразныхъ одеждахъ. Тутъ Грекъ, Армянинъ, Турокъ, Славянинъ, каждый, отличающійся особеннымъ отпечаткомъ въ чертахъ, въ походкѣ, рисуется

предъ вами и придаетъ общей картинѣ отдѣльный образъ, отдѣльную жизнь и краску. Весь Востокъ въ лицахъ и стройный, однообразный Западъ теряется въ этомъ радужномъ смѣшеніи красокъ, разностей и народностей. Вотъ Турокъ-разнощикъ, съ фонаремъ въ рукѣ, съ лоткомъ на головѣ, дикимъ крикомъ приглашаетъ прохожихъ полакомиться его неприхотливыми сластями. Тутъ расположена при блескѣ огней вечерняя выставка мороженаго; около нея важно и созерцательно сидятъ безпечные поклонники праздности и лѣни. Изъ сѣней открытаго дома вылетаютъ дикіе напѣвы Армянской пѣсни подъ строй чего-то, похожаго на многострунную балалайку; предъ дверьми тѣснится кружокъ болѣе внимательныхъ, нежели взыскательныхъ слушателей. Этѣ пѣсни однѣ нарушаютъ поэтически-безмолвную гармонію ночи. Но и онѣ, при всей своей странности, не вовсе лишены относительной прелести, какъ все то, что самобытно и носитъ на себѣ печать мѣстности и особенности народной.

Но вскорѣ мысленно уклоняешься отъ всѣхъ этихъ пестрыхъ видѣній и забываешь присутствіе людей. Невольно уединяешься въ себя и, отрѣшившись отъ толпы, погружаешься всѣми чувствами въ зрѣлище окружающей тебя природы. Только и видишь, только и слышишь, что небо и море. Только имъ сочувствуешь и любуешься ими.

Вотъ вамъ, далекіе друзья, наскоро наброшенный очеркъ одного изъ дней, проведенныхъ мною на берегу Босфора.

LXIX.

ПИСЬМО КЪ С. Н. КАРАМЗИННОЙ ИЗЪ БУЮКДЕРЕ.

1849.

Теперь могу съ нѣкоторымъ благоприличіемъ покаяться на глаза Софьѣ Николаевнѣ и напомнить ей о себѣ. Въ объемѣ 30 часовъ, я былъ 18 часовъ на конѣ, болѣе 6 часовъ на ногахъ, карабкаясь на горы и спускаясь съ горъ, и часовъ пять отдыхалъ, если можно назвать отдыхомъ живую пытку жертвы, преданной на терзаніе комарамъ, мушкамъ и разнымъ другимъ человѣколюбивымъ насѣкомымъ, которые оказали мнѣ по-своему гостепріимство въ Турецкой избѣ селенія Бунаръ-баши (глава ключей) и не давали мнѣ прозаически заснуть въ поэтической святынѣ, гдѣ нѣкогда стояла знаменитая Троя. Дворецъ Пріама—и за нимъ Турецкая изба! Звучный гомерическій Иліонъ—и Бунаръ-баши! Герои Иліады—и комары и блохи! Какая перемѣна! Какое паденіе! Sic transit gloria mundi! скажете вы съ свойственною вамъ находчивостью и остроумною ученостью.

Какъ бы то ни было, такими вышеупомянутыми подвигами ознаменованы были для меня 7 и 8 августа. Изъ Дарданеллъ ѣздилъ я верхомъ въ Троаду и обратно, подъ палящимъ зноемъ солнца взбирался на гору, именуемую по-турецки Итъ-Гельмезъ, что значитъ: и собака сюда не влѣзетъ! а я, извольте видѣть, влѣзъ! „Да вы собаку съѣли“, скажете вы съ тою находчивостью, которая ни на минуту васъ не покидаетъ.

Пойдемте далѣе: ночью на конѣ переправился я вплавь черезъ Скамандръ; скакалъ по Троянской равнинѣ, усѣянной мраморными обломками храмовъ, колоннъ и статуй; на развалинахъ Троянской твердыни, или древняго Иліума, привѣтствовалъ восхожденіе солнца, того же самаго, которое озарило и славу и паденіе многихъ, коротко вамъ знакомыхъ и присно-памятныхъ героевъ *Иліады*; былъ при гробницѣ Гектора, на скорую руку сооруженной Троянами во время перемирія, дарованнаго имъ Ахиллесомъ, и которая еще и теперь,—такъ ли, или не такъ-ли,—но загромождена наваленными каменьями, какъ значится у Гомера. Всходилъ я и на могилу Ахиллеса, которая величественно и одиноко стоитъ въ виду моря. Я обошелъ ее почтительно кругомъ, но не раздѣлся наголо, подобно Александру Великому, и даже не обнажилъ головы, чтобы не опалиться знойнымъ солнцемъ. Я пилъ ключевую воду, ту же самую, въ которой нѣкогда жены Троянъ и прелестныя дочери ихъ мыли свое черное бѣлье, и, не смотря на древность этой воды, находилъ въ ней необыкновенную свѣжесть и замѣтилъ, что она нисколько не отзывается мыломъ, которымъ могла бы провонять эта извѣстная портомойня. Это навело меня на догадку, что вѣроятно мыло есть уже новѣйшее изобрѣтеніе и не было еще въ употребленіи во времена Троянской войны. Впрочемъ, смиренно предлагаю вамъ мою догадку и предоставляю рѣшить ее. Слишкомъ было бы дерзко мнѣ пыль вамъ пускать въ глаза, или мылить ихъ мнимою моею ученостью. Я далекъ отъ этого. Напротивъ, надѣюсь при свиданіи съ вами передать на любознательное и опытное вниманіе ваше нѣкоторыя изъ моихъ недоумѣній и сомнѣній, чтобы съ вашею помощью мнѣ самому безошибочнѣе и основательнѣе изслѣдовать и провѣрить мои личныя, но бѣглыя впечатлѣнія. Не смѣю даже самъ собою рѣшить и главный вопросъ, который для многихъ остается еще сомнительнымъ, а именно: былъ ли у меня подъ глазами Иліонъ, или не онъ? но во всякомъ случаѣ смѣю удостовѣрить, что тутъ что-то было. А доказательства тому представлю послѣ.

Но какъ попалъ я въ Дарданеллы, или по-турецки въ Богазъ-Кале-си (Кале—по турецки значитъ крѣпость, а что зна-

читъ *богаз*, виноватъ—не знаю, вѣроятно взято съ Славянскаго языка, и просто все вмѣстѣ означаетъ: Бога крѣпостца, т.-е. Божья крѣпостца: спросить у Тютчева), а оттуда въ Троаду? спросите вы меня. Вотъ это требуетъ искренней исповѣди, въ которой изобразится не самая похвальная и блестящая часть моей Одиссеи. Знайте же, что мы 4 августа ночью сѣли на пароходъ съ Титовымъ, Андреемъ Муравьевымъ, Войцеховичемъ, Трубецкимъ, Сталемъ, тремя Русскими художниками и держали путь на Аѳонскую гору. Первые сутки плаванія нашего, какъ вообще всякаго плаванія, прошли очень благополучно. Море ласкалось къ намъ и небо улыбалось. Я давно замѣтилъ, что первый день плаванія въ морѣ обыкновенно похожъ на первый медовой мѣсяцъ новобрачныхъ. Союзъ самый миролюбивый: упиваешься негою и счастьемъ. Убаюканное воображеніе не предвидитъ въ будущемъ ни разстройства, ни размолвки, никакой точки преткновенія. Такъ было и съ нами. Мы уже переплыли Мраморное море, Геллеспонтъ, привѣтствовали поэтическимъ воспоминаніемъ берега, прославленные любовью Геро и Леандра и самохвальствомъ Байрона. Передъ нами рисовались украшенные блескомъ баснословныхъ преданій и дѣйствительно прелестью своихъ очерковъ и Имбросъ, и Тенедосъ, и гора Ида, и снѣжныя вершины Самооракіи. Замѣтьте еще притомъ, что вся эта живая картина была облита и согрѣта чудесными лучами заходящаго солнца, какого ни въ Римѣ, ни въ Неаполѣ я никогда не видалъ. Зарево чисто золотаго сіянія, или, если хотите, и что по-моему еще ближе къ истинѣ, нѣжно-лимоннаго цвѣта, обняло края видимыхъ нами небесъ. Вообще небо, когда войдешь въ Дарданеллы, уже отражается особенною синевою, которая на Босфорѣ еще довольно тускла и мало чѣмъ отличается отъ нашего сѣвернаго неба, впрочемъ, замѣтить должно, за исключеніемъ звѣздъ, которыя здѣсь горятъ и блещутъ несравненно свѣтлѣе нашихъ вообще лунныхъ ночей, составляющихъ едва ли не исключительную принадлежность и прелесть береговъ Босфора.

Въ подобныхъ созерцаніяхъ и наслажденіяхъ пробыли мы на палубѣ до полуночи и отошли въ свои каюты съ увѣреніемъ,

что проснемся къ семи часамъ утра у подошвы Аѳонской горы. Скоро сказка сказывается, но не скоро и не такъ дѣло дѣлается. Мы только что улеглись, а вѣтеръ тутъ и поднялся. Сперва началъ онъ свѣжѣть и посвистывать, а тамъ уже пустился дуть во всю мочь и ревѣть. Море уже не улыбалось намъ по прежнему, а бѣшено и дико хохотало, волнами заливало палубу, швыряло пароходъ нашъ то въ ту, то въ другую сторону. Пароходъ нашъ, нечего грѣха таить, былъ сложенія не крѣпкаго и не въ силу было ему бороться съ непріятелемъ, который съ каждымъ часомъ все становился сердитѣе и наступательнѣе. Утомленный, онъ уже почти не подвигался впередъ, а только что держался на морѣ и страшно плясалъ въ присядку на одномъ мѣстѣ. Такъ провели мы нѣсколько мучительныхъ и продолжительныхъ часовъ. Вы на морѣ бывали, слѣдовательно знаете, что такое морская качка и всѣ ея послѣдствія внутреннія и внѣшнія, тайныя и невольно отъ избытка сердца изливающіяся. Между тѣмъ вѣтеръ все продолжалъ свѣжѣть, такъ что, признаюсь, меня по кожѣ и подъ кожею подиралъ морозъ. Наконецъ капитанъ парохода пришелъ объявить Титову, что благоразумнѣе будетъ поворотить назадъ и что по слабости парохода онъ долѣе за него не отвѣчаетъ. Такъ и было сдѣлано. Мы бросили якорь у Имброса и выждали конца бури подъ его благодѣтельною защитою. При обратномъ входѣ въ Дарданеллы нашли мы Русскій военный корветъ, который тоже, какъ мы, не зналъ куда дѣваться отъ вѣтра, стоялъ прикованный къ мѣсту и тосковалъ по южномъ вѣтрѣ для свободнаго входа въ проливъ. Командиръ корвета, явившійся къ Титову, брался благополучно и скоро доставить насъ на Аѳонскую гору. Это предложеніе соблазнило Титова. Въ теченіе 20-лѣтняго пребыванія своего въ здѣшнихъ краяхъ онъ нѣсколько разъ собирался посѣтить древніе и знаменитые, монастыри и сборы его все оставались неудачными. Обидно и больно было ему на полупути отказаться отъ цѣли долго ему не дававшейся. Для Муравьева Аѳонская гора была еще привлекательнѣе. Она стояла на первомъ планѣ предначертаннаго имъ путешествія и онъ полагалъ пробыть на ней мѣсяцъ или болѣе. Разумѣется, онъ послѣдовалъ примѣру Ти-

това. Отважная молодежь наша и не задумалась, особенно Трубецкой, который въ блаженномъ невѣдѣніи проспалъ всю бурю и не видалъ ея даже и во снѣ. Дошла очередь до меня. Каюсь въ малодушіи моемъ. Но бурная ночь такъ измучила меня физически и нравственно, или нервически, такъ часто во время тревоги и тоски приходило мнѣ въ голову, что куда и зачѣмъ я пускаюсь во всѣ тяжкія, что мнѣ суждено заснуть на мѣстѣ, а не наѣздничать по волнамъ и по сушѣ и вызывать на рукопашный бой трудности и опасности, съ которыми бороться не умѣю, все это и многое другое такъ живо представилось мнѣ, такъ убѣдительно и прискорбно проникнуло меня, что я отказался и отъ корвета, и отъ Аѳонской горы и отъ храбрыхъ сопутниковъ моихъ. Бѣдный инвалидъ тѣломъ и духомъ, остался я на инвалидномъ пароходѣ, столь же дряхломъ и малодушномъ, какъ я. Грустно и обидно было мнѣ смотрѣть на отважный корветъ, который бодро поднялся съ мѣста и, легкій на ходу, сталъ разсѣкать и топтать волны, какъ будто насмѣхаясь надо мною и надъ трусостью моею. Передъ нимъ и счастливцами, которые довѣрились ему, все болѣе и болѣе расширялся горизонтъ и свѣтлѣло будущее, а я оставался при одномъ прошедшемъ. Судьба сжалилась надо мною и дала мнѣ товарища, съ которымъ могъ бы я подѣлиться стыдомъ и унынiемъ; въ отступленіи на пути богомолья послѣдовалъ за мною, и кто же? одинъ изъ представителей нашего Святѣйшаго Синода — Войцеховичъ! Это меня нѣсколько утѣшило и облегчило совѣсть мою. Мы вышли съ нимъ на берегъ въ Дарданеллахъ. Отказавшись отъ душеспасительнаго подвига, мы вспомнили языческихъ боговъ и рѣшились посѣтить Троаду. Нашъ консулъ Фонтонъ взялся быть нашимъ вожатымъ. Въ старые годы я могъ бы подумать, что судьба не безъ умысла подвернула мнѣ Дарданеллы вмѣсто Аѳонской горы. Вы знаете что она не только недоступна женщинамъ, но что на ней не видится никакая тварь женскаго рода (впрочемъ за исключеніемъ блохъ, которыхъ, говорятъ, тамъ множество). Въ Дарданеллахъ, напротивъ, на первомъ шагу встрѣтила насъ законная представительница прекраснаго пола, жена Фонтона, Гречанка, въ національномъ

головномъ уборѣ и въ черной бархатной, золотомъ шитой, національной одеждѣ, которая придавала необыкновенно живописную и поэтическую прелесть красотѣ ея. Въ старые годы не обошлось бы тутъ безъ *отношеній* и стиховъ. Но поэзія ямовъ и поэзія впечатлѣній на меня уже не дѣйствуютъ. И судьба осталась при анахронизмѣ своемъ. Позавтракавъ, сѣли мы на коней. Нашъ караванъ былъ довольно живописенъ. Насъ всѣхъ было человѣкъ десять и въ числѣ ихъ Турецкіе каваси (родъ полицейскихъ тѣлохранителей), Греки, всѣ вооруженные на всякій случай саблями, пистолетами, ружьями, красиво переброшенными за плечи, въ чалмахъ, въ разноцвѣтныхъ колпакахъ, въ широкихъ шальварахъ, болѣе похожихъ на юбку, нежели на мужское исподнее платье, въ разноцвѣтныхъ курткахъ, или, пожалуй, *зипунахъ* (по турецки зебунъ). За рѣдкими исключеніями, дорога намъ лежала по песчаному и голому берегу моря и по степи, выжженной солнечнымъ зноемъ. Кое-гдѣ мелькали колючіе кустарники и тощія деревья. О зелени, о травѣ и не спрашивайте. О цвѣтахъ и подавно. Лѣто, какъ язва, здѣсь все поѣдаетъ. Благодать природы и человѣческій трудъ рѣдко давали знать о себѣ малыми участками обработанныхъ полей и на нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ другаго ключами, камнемъ обложенными, откуда истекала довольно тепловатая, но чистая вода. Тутъ караванъ нашъ дѣлалъ коротенькій привалъ для утоленія жажды коней и всадниковъ. Эти фонтаны, разбросанные по всему лицу Турецкой земли, по городамъ, селеніямъ и полямъ, едва ли не одни свидѣтельствуютъ о присутствіи человѣческой мысли и чувства посреди безсмысленнаго и мертваго владычества Турковъ страпою, которая только ждетъ пособія человѣческой дѣятельности и заботливости, чтобъ удовлетворить всѣмъ потребностамъ и наслажденіямъ жизни. Большая часть фонтановъ (нѣкоторые изъ нихъ устроены съ роскошью) сооружены вслѣдствіе богоугодныхъ завѣщаній зажиточныхъ Турковъ, которые опредѣляли каниталъ, дабы по смерти своей утолять, если не духовную (здѣсь еще непробужденную), то по крайней мѣрѣ тѣлесную жажду бѣдныхъ и томящихся земныхъ странниковъ—и за то спасибо! Есть по истинѣ за что

благословить добрымъ словомъ память усопшаго благодѣтеля. Въ слѣпотѣ своей, онъ какъ-будто угадалъ слова невѣдомаго ему Спасителя: „кто напоитъ одного изъ малыхъ сихъ чашею холодной воды, тотъ не лишится награды своей“.—Отъ того ли, что Магометъ запретилъ имъ хмѣльное, но Турки большіе охотники до воды, и прихотливы и взыскательные цѣнители. Гдѣ ключъ свѣжей и вкусной воды, тамъ уже непремѣнно и кофейная и сборное мѣсто гуляющихъ, т.-е. неподвижно-сидящихъ Турковъ и Турчанокъ. Здѣшнія гулянья ничто иное, какъ *посидѣлки*. Впрочемъ, это встрѣчается въ нашемъ и простомъ народѣ и среднемъ классѣ. Вообще удостовѣряешься здѣсь, что многіе наши старинные и въ народѣ сохранившіеся обычаи перенесены къ намъ изъ Востока. Россія, лежащая на крайнихъ рубежахъ Запада и Востока, должна была по неволѣ забираться то тѣмъ, то другимъ, налѣво и направо. Напрасно ставятъ это намъ въ вину.

Въ сторону отъ дороги посѣтили мы развалины, или, правильнѣе, мѣсто, на коемъ стоялъ въ древности храмъ Аполлона, нынѣ усѣянное мелкими мраморными обломками. На этой землѣ, преданной опустошенію, нѣтъ даже и развалинъ. Въ развалинахъ сохраняется память старины, а здѣсь въ царствѣ смерти и ничтожества заглохъ и этотъ посмертный голосъ минувшаго.

Далѣе въѣхали мы въ Греческое селеніе *Ренкію*, построенное на краю уже извѣстной вамъ горы Итъ-Гельмесъ, поросшей лѣсомъ, что здѣсь весьма рѣдко, ибо горы здѣсь обыкновенно лысыя и голыя, изрытыя и загроможденныя камнями. Мѣсто живописное и свѣтлое, съ обширнымъ видомъ на море, иллюстрированное поэзіею Гомера, который здѣсь одинъ всюду и всегда живъ и все собою наполняетъ. Селеніе, какъ и всѣ Греческія селенія, отличается нѣкоторою опрятностію и благовидностію, въ сравненіи съ Турецкими селеніями, запечатлѣнными мерзостью и запустѣніемъ. Здѣсь также повѣяло на меня Р[illegible] Греческія поселянки напомнили одеждою, нѣкоторыми [illegible] нашихъ крестьянокъ. Особенно старухи. Молодыя, не [illegible] будь сказано нашимъ, вообще стройнѣе и красивѣе Р[illegible]

Въ домѣ, гдѣ остановились мы, чтобы дать отдохн[illegible]

и лошадямъ, гдѣ выпили мы по чашкѣ невзбѣжнаго кофе, выкурили по трубкѣ и утолили горячую внутренность нашу нѣсколькими ломтями довольно безвкуснаго арбуза, нашли мы двухъ сестеръ замѣчательной красоты. Жаль, что не было между нами живописца. На всемъ пространствѣ отъ Дарданелъ до Трои одно это селеніе и окружность его услаждаетъ зрѣніе живою, здоровою и цвѣтущею природою. Все прочее носитъ отпечатокъ безплодія, болѣзненности и помертвѣнія. Вообще Турецкая природа, даже тамъ, гдѣ она оживлена движеніемъ и разнообразностью, имѣетъ что-то грубое и дикое, безъ благородства и величавости. Все какъ-то смѣшано, сбито, взъерошено. Нигдѣ не отдѣляются стройныя, чистыя облака, которыя образуютъ особенную прелесть картинной Италіи. Въ Италіи и сама природа отличается какою-то художественною отдѣлкою. Здѣсь все чего то не достаетъ. Любуешься картиною, говоришь: прекрасно! а за восклицаніемъ невольно вырывается возразительно—но! Въ чемъ заключается это *но* и все то, что изъ него изливается—выразить трудно и невозможно. Есть убѣжденіе, но не пріищешь доказательства. Впрочемъ, сила этого *но* таится, можетъ быть, не въ окружающей меня природѣ, а во мнѣ самомъ. Я боленъ и мнѣ кажется, что природа больна. Во всякомъ случаѣ примите мое сужденіе только къ свѣдѣнію, а не за окончательный приговоръ. Сужу пока по видѣнному мною, а многаго я еще не видалъ. Можетъ быть послѣ, когда прояснится мое сердечное зрѣніе, когда болѣе ознакомлюсь съ здѣшними мѣстностями, ожидаютъ меня впереди впечатлѣнія, которыя во многомъ исправятъ мое настоящее неблагопріятное предубѣжденіе. Пока остаюсь при своемъ мнѣніи, а именно, что природа здѣсь мѣстами живописна, но что въ ней мало поэтическаго; что свойство красоты ея болѣе вещественное, нежели духовное, ничто не умиляетъ души сладостнымъ унынiемъ; что скорби не отрадно думать здѣсь о прошедшемъ и радости мечтать о будущемъ. Однимъ словомъ, здѣсь какъ народъ, такъ и природа обезжизнены, какъ будто и на нее повѣялъ тлетворный духъ неподвижнаго исламизма. За то если это не страна поэзіи,—живописи здѣсь обильная жатва. Все такъ и ложится подъ кисть и карандашъ

живописца. Эти стада верблюдовъ, кочующихъ въ степи; водопои въ которыхъ кони наши утоляли жажду свою; огромныя, волами и буйволами запряженныя колесницы, какъ будто сейчасъ только-что вывезенныя изъ сараевъ царя Пріама, съ хлѣбомъ и другими полевыми произведеніями; доски, которыя тащутся по землѣ и молотятъ сырой хлѣбъ, также вѣроятно допотопное, или по крайней мѣрѣ догомерическое орудіе молотьбы, все это и тысячу другихъ подробностей — драгоцѣнная находка для живописца, особенно когда оживить и распестрить картину рѣзко означенными лицами и странностью одеждъ и уборовъ, когда озарить и согрѣть картину блескомъ восточнаго солнца и воздуха, а вдали пролить голубое сіяніе моря.

Между тѣмъ, чтобы не остаться хвастуномъ, нужно мнѣ предъ окончаніемъ повѣствованія моего сдѣлать маленькую оговорку. Читая въ началѣ письма моего, что я вплавь и еще ночью переплылъ рѣку, которую боги наименовали Ксанѳомъ, а смертныя Скамандромъ, вы безъ сомнѣнія предались вашимъ Гомерическимъ воспоминаніямъ и трепетали за меня. Передъ вашимъ воображеніемъ оживотворилась 21 пѣснь *Иліады*. Вы видѣли во мнѣ Ахиллеса, бросившагося въ Скамандръ; вамъ представилось, что я подобно ему борюсь съ божественною и гнѣвною рѣкою, которая гонится за мною и грозитъ затопить меня своими поглощающими волнами. Въ слѣдъ за Гомеромъ пришелъ можетъ быть вамъ на умъ Байронъ, переплывающій заливъ, чтобы лишить Леандра славы, которою онъ ни съ кѣмъ нераздѣльно пользовался въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, а еще болѣе чтобы въ лицѣ Геро усмирить спѣсь красавицъ и доказать имъ, что подвигъ Леандра плевое дѣло и что красотѣ нисколько не слѣдуетъ гордиться этою данью: я вижу, что глаза ваши увлажнились слезами, слышу какъ голосомъ, дрожащимъ отъ сердечнаго волненія, восклицаете вы: „воля ваша, господа, а подвигъ дяди моего еще поотважнѣе и почище подвига Британскаго лорда! и смотрите, какъ онъ скромно о немъ отзывается. Патріотическому сердцу моему усладительно видѣть, что наши отечественные сочинители ни въ чемъ не уступаютъ чужеземнымъ, а по нравственному достоинству еще во многомъ пре-

восходятъ ихъ. Съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе горжусь именемъ Россіянки!"

Софья Николаевна, ради Бога, успокойтесь, выкушайте водицы и закурите пахитосъ. Восторгъ вашъ крайне для меня лестенъ, онъ умиляетъ душу мою признательностью къ вамъ. Но дайте вамъ доложить всю правду. Совѣсть моя не позволяетъ оставить васъ въ заблужденіи. Въ подвигѣ моемъ не было никакого подвига. Я не Леандръ и не Ахиллесъ и не лордъ Байронъ. Не знаю, что былъ Скамандръ во время десятилѣтней осады Трои, но нынѣ эта знаменитая рѣка самая мелкая рѣченка, которую курица безопасно въ бродъ переходитъ. Правда, сказываютъ, что и въ наше время зимою накопляется она водами, стекающими съ горъ, широко разливается и затопляетъ всѣ окрестности. Но тутъ, увѣряю васъ, не подвергался я ни малѣйшей опасности.

На другой день, вечеромъ, возвратился я въ Дарданеллы, почевалъ подъ гостепріимнымъ кровомъ красивой Гречанки, а на слѣдующее утро сѣлъ на Французскій пароходъ, биткомъ набитый бѣглыми мятежниками Венгерскими, Польскими, Сицилійскими, Римскими, и отправился и благополучно прибылъ въ Константинополь. Ночь была тихая и плаваніе самое покойное, такъ что мнѣ ни разу не сгрустилось, то-есть не стошнилось. И слава Богу что не было бури, а то при устройствѣ пароходной команды могла-бы случиться бѣда. Капитанъ парохода былъ отчаянный соціалистъ, а прочіе офицеры отъявленные охранители и легитимисты. Офицеры и капитанъ были въ непримиримой враждѣ и не говорили другъ съ другомъ. Вѣроятно они воспользовались бы бурею, чтобы потопить одинъ другаго и мы сдѣлались бы жертвами этой междоусобной ненависти.

Теперь, что я возвратился, если мнѣ повѣрить итогъ моихъ впечатлѣній и того, что вынесъ я изъ моей поѣздки, вотъ что окажется: во-1-хъ, убѣжденіе, что я въ морѣ ни на что не гожусь, а на сухомъ пути еще могу постоять за себя и не хуже Софьи Николаевны просидѣть нѣсколько часовъ на конѣ; во-2-хъ, нѣкоторыя пріятныя воспоминанія о Троадѣ и глубокая грусть и скорбь, что не попалъ на Аѳонскую гору.

LXX.

РѢЧЬ,

произнесенная княземъ П. А. Вяземскимъ на обѣдѣ, данномъ въ честь его въ Москвѣ.

1850.

Какъ ни желалось бы мнѣ, а не умѣлъ бы я выразить передъ вами чувства живѣйшей признательности и глубочайшаго умиленія, съ коими принимаю радушное и обязательное свидѣтельство вниманія вашего ко мнѣ. Сердца ваши поймутъ и доскажутъ то, что̀ я высказать не въ силахъ. Изъявленіе вашей благосклонности драгоцѣнно сердцу моему и лестно моему самолюбію. Но какъ сердце ни предается охотно всему, что пробуждаетъ въ немъ знакомыя и сладостныя сочувствія, какъ человѣческое самолюбіе ни легковѣрно, не могу однако же обманывать себя въ истинномъ значеніи вашей привѣтливости. Вы во мнѣ угощаете и празднуете не столько меня, не столько личность мою, не столько то, что̀ я самъ по себѣ, сколько то и тѣхъ, которыхъ я вамъ собою напоминаю. Я старый Москвичъ, и вы во мнѣ видите и привѣтствуете одинъ изъ уцѣлѣвшихъ обломковъ старой, допотопной, т.-е. до-пожарной Москвы. Отрокомъ зналъ я дѣдовъ вашихъ въ гостепріимномъ и хлѣбосольномъ домѣ отца моего. Въ достопамятный для Россіи и славный для Москвы 1812 годъ, ходилъ я съ Московскою ратью на Бородинское поле. Съ отцами вашими праздновалъ я освобожденіе и возрожденіе нашей матушки-Москвы. Со многими

изъ васъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, дѣлилъ я житейскія радости и горе. Я родомъ и сердцемъ Москвичъ. Въ ней родился я, въ ней протекло лучшее время моей жизни, моя молодость и мои зрѣлыя лѣта. Когда судьба и обстоятельства разлучали меня съ Москвой, и далеко отъ васъ не переставалъ я принадлежать вамъ моимъ сердцемъ, моими преданіями, моими сочувствіями.

Въ дальнихъ моихъ странствіяхъ по Европѣ, на Востокѣ, всегда помнилъ я Москву. Въ Римѣ, въ Царьградѣ, въ Іерусалимѣ, съ радостнымъ сыновнимъ чувствомъ, отыскивалъ я черты, мѣстности, краски, напоминавшія мнѣ картины и святыни нашей живописной, православной и святой Москвы. При нихъ сердце мое билось сильнѣе, и прелесть воспоминанья удвоивала цѣну настоящихъ впечатлѣній.

Въ области литтературы я также для васъ живое предавіе. Не даромъ Н. Ф. Павловъ въ своемъ привѣтствіи упомянулъ о моихъ литтературныхъ связяхъ. Незначительное имя мое богато обстановлено именами, дорогими вашему сердцу и славѣ народной. Чувствую, что привѣтствуете вы во мнѣ не столько мои литтературныя заслуги, сколько мои литтературныя связи. Я былъ питомцемъ Карамзина: тѣснѣйшія узы родства и сердца связывали меня съ нимъ. У меня въ Подмосковной, и на глазахъ моихъ, написалъ онъ нѣсколько томовъ своего безсмертнаго творенія. Нелединскій, Дмитріевъ также ласкали меня, отрокомъ, въ домѣ отца моего. Послѣ, когда я возмужалъ, они удостоивали меня своей особенной пріязни. На дружескихъ и веселыхъ пирахъ обмѣнивались мы съ Денисомъ Давыдовымъ рюмками и бокалами. Я не дожилъ еще до глубокой старости, но грустно уже пережилъ многихъ друзей, многія литтературныя поколѣнія. Пушкинъ, Баратынскій, Языковъ возрасли, созрѣли, прославились и сошли въ могилу при мнѣ. Во мнѣ привѣтствуете вы старѣйшаго друга нашего перваго современнаго поэта, Жуковскаго, и другаго поэта, еще живаго, но, къ сожалѣнію, давно умолкшаго, Батюшкова! Созвѣздіе этихъ блестящихъ именъ проливаетъ нѣкоторый блескъ и на меня. Вотъ лучшія права мои на вниманіе и любовь вашу. Вотъ что осо-

бенно любите вы во мнѣ и чему хотѣли вы изъявить ваше теплое сочувствіе. Еще разъ, отъ полноты души, благодарю васъ за все, за себя, и за ту старину, и за тѣхъ, которыхъ вы почтили во мнѣ.

Въ заключеніе позвольте мнѣ предложить тостъ за благосостояніе Москвы, и въ особенности благодарный тостъ за здоровье Московскихъ дамъ, которыя насъ удостоили присутствіемъ своимъ.

LXXI.

К. Н. БАТЮШКОВЪ.

(Письмо къ М. П. Погодину о найденныхъ статьяхъ Батюшкова: Воспоминаніе мѣстъ, сраженій и путешествій и Воспоминаніе о Пятиѣ).

1851.

Прилагаемые у сего отрывки, писанные Батюшковымъ, сохранились въ собственноручномъ спискѣ въ бумагахъ покойнаго Д. В. Дашкова, которому, вѣроятно, были они сообщены въ свое время самимъ авторомъ, тѣсно связаннымъ съ нимъ пѣжнѣйшею пріязнью.—Батюшковъ, какъ и мы всѣ, тогдашніе литтературные современники, вполнѣ довѣрялъ строгому и вѣрному суду Дашкова и вкусу его, изощренному наукою и знаніемъ древнихъ и многихъ новѣйшихъ языковъ и литтературъ.—Есть ли, или было ли продолженіе этимъ воспоминаніямъ, неизвѣстно. Многія рукописи или сочиненія Батюшкова были имъ самимъ преданы огню. Но и въ отдѣльномъ видѣ своемъ предлагаемая статья составляетъ безцѣнное сокровище. Вся душа, весь характеръ, все дарованіе любезнаго поэта въ ней ясно и живо отсвѣчиваются. Нынѣ, читая ее, перепосишься въ другую эпоху свѣтлую и свѣжую: съ любовью сочувствуешь какому-то другому порядку мыслей, чувствованій, изложенія; вслушиваешься въ другую, когда-то знакомую, но нынѣ забытую рѣчь, звучную, мягкую, согрѣтую сердечною теплотою и проникающую глубокимъ нравственнымъ убѣжденіемъ. Радостно встрѣчаешь эту неожиданную находку, но съ грустью совнаешься, что это уже

старина. Тутъ все просто и стройно, и все художественно. Какъ отрывокъ, эта статья, конечно, въ глазахъ многихъ, не будетъ имѣть большой литературной важности. Но въ глазахъ нѣкоторыхъ будетъ она, безъ сомнѣнія, имѣть прелесть какой-нибудь древней художественной бездѣлки, открытой въ глубинѣ Помпейской почвы, затопленной бурнымъ и огненнымъ потокомъ все поглотившей лавы. Это—бездѣлка, но она живая вывѣска минувшей эпохи. Въ свое время была она обыкновеннымъ выраженіемъ современнаго быта, домашняго, общественнаго и художественнаго; нынѣ она археологическая рѣдкость. Такъ и эта статья имѣетъ всю прелесть и важность преданія и памятника. Желательно, чтобы она была молодымъ художникамъ и предметомъ безпристрастной оцѣнки, обратнаго воззрѣнія на искусство слова, и руководительнымъ образцомъ. Во всякомъ случаѣ она освѣжитъ въ памяти читателей имя Батюшкова, почти чуждое мимопдущему поколѣнію. Нынѣ литературныя понятія до такого непмовѣрнаго безпорядка смѣшаны и сбиты, что трудно и невозможно однимп разсужденіями и опроверженіями ложныхъ правилъ, ошибочныхъ мнѣній, надѣяться на возстановленіе истины. Нужно было бы цѣлыми томами отвѣчать на полновѣсные томы лжелитературы или лжекритики. Лучшее средство отражать и обезоруживать господствующія заблужденія есть противопоставлять имъ живые факты, обличающіе пристрастіе или ошибочность недоброжелательныхъ судей. Новое поколѣніе знаетъ о старой и средней литературѣ нашей изъ однихъ новыхъ журналовъ. Эти журналы не имѣютъ времени, а можетъ быть и охоты запяться полнымъ и добросовѣстнымъ изученіемъ писателей, не только уже отжившихъ поколѣній, но даже и тѣхъ, которыхъ память еще свѣжа, или писателей еще живущихъ, но имѣвшихъ неосторожность родиться до появленія этихъ журналовъ. Правду сказать, кое-гдѣ и кое-когда, появляются и нынѣ обозрѣнія дѣятельности прежнихъ писателей. И то правда, что нельзя обвинять эти обозрѣнія въ краткости. Но при всей плодовитости своей и объемистой обстановкѣ эти обозрѣнія поверхностны. Критика наша не врѣзывается въ глубь, а растягивается въ ширину. Наша критика никогда не стано-

вится лицомъ къ лицу разбираемаго ею автора, не глядитъ ему прямо въ глаза и въ душу. У нея свои особенные пріемы. Она не иначе приступаетъ къ дѣлу, какъ предварительно построивъ для себя подмостки и лѣса, родъ Вавилонскаго столпа, и съ этой поддѣльной вершины, умозрительно теряясь въ пустотѣ воздушныхъ пространствъ, упускаетъ она изъ вида личность, значеніе, достоинства и недостатки подсудимаго ей писателя. Она грѣшитъ не только въ художественномъ отношеніи, но часто сбивается въ отношеніи лицъ, эпохъ, въ отношеніяхъ прямо-положительныхъ и историческихъ. Гдѣ-то было сказано, напримѣръ, что къ *такъ-называемому Пушкинскому періоду* принадлежитъ Жуковскій. Ужъ если подраздѣлять литературу нашу на краткіе и сбивчивые удѣльные періоды, то правильнѣе сказать, что Пушкинъ принадлежитъ къ періоду Жуковскаго. Не Пушкинъ же далъ движеніе Жуковскому, котораго онъ засталъ уже въ полнотѣ силъ и творчества. Справедливѣе сказать, что Жуковскій подвинулъ Пушкина, котораго дарованіе развилось и возросло подъ его вліяніемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ развитіи дарованія Пушкина отозвалось и вліяніе Батюшкова. Элегическій стихъ Пушкина сродни стиху поэта, который первый съ такимъ успѣхомъ и блескомъ усвоилъ поэзіи нашей элегическую стихію. Пушкинъ, и по лѣтамъ своимъ, и по внутреннему, прямодушному сознанію истиннаго дарованія, всегда признавалъ себя ученикомъ Жуковскаго. Изъ того не слѣдуетъ, чтобы ученикъ уступалъ мѣсто первенства учителю, чтобы онъ во многомъ не сравнялся съ нимъ и самъ собою не проложилъ впослѣдствіи новые поэтическіе пути, не извѣданные его предшественникомъ. Но здѣсь идетъ рѣчь о хронологическомъ порядкѣ: нельзя примыкать старшаго поэта къ періоду младшаго, особенно когда этотъ старшій поэтъ самъ долженъ быть признанъ родоначальникомъ новаго поэтическаго поколѣнія. Такимъ образомъ, пожалуй, и Карамзинъ сопричисленъ будетъ къ *сателлитамъ* Пушкина, потому что одинъ продолжалъ писать, когда другой писать начиналъ.

Для поясненія и полнѣйшаго уразумѣнія печатаемыхъ здѣсь воспоминаній, скажемъ еще два-три слова.

Батюшковъ провелъ нѣсколько времени въ Каменцѣ-Подольскомъ въ званіи адъютанта при военномъ генералъ-губернаторѣ А. Н. Бахметевѣ. Опредѣлился онъ къ нему еще въ концѣ 1812 года, или въ началѣ 13 года, когда, послѣ занятія Москвы Французами, военная буря занесла въ Нижній Новгородъ и молодаго поэта, тогда не служащаго, и раненаго генерала. А. Н. Бахметевъ лишился ноги на Бородинскомъ полѣ, въ памятную для меня минуту: то же ядро, которое раздробило ногу ему, убило подо мною лошадь, и я, съ помощью двухъ или трехъ солдатъ, вынесъ генерала изъ сраженія на плащѣ моемъ. Бахметевъ худо и медленно оправлялся. Рана его не давала ему возможности въ скоромъ времени снова вступить въ боевую жизнь. Въ такихъ обстоятельствахъ отправилъ онъ нетерпѣливаго и бездѣйствіемъ скучавшаго адъютанта своего къ генералу Н. Н. Раевскому. Онъ нагналъ его въ Германіи, и находился неотлучно при немъ до самаго вступленія въ Парижъ. Въ сочиненіяхъ Батюшкова, въ посланіи его къ Дашкову, упоминается о служеніи его при генералѣ Бахметевѣ:

Нѣтъ, нѣтъ! талантъ погибни мой
И лира, дружбѣ драгоцѣнна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нѣтъ, нѣтъ! пока на полѣ чести
За древній градъ моихъ отцовъ
Не понесу я въ жертву мести
И жизнь и къ родинѣ любовь;
Пока съ израненнымъ героемъ,
Кому извѣстенъ къ славѣ путь,
Три раза *) не поставлю грудь
Передъ враговъ сомкнутымъ строемъ—
Мой другъ, дотолѣ будутъ мнѣ
Всѣ чужды музы и харпты,
Вѣнки, рукой любви свиты,
И радость шумная въ винѣ!

Другое прекрасное стихотвореніе его *Тѣнь друга* посвящено памяти Петина, и проникнуто прелестью поэтическою и

*) Помнится, что въ первомъ изданіи сказано было: *трикраты*. Одна изъ смѣшныхъ особенностей современной литературы есть та, что критики не любятъ иныхъ словъ и что издатели въ угодность имъ подновляютъ прежнія выраженія авторовъ другими, нынѣ болѣе употребительными.

глубокою скорбью о ранней кончинѣ незабвеннаго товарища и друга. Онъ написалъ эти стихи на кораблѣ на возвратномъ пути изъ Англіи въ Россію послѣ заключенія Европейскаго мира въ Парижѣ. Живое, остроумное, веселое и поэтическое описаніе этого плаванія до Готенбурга находится въ письмѣ его къ Д. П. Свѣрину, также напечатанномъ въ сочиненіяхъ его (*Полное собраніе сочиненій Русскихъ авторовъ* 1850 г.).

LXXII.

ПУТЕШЕСТВІЕ КНЯЗЯ А. Д. САЛТЫКОВА ПО ПЕРСІИ И ИНДІИ *).

1851.

Намъ сообщили отзывъ одной изъ лучшихъ Французскихъ газетъ о сочиненіи князя А. Д. Салтыкова. Читателямъ *Москвитянина* и вообще каждому Русскому, безъ сомнѣнія, любопытно и пріятно будетъ прочесть этотъ отзывъ о нашемъ соотечественникѣ и о путевыхъ письмахъ его, изданныхъ на Французскомъ языкѣ и частью уже извѣстныхъ у насъ по нашимъ журналамъ. Здѣсь было бы неумѣстно упрекать путешественника въ томъ, что онъ писалъ письма свои не на Русскомъ языкѣ. Князь Салтыковъ не имѣлъ никогда притязанія на авторство. Письма его вылились изъ головы, впечатлѣній, пера его, какъ случилось. И въ этомъ-то особенная прелесть ихъ и главное достоинство. Письма эти все-таки наши, и мы можемъ радоваться ими за себя и за того, кто ихъ писалъ. Это все-таки вкладъ въ Русскую умственную сокровищницу. Русскими ли золотыми рублями, Французскими ли золотыми двадцати-франковыми внесенъ этотъ вкладъ: это дѣло постороннее. Все-таки даяніе благо. И наша обязанность не придираться къ щедрому вкладчику за отчеканеніе золота, которымъ онъ подѣлился съ нами,

*) Voyages en Perse et dans l'Inde. 3 volumes. Paris 1850—1851. in 8.

а благодарить его за золото, которое онъ разсыпалъ предъ нами. Но во всякомъ случаѣ рѣчь идетъ теперь не о томъ. Мы хотимъ поговорить о статьѣ Французскаго критика.

Иноземная журналистика, а въ особенности Французская, такъ вообще невѣжественна, нелѣпа и недоброжелательна, когда дѣло коснется до Россіи, что исключенія изъ общаго правила достойны возбудить внимательность нашу. Благодаря Бога, мы можемъ не сердиться за вранье и клевету. На нашей сторонѣ много къ тому успокоительныхъ и утѣшительныхъ заключеній. Но мы должны быть признательны за каждое сказанное о насъ доброе и разумное слово. Посреди ложныхъ, добровольныхъ и невольныхъ понятій, сужденій, разглашаемыхъ о насъ иностранцами, писатель, который не увлекается толпою, не кричитъ заодно съ другими, а имѣетъ свое собственное мнѣніе и осмѣливается гласно обнаружить его, вопреки господствующимъ заблужденіямъ, есть явленіе рѣдкое въ наше время.

Изъ общей любви къ литературѣ, къ истинѣ и ко всему человѣческому, неблагодарно и несправедливо было-бы съ нашей стороны не встрѣтить такого писателя вѣжливымъ вниманіемъ и сочувствіемъ. Авторъ прилагаемой здѣсь статьи судитъ о книгѣ князя Салтыкова не только какъ о замѣчательномъ литературномъ явленіи, но преимущественно оцѣниваетъ въ ней частное выраженіе и значеніе настоящей и будущей Россіи. Онъ признаетъ въ Русскихъ начало духовной силы и духовной живучести, которыя посреди Европейскихъ колебаній, посреди тревожнаго состоянія умовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣзненнаго утомленія ихъ, должны неминуемо служить намъ опорою, предохраненіемъ и надежнымъ залогомъ. Онъ хорошо понялъ, или угадалъ, что наша умственная и литературная дѣятельность не есть, какъ была въ старой Франціи, почти исключительною принадлежностью одного отдѣльнаго и второстепеннаго сословія, что она у насъ изливается свыше, а не прорывается снизу, а потому въ этой дѣятельности нѣтъ ничего враждебнаго, завистливаго, насильственнаго. Дѣйствіе ея мирно и благодѣтельно, потому что она истекаетъ изъ полноты силы законной, благоустроенной, которой завидовать некому и нечему Нельзя

не замѣтить, что литтературная дѣятельность наша — говоря здѣсь объ однихъ умершихъ дѣятеляхъ Русскаго слова — начиная отъ князя Кантемира до Пушкина, сосредоточивалась преимущественно въ высшемъ нашемъ сословіи. Дѣятельнѣйшія и блистательнѣйшія наши литтературныя знаменитости придали своимъ уже почетнымъ и родовымъ именамъ блескъ новый и личной славы. Если и бывали исключенья, какъ, напримѣръ, Ломоносовъ, то и эти исключенья не долго оставались въ сторонѣ, но силою общаго порядка входили въ высшій кругъ и наравнѣ съ другими пользовались ихъ правами и преимуществами. Оскорбительнаго раздѣленія не было: слѣдовательно, не могло быть ни столкновеній, ни борьбы, ни противодѣйствія, а было единомысліе и единодушіе. Литтература наша дѣйствовала всегда въ духѣ примиренія, любви и теплаго сочувствія къ немощамъ и недостаткамъ человѣческимъ и общественнымъ. Дворянство наше хорошо поняло и примѣнило къ дѣйствію прекрасный смыслъ Французскаго изреченія: дворянство обязываетъ (noblesse oblige). Оно всегда было въ передовой странѣ образованности и просвѣщенія. Занимавшіеся науками и предметами умственной дѣятельности не были ему чужіе, и оно не было для нихъ ни чуждымъ, ни недоступнымъ. Въ этомъ отношеніи дворянство слѣдовало примѣру, данному ему свыше. Служба общественному благу мыслью и перомъ всегда признаваема была нашимъ правительствомъ за дѣйствительную службу. Литтературныя заслуги наравнѣ съ другими вознаграждались отъ верховной власти поощреніями, пособіями и отличіями. „Изо всѣхъ Европейскихъ аристократій, говоритъ Лакомбъ, къ какому государственному порядку ни принадлежали бы онѣ, высшее Русское дворянство болѣе другихъ и блистательнѣйшимъ образомъ оправдало значительное положеніе, которое оно пріобрѣсти умѣло.

„Въ то время, когда высшія сословія Франціи, Англіи и бо́льшей части южныхъ государствъ предаются почти исключительно нѣгѣ, забавамъ свѣтскимъ, удальству *спорта* и многимъ другимъ разсѣяніямъ и нравственнымъ и матеріальнымъ, которыя должны немпнуемо, въ дальнѣйшемъ или ближайшемъ

срокѣ, приготовить паденіе ихъ, если не преобразуютъ они себя совершенно,—въ то самое время Русская аристократія, глава дѣвственнаго поколѣнія, укрѣпляется съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе на своей основѣ нравственной и на основѣ матеріальной и, не теряя своего государственнаго значенія, сближается съ народными нравами и потребностями. Она, кажется, понимаетъ, что въ то время, когда демократія южныхъ государствъ Европы, съ наглостью, угрожающею ниспроверженіемъ государственныхъ судебъ, возвышается наступательными движеніями своими по ступенямъ, съ которыхъ ниспадаетъ патриціанская сила, Славянскія племена призваны, быть можетъ, на совершеніе великаго подвига: отстоять просвѣщеніе и всеобщую образованность, а съ ними и самое христіанство отъ убійственныхъ покушеній соціализма варварскаго и языческаго.

„Глядя съ сей точки зрѣнія, находящейся внѣ и выше мелкихъ озабоченій дневной и переходной политики, нельзя не признать на челѣ Русскаго народа знаменія Провидѣнія и въ полномъ развитіи силъ, которыми дѣйствуетъ онъ въ виду Европы, залога спасенія для всѣхъ нравственныхъ завоеваній образованности и человѣческаго разума.

„И въ самомъ дѣлѣ, какъ часто любовались мы въ нашихъ Парижскихъ салонахъ, куда стекаются знаменитости всемірныя, этими лицами благородными и мыслящими, которыхъ сѣверъ высылаетъ на югъ, какъ будто съ тѣмъ, чтобы изобличить нашу безпечность и врожденное наше легкомысліе. Здѣсь, въ блистательныхъ этихъ собраніяхъ, не случалось ли вамъ часто, между музыкальною импровизаціею г-жи Дильонъ и вальсомъ Штрауса, слышать какъ одинъ изъ этихъ знаменитыхъ чужестранцевъ судитъ о Франціи гораздо основательнѣе, нежели мы? Обратите вниманіе на отзывы его о нашихъ философахъ и поэтахъ, о нашихъ государственныхъ людяхъ и художникахъ; замѣтьте, какою ясною и вѣрною мыслью оцѣниваетъ онъ и тѣхъ, которыхъ враждебность партій и совмѣстничество духа пристрастія силятся унизить, и тѣхъ, которыхъ напрасно превознести хотятъ личныя побужденія литтературныхъ и политическихъ кружковъ; послушайте, какъ онъ ссылается на имена ученыхъ и писателей

нашихъ, которыхъ слава вездѣ памятна и жива и которыхъ мы одни предаемъ непростительному забвенію. Вы удивляетесь глубокому разнообразію этихъ свѣдѣній, мѣткости и вѣрности подобнаго суда, вы спрашиваете: „да кто же этотъ собесѣдникъ? откуда онъ?“ и должны будете придти къ этому заключенію: Французъ по выраженію, Европеецъ по образованности, очевидно это—Русскій.

„Теперь дѣло для васъ и для меня не въ замѣчательномъ разговорѣ, а въ великолѣпной книгѣ, написанной и иллюстрированной перомъ и карандашомъ князя Алексѣя Салтыкова: почетное имя, съ честью оправданное! Пламенный любитель искусства и природы, нашъ знаменитый туристъ, хотя и Русскій—едва не сказали мы потому, что онъ Русскій—живописуетъ и разсказываетъ свои путешествія по Персіи и Индіи съ прелестью и увлекательностью, которыя, казалось, были нѣкогда исключительною принадлежностью Французовъ. Здѣсь любопытство соперничаетъ съ занимательностью, блескъ слога съ богатствомъ, простотою и вѣрностью рисунка.

„Сочиненіе князя А. Салтыкова заключается въ трехъ великолѣпныхъ томахъ, изданныхъ г. Кюрмеромъ, издателемъ лучшихъ иллюстрированныхъ книгъ, вошедшихъ въ общее употребленіе. Часть, посвященная повѣствованію о Персіи, особенно замѣчательна по добросовѣстному, обдуманному изложенію своему. Нѣтъ ничего живописнѣе, оригинальнѣе картинъ, описаній, типическихъ портретовъ, собранныхъ княземъ-путешественникомъ. Каждая черта карандаша его есть оттискъ мысли глубокой, или живаго чувства, каждая черта пера его есть завѣтное слово образованностей, погибшихъ въ назиданье образованностямъ живущимъ, завѣтное слово неподвижности поколѣній первобытныхъ и павшихъ въ назиданіе поколѣніямъ послѣдовавшимъ и возрожденнымъ, которыя движеніями души своей придаютъ постепенный ходъ человѣчеству и міру. А между тѣмъ двѣ книги, заключающія въ себѣ описаніе Индіи съ ея обширными объемами, имѣютъ еще болѣе внутренняго достоинства. Надобно слѣдовать шагъ за шагомъ за путешественникомъ и съ книгою его въ рукахъ по этимъ чудеснымъ стра-

намъ, гдѣ Богъ поставилъ колыбель человѣческихъ обществъ, коихъ странная, обратная и неисповѣдимая судьба также таинственна какъ смерть. Мы въ Бомбеѣ, въ великолѣпной столицѣ, возвышающейся посреди пальмоваго лѣса: по улицамъ ея волнуется толпа, почти нагая, но расписанная красками и обвѣшанная браслетами и кольцами. Предъ нею и за нею музыканты съ барабанами и скрипками, коихъ неумолкаемый шумъ преслѣдуетъ васъ днемъ и ночью. Посмотрите на этихъ факировъ, худощавыхъ и испитыхъ, съ длинными и крючковатыми ногтями, какъ орлиные когти; на этихъ женщинъ, съ волосами распущенными и въ безпорядкѣ, дико озирающимися, на этотъ типъ не красоты, а безобразія: все это спѣшитъ *со всѣхъ* сторонъ, на поклоненіе чудовищнымъ кумирамъ. И въ одно и то же время щеголеватые Англійскіе всадники и красивыя женщины въ богатыхъ экипажахъ, выписанныхъ изъ Лондона и Парижа, струятся мимо васъ и расточаютъ посреди дикихъ нравовъ всѣ утонченности нашей образованности и роскоши.

„И такъ борьба варварства и христіанской общественности существуетъ въ Индіи предъ глазами Англіи, которая, съ эгоистическимъ разсчетомъ, исключительно озабоченная своими вещественными выгодами, не помышляетъ обратить владычество свое въ могущественный рычагъ возрожденія и человѣколюбиваго подвига. Слѣдующая сцена, хотя и отдѣльная, имѣетъ однакоже общее значеніе, которое заслуживаетъ вниманіе.

„Баядерки, говоритъ князь Салтыковъ, образуютъ касту особенную, касту многочисленную, которой единственное занятіе заключаются въ томъ, чтобъ пѣть, плясать и жевать *бетель*, листья острокислаго вкуса, способствующіе пищеваренію и придающіе губамъ особенную красноту. Эти плясуньи миловидны и стройны въ движеніяхъ своихъ. Одѣты онѣ тканью, частью газовою, частью серебряною и золотою, отливающеюся цвѣтами—розовымъ, бѣлымъ, фіолетовымъ или вишневымъ; голыя ноги ихъ обвѣшены кольцами и цѣпями, которыя, когда баядерка ударяетъ пяткою объ полъ, бренчатъ подобно шпорамъ, но звукъ ихъ болѣе серебристъ. Пляска ихъ такъ отмѣнна отъ всѣхъ другихъ плясокъ, такъ увлекательна наществомъ и

странностью, пѣніе ихъ такъ уныло и дико, движенья такъ нѣжны и часто такъ быстры, музыка, оглашающая пляску ихъ, такъ нестройна, что очень трудно дать о нихъ понятіе. Онѣ всегда сопровождаются мужчинами, наружности грубой и грозной, которые выступаютъ и отступаютъ позади ихъ, топая ногами и извлекая дикіе звуки изъ своихъ инструментовъ, и когда подумаешь, что эта пляска, выражающая значеніе невѣдомое, восходитъ, можетъ быть, до отдаленнѣйшей древности и что въ теченіе нѣсколько тысячелѣтій баядерки повторяютъ ее, не давая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаютъ, умъ теряется въ таинствахъ Индіи, этой землѣ чудесъ. Этѣ дѣвицы, коихъ безсчетное множество, и другія, которыя не занимаются пляскою, населяютъ цѣлыя улицы и живутъ въ домахъ, коихъ легкая постройка нѣсколько напоминаетъ Китайскую. Эти жилища вечеромъ освѣщены, музыка въ нихъ раздается и входъ въ нихъ каждому доступенъ. Но нынѣшніе хозяева здѣшняго края ни мало не дорожатъ этими Индѣйскими Терпсихорами. Такимъ образомъ у меня вчера эта мистическая пляска была вдругъ прервана приходомъ нѣсколькихъ Англичанъ: они запугали робкихъ дѣвицъ, насильно увлекая ихъ въ вальсъ. Баядерки оскорбились такимъ насильствомъ, пали на землю съ плачемъ и долго не соглашались оставаться съ нами!!

„Вообще Англичане ничего не дѣлаютъ, чтобы сблизить съ собою Индійскія племена, или измѣнить и образовать родъ ихъ жизни. Вмѣсто того, чтобы привлечь ихъ къ нравственному образованію, они помышляютъ только какъ-бы поживиться ими. И куда не послѣдовали бы за княземъ Салтыковымъ, въ Калькутту ли, въ Бенаресъ, въ Коломбо, въ Агру, въ Делли, въ Лагору или въ Кашемиръ, вездѣ найдете вы полицейское устройство, но нѣтъ нигдѣ нравственнаго и разумнаго развитія. Варварская жизнь не отступаетъ предъ жизнію образованною и неподвижная Индія равнодушно, подобно безжизненнымъ своимъ кумирамъ, смотритъ какъ проходитъ и дѣйствуетъ предъ нею промышленная и удалая Англія. Со всѣмъ тѣмъ Индійская жизнь имѣетъ свои поэтическія, своеобразныя, или изящныя стороны, которыя не ускользнули отъ наблюденій нашего путешественника:

онъ уловилъ ихъ подъ перо и карандашъ съ строгою и мелочною точностью. Не говоря уже о домашнихъ и семейныхъ нравахъ, которые составляютъ столь разительную противоположность съ Европейскими, нельзя не сознаться, что Индійцы несутъ иго, наложенное на нихъ Англичанами, съ покорностію, не лишенною смышлености. Но пока единственная для нихъ точка соприкосновенія съ нашею образованностью есть военное устройство; изъ нихъ образуютъ солдатовъ, не умѣя или не желая преобразовать ихъ иначе.

„Твореніе князя Салтыкова тѣмъ особенно замѣчательно, что онъ хорошо понялъ свою философическую и художественную цѣль. Отправившись въ путь съ желаніемъ изслѣдовать края, которые донынѣ мерещатся намъ подъ обаятельными туманами *Тысячи и одной ночи*, онъ показалъ намъ варварство этого края въ истинномъ его видѣ. Всѣ усилія его направлены были на то, чтобы схватить живьемъ дикую природу. То водитъ онъ васъ за собою отъ таинственныхъ пагодъ къ уличнымъ явленіямъ, то погружаетъ васъ въ пустыни, населенныя слонами, тиграми, безобразными змѣями и всѣми чудовищами, которыя, казалось, могли только присниться романтической поэзіи. Тутъ въ мѣстахъ самыхъ недоступныхъ находимъ храмъ, гдѣ буддизмъ исправляетъ обряды свои въ ихъ первобытной странности. Жрецы, облаченные въ желтыя ткани и съ бритою головою, простертые у ногъ исполинскаго Будды, выражаютъ символы баснословія грубаго, но мирнаго; а тамъ, далѣе, толпа Малабарскихъ скомороховъ скитается во тьмѣ ночи по дубравамъ, съ зажженными свѣточами, и представляетъ въ дѣйствіи явленіе изъ той же религіи подъ видомъ простаго дервиша, который воспламеняетъ къ битвѣ во имя какой-то независимости и какого-то владычества, о коихъ самая-то страна потеряла и преданіе.

„Невозможно въ тѣсной статьѣ дать точное понятіе о всемъ, что есть увлекательнаго и дикаго, величественнаго и любопытнаго въ прекрасномъ твореніи князя Салтыкова. Картины и письменное изложеніе, которыя другъ друга поясняютъ самымъ замысловатымъ образомъ, могутъ одни ознакомить читателя съ этимъ возрожденіемъ племени уже мертваго, но еще движущагося,

которое изъ свойствъ жизни сохранило только то, что имѣетъ оно въ себѣ вещественнаго и живописнаго, но утратило все, что нѣкогда имѣло оно душевнаго. Князь Салтыковъ съ избыткомъ пополнилъ сей недостатокъ и вложилъ мысль и чувство свое въ мертвыя созданія. Это достоинство такъ велико, что нельзя достаточно благодарить за него автора.

„Теперь, чтобы кончить также, какъ мы начали, прибавимъ, что должны мы заключить о Россіи и ея народѣ, который средь блистательнѣйшихъ своихъ аристократическихъ именъ встрѣчаетъ дарованія столь многообразныя и полносильныя, и умственныя способности такого разряда и такого размѣра. Нѣтъ сомнѣнія, что такой народъ призванъ свыше на подвигъ великій изъ всѣхъ народныхъ подвиговъ, и если онъ съ такимъ рвеніемъ изучаетъ племена варварскія и дикія, то не съ тѣмъ ли, чтобы узнать вѣрнѣе и ближе то, чего требуютъ племена христіанскія и просвѣщенныя?“

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.

Библиотека

3 6105 004 835 752

PG
3447
V5
1878

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-60
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 day

DATE DUE

SEP F/S JUN 30 1994
08 1994